



# НЕВА

9  
2017

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Александр КУШНЕР**

Стихи • 3

**Елена КРЮКОВА**

Евразия. *Фрагмент романа* • 7

**Вера ЗУБАРЕВА**

Тень города, или Поэма о нашем времени • 114

**Эрик ШМИТКЕ**

Когда я отвернулся (Анжела и Анджелло). *Рассказ* • 118

**Лилия ГАЗИЗОВА**

Стихи • 127

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Александр ЖДАНОВ**

Прости, брат • 131

### КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Наум СИНДАЛОВСКИЙ**

Деньги в истории России и в городском фольклоре Санкт-Петербурга • 155

### ИЗ АРХИВА

**Семен ЛАСКИН**

«Я еще опишу это всё, но первое чувство —  
чувство потрясения и счастья!». *Василий Калужнин и его наследие  
в дневниках 1985–1991 годов* • 179

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Поиски и находки.** Владимир Чисников. «...Я под присмотром тайной полиции» (Лев Толстой и спецслужбы). **Искусство чтения.** Валерий Скобло. Мука и другое. **Территория памяти.** Евгений Беркович. Необразованщина, или Невыносимая легкость невежества • 194

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**  
Святыни Елеона (по запискам русских паломников).  
Часть 9 • 236

---

Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).  
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

---

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Компьютерный набор **Л. Жуковой**  
Верстка **Д. Зенченко**

## Александр КУШНЕР

\* \* \*

Грибоедов, на площади сидя в кресле,  
Скажет Пушкину: Вам надоест стоять.  
Посидим, может быть, у вокзала вместе?  
И до Царского близко, рукой подать.

Пушкину в самом деле стоять несладко  
В позе, можно сказать, танцевальной, он  
В центре города, — слишком его повадка  
Вдохновенна, — витийствовать принужден.

Ах, как было б уютно, как было б ладно,  
Дельно, всех преимуществ не перечесть,  
Александру Сергеевичу приватно  
К Александру Сергеевичу подсесть.

\* \* \*

А может быть, я сам для жизни подобрал  
В скитаньях неземных страну себе вот эту  
С несчастьями ее, и Волгу и Урал  
Парижу предпочел, и зимний холод — лету?

И кто-то в небесах меня отговорить  
Пытался, но любой и самый веский довод  
Отверг я: да, печаль, да, скудость, может быть,  
И ужас пострашней, чем самый лютый холод.

Но где еще найду друзей таких, что мне  
Окажутся милы и так необходимы,  
И город на Неве со шпилем в стороне,  
И вечную любовь, не тяжки с ней и зимы.

Я долго выбирал — и выбрал, отойди,  
Советчик, ангел мой, близнец, благожелатель, —  
Мне Анненского здесь и Пушкина найти,  
И Фета удалось, и Лермонтова, кстати.

---

Александр Семенович Кушнер родился в 1936 году в Ленинграде. Автор около 50 книг стихов (в том числе для детей) и ряда статей о классической и современной русской поэзии, собранных в пяти книгах. Член СП СССР, русского ПЕН-центра. Главный редактор «Библиотеки поэта» (с 1992 года; с 1995 года — «Новой библиотеки поэта»). Лауреат Государственной премии РФ (1995), премии «Северная Пальмира» (1995), журнала «НМ» (1997), Пушкинской премии фонда А. Тепфера (1998), Пушкинской премии РФ (2001). Лауреат премии «Поэт» (2005), лауреат премии журнала «Нева».

### **ОРЕДЕЖ**

Оредеж, не правда ли, название  
Лучшее для северной реки?  
Непонятно только написанье,  
К Оредежи спустимся, шаги  
Замедляя к Оредежу, — нужен  
Мягкий знак? Не нужен, может быть?  
Гладь какая! Словно отутюжен.  
Глядь, опять в глазах пошло рябить.

А потом опять всё гладко, ровно,  
Никаких морщинок и гримас.  
Повезло нам с Оредежью, словно  
Не одна, а две реки у нас.  
Как хорош его пологий берег,  
А еще наряднее — крутой.  
То она флегматик, то холерик,  
И песчаник красный, золотой!

### **БАБОЧКА**

Я-то знаю, что бабочка это,  
А не лист на расщелине пня  
Примостился унылого цвета, —  
И она не обманет меня.

Надоест ей, летунье, притворство —  
И покажет волшебный узор.  
Ну, конечно, актерство, позерство  
И, наверное, страх-фантазер.

Это он, и прочнее, чем скотчем,  
Склеить может атласный наряд.  
Есть мне что рассказать, между прочим,  
Ей. Послушай, — тебе говорят!

Ты была дуновеньем свободы,  
Избавленьем от цепких оков,  
Где-то в шестидесятые годы  
Залетев из «Других берегов».

И сильнее на меня повлияла,  
Чем статьи диссидентские все,  
Поднимая свое опахало  
В безыдейной, бессмертной красе.

\* \* \*

Любовью человек себя замучает,  
Ненужною ему, необязательной,  
Наверное, ему благополучие  
Наскучило, он мог бы по касательной  
Кого-нибудь любить — и было б весело,  
И разве он не ценит преимущества  
Разумной жизни, дружбы, зимней сессии,  
Поездки в Псков, но выбирает мученичество.

И это так понятно! Дело прошлое,  
Но сколько было сил и слез потрачено!  
В прекрасном тоже было что-то пошлое,  
А в пошлом — дорогое и горячее,  
Не соблазняйся только скорбной миною,  
Даст Бог, найдешь единственную спутницу.  
А луч в лесу играет с паутиною  
И заливает блеском эту путаницу.

\* \* \*

Меня охватила сегодня тревога,  
Причина ее мне была непонятна,  
Как если бы мне предстояла дорога,  
Как если бы гибель была вероятна,  
Как если бы что-то кому-то грозило,  
А предупредить его я не умею  
И, кто он, не знаю, — немного знобило,  
Тоска, подбежав, мне бросалась на шею.

А спас меня маленький кустик не кустик  
За дачным окном, пригляделся: осинка.  
— Не бойся, — сказала мне тихо, — отпустит,  
Смотри, как дрожу я, дышу, как косынка,  
Мечусь, как платочек. Я только растенье,  
Я — горстка листочков в зеленом чертоге,  
Мятущийся прутик, но разве волненья  
Не стоит всё сущее, вечной тревоги?

\* \* \*

В восемнадцатом веке не знали  
Ни тоски, ни печали, ни скуки,  
Солнце славили, гимны слагали  
Самодержцу, искусству, науке,

Мельпомену любить, Каллиопу  
Было так же отраднo, как деву,  
И к Стеклу припадать, к Микроскопу,  
Предаваться восторгу и гневу.

Океан, Баромётр, Мозайка  
Буквой выделены прописною.  
Нам смешно это кажется, дико.  
Чем же Анненский лучше с Тоскою  
Или Скукой? Не лучше, не хуже.  
Золотые мои, дорогие,  
Просто принцип иной обнаружен,  
Просто приоритеты другие.

\* \* \*

Сегодня день с утра так радужен и ярок,  
Что скукой жаль его унизить и тоской.  
Он мог бы без твоих придинок и помарок  
Еще отрадней быть, со шпилем над рекой.

Зачем ему твои досады и обиды,  
Неловкие слова, оставь их при себе,  
Так улицы светлы, так площади раскрыты,  
Он рад к тебе припасть и высветлить в толпе.

Ну вот, ты ветерком овеян и подхвачен,  
Тенями обведен и выхвачен лучом, —  
Неужто ж всё еще безрадостен и мрачен  
И тяжестью земной всё так же удручен?

Или тоской себе ты набиваешь цену  
И в мыслях сам себе навязываешь тьму,  
Как мрачный тот актер, что, выходя на сцену,  
На самом деле рад успеху своему?

## ЕВРАЗИЯ

### Фрагмент романа

#### **Andantino solenne e silenzioso**

Я когда закрываю глаза и сажусь в позу лотоса, тут же ко мне из мрака лебедь плывет; и в черном озере отражаются огни.

Много огней. Они вспыхивают и шевелятся в черной, густой, как масло, воде.

Лебедь подплывает ближе и превращается в огромный цветок. В лотос. Я знаю, что это лотос. У него крупные длинные лепестки, они сначала белые, потом внезапно вспыхивают золотом, а потом радужно переливаются. Живой сияющий лотос плывет во тьме. Я не хочу срывать лотос. Я только протягиваю к нему руки и глажу воздух вокруг цветка.

Так и в жизни надо: не брать, не насиловать. Не присваивать. Просто протягивать руки и гладить воздух вокруг своей любви.

Агиос Фос, Агиос Фос. Зачем я, как дурак, повторял эти слова? Откуда они пришли ко мне?

Может, я вычитал их из текстов Сети. Да, скорее всего. По экрану бегал, бегал глазами и наткнулся. Два слова, и на каком языке? Красиво звучит.

А еще губы сами повторяли: Цаган-Сар, Цаган-Сар. Это мне что-то напоминало. Звенящие слова. Звенят, как колокольчики на крыше монастыря. От них пахнет Востоком, но не Ближним, а Дальним. Белыми горами, у подножий бурлит белая вода, вершины обнимают и целуют кудрявые облака. Такие облака рисуют на китайских гравюрах.

Я бы тоже хотел так рисовать. Но у меня своя система. Я не китаец, и не японец, и не кореец, и не монгол. Хотя я могу запросто нарисовать монгольскую танку. Или китайский махровый пион с кровавыми лепестками.

---

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и Царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и Царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и Царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

Я выработал сам свой стиль. Он только мой и больше ничей.

Хотя я благодарен всем художникам, всем философам, всем богам во всех веках, что меня надоумили к себе самому прийти.

А кто же такой я?

Я такой, знаете, немного не в себе. Простой такой русский блаженный. Так меня называли в одном святом месте, куда я попал по своей воле. Сам задумал поехать, и скопил денег, и поехал. Вы знаете, я очень бедный. Временами даже нищий. Но это меня не волнует. Вы все думаете: без денег не проживешь. Еще как проживешь! Я вот бомжевал долго, два года, и ничего. Собирал на улицах, у помоек и в оврагах пустые бутылки, ходил с мешком и собирал, как грибы. Бутылки звенели у меня в мешке. Я радовался: бутылки сдам, пойду в «Спар» и буду долго там ходить и любоваться на всякие умопомрачительные яства, а потом куплю себе еды. Крошечку того, крошечку другого. Очень дорогой еды, но очень понемногу. Колбаски сальчичон сто грамм, сыра с плесенью три кусочка. Крабовый салатик положите, пожалуйста, на дно вазочки! Все, все, хватит. Это много, отбавьте, пожалуйста.

А потом надо подойти к витринам, где овощи, и попросту купить громадный пакет картошки. Здравствуй, милая картошка. Отварю тебя немножко.

На кассе я кассирше любезно говорю: а вы знаете, зачем я к вам в «Спар» пришел? Чтобы спариться с вашей холодной курочкой. Кассирша сначала на меня глядит, как на врага, а потом начинает дико хохотать. И все в очереди хохочут. Ну, мужик, ты весельчак! Ржу не могу! А зачем ты бабий хвост носишь, ты, часом, не голубой? А может, ты йог?

Я выхожу из магазина «Спар», Европа отдыхает, какая тут роскошь. В Европе нет осетров, а тут лежат, пожалуйста. В Европе нет такого творога и такого масла, а здесь горы. И потом, в Европе вот уж точно нет такой картошки!

...А может, это все райское блаженство как раз из Европы, а из наших деревень — только гнилая морковка и червивые яблоки далеко, в темном углу.

Меня зовут Андрей, я Андрей-воробей-не-гоняй-голубей. Так меня дразнили в школе. Фамилия моя Мицкевич. Почему я стал вот таким, немного тронутым? А у меня тяжелое детство было. Папа умер рано. Он был поляк. Его с детским домом привезли из Варшавы сюда, в Горький, во время войны. Какой? Ну конечно, Великой Отечественной, ну не афганской же. Вы же видите, я старый. И весь седой. Седой хвост. Я волосы специально не стригу. Только расчесываю. Расчешу утром, а то, что остается на гребешке, соберу аккуратно, вынесу на улицу, положу на землю и сожгу. Так я делаю в любую погоду. Волосы и ногти нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Это наша плоть. С ней темные сущности могут сделать все что угодно. Поэтому лучше жгите вашу частичку. Она не должна достаться Тьме.

Агиос Фос, Агиос Фос, Цаган-Сар, Цаган-Сар. Колокольцы! Они звенят в мозгу. Мозг — это такой храм с круглым куполом. Там молятся все народы. А когда народы умирают, их выносят из храма и несут на кладбище: на небо. Мать после смерти отца запила и так всю жизнь и пила. Сестры, Марина и Валентина, тоже учились пить. И меня пробовали в это дело мордой, как котенка, воткнуть. Я в отрочестве мог много выпить. В шестнадцать лет наедине, сам с собой, мог бутылку водки без закуски выпить. Правда, потом дрых без задних пяток.

Школу я закончил, не помню как. Аттестат потерял. В аттестате стояли разные цифры, я смеялся над системой оценок. Глупо это все, цифрами оценивать дар или бездарность. Бездарность превратит в дар только чудо. А дар можно потерять



в одночасье. Или даже пропить. Или просто придет Господь, сядет рядом с тобой, выпьет и скажет просто, тихо: «Давай сюда свой дар! Он тебе ни к чему. Я его лучше пристрою».

Потом я одно время играл в вокально-инструментальном ансамбле. Я был бас-гитаристом. Зачем-то нацеплял на лацкан пиджака комсомольский значок. Я бряцал по струнам и даже немного пел. У меня, знаете, приятный такой голос, баритон. Все говорили: учись петь!

Но я точно знал: музыка — не мое дело.

После репетиций я приходил домой и видел: мать валяется на пороге, вся синяя от водки, сестры сидят по углам, одна плачет, другая вяжет. И тоже поддатые, но слегка. И в печи угли тлеют, у нас было печное отопление. Так меня, между прочим, печь всю жизнь и преследовала, эти угли, красно мерцающие в приоткрытой дверце, эти дрова горящие, их треск, этот огонь, огонь.

А потом меня взяли в армию. Как раз был призыв.

В армии я хулиганил отменно. Мы ловили жабу и сажали ее на живот спящему старшине, под нательную теплую рубаху. И сразу нырк — по койкам. Старшина просыпался и орал от ужаса. Он не мог быстро вытащить жабу из-под рубахи, путался в складках. Верещал. Жаба там, у него под рубахой, металась, фланель вспучивалась, мы ржали неостановимо. Старшина в ярости орал: «Всех в наряд вне очереди! Всех на гауптвахту! Скопом!» Мы понимали, что всех-то он в наряд не отправит, но хототать прекращали и притворялись крепко спящими. А бедный старшина, чуть не плача, стаскивал рубаху, жаба выпрыгивала и скакала по полу казармы, старшина ловил ее рубахой и так, закутанную во фланель, выносил на улицу. Он не мог взять жабу голой рукой: боялся бородавок.

Я больше так никогда не издевался над людьми. Никогда так скверно не хулиганил.

Человек, он не достоин унижения. Никто и никогда не должен быть унижен. Это первое правило твоей жизни на земле.

Что есть армия? Служба и служба. И спанье в казарме, просто насмешка над спаньем: только ляжешь, а уже и вставать надо. Еще есть увольнительные. В увольнительные мы бегали к девчонкам. Там рядом было село, избы с жителями и избы пустые. Почему пустые? Может, хозяев в лагерь или в тюрьму забрали. Притом вся обстановка в домах оставалась. В городе бы давно разграбили, а в селе — да, мальчишки залезали, зеркала камнями били, посуду тащили, скатерки со столов за кисти стаскивали, но все так же висели в красном углу иконы, и качались перед ними мертвые лампы, и вилось на сквозняке кружево занавесок, ветер влетал в разбитые окна, и возвышались на постелях горы подушек, внизу большая, на ней поменьше, потом еще меньше, меньше, и наверху лежала трогательно самая маленькая, думка, — и стояли в солдатском строе рюмки в шкафу, и бегали по пузатым чашкам в буфетах и сервантах солнечные пятна, и мотался под потолком дырявый абажур, а лампу вывернули, лампа в хозяйстве сгодится.

Печально мне было в тех домах, печально и сладко. Там я впервые почувал сладость смерти: и трупную сладость, и небесную сладость, когда все мучительное, подлое уже кончится и ты полной грудью вдыхаешь сладкий воздух эмпирея, жилища блаженных. Да, там бы я хотел жить. Скажете, там не живут? Жизни там нет? Скажете, там тьма? Ну верьте, верьте в это.

Вы еще до другого понимания дорастете. У вас еще есть время впереди.

Вот в таких мертвых домах мы и встречались с нашими девушками. Вы сейчас будете морщиться и отворачивать носы: фу, групповуха! — а для нас слаще этого

дощатого облезлого пола и расстеленных по нему матрацев, слаще этих старых дырявых простынок, на них раскидывались перед нами наши нагие девчонки, наша голая молоденькая жизнь, не было ничего. Ну, вообще мало что могло с этим счастьем сравниться. Каждый на танцах уже выбрал себе кралю. Мы тайком, стараясь не хрустеть мерзлыми ветвями и не переговариваться громко, пробирались в пустой дом. Двери были открыты, давно сбиты замки. Замерзнем, это ясно; самый храбрый из нас искал дрова, самый умелый — растапливал печь. Умелый — это был я. «Мицкевича сюда! Он еще тот истопник, заправский!» Я привычно напихивал в зевло печи сначала мелкие ветки и щепу, совал мятую газету, швырял горящие спички, занималось пламя, потом я осторожно, одно за другим, подкладывал поленья. Огонь гудел. Труба гудела и выла, как собака над мертвецом. Мы передразнивали воющий огонь: у-у, у-у-у! Когда дом чуть прогрелся, а от стен печки шел ровный блаженный жар, девчонки застелили матрацы простынями, вместо одеял мы бросали на пол наши шинели, да когда мы обнимались, эти жалкие укрывашки нам были уже не нужны. Горячие тела, молодые! Радость, шепот из губ в губы!

Там была одна девушка, армянка. Все русские, она одна восточная. Она досталась мне. Ну, впрочем, она мне самому на танцах и понравилась. И это она выбрала меня, а не я ее. Она отвела меня в сторону, все мялись и топтались в медленном танце-обниманце, а армянка закинула руку мне за шею и поцеловала. Не крепко и вза-сос, а нежно. Очень нежно.

И вот как раз тогда я и понял: нежность — вот что самое великое. Нежность, выше ее нет жеста в мире. Навстречу другому — нежность. Любовь — это когда не трахают, а дарят нежность. Любовь — это не я, а ты. Как тебе лучше. Как тебе нежно и чисто, любовь ты моя.

Но если ты не хочешь, я не буду твоей любовью. Я покину тебя, если тебе так лучше.

Я не насилую тебя. Не присваиваю. Я даю тебе свободу.

Моя армянка обнималась на матраце со мной, раскидывала ноги, иногда я сажал ее на себя, очень осторожно. Рядом с нами обнимались другие пары. Всего четыре пары нас было в любви на полу, вроде как четыре стороны света. Можете называть это развратом; я называю и до смерти буду называть это благословением и счастьем. Разбитый графин лунно мерцал на голом столе. Разбитые чашки раковинами выгибались в старом буфете. Может, этот буфет оказался здесь при царе, еще до революции. Здесь пахло стариной, воском и медом; от тепла оттаяли и ожили летние мухи, они жужжали и пытались летать по дому, но, слабые, падали на половицы и нам на спины и головы. Моя армянка лежала подо мной, и я нежно целовал ее закинутое лицо. На ее лицо падал свет луны из окна. Разбитое стекло мы заткнули старой тряпкой. Но все равно уходило, уходило тепло.

Утром, затемно, еще звезды горели в небе, мы уходили из дома нашего счастья. Застегивали гимнастерки, надевали шинели. Девушки поправляли нам воротники. Они поднимались на цыпочки и целовали нас, и их щеки были мокры от слез. Мы все выходили во двор. Упавший забор лежал на снегу. Снег скрипел и кряхтел под сапогами, под валенками. Мы отделялись от девушек и шли по дороге вон из села, шли все быстрее и быстрее, и у околицы останавливались, как по команде, поднимали руки и махали девушкам на прощание.

Они махали нам.

Мы не знали, когда мы встретимся снова; старшина говорил, что нас внезапно могут снять с места и отправить на юг, в воюющую страну. «В Афганистан, что ли?» — пытали мы старшину. Он отмалчивался.

Армия моя закончилась в срок. В Афган мы не попали, билетов не достали, мороженого ели — эскимо. Я вернулся домой. Мать спивалась. Сестры повыходили замуж. Навещали мать, помогали ей. Первое, что я сделал, хорошо истопил матери печку. Она шупала дрожащими пальцами лысеющую голову, пыталась меня обнять, и только совалась ко мне, чтобы обхватить меня руками, как ее тошнило и рвало. Я мыл пол, укладывал мать на кровать и долго сидел рядом с ней, держал ее за руку. Со стены на нас смотрел с фотографии мой мертвый отец. Он умер рано, поляк Валентин Мицкевич, ему было всего тридцать лет. Он не пил, не курил, отчего умер, никто мне не сказал. Мать пожимала плечами: не знаю, просто пришел с работы, лег на лавку в прихожей и умер. И все.

Может, он умер от тоски по родине. По Польше.

От тоски умирают, это правда. Тоску ничем не забьешь. Не убьешь. Она очень живучая.

Настал срок, я женился. Эту девчонку я знал еще до армии. Веру. Имя-то какое у нее, Вера. И я в нее поверил. И до того она была хорошенькая! И очень молодая. Мне девятнадцать, ей шестнадцать. У нее челка до бровей, у меня волосы длинные, как у битлов. Я из армии письма писал одновременно Вере и ее подруге Рите. Как-то так получалось. Они обе мне глянулись. Но я вовсе не думал жениться. Щипал гитарные струны в своем ансамбле, обучился ремеслу краснодеревщика и делал в одной мастерской шкафы и стулья. Мастерская располагалась в сарае. Потом мы перебрались в подвал.

Так через всю жизнь и пошло-поехало: сараи, подвалы, чердаки, опять подвалы и сараи. А где еще жить философу?

Да, я стал философом. Потому что женился. И женился на Вере. Внезапно. Зашел к ней домой, на Автозаводе жила она. Вижу, сидят они с Ритой за столом и пьют чай с баранками. Меня пригласили выпить чашку. Я сел, выпил горячий чай, обжег себе глотку, вдруг встаю и громко говорю: Вера, выходи за меня. Она засмеялась от радости! А Рита заплакала. Так громко зарыдала и убежала в другую комнату, я пошел за ней, чтобы утешить ее, вижу, она на коленях кота Верочкиного держит и возит по нему лицом, шерстью, значит, слезки вытирает. Я сунулся к ней, чтобы ее обнять и утешить, а она как швырнет в меня кота! Кот мне лицо оцарапал. Глубокие отметины когтями оставил. Вера вызвала «скорую помощь», меня в больницу повезла, боялась, раны загноятся.

Поженились мы, а где жить? Сняли на Автозаводе комнатенку, у бабки, что ютилась в домике возле Северной проходной. Верочка немедленно родила мне погодков: Софочку и Юру. Софочка красавица, вся в мать. Юра красавец, весь в меня. А у меня тяга к краскам. Холсты на скопленные гроши в салоне покупаю, бумагу красками мараю. Тюбики, в них масло! Акварель, окунай кисточку в банку с водой! Я Вере заявляю: «Я буду художником!» А она мне так злобно: «А я сапожником, да?!» Я поступил в художественное училище, проучился там два года и бросил. Надо было кормить детей. Надо было работать.

Когда я из училища уходил, покидал мольберты, холсты, жадно напоследок вдыхал дух пинена, мне учителя говорили скорбно, как будто держали речь над моей могилой: «Жаль нам тебя, Андрюша, ой как нам тебя жаль. Ты талант. Зря ты уходишь. Заест тебя жизнь».

И верно. Жизнь меня заела.

Заела для того, чтобы я распрощался с ненужным телом и главным во мне стал дух.

Дух — это главное. Человек работает с духом. Он живет в мире видимом, да, но живет он только миром невидимым. Сначала он живет бессознательно. Ест, пьет, лю-

бится, спит. Как заведенная машина, шастает на работу. Хоронит близких, выпивает рюмочку на кладбище, заказывает панихиду и сорокоуст в церкви. И потом наступает время, и он сам умирает. Угасает, кто тихо и мирно, кто попадает в катастрофу, кто бесполезно борется с неизлечимой хворью. А смерть, вот она. От нее не отвертись. И человек подходит к этой черной черте, и тут его внезапно прошибает: а я-то, что же я в жизни сделал, неужели только ел, пил, бессмысленно вкалывал и беспробудно спал?

Хорошо еще, если человек задаст себе такой вопрос. А то еще и не задаст. Не сможет. И не захочет. Потому что он всю жизнь жил в бессознании к сознанию так и не пришел.

А кое-кто и сознает, кто он и зачем он тут. Сознать это, особенно впервые, часто очень мучительно. Человеку больно сознавать, что он конечен. Больно сознавать, что он бессилён. Больно сознавать, что он не может победить ненависть любовью, потому что часто любовь сильнее ненависти. И вот тут человек, оставаясь один, часто в голос кричит от боли! Потому что у него через сердце прорастают ростки любви. Любовь — это боль. Не каждый эту боль выдерживает.

И если выдерживает, поднимается на новую ступень. На ступень осознанной жизни.

Что такое осознанность? Это значит, ты видишь путь. Ты идешь по нему. Ты ясно видишь прошлое: свое и людей. Ты верно оцениваешь настоящее. Ты провидишь будущее. Вот был такой парень Нострадамус, он много чего видел наперед. И все это записывал. Его стихи до сих пор разгадывают, и каждая эпоха расшифровывает их по-своему. И много пророков на земле было, и все они осознали время, путь, себя, Бога.

Я, раздумывая обо всем этом, часто отрешался от мира. Верочка меня в магазин посылает: поди детям кефира купи! — а я в отхожем месте сижу, курю, для отвода глаз газетой шуршу. А сам думаю о бессознательном и осознанном бытии. Вера кричит: «Ты что, сдох там, что ли! Или у тебя понос! Или тебя кондратий хватил! Что ты там делаешь, дрянь такая, бездельник, паразит, козел вонючий?!» Это так ласково она со мной беседовала. Я голос подаю: «Сейчас иду! Тут статья такая интересная!» — «Про что статья, дурак ты?!» — кричит жена. «Про то, как Горбачев приказал спилить все виноградники!» — кричу я ей в ответ.

Потом кран открываю, и долго, долго льется вода.

Я не хочу выходить из туалета. Я хочу думать о жизни и смерти и быть наедине с собой.

И все же я шагаю в бешеный человеческий мир, беру сумку, беру из рук у Веры серебряную и медную мелочь и иду в магазин. И прихожу домой с батоном, килькой и кефиром.

А Верочка, пока я в магазин ходил, уже попробовалась водочки. У нее всегда под столом в спальне стояла бутылка. Я, когда женился на ней, даже не обращал внимания на то, что Верин отец старый алкаш: разве девочка пьет, разве женщина, мать будет пить! Знаете, еще как будет. Еще как Вера пила, так умело, так помногу, и с закуской, и без закуски, как мужик пила, мою мать она в питии обскакала и своего отца обскакала, и когда на праздники собирались в квартире у моего тестя мужики и бабы, Верочка круче всех пила, рюмку за рюмкой в рот опрокидывала, и я хватал ее за локоток: хватит! — а она стряхивала брезгливо мою руку, как паука: отстань! Я сама меру знаю! И сама себе цену знаю!

Она не знала себе никакой цены. Только притворялась, что знает.

Красавица была, да. Челка густая, шелковая, налезала на ярко горящие глаза. Шейка тоненькая, высокая. Фигурка как у куколки. Ножка крохотная, как у Дюймо-

вочки. А кожа такая нежная, что кажется, проведи по ней шершавой грубой ладонью — и царапины вздуются и вспухнут. И вот представьте, эта куколка заливает в себя водку литрами, как мужик, матерится, нигде не работает. А дети растут; и это я, я их ращу. Выращиваю, как свеклу, как морковку. Кто будет урожаем собирать?

Они в школу — мать к бутылке. Они есть хотят — мать ведет домой компанию, народ пьет-гудит, а детки под столом сидят, может, им, как кошкам или псам, какой кусок со стола бросят. Я барменом в кафе кинотеатра «Спутник» устроился, работа через день, денежка небольшая, с работы прихожу, измочаленный, а дома гульбище! Дети ко мне бросаются: папка, накорми! Я им кашу варю. Овсяную. Сразу много. Как собаке варят: целую кастрюлю, и туда, в кашу, кость кладу, ну, чтобы наваристой было. Стою у плиты, а из гостиной крики доносятся, визги: Вера, где твой благоверный, давай его сюда тащи, пусть выпьет с нами! Мужик он или не мужик!

Мужик ты или не мужик, а я его по морде вжик... Песенка какая-то жуткая привязалась, не отвяжется... Я выходил из кухни к гостям в фартуке, с ложки на пол капала каша. Вы, люди, говорил я тихо, и визжать прекращали, и все умолкали, пытались меня слушать, вы, люди, вы же люди, не звери, вы что орете как резаные? Вы зачем пьете до полного свинства? Напьетесь, и лежите на полу, и мочитесь, и блюете, а потом уползаете, расплзаетесь по домам, а я тут за вами убираю? Вера, зачем ты так живешь? Вера, ведь у тебя же дети!

Верочка только хохотала. Запрокидывала голову, закрывала длинными ресницами свои яркие, как лампы, глаза и закатывалась в хохоте.

А потом гости исчезали, и накормленные дети, со слезами и кашей, размазанными по замурванным щекам, засыпали, и мы с Верой ложились спать в общую нашу, уютную кровать, и я обнимал ее, ее худую потную спину, целовал ее нежную тонкую шейку, ее шелковый пьяный живот, и она вздрагивала всем телом под моими ласками, а когда я ложился на нее, она смотрела остановившимися глазами вверх, в угол под потолком, оттуда свешивалась невидимая паутина, я делал свое мужское дело, а она смотрела, тоскливо смотрела вверх. А потом тускло, пьяно спрашивала меня, и язык у нее заплетался: ну ты, Андрюха, кончай уже, ты скоро кончишь или нет?

Но, знаете, я благодарен моей жене. Именно с такой женой и можно стать философом. А кто такой философ? Это художник. А кто такой художник? Это тот, кто посредством образов, линий, красок и пятен, символов, знаков, письмен доносит до других, несмышленных, бессознательных, счастье высшего сознания.

Тот, кто напрямую работает с небесным светом.

Свет небесный. Думаете, это жизнь? Нет, это смерть. Да вы не бойтесь смерти! Вы, когда слышите это слово, вздрагиваете от ужаса, вас прямо передергивает от страха. Бросьте! Смерть — это не пугачка. Не фильм ужасов. Смерть — это и есть жизнь. Понимаете, мы рождаемся в смерть, а умираем в жизнь. Смерть — это превосходный опыт. Это переход, а за ним настоящая жизнь. И дело не в том, что об этом сказал Христос. Иисус многому хорошему учил, и вина людей, что они эти уроки не слышат, не видят вот уже две тысячи лет.

Вера рано начала мне изменять. Я терпел. Молчал. Меня приятели в бок кулаками толкали: избеи! Пьет, гуляет! Станет как шелковая! Я жену никогда не бил. Бить, что такое бить? Бить — это значит расписаться в бессилии. Бить — это значит себя убить. После того, как ты избил женщину, ты уже не жилец. Ну то есть ты живешь, понятно, ты не в грубу, а бегаешь по земле, но все, ты уже умер. Тебя нет.

Это так, не спорьте. Среди нас ходит множество таких мертвецов. И некоторых я узнаю в лицо. А иные носят маски, их не сразу отличишь.

Жарким летом не помню какого года я Верочке сказал: «Я еду на Тамань. Копать древний греческий город. Гермонассу». — «Где это?» — изумленно спросила жена. «На юге, — ответил я, — я оттуда нам фруктов привезу. Готовь два пустых чемодана!»

И Верочка приготовила мне два пустых старинных чемодана. Картонных, твердых, обтянутых свиной кожей, выкрашенной в красный, кровавый цвет.

Я записался в эту экспедицию, когда узнал, что там за работу денег дадут. И приличных. Мне надо было кормить жену и детей, а меня, недоучку, нигде не брали. Однако вся квартирешка наша была утыкана моими холстами, какие сохли, какие стояли сырые, и об них пачкались дети, и жена вопила пьяно, дико: «Леонардо... недовинченный!»

Я очень хотел рисовать. Вернее, не я хотел. Мною хотел это делать Кто-то другой.

Кто? Я все гадал. Светлая сила или темная? Бог стоял за моим плечом и водил моей рукой или дьявол? Дьявол запросто мог переодеться в Бога, я уже тогда знал это.

И потрясся я в пассажирском поезде в Тамань. Доехал до Краснодара-Главного, от Краснодара трясся в автобусе. Чуть не умер от жары. Раскопки на обрыве, у самого моря. Море серое, зеленое, мутное, у берега колышутся длинные темные водоросли. Поодаль пасутся два быка. Пастух приходил лениво, помахивал плетью, кричал: «Быча! Козя!» Быча и Козя быков звали. Мы к ним подходили, гладили их по белым звездам между рогов. Смирные они были, не бодались.

Парни ковырялись в раскопе, девчонки варили обед. Суп из пакетов, гречневая каша. Вечерами парни бегали в совхоз «Таманский», приволакивали оттуда трехлитровую банку сухого вина, его почему-то называли «Писистратик». Банка быстро заканчивалась; меня отряжали за другой. Я легко бежал босиком по заросшему, одичалому полю, среди полыни и ромашек, в небе вспыхивали первые звезды, все мое тело играло и пело среди степи, разнотравья, под мелкими звездами, я разрезал собой воздух, будто плыл в море. И я бежал тогда и понимал: счастье — вот оно, счастье. Я счастлив.

Обратно, с банкой вина, я уже не бежал, а размеренно шел, страшась вино пролить. Археологи встречали меня воинскими безумными кличами. Прыгали, как дети, в восторге. Мы глотали, хлебали теплое кислое вино прямо через край банки, улыбались друг другу.

Это было такое наше радостное степное причастие. Мы, никто, не знали, что это причастие.

Но мы причащались счастья, воли и моря.

Два пустых чемодана я и правда набил фруктами: грушами, персиками, абрикосами. Пока двое суток ехал до Горького, половина персиков и груш сгнила. Мы дома открыли чемоданы, и дети заревели: «Папа, почему все грушки порченые?!» Я брал гнилую грушу в руку, мякоть ползла между пальцами. Верочка презрительно пнула чемодан. «Дурак!» — сказала она веско и ушла в кухню. Она была трезвая как стеклышко.

Я сам сварил в кастрюле оставшиеся в живых абрикосы и персики. Бухнул чересчур много сахара, и получилось не варенье, а сладкий цемент.

Там, в Тамани, в степи, под звездами, когда все засыпали в палатках, я сидел, скрестив ноги, положив руки на колени, и медитировал. Я старался ничего не думать. Изгонять из себя ум. Я растворился в этом мощном, густом и терпком запахе

степных цветов и трав, в дрожащем теплом мареве, исходившем из земли, из ее выгибов, ям и сухих трещин; я глубоко вдыхал жаркий ночной воздух, и вдруг откуда-то веяло соленой прохладой, и я знал, это море целует меня солью и ветром. Я закрывал глаза, и перед глазами шевелились длинные зеленые волосы водорослей. Женские волосы. Я мысленно перебирал их, целовал их. Я воображал себя рядом с ласковой, нежной женщиной, и вот она плачет от счастья соленым теплым морем и обнимает меня руками, втягивает в себя, как в темную воду, обнимает меня землей. Земля, шептал я беззвучно, я когда-нибудь лягу в тебя, и мне будет так хорошо, как никогда не было ни с какой женщиной. Земля, ночь, жизнь, вы же все женщины. Сильнее женщины и счастливее ее нет никого и ничего в мире для бедного мужчины. Мужчина — одинокий скиталец. Он ищет, к какому берегу прибиться. Да везет не всем. Не всем.

Мне рассказали про ламу Итигэлова и про то, как он вот уже много десятков лет в Бурятии, в Иволге, сидит в дацане, и медитирует, и жив. Он умер, и он жив — вот что он сделал со своим телом. Нетленный и драгоценный, говорят о нем буряты; у нас в экспедиции в Тамани был бурят из Улан-Удэ, Домбо Мухраев, и он видел ламу Итигэлова. «Лама сидит под землей, на глубине почти трех метров, в кедровом коробе, вокруг ламы насыпана соль, и вокруг короба тоже насыпана соль. Он дышит очень медленно. У него внутренности теплые. У него кожа теплая. Врач измерил его биотоки. У него сознание шестимесячного младенца. У него растут волосы и ногти. Он погрузился в состояние самадхи пятьдесят лет назад. И ни следа тления. Ты знаешь, Андрей, тебе надо его увидеть». — «Нет, — помотал я головой, — мне не надо его увидеть, чтобы поверить. Я и так вижу. И так верю. Я тебе больше скажу. Я вот так же не умру, как он. Я тоже Будда». Мухраев воззрился на меня. Я видел, он сначала хотел возмутиться и грубо обозвать меня, оскорбить как-нибудь побольнее, защищая своего священного, густо посыпанного солью хамбо-ламу; потом расхохотаться. Но он вздохнул один раз, другой. Закрыв глаза и так постоял немного. Потом открыл глаза, и я заглянул ему в глаза, и мы светло улыбнулись друг другу. «Я все понял, — тихо сказал Мухраев. — Ты Будда». Тогда я испугался и решил обратить все в шутку. «Или сумасшедший».

Мы долго и легко смеялись. Но легче на душе не стало.

Уйти бы в Иволгу, уйти бы в Иерусалим! Я думал о святых местах Земли. Земля прогнила вся, сгнила, как та таманская груша в чемодане, но светились на ней в темноте мира особые круги, круги света, и важно было, пока ты живешь, войти в такой круг. Хотя бы в один.

Я мечтал о храме Святой Елены в Париже. Об Ангкоре, священном городе кхмеров. Я хотел увидеть пещерные храмы в Аджанте, стоять на коленях, сложив на груди руки, в храме Кандарья-Махадева в селе Кхаджурахо. О Стоунхендже, из-за огромных кромлехов там встает солнце, горит между вертикальных валунов белая ледяная луна, и можно услышать, как гудит под ногами земля, летящая сквозь войны и слезы, танцы и костры. Я мечтал о городе Капилавасту, где родился Будда Шакьямуни, царевич Гаутама; о городе Лхасе, где можно целовать камни, и твои губы сами поймут, что такое дзен. О храме Гроба Господня, где каждый год зажигается Благодатный Огонь. Мне сказали: если он однажды не вспыхнет, земля погибнет в этот год. Поэтому все так напряженно ждут огня во храме, истово молятся, стискивают руки.

Агиос Фос, Агиос Фос. Нет разгадки. Нет ответа.

Ты сам для себя загадка, сам и разгадка.

И вот, поскольку я не мог поехать далеко, к дальнему святому Кругу Света, я выбрал, что поближе.

А ближе всего было Дивеево, обитель Серафимушки Саровского.

Давно меня этот святой старец привлекал. Я о нем сначала прочитал стихи, такую маленькую книжицу, а там все про Серафимушку, и все стишками. Да складными какими. Я читал их вслух, шептал, всю поэму так и прошептал, а потом начал сначала. И потихоньку запомнил, и сам про себя повторял.

А потом прочитал о нем в старинной книге толстой. Разгромили рядом с нами мастерскую мертвого художника. Художник этот раньше иконописцем в церквях работал, иконы малевал и фрески. Мне его фамилию тогда сказали, да я тут же забыл. Тиуков вроде, а может, Пауков. Не помню. Он не только иконами, и живописью занимался. Когда мастерскую грабили, по снегу, по сугробам и грязи разбросали множество крохотных картонок, а на них — мир видимый: яблони, пески, речушки, люди в длинных одеждах купаться идут и уж тряпки с себя стаскивают, в прозрачную воду лезть. Живописные приемы у него были такие размашистые. Толстые, густые мазки. Выпукло писал. Ярko, краски на снегу издали светились. Люди растащили, а потом дворник пришел, все сгреб и выбросил в железный контейнер. Я успел спасти не живопись. Икону. Малюсенькую иконку преподобного Серафима Саровского.

Принес домой, поставил в шкаф, под стекло.

А ночью, когда Верочка дрыхла, неистово храпя, подходил, отодвигал стекло, вынимал иконку и нежно целовал.

И вот к нему-то, к Серафимушке, я и собрался в гости.

Родной он мне был.

Накопил денежек, купил билет на автобус до Дивеева. Собрал рюкзачок, на спину взвалил, ни с кем из семьи не простился. Пусть думают, ушел работать. В бар на сутки, белая рубашечка, галстук-бабочка. Полотенце через руку. Нагнуться ниже, еще ниже, сгорбить спину. Чего изволите? Кофейку чашечку? Какого: эспрессо, капучино, по-турецки, с перцем и солью?

Соль, видите, ее даже в кофе кладут. Везде она.

И на спине нашей она выступает, если уработаешься.

Автобус бежал вперед на четырех своих колесах, я закрывал глаза и просветлялся. Медитировать я мог даже в автобусе, даже при ходьбе. При ходьбе я повторял ту молитву, которую повторял про себя, внутри себя, молча, батюшка Серафим: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного». Очень мне по душе была эта молитва. Когда пьяная Вера на кухне била посуду, выливая из кастрюли суп, шмякала кусок мяса об кафельную стену — я эту молитву повторял.

Еду, еду. Еду долго. Наконец приехал, высадили нас. Я спросил, где монастырь. Мне указали. Иду, долго иду. Растет перед мной белая колокольня. Подхожу ближе, иду, иду — и вдруг падаю! На земле растянулся, как последний придурок! И встать отчего-то не могу, колочу руками и ногами по земле. А вокруг хохочут. Но никто, заметьте, руки не подает, сам, мол, справляйся. А то и Серафимушка поможет! Я помолился и встал. Лицо оцарапано острой щепенкой, ладони тоже. Колени разбиты, кровь выступает под штанами. А место-то ровное, ровнехонькое. Ни булыжника, ни доски, ни проволоки натянутой, дороги поперек. У меня даже пот на спине выступил. Как это так? На ровном месте грохнуться? И тут я сообразил: так меня проверяют. Ну, грешен я или чист. И как я к падению своему отнесусь.

Все мы идем и падаем.



Но не все поднимаемся.

И не все, поднимаясь, собирая себя, разбитых, по костям и осколкам, продолжают Бога хвалить.

Никто из нас не Иов. Но ведь Иов был. Был! Был реально! И дома его, и дети его, и скот, и драгоценности, и рабы его! Все у него было! А потом всего не стало. И сидел Иов при дороге, покрытый язвами проказы, паршой и песью, и протягивал руку, милостыню просил. А все мимо шли. И кто давал, клал с отвращением в изъязвленную ладонь хлеб и деньги, а кто и плевал в него, а кто и смеялся, обнажая веселые зубы.

А кто и пинал его вообще; в грязь ронял.

И что? Сидел прокаженный Иов в канаве у дороги и Бога хвалил.

Он ни на минуту не переставал верить в него.

Так и я тогда. Поднялся, отряхнулся, руки саднят, колени кровоточат, а я Бога хвалю. Мне говорят: ты, парень, ступай вон туда, там источник святого Серафима, зайди в воду, окупись три раза, и всю боль как рукой снимет и всю грязь смое! Я-то понял, про какую боль и про какую грязь мне толковали. Пошел, до источника дошел. Рюкзак сбросил наземь. Источник маленький, но, вижу, яма с водой глубокая. Как полезу? Разденусь догола? Нельзя, тут женщины. Стоят в очереди, окунуться. Женщины в рубахах, таких белых, до земли, вроде в ночных, а может, специально для омовения пошитых; мужики в кальсонах, а кто и просто в трусах. Ну, думаю, в одежде нехорошо, к Серафиму неуважительно, разденусь до трусов! Разделся, а забыл, что у меня трусы рваные. На зад дырка, и приличная, руку можно просунуть. Девчонка в белой рубахе на мой зад покосилась и прыснула. За ней другие захохотали. Бас над толпой купальщиков сердитый раздался: а вы что смеетесь? Нечестиво это! Милости в вас нет, люди!

Милости... милости...

Все умолкли враз. Хохот стих. И почему-то передо мной расступились, будто я был царь, священник, владыка или сам Господь. И как-то склонились все, скрючились, сгорбились, будто у меня, голого, попросить благословения хотели. У меня аж сердце замерло. Как во сне, двигался. Медленно подошел к источнику, вот лезть в воду надо. Сзади, за спиной, шепот: «Холодная...» Я понял, кто это шепчет. Дьявол это, и губы его, как белые черви, шевелятся.

Я дьявола не слушал. Шел вперед. Там земля такая сухая, под ногами осыпается; а дальше идешь, в воду когда вступаешь, там размытая мягкая глина. Ноги мои пальцами глину шупают, вминаются в нее, ее ласкают. Ласкать ведь можно не только руками, но и ногами; а превыше всего ласкать в любви можно и нужно душой. Обними меня глазами, обними меня душой! Как пред строгими богами, я перед тобой одной. Обними меня крепче да прижми к своей груди: мне так будет много легче позабыть... и перейти...

Это кто так пел? Человек по имени Чиж? А может, чиж по имени Человек? Все равно. Вода обожгла меня. Подступила к горлу. Сверху закричали: окунайся, паломник! Я набрал в грудь воздух и окунулся. С головой.

Что случилось со мной там, под водой! Вот никому не рассказывал, а вам расскажу. Я там, под водой, в купели, глаза открыл. Как жаба, как рыба. Веки распахнул. Иной мир. Надо увидеть. Надо, чтобы вода влилась в глаза. Прозрачный свет, холод, рядом тьма, и близко свет. Свет и тьма сплетаются, борются. Обнимаются. От них не уйти. Так люди тонут во тьме. Так они погружаются в свет. Святая вода, ведь это же вода света. Свят, свет. Все одно. Не различить.

Там, под водой, я внезапно увидел всю свою жизнь. Она, моя жизнь, повторялась, отражалась в бесконечных водяных зеркалах. Зеркала уходили в глубь пространства, выстраивались в ряд по темной дороге, внутри водной толщи. И в каж-

дом зеркале был я. Меня было так много, что я себя испугался. Не надо! — хотел я крикнуть. Уберите всех этих людей и оставьте в одном зеркале одного меня! Только меня! Но я широко раскрытыми глазами глядел на свои бессчетные повторения, и я понимал, что да, вот так я повторяюсь, в иных веках, а их будет еще много, в иных мирах, а их без счета, в иных войнах, а их с востока и с запада идет несметно, и надо много земных солдат, чтобы те войны переплыть. Нет! Надо много богов, и земных и небесных, чтобы те войны — остановить! Какие это боги будут? Как их будут звать? А может, это будут не боги, а богини? Хватит уже мужиков, слишком много в богах силы, нужна женщина, в ней вместе и сила и нежность!

Так, может, новый бог — это будет женщина?

Новый бог! Эй, ты святотатец! Нет Бога, кроме Христа, ибо Он воскрес! Читай Иисусову молитву, дурень!

Кто это крикнул надо мной? А может, прошептал?

Я, сидя под водой, прочитал мысленно: Господи Иисусе Христе, сыне Божий... — и сказал спасибо всем зеркалам: спасибо тебе, Господи, что Ты дал мне увидеть меня в годах и в веках, меня как всех людей, ибо все на свете люди — это и есть я! И как только я прочитал Иисусову молитву и поблагодарил Бога с его тысячьо зеркал, где отражается тысяча душ, меня мощная сила вытолкнула из воды, я вылетел наружу, темечком кверху, и я опять увидел землю и людей на ней и дышал тяжело, хватал ветер ртом, зубы мои стучали чечетку, я мерз на ветру и ежился, крючился и смеялся от счастья, и люди вокруг кричали: окунайся еще! Еще! Три раза надо окунуться!

Я глубоко вдохнул и нырнул еще раз. Вылетел из воды как пробка. «Третий раз!» — мне кричат. Я глаза выпучил. Опять воздуха глотнул — и погрузился в воду с головой. Выскочил. Стою, дрожу. Зубами стучу. Не могу с места двинуться. А на душе так легко, прекрасно, счастливо. Эх и счастливый я стал тогда! Счастливее Бога!

А что смеетесь, Бог, Он тоже человек. Если человека Он создал по Своему образу и подобию, то, значит, и Он человек, тут даже сомнений быть не может никаких.

Вылез я из купели. Полотенца у меня нет. Мне его протянули сердобольные люди. Я растерся насухо, оделся. Ободранные руки, локти и колени перестали болеть. Мне указывают: во храм, во храм иди! Я тихо пошел и глубоко дышал. Церковь большая, белая, свежеекрашенная. Вошел внутрь. Службы нет, читают часы. Я подошел к иконе, странная она, как картина. Там сюжет: красивая женщина стоит перед Серафимом, а Серафимушка перед красавицей на коленях. И лицо умильное, поднял к ней лицо и сложил на груди руки, ладонь к ладони приставил — так и индусы руки складывают, творя намасте. Дошло до меня: это Богородица стоит перед батюшкой Серафимом, в короне с яхонтами, с павлином на плече. Я жадно изучал, как художник написал Ее лицо, как выписал носик, глазки, бровки круглые, восторженные. Уж такая милая! Такое ощущение у меня было, что картина мироточит. Я подошел ближе и украдкой потрогал поверхность. Холст. Крупнозернистый. Краска масляная. Очень тонко наложена. Тончайшие лессировки. Но миро, конечно, никакое по холсту не ползло, а жаль.

И все же, когда я поднес руку к лицу, я вдохнул странный нежный, тонкий запах. Ему я не нашел объяснения. То и дело я подносил к носу ладонь и нюхал ее. Миро, чистое миро! Мне стало казаться — рука моя в душистом масле. Я перекрестился ею. И встал перед этой картиной на колени.

Я стоял на коленях и молился Серафимушке и Богородице, каменные плиты церкви холодили мне разбитые колени. Я подумал: как же можно над молитвой смеяться! Кому-то верующие в Господа кажутся придурками. Как можно смеяться над верой! Смело и свободно! Открыто и нахально. Смейся не хочу. И не только

смеяться, но и даже издеваться. Иронизировать. От иронии до убийства — один шаг, шагочек. Черствая душа быстро двигается к жестокости. А жестокость — она не просто глумление над святым. Верь себе в святое, верь на здоровье, я не верю, ну я просто мимо иду, тебя, дурака, не трогаю! А жестокости надо обязательно причинить боль. Как ее причинить? Обидеть. Растоптать. Ударить. Убить. Цепочка простая и стальная. Звенья не расцепить.

Вот так бы нарисовать картину! Вот такую!

Чтобы перед нею вставали на колени и молились.

Неужели мне удастся создать когда-нибудь такое полотно? Неужели я сподоблюсь такого счастья, и перед ним будут от счастья замирать люди? Это редко на земле бывает. Но все же бывает. Художник не к успеху идет, совсем не к нему. К успеху идет только рыночный торговец. Ему важно быть знаменитым, чтобы как можно дороже продать свой товар, и как можно больше товару, горы, мешки, и хорошо заработать. Торговцу надо кормить детей. Да ведь и художнику надо кормить детей! Только художник сидит себе в мастерской, сосет лапу, как медведь, и пишет то, что не продается.

А потом художник умирает.

А потом, через сто лет, через двести, его картины находят на чердаке или в подвале, и они вдруг начинают стоить дорого, очень дорого, страшно дорого, столько не стоят ни золото, ни бриллианты, ни платья, ни шубы, ни дома, ни машины. Одна картина этого забытого мертвеца стоит столько, что на эти деньги он, живой, мог бы купить себе дворец и в нем безбедно жить до конца дней. Жить и работать в счастье. Писать свои полотна.

Стоп. А если внутри счастья он не мог бы рисовать?

А зачем рисовать великое горе, когда тебе еду на золотых блюдечках подают?

А зачем писать великое счастье, когда у тебя есть рядышком свое, невеликое, малюсенькое, уютненькое, славненькое?

Я стоял в храме на коленях и крестился, рука моя летала, душа пела, я, подняв лицо к Серафимушке и Богородице, беззвучно пел хвалу и славу им обоим. Издалека, от царских врат, доносился монотонный голос. Женский. Девушка, а может, женщина, а может, старуха читала ежедневные церковные молитвы. Все по правилам. Все по расписанию. Везде расписание, и везде дисциплина. Строгий обряд. Не смей его нарушить. Так во всех храмах, не только в православном. Никогда я не был в гостях у Будды, но представлял: так же духмяные свечи горят, такие же лампы, лики азиатских святых смотрят со стен и такая же позолота на буддийских иконах, они их называют танки. Танки, винтовки, пушки — к бою!

Так, милый, в храме шутить нельзя.

Я разогнул спину и встал. Мимо меня проскочили, прошуршали черными юбками молоденькие девчонки. То ли прислужницы, то ли послушницы, да какая разница. Они покосились на меня, и я услышал, как одна хихикнула, а другая что-то прошептала. Я понял: они смеются над моим конским хвостом, затянутым резинкой.

Я вышел на улицу, солнце палило. Пошел по дороге. Вижу, озерцо. Пруд, и лягушки квакают. Я подошел ближе к воде, сел на берегу, снял рюкзак и вынул из пакета бутерброд с сыром. Сыр засох. Хлеб зачерствел. Лучше этого засохшего бутерброда ничего в жизни не едал. В пруду плескалась мелкая рыбка, может, монастырские караси. Белый монастырь возвышался вдаль, как политый белой глазурью пряник. Пели птицы. Воды с собой я не взял, так наклонился, зачерпнул в пригоршню и попил прямо из пруда: грязная, да, но не заболеть, нет, здесь же все святое.

И тут глаза мои скосились, повело их вбок, будто их кто-то за ниточки потянул, и я взглядом наткнулся на странный камень. Он лежал в траве, в приозерной

осоке. Я дожевал хлеб с сыром, протянул руку и цапнул камешек. Он был величиной с мой большой палец. На одном его боку была процарапана буква М, на другом просвечивала изнутри человеческая голова. Лицо. Я узнал лик Серафимушки. И буква, и лицо были нерукотворные. Я крепко зажал камень в кулаке. Он согрел мне руку. Чем дольше я держал его в руке, тем горячее он становился. Настал момент, когда я больше не смог его держать, так он разогрелся. Я бросил его на землю, себе под ноги. Камень лежал ликом вверх. Серафимушка улыбался мне.

И тогда я наклонился, взял камень, поцеловал его и утолкал в рюкзак.

Я все понял, понял сразу: М — это Матерь, ну, значит, Богоматерь, а еще Молитва, а еще я сам, Мицкевич; а Серафимушка — мой покровитель, мой отец в духе, духовник мой, там, в небесах. Они, Серафимушка и Богородица, мне навсегда, на всю жизнь послали о себе память.

Скажете, мистика и бред сумасшедшего? Ну так я же и есть блаженный. Я известный придурок. Мне и жена моя Вера так всегда говорила. Таким уж меня мать родила, мне что, теперь к ней в утробу попроситься: мама, роди меня обратно? Давно уже в сырой земле моя мать. Спилась она вчистую. А вот я пить бросил давным-давно. Когда однажды, с друзьями, после армии, крепко набрался, шел по переулку, на меня набросились из-за угла, я развернулся, мышцы у меня были молодые будь здоров, стальные шары, мускулы железные, я только махнул кулаком — и мужик плашмя грохнулся на асфальт. И из-под виска у него кровь потекла. А если стукнуться о землю виском, знаете, это верная смерть. У какого Серафимушки я отмолю этот грех? Себя отмою?

Я проспался, наутро отхлестал себя перед зеркалом по щекам, щеки горели огнем, я сказал себе: Мицкевич, все, ты пить не будешь, больше в рот не возьмешь.

И не беру. Только по большим праздникам рюмочку пропускаю.

Вот, например, в Пасху. Очень люблю так: кусок кулича, яичко крашеное, уже облупленное, ложка пасхи с изюмом и рюмочка кагора напротив. Натюрморт. Я однажды его так и написал. Особенно хорошо у меня получилось голое яйцо.

Нет, красное вино тоже выглядело как живое. Кровь Господа моего.

Я работал на всяких-разных работах. Моя семья никогда без еды не оставалась. Понимаю, работенки эти все были неважнецкие; но делать мне было нечего, я быстро хватал все, что плохо лежит. Любой труд в почете, твоя душа должна быть к нему расположена, и мытье полов надо видеть как праздник, и сваи забивать, будто бы танцевать с ними в царском дворце. Так я себя уговаривал, и у меня получалось. Получалось не плакать о своей простой жизни на дне огромного земляного казана, где нас, людей, варили, как рис, запекали, как свинину или утку. И меня варят! И тебя варят! Вопрос лишь в том, из кого блюдо вкуснее выйдет.

Устроился я проводником, ездил в вагонах скорых поездов, но и в пассажирских тоже работал. Мотался по великой стране. Да, велика наша великая страна, землю всеми дорогами не охватишь! Как подумаешь о тайге Сибири, об Урал-Камне, о Приморье, оторопь обнимет. А на запад если поехать? Украина, Белоруссия, Молдавия? Это теперь все они — чужие страны. А тогда это была вся наша огромная родная Советская страна, и я, садясь в поезд, обустроиваясь в своем купе для проводника, с замиранием сердца, гордо думал: вот поедем, и куда на сей раз поедем? На юг, постучим колесами на юг, а юг велик! В прошлом месяце ездили в Астрахань, а теперь тарахтим в Адлер, через Краснодар. Ух, фрукты родимые! Двое суток трястись обратно, ну так я теперь ученый, после Тамани, я спелых не наберу, только зеленых: незрелых яблок, твердых, как кирпичи, персиков да даже вино-

град доведу, есть такой особый сорт «кардинал», ягоды крупные, что твои яблоки, и если аккуратно положить его в железную сетку, ну, даже в садок для рыбы, то у сиротки-винограда есть шанс до Горького дожить.

Я представлял радость детей, и сердце мое расширялось от восторга и пело!

Обязанности проводника только с виду простые. Проводник без дела не сидит ни минуты. Уборка. Чистка туалета, язви его в корень. Подмести полы, а то и вымыть. Вытрясти ковры. Раскатать их по вагону. Кому чай, кому кофе. Кому с печенником. Вам просто кипяточка? Титан горячий! Разбавляйте на здоровье ваш сухой суп! Все кипит у меня в руках. Я старательный, я все умею. Ну если не все, то много чего. Бегаю, конь! Хвост за спиной мотается! Услужить всем готов! На меня косятся: ах, какой у нас проводник хороший, такой заботливый! Лучше отца родного!

Кое-кто мне пытался в ладонь мятые рубли, трешки совать. Это, значит, в благодарность. Но я не брал. Я так считаю: в дороге человеку деньги всегда нужны. А мы, проводники, на казенном харче. И на казенном белье спим. Нам карты в руки.

Да, карты. Ну какая дальняя дорога без карт. В карты в вагоне играли все — и стар и млад. Детишки сидели, картишки мусолили: «Это дама? Это мама! А это король! У него главная роль!» Я не ругался, карты ни у кого не отнимал. Пусть люди веселятся. И так тоска.

Засаленные карты, холодная куриная нога торчит из банки. Соленые помидоры разложены на обрывке газеты. Сваренные вкрутую яйца очищены, и искрошенную скорлупу выбрасывают в открытое окно, в жаркий ветер, и ребенок вопит восторженно: «Птичкам!»

Меня проводники почему-то взяли да обозвали — Андрюха-два-уха, я заходил в туалет, ну якобы его почистить, и на себя в заляпанное мылом зеркало долго смотрел, дергал себя за уши, корчил обезьяньи рожи. Нет, уши вроде не торчали. А чего тогда насмеваются?

Там, в этом поезде, я и встретил ту проводницу.

Встретил, да забыть ее не могу.

Занозой в сердце вошла, да ту занозу я так и не вынул.

Я увидел ее, когда она с начальницей поезда быстро шла по вагонам. Куда? Ну откуда мне знать? Сперва в один конец поезда прошли. Я думал, не вернутся. Нет, обратно идут. Я в купе свое юркнул и дверь приоткрыл, чтобы эту девушку еще раз увидеть. Серая юбочка проводницы, короткая, по середину бедер, ноги худенькие, ровные, как березовые бревнышки. Пиджак форменный плотно сидит. Сама худая, а грудь высокая. Тонкий пирсинг блестит в углу рта. Шея тонкая, волосы черные, густые, копной на спину спускаются и красной заколкой заколоты. Видите, я даже помню, какого цвета у нее заколка была!

Цокает каблуками мимо моего купе. Я захотел увидеть ее лицо, и чтобы подольше посмотреть, рассмотреть. Что сделать? Надо было думать быстро. Вернее, совсем не думать. Отключить ум. Я и отключил. В одно мгновение сдернул с себя рубашку, высунулся из купе, наклонился и заблажил: «Ой-ой! Ай-яй-яй! Черт меня возьми совсем! Ведь у меня же, наверное, аппендицит! Ой-ёй-ёй как больно! А-а-а!»

Начальница и проводница встали как вкопанные. Начальница побелела. Проводница, наоборот, вспыхнула. Сжала губы. Скулы ее горят, черные огромные глаза сверкают. Она, когда волновалась, вся, как алмаз, сверкала. Это я потом наблюдал. «Вы извините, — оборачивается к начальнице, — я товарища сейчас посмотрю!» И быстро вошла в купе. И закрыла дверь.

Ну все, как я мечтал.

«Ложитесь на полку, — сердито говорит, — спустите джинсы!» Я джинсы расстегнул. Обнажил живот. Она наклонилась. Руки мне на живот положила. И вот, верите ли, нет, да можете не верить, мне безразлично, какая разница, только когда она мне ладошки на живот положила и стала живот нежно так, осторожно щупать, я взял да и кончил! Весь сотрясся, как в лихорадке, как под током! Будто голым проводом она меня коснулась, не руками! А она еще более сердито, просто гневно говорит мне: «Что вы врете! Какой аппендицит! У вас аппендицит уже давно был! Вы прооперированы, у вас шов, вот!» И опять руку мне кладет на живот, и шов гладит. А сама, вижу, мое состояние заметила. И я почувствовал, что ее ко мне тянет. И, не думая уж вовсе ничего, я схватил ее, руки у нее на спине сомкнул — и на себя повалил! Она лежит на мне животом, тихо смеется. «А мы, — говорит, — купе-то не замкнули, а там, за дверью, ведь начальница стоит, ждет, когда я выйду!»

Я целовал ее, и под моими губами плыли ее губы, и обжигал мой рот лютым холодом ее ледяной потешный пирсинг.

Она высвободилась, встала. Я отвернулся к стене, меня всего трясло. Она осторожно открыла дверь, выглянула в коридор. Никого. Обернулась ко мне. Я никогда не видел на лицах у людей такой радости. Веселье просто брызгало у нее из глаз, из волос! Вокруг нее летали искры! Она повернула вагонную защелку, и мы оба стали судорожно сдирать с себя тряпки. Чуть в ключья одежду не порвали. Это было опасно, раздеваться в поезде догола. Может, начальница обо всем догадалась и вышла покурить в тамбур! А сейчас вернется, заколошматит в дверь! И нам, голым, такое покажет!

А что нам можно было показать? Что с нами можно еще было сделать, кроме того, что с нами тряслось?

Я никогда так сильно и радостно не желал женщину. И у нее, чувствую, тоже такого, как сейчас, еще не было. Трудно мне об этом говорить. Знаете, душа ведь не помнит ничего телесного. Душа помнит только свою радость. А это тогда была такая чистая, чистейшая радость, что я задыхался от радости и всерьез боялся, как бы мне от нее совсем не задохнуться. Удушье счастья! Такое тоже бывает. Да все на земле бывает. Дельфины свистят про любовь на своем языке и в смертельной тоске прижимаются к ногам голой богини, выходящей ночью из моря. Мужчина задыхается от радости, обнимая свою женщину, и он уже Бог, и она уже божество, и они оба поднимаются над своим ложем, неважно, что это и где это, кровать это, диван со старыми вылезшими пружинами, морской песок, выжженная земля пустыни, узкая вагонная жесткая полка. Они тихо и медленно поднимаются над ложем, над миром, они парят, летят, любовь — это полет, любовь — это невесомость, пусть поезд стучит и грохочет, пусть трясется утлая, нищая железная повозка. Они поднялись, они парят. Им наплевать, что о них скажут и что подумают. Они сейчас не говорят и не думают. Они — объятие. И больше ничего. Объятие и радость. Объятие и воля.

Объятие и слезы.

Я там, в поезде, ночью, под грохот колес, однажды сказал ей: «Знаешь, я тебя узнаю везде, и даже на Суде». Она хрюкнула смешливо: «Это на каком таком суде? Я что, сопру у тебя из чемодана какую-то дорогую хреновину, и ты что, на меня в суд подашь?» Долго и беззвучно смеялась. Голая, завернулась в простыню. Сквозь мокрую простыню просвечивали ее худые позвонки. Я отвел прядь черных ночных волос с ее загорелого лба и тихо сказал: «Дурашка, на на людском суде, а на

Божьем Суде. На Страшном». Она прыснула еще пуще. Закрывала рот ладонью и вся тряслась в хохоте. На ее глазах от смеха выступили слезы. Отсмеявшись, спросила: «На страшном суде? Это с пытками, что ли? С побоями? И каленым железом будут прижигать, да?! Во страх так страх! Не выдержу, точно!» И опять в смех.

Я смеялся вместе с ней. Старался тихо смеяться, чтобы из соседнего купе нам в стенку не застучали, что мешаем спать. Я просто побоялся сказать ей, что мы можем вообще никогда больше не встретиться. Но она так счастливо смеялась! Так она была тогда счастлива! Да и я тоже. И я не смог.

На полустанках, ближе к югу, я покупал моей девушке спелые сливы и черный виноград и нес эту покупку в кулке в вагон; пока нес, кулек промокал, бумага разваливалась, и я брал ягоды в пригоршню. Бежал, выставив пригоршню с ягодами перед собой, чтобы не запачкать китель проводника, к вагону, где ехала она. «Где проводница?» — «А на перрон вышла». — «Так мы же скоро отправляемся! Поезд десять минут стоит!» — «Ну, значит, товарищ, наша хлопотунья здесь останется. А что, хорошо, юг — благодатное место!»

И вот я видел: она навстречу мне бежит, и руки у нее сложены в пригоршню, и у нее в руках — размокший кулек с сырым от теплого промчавшегося ливня виноградом. И она бежит ко мне с этим виноградом, и я с виноградом бегу к ней. А тепловоз уже дудит, уже гудок несется вдоль по платформе, вагоны начинают медленно утекать, убегать от нас, и я, смеясь, подсаживаю ее на ступеньку: лезь, ягодница! — и карабкаюсь вслед за ней, а поезд набирает ход, и мы стоим на ступеньках вагона, хотя давно уже должны были их сложить, стоим с мокрым виноградом в ладонях, и я протягиваю виноград ей, и она белыми, светлыми зубами, улыбаясь, откусывает грязный, невымытый виноград прямо от ветки, от лозы.

А потом она протягивает свой виноград мне.

Я потом, много лет спустя, вычитал в одной священной толстой книге: хлеб и виноград — вечный ужин влюбленных. Да, да, это мы были! Это с ярким смехом на губах, с виноградом, и дорога несется мимо, все мимо и мимо, мимо несутся время и земля, там, в канувших во тьму веках, были — мы!

Да ведь нам нельзя было слишком уж обнародовать свое чувство перед начальницей поезда. И перед другими проводниками. Все, конечно, обо всем догадывались, но молчали. Думали: а, ерунда, придет состав на станцию Горький-Московский, зарплату проводники получают, в ведомости распишутся, и вся любовь.

А мы? Что мы? Мы были просто мы, и мы, как все на свете, жили одним днем. У нас было только сегодня, никакого завтра у нас не было. Но ведь у любого человека нет вчера — его вчера умерло, и завтра нет — его завтра еще не пришло. Есть только здесь и сейчас.

Здесь и сейчас!

Вот завет. Его не вытравишь, не сотрешь, не соскоблишь эти письма ни с камня, ни с железа, ни с пергамента, ни с бедной бумаги. Здесь и сейчас, ты живешь здесь и сейчас, и больше ничего нет и не будет.

Она стучала мне в дверь купе условным стуком: два раза быстро и подряд, тук-тук, и потом еще раз, отдельно: тук. Я открывал дверь, впускал ее, она обхватывала меня худыми, как палочки, быстрыми руками, я обнимал ее худенькое подвижное, ртутное тельце, она была худенькая, моя девочка, только с роскошной, жадной до любви, до мужских губ губдю. Я видел, как она хотела нежности, как стосковалась

по нежности. На столе, в одноразовой пластиковой тарелке, уже лежали вымытые груши и персики. Пылающее солнце било жадными огненными лучами в пыльное окно. Я задергивал вагонную рваную штору.

И мы были вместе.

Вместе — это ближе, чем рядом.

Когда мужчина становится женщиной и мужчиной...

Когда я ее обнимал, я становился ею. И оставался собой. Это очень трудно объяснить.

Она спросила меня, один ли я живу. Или с семьей. «С семьей, — я старался весело улыбаться, — у меня жена и двое детишек». Ага, равнодушно кивнула она. И стала смотреть в окно. За окном проносились дома, рельсы, тучи, крыши, солнце, леса, огороды, дымы. Оголтело неслась мимо нас наша страна, и вместе с ней бежали мы. Нет. Рядом, но не вместе. Она сама по себе, мы сами по себе. Она наша надзирательница, мы ее заключенные. Она нас пасет, а мы ее коровы и быки. Кнут взмывает над потными скотскими спинами! И бьет! Паситесь, народы! Вот ваш кнут, а вот ваш пряник. Нам в нашей юности много чего запрещали. И чем больше запрещали, тем сильнее давил наш горячий воздух на крышку железного жуткого автоклава: изнутри.

Дави, дави, социум! Сейчас взорвется котел, и стальная крышка отлетит в сторону! Я давно уже из тебя вышел. Удалился от тебя.

Сейчас я человек вне общества. Я как хочу, так и живу. Пусть это моя иллюзия. Но я свободен.

Я свободен... словно рыбка на крючке... я свободен... словно вошь на гребешке...

Кто это поет? Кто это пел?

А может, это пел я сам?

...Я порылся в кармане штанов, добыл пачку сигарет и спички, чуть опустил вагонное стекло, в щелку втекал воздух дальних земель, я закурил, затягиваясь глубоко и печально, и стал беречь пламя между сложенных ладоней.

...Она смотрела в окно. Ее форменная пилотка лежала на столе, рядом с огрызками яблок и персиковыми косточками. Губы ее едва видно дрожали. Я поднимал руку. Пальцы мои превращались в губы. Я целовал ее рот пальцами. Целовал ее глаза глазами. Я открывал ей великую, святую тайну: можно говорить молча, можно обнимать незримо, можно целоваться не ртами, а сердцами. Вне грубых прикосновений, вне слепых и жадных ошупываний любовь еще сильнее. Не обязательно в любви должны тела приклеиваться друг другу. Души не ковыряются в других телах. Не нанизывают мясо на горячий вертел. Не высасывают из плоти вкусные соки. Трехмерный мир только кажется сладким. Он не сладок, он страшен. Это мы ему прощаем; он нам не прощает.

Он не прощает ничего. Ни правды, ни лжи. Ни горя, ни радости.

Правда и ложь — две стороны одной медали. Это мирская медаль. Все, кому не лень, ее себе на грудь цепляют.

Одна истина надо всеми. Надо всем. Над правдой и враньем. Над гордыней и стыдом. Над дьяволом и Богом. Да, над Богом тоже, ибо и Он идет, бредет к истине.

Души, обнявшиеся воистину, не умирают.

Гудели поезда. Они плакали и рыдали.

Я вез краснодарские зеленые груши в большом, как кладовка, чемодане.



Я смотрел на часы на запястье и считал станции. Она смотрела тоже — не на свои часы, у нее их не было: на мои. Мы оба считали станции, что оставались до Московского вокзала. Мы ждали, надеялись: а вдруг время остановится! Не остановилось.

Поезд подошел к перрону. Ее не было рядом. Ее не было вместе со мной.

За полчаса до вокзала она поцеловала меня в последний раз и ушла к себе в седьмой вагон. Седьмой? Да, кажется, седьмой. Нет, вру. В шестой.

Я вышел в жару, в толпу и гарь, в пыль и крики, и я улыбнулся и послал Господу моему эту улыбку. Чемодан оттягивал мне руку. Надо мной просто пролетел черный, худой, смешливый ангел. И я его узнал, я сказал ему своим телом и своей душой: жить мы с тобой будем долго и счастливо, и умрем в один день, и в один день воскреснем. Только мы с тобой никогда об этом не узнаем. И мы с тобой никогда, никогда не будем. Ни вместе, ни рядом.

А дети росли. Жизнь расширяла, раздвигала их изнутри. Вытягивала вверх.

Софочка становилась настоящей красочкой. Ее, такую красотульку, изнасиловал одноклассник в подъезде. Она понесла. Пришла ко мне: папа, я сделаю аборт! Я положил ладонь ей на губы. Придвинул лоб к ее лбу. И тихо, очень тихо, так, что сам себя не слышал, ей сказал: «Не смей. Это убийство. Не бери грех на душу. В тебе живет человек. Его нельзя убить. Его можно только родить. Потом мне сама спасибо скажешь». Софка щупала мне лицо большими, как блюдца, глазами. Блюдца поплыли, замерцали, вспыхнули, вытекли и стекли по щекам. Она долго сидела перед мной с закрытыми глазами, из-под век текли слезы ручьем.

Аборта никакого не случилось. Родился Илюшенька, мой первый внук.

А Юрочка испортился. Попортился, как тот таманский абрикос. Подгнил изнутри. Из дома стали исчезать вещи. Исчез телевизор. Исчезла кофемолка. Пропал музыкальный центр — я украл бревна и доски в сломанном доме, изготовил два красивых стола и четыре стула, тайком продал их и на те запретные деньги модную технику купил. Из шкафа стали пропадать костюмы. Исчезли модные Верочкины джинсы. Потом из-под подушки у Веры исчезли деньги — пенсия ее пьяницы отца. Вера у папани пенсию украла, а у Веры ее тоже украли. Кто? Софочка плакала и отпиралась. В кровати заходился в плаче Илюшка. Юра стоял перед мной, и я, Будда, видел все насквозь. Я был его рентген, и его врач, и я пристально разглядывал все на черно-белом негативе — и гниль, и болезнь, и переломы, и опухоли. Когда он успел так сильно захворать? А кто следил за его здоровьем? Кто мыл и чистил его душу?

Я не делал этого. Вина на мне. Кровь и боль сына моего на мне.

О жене уж молчу. Несчастливая она. Жалел я ее. Всегда. И буду жалеть. До смертного часа.

Хотя, знаете, жалость — плохое чувство.

Жалость — это ты прибегаешь не к силе, а к слабости. Жалость — это коленки твои трясутся, а глаза наполняются солью. Лама Итигэлов сидит, усыпанный солью, но она не тает; а если соль растает и льется водой, нет в ней уже мощи, силы, звездного кристального света. Соль земли! Она не должна таять. Художник силен, он — огонь, он не плачет. Огонь горит, он — сила. Огонь никого не жалеет. Но без него нам не прожить.

Юрка, в компании пьяных парней, снял с прохожего мужика часы, они все ограбили беднягу, а потом крепко избивали, а потом, убоясь правосудия, убили.

Всю команду отыскивали. К нам домой тоже пришли из милиции.

Юрку повязали, и взяли, и затолкали в милицейскую, с красной полосой, синюю машину. Повезли. Увезли.

Я не пошел на суд. Я не мог. Я не мог увидеть моего сына за решеткой в зале суда.

И Верочка не пошла: она напилась в дымину.

Пошла Софочка. Взяла за руку Илюшку и повела смотреть, как Юру судят.

Ему присудили четыре года колонии строгого режима.

И я понял: все, он из колонии вернется уже таким, что ему опять туда захочется.

Он уже без неволи не сможет.

И верно; одна ходка была у Юрки, другая, третья, а сейчас уже и четвертая. Отец, я хочу вернуться к хорошей жизни, кричал он мне, когда освободился после третьего заключения и напился в стельку, хочу, хочу! Мало хотеть, надо действовать, ответил я ему.

Но он, бедный мой мальчик, лишь мечтал о праведной жизни. Ему была суждена жизнь подлая, темная, пошлая, пьяная. Страшная.

И мой самый великий страх был теперь, на всю жизнь, что я сам такого сына на свет родил.

Софочка растила Илюшеньку одна. Мы все ей помогали. Ну как помогала вечно пьяная мамаша? С внуком сидела. С собой спать укладывала; однажды чуть не заспала, навалилась на него грудью, Софка домой прибежала, а младенец весь синий и хрипит под боком у бабушки, еле успела из-под Веры мальчонку вытащить, слава богу, отдышался. Я с Илюшенькой гулял, возил его в колясочке. Соседи думали, это наш с Верой третий, поздний ребенок. Сын вышел из колонии, опять стал из дома вещи тащить, деньги-то нужны. Я измолотил его в кровь, не выдержал. Он заперся в туалете. Я ломился в дверь: Юра, открой! Юра, открой! Юра! Дверь выбил плечом. Юрка уже петлю из рваных полотенец сладил и на крючок накидывает. Я крючок из стены выдрал, петлю в карман сунул, ору: мать хоть пожалей! Он сидит на краю унитаза, голову низко опустил. Качается, как маятник, и мычит, стонет. Я стою над ним, чуть не плачу, себя в жестокости виню. Прости меня, говорю, сын! Но сколько можно терпеть! Он мне мычит: ты иди, батя, я сейчас спать лягу. Видишь, у меня петли нет, ты ее отобрал. На всякий случай я спрятал на кухне все ножи. И бритвенные лезвия в стиральную машину бросил. Сам пошел, лег к Вере под бочок. Она зычно храпела, и из нее наружу весело вылетали хрипы и призраки табака и водки. Слышу, отворяется балконная дверь. Вся комната тут же выстыла. Зима по квартире гуляет. А Юрки в комнате нет. На балконе! Все-таки прыгнет! Не хочет он жить!

Я ринулся на балкон. И точно: стоит у перил, ногу занес, перелезть и вниз прыгнуть. И тут во мне вроде как все онемело. Стало мятным, леденцовым, ледяным. Я попятился. Говорю: хорошо, бросайся. Убивайся! Мать с ума сойдет. Ей до полумия недалеко. Да ведь вдруг не убьешься? Искалечишься? Мы все дружно, по очереди, мать, Софка и я, будем тебя в инвалидном кресле возить. Судно под тебя подтыкать. С ложки кормить. Тебе такая жизнь нужна? Ты о ней всю жизнь мечтал? Валяй! Но это только твой выбор. Ты и отвечай.

И я шагнул назад и плотно закрыл за собой балконную дверь.

И пошел, представьте, и лег спать, и как-то сразу, мгновенно уснул.

И что? А ничего. Не стал Юрочка прыгать с балкона. А продрог на ветру до костей, тихо в комнату выполз и улегся прямо на полу. Рученьки под голову подложил и так уснул. Без подушки, без простыни. Как на нарах. А может, там они, в колонии, и на половицах спали. Разве в лагерную жизнь мы, мирские, заглянем?

Человеку если свободу дать, он всегда выбор сделает.

Не надо никого останавливать. Никому руки связывать не надо.

Человек сам за все свое в ответе; и это только его жизнь, и только его судьба. Ничья больше.

Дочь вышла замуж. Муж зародил ей второго ребенка. Она родила девочку. Красивая моя, нежная, безропотная Софка. Муж, каменщик на стройке, вскоре начал пить и хулиганить. Бил посуду, швырял в Софку банные тазы. Жизнь повторялась, это было еще одно мое зеркало, из тех, что я увидел в купели Серафимушки. Я часто вынимал из кармана камень Серафима и спрашивал его: камень, камень, скажи, будут счастливы мои дети или нет? Камень больше не грел мне руку. Молчал холодный камень. Значит, я верил мало и плохо. Маловерный я был тогда.

И вот однажды ночью мне раздался стук. Постучали громко и страшно. Три раза. Стук! Стук! Стук! Я аж привскочил на кровати. Почудилось! Нет. Я не спал. Я слушал Верочкин храп. Меня охватил ужас. Я не испытывал раньше такого ужаса. Я его раньше вообще не испытывал. Я мало чего боялся. И все больше я становился философом. А тут вдруг такой троекратный грохот.

Пусти! Пусти! Пусти!

А может: помни! Помни! Помни!

О смерти я помнил всегда. Когда я медитировал, садился, скрестив ноги и раздвинув колени, перед открытой настежь, в небо и солнце, балконной дверью, она, тихая и мирная, сама приходила ко мне. И я приветствовал ее: входи, смерть! Я помню о тебе, и я люблю тебя.

А тут такой стук, как приглашение на казнь. Пришел палач и приказывает: иди за мной! И ты встаешь и идешь, делать тебе нечего, это твои последние минуты на земле.

И я с кровати встал. И подошел к окну.

Я ничего не увидел в окне. Ничего. Тьма и пустота.

Сквозь серую тьму смутно просвечивали руины.

Далеко, у горизонта, тоскливо, как собака, у которой утопили щенков, выл ветер.

Я отшатнулся. Хотел задернуть штору и не смог. Я понял: я увидел будущую землю. Землю, убитую, съеденную и выпитую жадным глупым человеком.

Землю, сироту и нищенку, и нет на ней больше людей.

А кто есть? Что есть? Дым?

За моей спиной затрещали половицы. Кто-то по половицам шел ко мне. И я слышал его приближение. И дыхание слышал.

Я знал: это смерть. И я сейчас, вот прямо сейчас должен умереть. Тогда я поспешил приготовиться. Я вернулся к кровати. Лег поверх одеяла. Сложил руки на груди. Закрыв глаза. И стал молиться. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного. Господи... Господи Будда, помилуй мя... Господи Кришна... Господи Йегова... Господь Аллах всемогущий... Господи... и Ты, матушка Богородица... А ты, смертушка, может, ты матушкой Богородицей прикинулась, чтобы мне легче было границу перейти?

Напрасны были все молитвы. Я, просто я сам был сам себе живой и последней молитвой. Мое тело. Мое сердце, оно еще билось. Я постарался отключить ум. Оставить только чувство. И запоминать, помнить все, что со мной будет сейчас происходить.

И, знаете, я все запомнил. Здесь ли говорить об этом? Поймете ли вы? Может быть, вы, как все, будете надо мной обидно смеяться? Ну все-таки хоть чуть-чуть расскажу. Сначала меня обхватила тьма. Она держала меня крепко, и я превратился в волка, меня изловили охотники, связали мне лапы и сунули в пасть палку, чтобы я не прокусил охотнику руку зубами, не вцепился в ладонь или запястье. Я по-

просил тьму: выпусти меня из себя вон, я тебе лишний груз, я родился в тебя, тьма, для того, чтобы пройти тебя насквозь и выйти к свету. Не держи меня! Отпусти!

Тело стало легче птичьего пуха, и я оттолкнулся от кровати и полетел. Я летел ногами вперед, и у меня резко и сильно заболело в центре меня, там, где сердце. Боль достигла невыносимых вершин и оборвалась. Я подумал: вот и все, — и тут же радость обняла: если думаю, значит, еще не все! Я летел в пустоте уже один, без боли. И тогда под закрытыми глазами начал разгораться свет. Свет горел под сомкнутыми веками, горел под сложенными на груди руками, я накрыл свет ладонями, а он под ладонями бился и вспыхивал, горел все сильнее, мощнее. Я уже не мог его укрыть, удержать. Свет вырвался из-под моих рук, взорвался, и его белые, могучие, толстые и тонкие лучи свободно, вольно полетели в разные стороны. Яркое ядро света наливалось мощью, голова моя стала сгустком света, грудь моя испускала лучи, руки мои светились, из-под горящих ребер лился свет сердца, оно билось в отчаянии и в радости. Я отчаивался: неужели я сюда никогда не вернусь?! — и радовался: теперь я навсегда Свет! Я лежал в круге Света, а может, стоял, а может, летел. Свет, я вернулся к тебе, шептал я ему, Свет, я вернулся.

И как только я это ему шепнул, я умер.

Все исчезло. Исчез Свет. Исчез я.

Теперь я знаю: при Переходе в мир иной есть такое место, ну, как темный сундук с наглухо закрытой крышкой. Крышку захлопывают крепко. И поворачивают ключ в замке. И душа лежит там, а человек лежит рядом с сундуком, уже отдельно от души. Сейчас распахнут крышку и душу выпустят: или на мытарства и мучения, и их надо пройти, или в блаженства и в новую жизнь. Вы знаете, энергия не возникает ниоткуда и не проваливается в никуда.

Утром я открыл глаза. Я снова был в этом мире.

Я умер и возродился. Мне было, как и моему покойному отцу, тридцать лет.

Я умер ровно в тридцать лет, сообразил я, сегодня же мой день рождения. И за окнами весна, конец марта. Птички поют, лужи блестят. Но тот, кто пережил смерть, смотрит на все по-иному. Птички, лужи, жены, дети, еда, питье? Разве это мое? Да, и это мое, пока я жив. Меня возродили не зря. Не напрасно. А для чего-то. Зачем-то. Зачем, это мне предстояло узнать.

Веры рядом не было. Она ушла работать. Она время от времени устраивалась работать на разные работы. Тогда она работала в киоске, продавала фрукты. Немного воровала. Приносила внукам подгнившие яблоки и помятые дыни. И зеленые мандарины, и ядренные лимоны. Она то и дело чистила себе мандарин, облупляла его, как яйцо. Клала рядом с початой бутылкой водки и любовалась. В нашем доме всегда пахло елкой, выпивкой и Новым годом. А к Верочке ходили пьяненькие тетьки из соседних киосков, я видел, как они выпивали, закусывали мандаринами, килькой, селедкой и целовались.

Я сел в позу лотоса, сложил руки на груди и выключил сознание. Я попросил Бога всех миров, чтобы он мне подсказал путь. И я услышал голос над собой или внутри себя, я не разобрал: брось всё и всех, уйди отсюда, уходи, спасай себя, спаси. Себя, переспросил я молча Голос, правда себя? А разве не их? «Спасая себя, ты их спасешь», — размеренно били внутри меня в медный гонг, и гул плыл, расходился круглыми волнами по горькому воздуху пьяной жизни.

Я собрал чемодан. «Верочка, я ухожу», — сказал я Верочке. Она вытаращилась на меня; так поводит круглыми выпученными глазами рак, когда его вытащат из-под камней на берег. «Куда?! Куда ты уходишь, дурак?!» Я пожал плечами и улыба-

нулся. Увидел свою улыбку в зеркале. «Я уйду в никуда». Верочка так и вскинулась. «В никуда?! Ах, он уходит в никуда! Придурок! Тронутый! Не живется ему! Нейдется ему! Да тут же прибежишь! Нечего будет жрать, негде спать, и явишься как миленький! И еще прощения попросишь!» Я стоял и улыбался, и зеркало отражало меня, рослого, широкоплечего дядьку с уже седым конским хвостом, с ясными, как у младенца, глазами, руки уже в венозных узлах, лоб уже в письменах морщин, все уже цапнуто когтем времени, не спрячешься от него. Когтем смерти царапнуто. Сегодня я сразился с ней.

«Я не приду. Нет, когда-нибудь, конечно, приду. В гости». Верочкины глаза остановились. И вся она застыла, как сосулька, и больше не шевелилась. Я ушел, а моя жена сидела неподвижно, как статуя Белой Тары.

У Будды, знаете, есть женские воплощения. Белая Тара, Зеленая Тара, Синяя Тара. Они улыбаются точно так же, как Будда.

Христос в таинственном Евангелии от Фомы сказал однажды хорошие слова. Я их точно не вспомню. Мне это Евангелие, переписанное от руки ребенком, принес краснодеревщик Петя. Почерк детский. А может, старческий. Небритый, с синим носом, Петя жалобно проблеял: «Может, ты разберешь? Может, это гениальные стихи? Дай на чекушку! Или хотя бы на мерзавчик!» Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина был женщиной и женщиной, а женщина стала мужчиной и женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаз, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, и образ вместо образа, тогда вы войдете в Царствие Небесное.

Верочка не могла стать и мной, и собой. Она сидела не шелохнувшись, а я хлопнул дверью.

Она так и не вошла в Царствие Небесное.

И я был в этом виноват.

Я шел по городу с чемоданчиком, надо мной собрались тучи, и из них посыпал мелкий твердый снег, белая крупа усыпала мне шапку и воротник, лужи затянулись соленым ледком, я чувствовал себя мертвым ламой Итигэловым, и его посыпали божественной крупной, светлой солью, чтобы сохранить навек, уберечь от гниения и тьмы, я шел по главной улице города, по Большой Покровке, и впереди вдруг услышал звон и пение, это звонили в колокольчики веселые кришнаиты, они приплясывали, кто во что одет — кто в шубах и бараньих папах, кто в розовых шелковых хламидах, розовый шелк развеялся на холодном ветру, бусы из поддельного жемчуга прыгали на жилистых мужских шеях, бритые башки светились в полумраке, смеркалось, зажигались на Покровке фонари, и ярче становились хламиды цвета зари, и женщины качались из стороны в сторону и радостно пели: «Харе, харе, Кришна, Кришна! Рама, Рама, харе, харе!» Харя Кришны, подумал я весело — и тоже как-то незаметно влился в их строй, заплясал вместе с ними, мне в одну руку втиснули трещотку, в другую вложили петлю из рыболовной лески, на леске, как золотые рыбки, болтались колокольчики, я встряхнул музыкальным куканом, и все колокольчики зазвенели так пронзительно и безумно, что хор грянул громче, а лысый кришнаит в розовом хитоне заплясал и вовсе уж бешено, выбрасывал ноги, поднимал над головой руки, ходил ходуном, как на шарнирах, и голосил: «Харе, харе!» — и собирались вокруг нас, пляшущих, люди, и дивились на нас, как на диких зверей, и показывали пальцами: странные мы им всем были, дикие, чужие, тронутые, спятившие, — иные.

Иное люди не любят. Они боятся его и смеются над ним.

А холодный ветер все сильнее трепал кисточки волос на затылках, остужал бритые черепа, вайшnavы пели и плясали, бусы и колокольчики звенели, а потом наверху, в тучах, зазвенели мощные, гулкие колокола, обняли землю протяжным долгим пением, посмертный, лютый гул сотрясал под нашими ногами землю, и плясал босой лысый друг Кришны на замерзших грязных лужах, на грязном снегу, и лежала снежная крупка у него на плечах, на царском атласе, и крепко взялись мы все за руки, за горячие, еще живые руки, и водили хоровод вокруг веселой смерти, вокруг нашего Бога, у которого было так много имен, все не упомнишь.

И люди бросали нам в сиротливую миску на снегу бумажки и монеты. На них можно было есть и пить, дышать, жить. Недолго, но все-таки можно.

Я зашел к знакомому художнику. Он выпивал с друзьями. Я посидел, посмотрел, как они пьют. Это мне было неинтересно. Я отозвал художника в сторону и тихо сказал, кивая на чемоданчик: приюти, если сможешь. Он постелил мне на полу физкультурный грязный мат, кинул на него подушку и пьяно хохотал: принц на горошины! Давай вместо горошины — луковицу подложу!

Под водку был съеден весь репчатый лук. Утром художники уползли, как побрызганные отравой гусеницы. Друг всунул мне в руку холодный ключ. «Держи, это от мастерской. Одного моего кореша каморка. Друган мой один в лагерь загремел. А там у него туберкулез открылся. Так он в той лагерной больничке и помер. Богу душу отдал, чуешь? А ключ-то у меня. Там, должно быть, уже сто мышей завелось! Тараканы царствуют, сидят по стенам! И все грибком до потолка заросло. Подвал, в бога-душу! Ты там, слышишь, порядок наведи, да?»

И я, с чемоданчиком, явился в тот подвал того лагерного мертвеца.

Все мы, люди, живем рядом с мертвецами. В Мексике есть такой Праздник Мертвых. В этот день мексиканцы своих мертвых поминают, идут на кладбище, едят там и пьют, танцуют, вино льется рекой. Детишки грызут печеные черепа и шоколадные скелеты. А кто-то ничком лежит на могиле, прижимается к ней грудью, животом и плачет-заливается, потому что не может пережить то, что любимого, родного рядом больше нет. Но что было рядом? Тело? Тело сегодня живое, завтра мертвое. Сегодня родное, завтра чужое.

Спокойно относись к мертвой, косной материи. Не она есть истина.

Истина есть дух, и он реальнее материи.

Тот заключенный, тот старый зэк, ставший вором в законе, а может, так и оставшийся фраером, и воткнули ему скобу под ребро, под чахоточные его, кровавые легкие, стал моим благодетелем. С того света, рукой беспробудного пьяницы, он послал мне ключ от всей моей жизни. От той, что мне осталась.

Я откинул крышку чемодана, выволок и разложил свое добро. Огляделся. За мной возвышалась грязная печь. В углу были свалены темные, проржавевшие и позеленевшие, медные и латунные иконные оклады. На стене, покрытой узорчатыми разводами плесени, висела, приколотая кнопками, старая, мятая репродукция из журнала «Огонек» — «Троица» Рублева. А под Рублевым валялось что-то блестящее, будто сгустки меда, шарики какие-то. Я наклонился и поднял с пола янтарные четки.

Стал их перебирать. Одну за другой, одну за другой янтарные бусины. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Я перебирал бусины и повторял шепотом, каждая бусина — слово, каждая бусина — удар в ребра: Господи. Иисусе. Христе. Сыне. Божий. Помилуй. Мя. Грешного.

На слове «грешного» я посмотрел вверх — и увидел вверху, под самым потолком, старое радио. Потянулся, повернул ручку. Из старой, разбитой, с трещиной, коробки донеслось: «...американские самолеты бомбят самое сердце Европы...»

Мне не было страшно тогда. Я уже тогда понимал: война не уходит и не приходит, война идет всегда, и эти бомбы, эти взрывы только одно из множества ее диких лиц. У нее много синих, красных, зубастых рож, у нее много когтистых лап, она пляшет на всех материках, возле всех морей. Сегодня она пляшет, скаля зубы, над Боснией и Герцеговиной, над Хорватией и Сербией, над Черногорией. Американские войска нахально вторглись в старую Европу, а мне-то что надо делать? Мне надо растопить печь. А то я тут ночью околею.

Я вышел в снежный двор. Меня обступили серые сараи. Я шарил глазами: где доски, хоть бы одна дощечка, хоть бы старое бревно. И я нашел. Один сарай был открыт. Дверь моталась, скрипела на ветру. Поднималась легкая метель, щекотала мне щеки, ноздри. Я чуть не чихнул. В сарае валялись гнилые доски и старые багеты. И здесь когда-то жил художник. Да, вот и его картины, вернее, то, что от них осталось. Они обгорели на пожаре. Картины я жечь не стал. Разве можно жечь душу? Чужую мертвую душу заметал снег. Он влетал внутрь сарая. Я взял две доски и поволок за собой. Я волок их в мой подвал, вниз, все вниз и вниз. Доволок до каморки. Пилы не было. Я ломал доски об колено. Я был сильный. Очень сильный.

Наломав досок для кормления огня, я сел перед печью на корточки: что же мне взять на розжиг?

Я порылся в карманах. Из кармана потрепанных джинсов я вытащил старый аусвайс. Открыл. Удостоверение проводника железнодорожного вагона третьего разряда.

Я согнул его, надломил и своими сильными руками порвал его на мелкие кусочки. Они загорелись в печном зеве, и я стал совать в печь доски, их обнимал огонь, и они трещали, говорили, бормотали, гневались, шептали, умоляли, хохотали. Доски жили, и я жил.

Я знал: я тут долго проживу.

Здравствуй, мой дом.

Подвал так и не прогрелся. Я сел в позу лотоса. Сидел в тулупе. Медитировал.

Потом я лег на длинную широкую скамью, похожую на тюремные нары.

Быть может, на таких же нарах спал в лагере мой сын.

Я уснул в тулупе. Поднял овечий воротник до ушей. Уши мерзли, нос мерз. Я улыбался холоду. Я улыбался несчастью.

Я улыбался тьме.

Обо мне слава пошла. Мол, живет в подвале такой слегка повернутый, больной на голову, но хороший добрый человек, и учит, как надо работать с душой и чистить душу. Ну, чистим же мы зубы по утрам, каждый день. А душу почему-то не чистим. Я чистил. И неведомо как этот слух, о том, что я чистильщик душ, разнесся по округе. Ко мне в подвал потянулись люди. Каждый со своими тараканами. Каждый чуть не в себе. Но ведь помилуйте, всякий из нас, кого ни возьми, немного не в себе. А кто в себе? Царь? Король? Президент? Премьер-министр? Вы думаете, они в себе? Они все тоже не в себе. Путь к себе тяжел и долог, и не все его проходят. Проходят его единицы. Во всем мире, может быть, пять-шесть истинных молельщиков; тех, кто воистину пришел к Истине. А все остальные только к Ней идут. Я тоже иду.

Ноги болят. Позвоночник ломается. Силы покидают. Но я иду. Важно — идти.

В этом страдальном, слепом, бессмысленном, длиною во всю жизнь, ходе к Истине — Истина сама и есть. Зрячая. Мудрая. Радостная.

Истина — это радость. Как Серафимушка говорил людям, что приходили к нему за благословением: «Радость моя!»

Я устроился на работу сторожем. Вахтером в кинотеатр «Спутник». Выяснилось, что у них и афиши некому рисовать. Я признался, что я художник. Этому обрадовались. Положили увеличенное жалованье. Так я и плакаты для кино быстренько малевал, и свои картины медленно красил.

А зарплату свою всю раздавал: Верочке, Софочке, внукам; Юрочке в колонию посылал.

Себе денежек немного оставлял. Чтобы не умереть с голоду.

Люди приходили смотреть на мои картины. Я то чашу нарисую, огромную, и в ней люди, звери, водоросли, деревья, стрекозы летают, птицы крыльями машут. Называется картина «Чаша жизни». То девушку, задумчивый профиль, глаза закрыты, а вместо волос у нее крона дерева. Называется картина «Безмолвная». То двух павлинов: муж-павлин склонил цветную голову к жене-павлинихе, клюв против клюва, что-то молча говорит ей, крылья они скромно сложили, и шикарных хвостов не видно: они за кадром, за квадратом холста. Не гляди прямо на красоту! Красота невидима, она — тайна. Ты не трогай ее ни глазами, ни руками. Ты помысли о ней и помолись ей.

Я часами глядел на призрачную девушку с волосами-листвой. Волосы врастали корнями в землю. А над теменем девушки плыли облака. Я вспоминал мою давнюю армянку, армию, и как скрипел под сапогами синий снег, и ту избу с бешеным огнем в старой печи. Где армянка? Может быть, умерла, и я нарисовал картину в ее память? А может, умерла моя проводница из седьмого, нет, шестого вагона скорого поезда? Если вы ушли, милые, Царствие вам Небесное. Если живы — пожалуйста, живите.

А потом умрете и родитесь вновь.

Люди робко стучали мне в дверь, я не спрашивал кто, я людей впускал к себе. Люди рассаживались, кто на стулья, кто на лавку, кто садился прямо на пол, стянув куртку и подложив под себя. Я зажигал лампу и свечу. Я любил свечу, любил живой свет. Свеча горела на столе в битом чайном блюде, давно не мытом. Свеча горела, я молчал. Люди молчали. Смотрели на картины. Нет, это мои картины смотрели на них.

В молчании шел разговор. О самом важном.

Потом начинал тихо говорить я. Я никогда не знаю, о чем буду говорить.

Душу не запряжешь. Душу кнутом не стегнешь, не погонишь вперед. Если душа захочет, она повернется и пойдет назад; но и назад она пойдет, как вперед.

Сердце — это чакра анахата. Это самая важная чакра. Сердцем говорили Христос, Будда и Кришна. Сердце трудится безостановочно, и этот тот труд, за который не платят. Ты сам платишь этим постоянным тихим биением за жизнь. Жизнь — радость, а ты ее сделал горем. Жизнь — чудо, а ты втоптал его в грязь. Что такое ты? Ты когда-нибудь задумывался о том, что такое ты сам?

Где кончаются твои жестокость и злоба и где начинаешься ты?

Где кончаешься ты и где начинается твое сердце?

Где кончается твое сердце и где начинается Бог?

А Бог, он имеет конец, или Он имеет только начало?

А может, ничто и никогда не начиналось? А все только длится, и все только снится?

Так я говорил, я, никчемный маленький человечек в подвале, где плесень по стенам, где гудит и трещит древняя печка, я, хлебная черствая крошка, я, бродяга, ушед-



ший ото всех, а вот все ко мне сами приходят. И люди слушали меня, и дивился я: за что мне такая честь?

А Россия гибла вокруг, мы все жили в пору гибели России, я понимал, что Россия гибнет, и не только я; на лицах всех людей было намалевано большими буквами: КИРДЫК РОССИИ, и никто с этим даже не спорил, и весь вопрос был в том, умрем мы вместе с ней или выживем. Я смиренно открывал чакру анахату навстречу любой судьбине. Доля у каждого своя, да, но есть еще и общая доля. Общая участь.

Люди, жалея меня, приносили мне разные разности: кто поест, в баночках, в целлофановых мешочках, кто малую денежку, кто даже тюбики масляной краски — не спи, художник, не дрыхни сладко, жги свечу, таращся на ее пламя, пиши — вот участь твоя, от нее не убежишь. В печке дрова горят, и ты гори! Тебе так суждено. Подкладывай себя в мировой огонь. Если ты сторишь целиком — из пепла вылетит красавец Феникс, допотопный павлин, взмахнет крыльями и взлетит из мрака в круг небесного Света.

Тогда я написал картину под названием «Матушка». Сначала нарисовал красивую женщину, ну, вроде как Богородицу. Вроде той, что я видел в Дивееве. На руки ей младенца положил. Младенец туго запеленутый, лежит, изогнутый, как червячок. Личико из пеленок торчит. Однажды ночью я проснулся, встал с лавки, скинул на пол тулуп, что служил мне вместо одеяла, взял мастихин и почистил младенца, слава богу, он был еще сырой, масло не успело засохнуть. И на месте, где извивался человечий червячок, я быстро нарисовал маленький яркий шар. Шар света. Круг света. Не человек — Свет! Именно Свет рождает женщина. Любая! Даже самая пошлая, замухрыстая, самая избитая, оболганная, изувеченная, несчастная. Даже моя вечно пьяная Верочка может такой Свет родить.

И написал я Матушке руки, поднятые вверх и обращенные ладонями к кругу Света; и написал я Матушке лик, что сиял, как круг Света; и написал я за Матушкой, в дальней дали вечной и чистой природы, горы как Свет, и леса как Свет, и спящего медведя как сгусток Света, и нежное небо как ковер Света. Сплошной Свет я за Матушкиной спиной написал, и доволен я остался своею работой.

И лег на лавку, дело уже к утру шло, между стекол моего подвала спали зимние муравьи в пирамидальном муравейнике, спали мыши по углам, спали янтарные четки на вбитом в стену медном гвозде, и я поднял с пола тулуп, укрылся им, руки мыть не стал, они пахли масляной краской, и я подносил их к спящему лицу и нюхал и счастливо смеялся. Мне снился красивый светлый сон про мою жизнь, про смерть, про Свет.

Среди людей, что приходили ко мне учиться медитировать, появился один веселый парень. Он так ярко улыбался! Солнечно! Все зубы показывал. Он внимательно слушал меня. Сел, точно как я, в позу лотоса. И гляделся в меня, как в зеркало. Но я почувствовал в нем что-то не то; он попробовал меня скопировать, у него не получилось, и он рассердился. После медитации люди подошли к столу, выложили свертки, из них вкусно пахло. Стали расходиться, и веселый парень хотел уйти, а я его остановил. «Останься! Хочу с тобой поговорить». Парень уже стоял на пороге, быстро обернулся, опять улыбнулся. «А ты, как на Востоке, сразу на „ты“, хорошо ли это?» Я сложил руки и сделал ученику намасте. «Все хорошо, что рождается радостно и без боли, сразу. Но иногда и боль нужна. Чтобы ярче ощутить радость. Садись, радость моя!»

Парень снял башмаки и сел перед мной на пол. Я сел на лавку. Чайник шумел. Мы ждали кипятка. Я сначала вволю помолчал, потом разлепил губы.

Что я ему говорил? Разве я помню? Я же не был на самом деле никаким гуру. Я не хотел быть учителем. Я просто был одинокий человек, и я шел к Истине. И вот один из тех, кто приходил ко мне, захотел приблизиться ко мне; но ведь и у Будды был ученик Ананда, хранитель Дхармы, и у Иисуса был ученик Иоанн, мальчик с румяными щеками, что потом написал великий и сверкающий, как елка в Новый год, пламенный Апокалипсис. И вот передо мной душа, что возжаждала водительства. Я должен был ее вести, и я не отказался. Разве отказываются от того, что тебе дарят? Разве отталкивают протянутую с куском хлеба руку?

Баттал, так он назвал себя, исповедовал ислам. Передо мной в позе лотоса сидел воин, которому больше пристало бы сидеть на коне под зеленым знаменем Аллаха. «Аллаху акбар! — это был первое, что сказал он мне. — Все боги ничто, Аллах — всё!» Я повертел головой, изображая несогласие. «Все Боги есть путники. Они идут к Истине. Все Боги проповедуют Истину и пророчат о Невозвратном. Не чти одного Бога превыше всех других. Ты можешь впасть в ересь избраннычества. Не выбирай: это тебя выберут. Тебя уже выбрали. Но ты не видишь, не слышишь этого». Баттал усмехнулся. Пошевелил босыми ногами в черных сырых носках. «Ноги промокли, — сказал он, улыбаясь. — Да, меня выбрали. И меня выбрал Аллах. Хочешь узнать больше про Аллаха?»

Я кивнул, понимая, что мне из учителя сейчас надо превратиться в ученика. Это чистый дзен: тебя, владыку, ударяют палкой по голове и кричат: «Ты никто!» И ты на время становишься никем. И пока ты пребываешь никем, ты много чего узнаешь про себя и про людей.

Он говорил размеренно и длинно. В его речах везде звучал Аллах. Потом он устал и замолчал, и стал говорить я. Я говорил мало и скудно. Достаточно двух-трех слов, чтобы заявить об Истине.

Я взглянул в лицо Баттала и понял: он меня услышал.

Я сказал: «Сними носки, я повешу их на подрамник около печки, и они высохнут».

Он так и сделал. Я смотрел на его босые ноги. Он опять улыбался.

Радость моя, ты хочешь есть? Чайник вскипел. На столе лежит вареная картошка, а еще хлеб, а еще соленая рыба. Аллах запрещает есть свинину. У нас к обеду нет жареной свиньи, не беспокойся. Я заварю тебе чай с лепестками васильков.

И я заварил ему черный чай с синими лепестками васильков, и в моем холодном подвале пахло цветами и летом.

Истовая вера. Новый, кровавый Аллах. Я пытался наставить Баттала на путь к Истине. Он меня понимал, я видел это; но ноги сами несли его от Истины прочь, и меня это удручало. Я не мог схватить его за полу пиджака, за рукав свитера и вскричать: там опасно, не ходи туда! Он бы вырвал руку и все равно ушел. Но почему он не уходил от меня? Кто я был для него?

А разве на все вопросы нужны ответы?

Вслед за Батталом ко мне в подвал явились люди из Бурятии. Огромный толстый, радостный и лысый живой Будда, с ним тощая крошечная девочка, раскосая, с двумя смоляными косичками, и длинный, высоченный усатый мужик в черном пальто, ободранном котами, в красном шарфе, перекинутом через плечо. Усатый, похожий на молодого Сталина мужик в красном шарфе разжал руку, на ней лежал саянский лазурит. Я понял: я подарю его Софочке, так камень был красив. Камень этот, синий, круглый, с белыми облаками, с морями и океанами, с плывущими, сошед-

шими с места безумными материками, со льдом полюсов и белой солью пустынь, был сама синяя Земля, и я догадался: мне в подарок принесли всю Землю, и теперь я один должен знать, что с нею, с целой Землей, делать.

Буряты обступили меня, засмеялись, толстый Будда покачал лысой головой, в ухе у него при этом покачался крохотный золотой крестик, и пропел: «А мы новые буряты! Прошу любить и жаловать!» Они тоже, как и все остальные мои гости, расселись на полу, я подложил дрова в печку, и буряты пели мне народные бурятские и монгольские песни. Они пели, а я видел, как скакали по степи на конях воины Темучина. Красный шарф усатого воина был весь в дырках, его прогрызла моль, а у лысого Будды под курткой оказался тощий свитерок, и больше ничего, и он ежился и дрожал, и я накинул на него тулуп. Скуластая девочка с косичками сидела рядом с печкой, и красное пламя выхватывало из тьмы морщины в углах ее глаз и вокруг рта. Маленькая собачка до старости щенок, подумал я и галантно предложил старой девочке бутерброд с селедкой.

Буряты объяснили: они узнали обо мне на Московском вокзале от одного интеллигентного бомжа, что жил уже пятый месяц в зале ожидания, и тут же захотели меня посетить, а так у них времени в обрез, у них поезд до Улан-Удэ, в три часа ночи, транзитный, из Москвы, и они должны на него успеть, а денег на такси у них нет и на еду тоже нет, а ехать до Удэ четверо суток. Я отдал им все, что у меня было. И всю мою еду, что мне принесли, они тоже забрали. Жирный Будда сложил еду в заплечную сумку. Я смотрел на голый стол и радовался: я спас людей. Может, кто-то завтра спасет меня.

Они стояли на пороге и целовались со мной, все поочередно, сначала старая девочка встала на цыпочки и чмокнула меня в подбородок, потом усатый мрачный мужик в траченном молью шарфе приблизил ко мне лицо и пощекотал меня усами, и я разглядел, что у него, как у Сталина, лицо все в оспинах; потом толстый Будда крепко облапил меня и так притиснул к грузному тяжелому телу, что дух вылетел из меня и, хохоча, птицей забился под закопченным потолком. Спасибо, спасибо, друг, кричали они, ты настоящий Будда! Будда-Кришна! Ты Шива Натараджа, ты великий Брахма, мы все поняли! Ты щедр и прекрасен, ты велик! Велик воистину! Я смеялся и тоже обнимал и целовал их.

Потом, стоя в дверях, мы ухитрились поцеловаться все вместе: обнялись и крепко прижались друг к дружке, все вместе. Приезжай в Удэ, кричали они на разные лады, пригребай, прибредай, прикатывай, мы тебя встретим с почестями, мы с тобой поедим медитировать на гору Арсалан-Хада, в Тарбагатай! Арсалан-Хада, это Спящий Лев! Лев, проснись! Проснись и пой! Ты, Мицкевич, лев и Будда, ты Авалокитешвара, ты точно Аватар! Воплощенный! Просветленный!

Продолжая так кричать, они поднялись по деревянной гнилой лестнице и вышли вон из моего святого подвала.

После их ухода я хотел подмести полы, но не подмел; хотел еще подбросить досок в умирающий огонь, но не подбросил. Я устал. Умотался. Мне было лень.

Я открыл форточку и закурил. Я стоял около окна и смотрел на холодный ночной мир снизу вверх. Отсюда, из подвала, верхний мир казался царственным, алмазным; снег, деревья, звезды, фонари, людские ноги и полы людских шуб — все гляделось миром иным, несбыточным. Он дорого стоил и много весил на вселенских весах. А здесь, в подвале, где я стоял, все было простым, нищим и настоящим. Там, наверху, все могло исчезнуть в мгновение ока. Сгореть, потратиться, проштрафиться. А здесь, внизу, под землей, все было сработано на века.

Дым вился, убежал в форточку. Я тайно любил две простые вещи на свете: как пахнет табак и как пахнет кофе.

Начался новый век.

Я видел, как мы провожали старый.

Один век не похож на другой; и один век похож на другой, как похоже само на себя время, оно только притворяется разным.

Мы танцевали на ярко освещенных улицах, и мы выбирали плохих владык. Мы бросали в урны бумагу с напечатанными на ней именами, что нам ничего не говорили, и мы грабили магазины и склады, убивали детей в постелях, давили пьяными машинами людей на остановках, а главное, мы воевали. Воевали! Босния, Афганистан, Вьетнам, Чечня, Карабах, Ирак, Ирландия, да где только не рвались снаряды, кровь лилась гуще некуда, все камни были в крови, весь песок и асфальт. Так весело мы провожали старый век, и на Кавказе в людей стреляли снайперы, и мы подписывали ноты протеста, и мы беспомощно разводили руками в парламенте, и мы обманывали, если нас просили сказать правду, и мы бросали в лицо людям святую и страшную правду, когда нас коленопреклоненно умоляли: ну не скажи, ну сокрой, набрось покрывало, ну обмани, наври с три короба, ну что тебе стоит!

Мир, мир, все мирское обрушивалось, угнетало и жгло. Мир, ах, какое славное, сладкое слово! Мир — это совсем не значит замирение, глоток воздуха между войнами; это огромный круг, гигантский круг Света, чистая и яркая, ясная Вселенная, и ее мы сделали кругом яда и Тьмы. Еще не сделали до конца; но усердно делаем. Наши пальцы лепят и лепят Тьму, руки наши все почернели, проржавели от Тьмы, и я видел все четче: никакой дзен, никакая старая религия, ни Христос, ни Будда, ни Иегова никакой не спасет нас от ее нашествия.

А Аллах? Он кто? Он с кем? Он — Тьма или Свет?

Над нами, над пологом нового века, висел, качался призрак Третьей мировой войны; а я видел, она уже шла — на каждом перекрестке, внутри каждого вокзала и рынка, внутри оперных и концертных залов, на переполненных людьми кораблях и океанских паромах. Мировая война шла, и мы не заметили, как она набрала силу. Ее оружие теперь было — не танки и ракеты, хотя и танков, и ракет было припасено у людей в изобилии; ее оружие было — самодельная взрывчатка, растяжки, мины, гранаты.

А может, ее оружие было — горячие безумные речи, что звучали с амвонов, с минаретов, с трибун площадей?

Человек безумен. Это так, не спорьте. Если бы человек был разумен, он давно бы утопил все оружие на дне моря и вздохнул спокойно. Мозг человека поражен бактерией, вирусом, грибом. Этот грибок источит мозг в кружево, в снежные тонкие узоры. Это будет самое красивое кружево в подлунном мире. Круг Луны, свет Луны будет его озарять, будет играть в переливах тонкой ткани, в изящных дырках. Этот кружевной мозг уже не будет мыслить. Да ему и не надо мыслить: он уже пища, его съедает Тот, кто жаждет владеть Землей, Луной, Солнцем, звездами, миром живых и неживых. Дьявол реален. Он слишком настоящий, чтобы от него можно было так просто отмахнуться.

Призрак Третьей мировой? Не призрак, а живой железный рыцарь; он в гремящих латах, у него на башке шлем с железными стрекозиными громадными глазами, вместо железных башмаков у него ракеты с ядерными боеголовками, его стальной панцирь не пробьешь, только удар — получишь ответный удар, немедленно, сию секунду. И мир сначала вспыхнет, потом погрузится во Тьму.

Но прежде Судного Дня взойдет отравленное солнце, и наступит День перед Судом.

Он будет, может быть, страшнее Суда самого.

Люди вдохнут вместо воздуха яд и задохнутся. На людей набросится железная саранча и пожрет их, выест им глаза и языки. Люди захотят воды — и не смогут напиться из отравленных рек; люди поползут по земле друг к другу, чтобы обняться напоследок, и вот тут рванет огонь, чтобы раз и навсегда покончить с этим ядовитым грибочком на теле земли, с человеком. Огонь уничтожит нас, чтобы мы больше не мучились. Иначе мы и себя изведем, и землю изгрызем в пыль и прах.

Баттал истово верил в Аллаха. Аллах был его хлебом, его водой, его воздухом, его клятвой и всем остальным, что окружало и обнимало его и что рожал на свет он сам: Аллах был его мыслями, его улыбкой, его ступнями — ими он шел по земле, и земля ему тоже Аллахом была. Такая истовая вера меня пугала. Я не раз пытался сказать Батталу, что имя Бога не есть Бог, что единственность убивает множественность; он слушал, по его лицу бродила улыбка Аллаха. По моим губам — улыбка Будды. Мы, живые боги на земле, два нищих человека, смотрели друг на друга и еле удерживались, чтобы не расхохотаться.

Но иногда я говорил с ним серьезно.

Баттал был немногословен. С виду он казался веселым парнем. Но часто, рассмеявшись, умолкал. Его молчание пригнетало, ложилось на плечи, на темя ударом тяжкого молота. Молчание Баттала било мне в лоб и в грудь, и я пытался отвести, облегчить эти тяжелые удары бесконечной вязью веселых рассказов. Я-то сам, видите, веселый человек. Ничего никогда не надо воспринимать с серьезной миной! Да, жизнь серьезна, но не настолько, чтобы искривить брови и губы в скорбной маске и тяжело вздыхать над своей участью! Веселитесь, пойте — даже у расстрельной стенки, даже на костре! Моя жена Верочка не раз говаривала мне: ты, Андрюшка, шут гороховый. Все бы тебе шутить. Шутишь, шутишь и дошутисься!

И, может быть, я уже дошутился. Не знаю. Близок край!

Баттал молчал, а потом говорил странно и выпеннено, сурами Корана. Или мне так казалось, что сурами. Суры, сутры! У арабов суры, у индусов сутры. На Востоке все едино; само арабское слово «сура» происходит ведь от индийского «Сурья» — Солнце; это санскрит. Видели вы когда-нибудь письма на санскрите? Нет? Ну в Сети поглядите, сейчас все можно увидеть в Сети. А я увидел знаки санскрита впервые в моем заплесневелом подвале, когда туда явилась однажды девушка Лена, она была вайшнавка, ну, значит, в Кришну верила, и она принесла мне торт с настоящими ягодами вишни, вяленые персики, рис и топленое масло, в уплату за мои уроки философии, а потом вынула из-за пазухи свернутую в трубочку корявую и толстую, как кожа, бумагу, на ней были процарапаны странные крючки и узоры, и на звонком чужом языке стала по этой бумаге мне читать. Мне чудилось: Лена — инопланетянка, она прилетела с Марса и вот читает мне звездные стихи. Стихи из Космоса. Потом она открыла печную дверцу и швырнула бумагу в огонь. «Ничего на самом деле нет — так учил великий Будда, — сказала она тихо, — и писем этих нет, и огня нет, и мороза на улице нет, и нас тоже». Потом мы были рядом. Рядом, но не вместе. Вместе — это же бывает так редко на земле, я уже вам говорил.

Ну что вы хотите, я же был еще не старик, мне тогда еще нужна была живая женщина.

Но женщина была нужна мне все реже и реже.

Потом вайшнавка Лена взяла мои янтарные четки, что висели на медном гвозде, и научила меня правильно их перебирать: ты держишь в пальцах янтарную бусину и в это время говоришь молитву; потом хватаешь другую бусину и говоришь новую молитву. Я смеялся: милая, я не знаю столько молитв! Здесь же сто восемь бу-

син, я сосчитал! Лена сдвигала густые, как у мужика, брови. «Это неважно. Говори любую. Лишь бы из сердца».

Сура Аллаха Всемогущего, Алмазная Сутра Будды Татхагаты. Все едино.

И вот я сижу в позе лотоса и перебираю четки, и из моей чакры анахаты идет в мир молитва.

На каждую бусину — своя.

А на самом деле одна одна, молитва эта.

Земля, не умри. Не умри. Не умри. Не умри. Не умри.

Даже если мы вдруг, в одночасье, все умрем, сторим, ну ведь что-то от нас да останется? Да? Да? Ведь правда?

Кто это говорил? Я? Или кто-то рядом со мной?

Или тот, кто всегда был вместе со мной?

Подвальная школа жизни моя процветала. Люди приходили и уходили. Люди рядом со мной долго не задерживались, я был им нужен, как мостки через лужу: перебежали, ног не замочили, от грязи упаслись, и ладно. И это было мудро, хорошо устроено. Правильный это был расклад. Я спасал их души от распада, а они за это, случайные, мимолетные, кормили меня. Вам денег дать? Нет, не надо! Ну возьмите, вы же учитель! Спасибо! Я складывал ладони лодочкой и кланялся. Я редко видел себя в зеркале: волосы свои, вытащив их из расчески, я сжигал, а зеркало прятал под подушку, чтобы в нем ненароком не отразились темные сущности, иной раз влетающие ко мне в открытую форточку, как невидимые летучие мыши. Зеркало — опасная вещь. Оно если разобьется, осколков не соберешь; и так же может разбиться и разлететься в стороны твоя жизнь. Зеркало с трещиной — это трещина через твое сердце. Тебя постигнет любовное горе. Да и просто горе, необязательно любовное; тебя обманут, продадут и предадут. А зачем тебе эта головная боль? Если зеркало целехонько — избегай смотреться в него то и дело. Ты же не девица на выданье. И не только что из парикмахерской. Чем чаще ты в зеркало заглядываешь, тем больше утекает в него из тебя, глупого, энергии ци. Ты что, не хочешь себя сохранить? Хочешь на тот свет скорее?

Впрочем, может, ты и прав, что поспешаешь. Там всяко-разно будет лучше, чем здесь. Счастливее.

Я все меньше нуждался в деньгах-бумажках, все чаще отказывался от них, и удивленные моим отказом люди приносили мне, в уплату за уроки духа, в счастливых руках счастливую еду. Я вкушал эту еду когда с ними, когда один, когда с Батталом. Улыбка Аллаха и улыбка Будды не сходили с наших лиц. Камешек батюшки Серафима лежал на подоконнике, муравьи, ползая по муравейнику между рамами, подползали к священному камню, но не могли пролезть через стекло. Я указывал Батталу на муравья, что беспомощно тыкался черной головой, булавоочной головкой, в грязное стекло. «Видишь, муравей хочет перейти грань, но не может пробить стекло? Он надавливает всем телом, но стекло неодолимо. Не дави телом! Отпусти душу. Перелети душой. Ты понял?» Баттал брал с немытого блюдца кусок конской колбасы, щедрое пожертвование учеников, забрасывал в рот и, закрыв глаза, с наслаждением жевал и втягивал слюну.

А мне жевать твердую конскую колбасу уже было нечем — из-за жизни в подвале, в сырости и холоде, я растерял все зубы, но Господь Иисус сделал так, что я еще не шепелявил, а Господь Будда велел мне улыбаться над несчастьем, а Господь Кришна веселил меня небесной музыкой.

Какой музыкой, спросите? Мне в награду за мудрость приносили не только пищу, но и музыку.

Несли колокольчики Кришны. С ними можно было идти на Большую Покровку, приплясывать с босыми вайшнавками и петь «Харе, Кришна». Несли тибетские поющие чаши. Я знал, они дорого стоили. Надо чашу ударить специальной палкой, а потом ею возить, скользить по медному краю. И тогда чаша будет петь, звучать, звенеть, стонать, отдаленно кричать, и кто-то далекий будет кричать вместе с ней, уходить, махать рукой, исчезать. А ты, ловя ушами отзвук мира, будешь неподвижно сидеть и плакать. Или улыбаться, на выбор.

Вот и у меня теперь стояли на столе такие медные чаши; они умели стонать и плакать, они пели мне последнюю молитву.

За окном подвала мело. Мело по всей земле, и заметало мой мозг, уже научившийся не думать, мою голову: метель вдевала мне в конский хвост седые нити, сегодня одну белую нить, завтра другую, и я не уставал благодарить воистину всех богов моей земли за то, что они дали мне чудо дыхания и чудо осознания себя. Ха — Тха, Солнце — Луна, жизнь — смерть. Воля преходяща. Разум преходящ. Вера преходяща. Да, даже вера, на которую возлагают столько надежды. Одна лишь любовь живет воистину. Воистину, воистину и еще раз воистину.

И сквозь ночь и метель, моя последняя ночная молитва, каждый раз, когда я уходил ко сну, ложился на голую деревянную лавку и укрывался старым овечьим тулупом, была: Господи Истины, я ведь уже умер, я уже мертв, и я уже пережил Третью мировую войну, вот я гляжу на ее дела, на ее руины и на выживших людей ее; и, Господи, я пишу письма, я пишу письма своему мертвому сыну, а вы говорите, что мой сын жив? — да я толком не знаю, жив он или уже мертв, ведь Третья мировая съела и его, схрунула с косточками, перемолола зубами своих бомб и пуль, тюрем и лагерей, а вот я пишу ему письмо, и завтра напишу, и послезавтра напишу, и всегда напишу, если жив буду. На церковнославянском, еже писах — писах. На узорчатом санскрите. На арабской морозной вязи. На космическом, на марсианском языке. На языке плачущих тибетских чаш.

Милый мой Юрочка! Я часто думаю о тебе. Окна моего подвала снаружи затянута брезентом. Это я осторожно, натянув на голову старый противогаз, выползал на улицу и затянул два моих окна старым брезентом, когда-то давно мне его принесли, чтобы я напихал в него ваты и пошил из него себе одеяло. Принесла одна девушка, ты ее никогда не видел, не знаешь. Она верила в Кришну. Я так думаю, она первая погибла, потому что она жила на улице, ходила-бродила, танцевала и звенела колокольчиками, побиралась, смеялась; только зимой, когда наступали холода, она ночевала на вокзалах и у друзей, в подвалах и на чердаках. Эта девушка увидела, что я сплю под овчинным тулупом, и приволокла мне грязный лодочный брезент, и жестко сказала, как приказала: шшей себе одеяло. Я поклонился в пол, благодаря ее за царский подарок.

Милый мой сынок, жизнь вообще царский подарок. Мы могли бы не жить. Я мог бы не жить, ты мог бы не жить. Вот ты проклинаешь нас с матерью за то, что мы тебя родили. И ты не раз хотел свести счеты с жизнью. А жизнь сама с нами счеты свела.

Нет. Я не прав. Это мы, мы все свели счеты с нею.

Но мы, честно, мы все не думали, что мы уьем себя так скоро. Взрывы раздались везде, по всей земле. Земля, в недрах своих, хранила слишком много смерти. Она просто со смертью не справилась. Она долго была ею беременна, и когда-то наступило время родить.

Знаешь, милый Юра, я ведь и теперь пишу картины. Правда, чаще я пишу их мысленно. Но пока у меня еще остались масляные краски, и пока еще есть разбавитель, чтобы в нем вымыть засохшие кисти, и пока глядит на меня с мольберта чистый холст, я буду работать. К живописи, как и к женщине, можно охладеть. Можно охладеть к философии. К любой религии. Какой Бог, если нашу землю люди взорвали? И Бог это попустил?

А может, все исполнилось, все-все, что ученик Иисуса, Иоанн Богослов, предрек, и вот случился предсказанный Апокалипсис, и огненная смерть вспыхнула и исчезла, и на ее место прилетела незримая саранча, невидимая радиация? Какая вечная тьма стоит под пологом моего брезента! Я наивно думаю, что он не пропускает радиацию. На всякий случай я вылил на брезент бутылку водки. Побрызгал его водкой. Все-таки спирт, я что-то помню, о нем говорили, что он спасает от лучевой болезни. Те, кто облучился на испытаниях атомных бомб, на атолле Бикини, в Хиросиме и Нагасаки, в Чернобыле, пили водку просто стаканами — и так спаслись.

Это им только казалось. На самом деле они прожили на неделю, на две больше.

Но что такое две недели жизни перед всею жизнью!

Сынок, нет времени. Я только теперь это понял. Ведь вся эта война была предрешена, назначена. Нам было от нее не отвертеться. Мы все перессорились из-за наших богов. Кто лучше, хотели решить мы! Одни орали: наш Аллах круче всех! Другие вопили: нет, Христос, нет, Христос! Третьи молчали и ходили вокруг своих атомных бомб, и гладили их по бокам, как жирных котов, и опять молчали. И улыбались улыбкой Будды. А евреи кричали: долой «Хезболлу!» — и бомбили арабов. А корейцы кричали: долой американцев! — и бомбили Калифорнию. А Исламское государство? После того как случился Апокалипсис, среди выживших ходили слухи, что это люди из Исламского государства пробрались к красным кнопкам, поубивали охрану, набрали шифр и, скалясь, нажали красные круги. И сделали нам Судный день; ну, да если он был предсказан учеником Бога, то не случиться он не мог.

Не мог!

Юрочка, дорогой мой сынок. Я плачу по твоей маме. Может так быть, если она выжила, ее спасет ее любимая водка. Она будет пить водку и какое-то время не умрет. Но водке придет конец. Как любому продукту на свете; любой вещи; любому зелью и яству. И мать твоя сядет на пол, обхватит ладонями пустую бутылку и будет плакать. Потом у нее станут вылезать волосы, тело покроется язвами и остановится сердце. Сумерки! Тьма! Мы живем внутри тьмы. Тьма — это мать. Ты знаешь об этом?

Тьма. Тьматьматьматьматьматьматьматьмать. Мать.

Мы все, войдя во тьму, вернемся в утробу матери. Тогда зачем я так цепляюсь за жизнь?

Тьма, вот во что превратился Свет. Дневного света больше нет. Есть законный мрак, и это не потому, что мои окна затянуты брезентом. Землю обволок дым, сквозь этот дым давно не видно ни солнца, ни луны, ни звезд, ни облаков. Мы живем на дне темного океана. Мы глубоководные рыбы, и мы все поражены одной болезнью. Неизлечимой. Счастливы те, кто умер сразу. Я всегда говорил своим ученикам, что приходили ко мне в подвал слушать про Истину: самый счастливый тот, кто сгорел в огне. Кого обнял и взял огонь. Огонь — это Свет, Свет — это Истина. Ученики мне возражали: но ведь больно это, сгореть в огне! На что я им отвечал: боль есть воспоминание о боли, забудь боль, и боль забудет тебя. А то, что ты не увидишь и не услышишь еще целой вереницы бесчисленных страданий твоей несчастной земли, это и есть величайшее счастье.



Так я учил! Так я был глуп!

Сын мой, теперь я так не считаю. Я всё понял.

Счастье — это когда ты страдаешь, празднуешь и умираешь вместе со своей землей. Только вместе. Разделить жизнь и смерть — это и есть любовь.

А кто такие мы сейчас? Доходяги, оборвыши, оглодыши? Больные сироты? Покрытые струпьями, издающие стоны, живые гнилые бревна? Мы просто объедки человечества, мы его огрызки, а боги выпили на небесной трапезе, вмазали хорошо, от души, огненный фейерверк устроили, бокалы с кровью подняли, нами закусили, рты утерли, грязную скатерть сорвали и в печку небесную бросили — сжечь после праздника мусор. Перед праздником уборка, после праздника уборка. Моют полы, сметают пыль, жгут отрепья.

Полно, да боги ли это? А не дьяволы ли?

Может, дьявол-то не один, как принято было думать до сих пор, а дьяволов много?

Много, много. Дьяволов очень много. Человечи, многие, обратились в дьяволов. И бегали по свету. И изготовляли оружие. И трудились над этой последней войной, трудились в поте лица, хотя и они прекрасно знали, что погибнут вместе со всеми. А вот поди ж ты! Умереть захотелось!

Эрос, Танатос. Майя, Яма. Тебя распяли — Ты воскрес. Я всё вспомнил. Любовь и смерть, они тоже рядом. Рядом, но не вместе. У любви тяга к смерти, много великих любовников убили себя, не желая разлучаться. Перед Судным днем я видел фильм. А может, это были новости. Мальчик и девочка, обоим по пятнадцать лет, у девочки умер отчим, мать похоронила мужа и укатила на юг, отдышаться, развеяться, в доме стоял сейф покойного отчима, девочка позвала в гости мальчика, влюбленные дети умело взломали сейф, там лежали карабин и пистолет «руби». Мальчик набрал телефон полиции. «Приезжайте, козлы, — крикнул он в трубку, — мы вас убьем!» Полиция прикатила немедленно. Мальчик и девочка включились в Сеть, все в Сети видели, что происходит. Дети открыли окно и палили в полицейских из «руби» и охотничьего карабина. Стреляли метко. Всех поубивали. В живых остался шофер. Он скрючился и сел, закрыв голову руками, на пол полицейской машины. Прикатила еще одна. Напрасно. Дети весело сказали в камеру: «Прощайте все, мы себя убиваем! Жизнь была весела и прекрасна! Мы уходим в полном сознании того, что мы делаем! Мы как Бонни и Клайд! Да здравствует любовь!» Мальчик выстрелил в девочку из карабина, потом поднес «руби» к виску и застрелился. Люди во всем мире видели, как разругой дернулись его ноги и он затих.

Полицейские, вопя, ворвались в квартиру, ну и что? Весь мир видел смерть детей, ну и что?

Сегодня видел, завтра забудет.

Сегодня все мы подыхаем на всей земле от лучевой болезни. А завтра мы все умрем, и некому даже будет забывать нашу смерть. У природы нет памяти. У облаков, у ветра, у планет, у звезд, у тьмы памяти нет.

О, сын, погоди! А если есть?

Если у земли есть память? Если у неба есть память?

И они все запомнят, все, что сотворили мы с ними и с собой?

Сынок, я сажу здесь уже давно. Этот подвал — мой бункер. Я почти ослеп от взрыва, но постепенно ко мне вернулось зрение. Вернее, его ошметок. Вижу я теперь очень плохо. Зубов у меня уже нет ни одного. У меня еще есть запасы крупы: пшенки, риса и гречки, мне приносили крупу в награду за мои откровения. Жаль, не я написал Апокалипсис. У меня бы лучше получилось. Честно, лучше. Потому что я ведь видел его живьем.

Так писал я сыну Юрке письмо, между тьмой и светом, между свечкой и печкой, между явью и бредом, да, конечно же, по меркам здорового обывателя я бредил, и мне надо было бы выпить таблетку, а может, полстакана водки, а может, обвязать лоб мокрым полотенцем; я сидел и писал письмо тусклой шариковой ручкой на плохой бумаге, на желтых листах в клеточку, вырванных из найденных мною в подвале старых школьных тетрадей по арифметике. Я сидел в подвале один, а мне казалось, тут, рядом, лежит Верочка, я сижу с нею рядом, она лежит на расстеленном на полу овечьем тулупе, тулуп вывернут мехом вверх, и желтые овечьи кудри обнимают голые, в страшных язвах, Верочкины руки и ноги. Нет, я не был пьян! И я не сошел с ума! Мы оба, я и моя жена, находились в подвале под музеем, где хранились великие картины. Полотна великих мастеров. И среди них, я знал это, висели мои холсты. Пусть рамы обгорели. Пусть закоптился взрывом лак. Огонь оставил только то, что нужно оставить. Из тьмы выступало лицо Матушки, между ее поднятыми руками, между ладонями бился, катался и играл шар Света.

Нет, я ошибся, это был подвал под церковью. Под православным храмом. Я сидел, жена лежала под каменными плитами, и вокруг нас стояли старинные бочки — с вином для причастий или с монастырским медом, а может, с овсом — для лошадей, а может, с порохом — воевать. Забитое в бочки и малые бочонки, стояло и гнило во тьме время. Его не было, но люди упорно превращали его чистую пустоту в зерно и вино, в опилки и взрывчатку. Свеча догорала. Я оборачивался: жена моя лежала лицом вверх, с закрытыми глазами, у нее вылезли уже почти все волосы, лысая голова тускло светилась в подвальном мраке.

Мы прожили один день? Или десять месяцев? Или десять лет? Годы или секунды — а какая разница?

Милый сын, шептал я ему и плохо слышал сам себя и быстро, судорожно записывал вслеп за шепотом эти слова, здесь, в темном подвале, я буду ждать, когда твоя мать умрет, это произойдет совсем скоро, а потом я буду ждать тебя. Ты получишь это письмо. Ты считаешь его с невидимой ветхой бумаги, она тебе приснится, а потом рассыплется в твоих ночных слабых руках. Скажи, у тебя тоже вылезают волосы? И ты тоже харкаешь кровью?

Почему же я всего этого не делаю? Я что, не облучился, не схватил дозу? Или я оказался здоровее всех? Сильнее всех?

Может, я и правда Бог?

Может, мне уже по чину беседовать с богами, писать им торжественное письмо, а не бедному сыну моему?

Где ты, Юрочка? В тюрьме? Но ведь все тюрьмы взорвали. В лагере? Но все лагерь сожгли. Ты идешь босыми ногами по опасному пеплу. У тебя даже нет противогАЗа. Здесь, в подвале под церковью, я нашел противогАЗовую маску 1914 года изготовления. Может, это немецкая маска, трофейная; а может, русская. Мы тогда их быстро делать научились. Как много лет прошло! Одна минута. Секунда. Нам орали: газы! — и мы, несчастные солдаты, натягивали эти резиновые страшные маски на головы и становились похожи на недоношенных слонят, и через миг-другой было трудно дышать, как перед смертью.

Так я сидел, и бредил, и оборачивался то и дело, тулуп все лежал на полу шерстью вверх, Верочка лежала, она спала, а я, спал ли я? Может, я должен закутать ей лицо мокрой тряпкой, обвязать мокрым полотенцем себе рот и нос, подхватить ее на руки и идти с нею в тот бункер, где нас приютят навсегда, до нашего настоящего конца?

Дорога открыта. Радиоактивный снег мерцает. Где свет? С небес же он не льется!

Кто-то зажег свечу и воткнул ее в сугроб. Кто-то вышел на улицу. Кто-то остался живой, как и я. Эй, кто живой! Скажите, который час! Который век! Я думаю, еще ночь. Но уже скоро рассветет. Ди пхи юй чхоу, Земля рождена в Час Быка, так учили древние умные китайцы. Верочка! Как ты тяжело дышишь! Боже мой, спаси ее, она умирает!

Какого Бога я зову? Кому молюсь? Где моя противогазовая маска?

Наступит час, и все мы обратимся в пепел. Он будет заразный и опасный. Его нельзя будет собрать в мешочек и носить на груди. Он никогда не станет ни кисетом с табаком, ни сахаром и солью, ни елочной игрушкой. Господи, а ведь Ты ребенок! Господи, Ты тоже мой сын! Мой далекий сын! Тебя прибили гвоздями ко кресту, а Ты воскрес! А ведь скоро Новый год, опять Новый год, Ты сохраняешь нам наше время, пока еще хранишь его для нас, ждущих жизни, и выпускаешь его на волю из золотой шкатулки, из темной кувуклии, там, далеко отсюда, от снегов и метелей, в храме Гроба Господня, а я так мечтаю туда добраться хоть раз в жизни; там Твой Огонь загорается, и люди счастливо вздыхают: пока нам еще сохранили жизнь, пока еще ее живой огонь горит в руках над безумными от радости головами, над пучками белых тонких свеч, рядом с лицами в слезах, между дрожащих ладоней.

И жги не жги свечку, а все равно настанет ночь, ночь из ночей.

Для меня это была Ночь Оползня.

Дело все в том, что деревянный двухэтажный дом, где я жил в затянутом плесенью подвале, в священной моей одинокой обители, стоял на самом краю огромного оврага. Наш город, Нижний Новгород, в советские года закрытый на все замки и крючки, цель № 2 для атомного удара после Москвы, город Горький, где ясные зорьки, стоит на высоких холмах вдоль Оки и Волги, разбросан по взгорьям и увалам, разрезан ножами оврагов и ручьев. О, как по весне в Нижнем цветут еще не убитые, не спиленные вишни и яблони! И как затягивается свежей буйной травой чудовищный мусор на дне оврагов! Мой дом, на краю обрыва, стоял и ждал своей участи.

И дождался.

Я, как обычно, тепло натопил печку, встал на колени перед «Троицей» Рублева и колокольчиками Кришны, что подарила мне кришнаитка Лена, сложил руки на груди и помолился: за всех ушедших и живущих. Потом сел в позу лотоса и стал медитировать. Ко мне вереницей шли видения. Я спокойно принимал их, отворив сердечную чакру анахату, у меня не было времени осмысливать их — я ведь отключил мозг, как всегда. Потом я крепко потер ладонь о ладонь, провел теплыми ладонями по лицу снизу вверх: умылся. Так умываются отшельники. Потом я снял брюки, остался в шерстяных трико и полосатой тельняшке, крепче стянул конский хвост резинкой, выключил лампу и лег спать.

Вместо лавки у меня уже было подобие кровати — я сам сколотил ее из старых ящиков, досок и бросовых бревен. Ну я же все-таки был краснодеревщик, плотник. Кровать получилась широкая, мои ученики шутили: «Учитель, вам бы здесь пару ващу рядом положить! Женщину! Тогда будет гармония». Я смеялся и качал головой: «Тогда будет несвобода. Я не семейный человек».

Среди ночи я услышал дикий шум, раскрыл глаза и увидел бешеный свет.

Свет метался, лучи очумело бегали по стенам подвала, разрезали стекла окон. Муравьи за стеклом всполошились, муравейник весь шевелился. Люди грохотали сапогами по лестницам. Я вскочил, быстро, как в армии, оделся. Выбежал из подвала.

Взбежал по шаткой деревянной лестнице. Дверь подъезда, распахнутая настежь, вбирала и выплевывала людей, вспышки света, вопли, гудки машин и опять слепящие огни фар и фонарей. «Что это?!» — заорал я, не думая, что меня кто-то услышит и ответит. Из-под локтя вывернулась старуха соседка. К ее ногам жалась белая грязная болонка. «А, художник подземный! — крикнула старуха и обнажила то ли в нервной улыбке, то ли в оскале испуга коричневые зубы. — Вот и выполз наружу, червь! Падаем мы! Падаем, слышишь! В землю сползаем! Умираем! Щас провалимся в тартарары, и поминай как звали!»

Это все она кричала уже мне в спину. Я вынесся на улицу, озирался. Края оврага, где по теплу росли одичалые вишни, золотые шары и мышиный горошек, больше не было. Не было и серых сараев. Я не разглядел их на дне оврага; они ушли под землю. В широченную черную трещину, медленно открывшийся зев земли. «Мы сейчас провалимся, дети, дети, уходите, быстро, убегайте!» Матери вопили что есть мочи, но дети не слушали их — как зачарованные, они стояли у обрыва и глядели, как ползет и содрогается земля.

Наш дом тоже дрожал, и полз, и плыл. Деревянная старая, дырявая лодка. Она давно должна была потонуть, но все еще плыла. Сколько таких лодок по всему Нижнему, по всей старой России, по ее городам, городочкам и селам! Несчетно. В них нельзя жить, они прогнили до основания, но люди живут. Мы — живем. Живем и Бога благодарим, что есть крыша над головой.

Из машин аварийной службы люди в оранжевых жилетах тянули шланги, канаты, мешки — зачем? Какую воду откачивать, кого в мешки пихать?

Я оглянулся. Попятился. Дом медленно полз вперед, на меня, на всех нас. Мы, ощупывая незрячими руками воздух, как будто воздух уплотнился и стал густым и вязким, двигались по краю обрыва, и впереди маячил плывущий на нас деревянный корабль, а позади зияла пустота, пахнущая землей, могилой. «Сейчас рухнет!» — истошно крикнул женский голос, и рядом густым церковным колоколом прогудел мужской: «Береги-и-и-ись!»

Я шатнулся и, чтобы не упасть, ухватился за голую обледенелую ветку. Дерево цеплялось корнями за землю. Дерево не хотело в преисподнюю. И Бог услышал молитву дерева. Люди-то не молились, а только орали и метались. Дом дополз до края оврага и застыл.

Замер.

И замерли все. Все будто заснули. Заснули голые, в серьгах и брошках льда, деревья и кусты. Заснули далекие миражи кровавых кремлевских башен. Слепые, в бельмах грязи, фонари на одиноких черных деревянных ногах. Заснули, перестав урчать моторами, казенные машины. Заснули звезды среди туч, и черные огромные собаки на снегу, и лысый мужик в кудрявом тулупе, что курил, усевшись на перевернутое ведро, и папироса выпала у него из спящих рук. Заснула, медленно рассыпаясь на восковые, медовые плашки, поленница дров. Заснули в спешке вытащенные, вываленные в сугробы шкафы и пальто, шубенки и швейные машинки, холодильники и куклы, книги в картофельных мешках и зимняя картошка в дорожных чемоданах. Заснул, распахнутый настежь, семейный альбом со старинными фотографиями, и я, художник, ловил все цепким глазом — коричневые, сепией, тонкие лица девушек, кружевные воротники учениц епархиального училища, чистые халаты строгих земских врачей, первые советские трактора на берегу реки, строительство плотины, свадьба с поцелуями, подарками и веселой гармошкой, солдат на фоне родного танка, и родная красная звезда на боку танка и на скособоченной пилотке, и надпись на танке, кривая и размашистая: «На Берлин!». Заснул велосипед с сор-

ванной цепью, заснул перевернутый днищем вверх ржавый катер, заснули сосульки на карнизах и голуби под крышей. Не шевелилось ничто. И никто не шевелился. Одна бессонная земля еще дышала, поднимала обезумевшую грудь. Но и она заснула и застыла.

И среди спящих, среди их ледяного путешествия, плавания в черное никуда, среди тишины, внезапно обнявшей всех нас на краю оврага, раздался нежный детский голос: «Мама, почему все уснули? Где наш котенок? Я не хочу, чтобы он умер!»

Это был голос ангела. Но это понял только я.

Ангел воссиял, изронил живое слово любви и остановил смещение земли. Прервал казнь.

Наша общая смерть была отсрочена сегодня. На сколько? На год? Два? Десять лет? На столетие? На тысячу лет?

И, услышав про котенка, проснулись и ожили люди. Все загудело, задрожало, закричало и захлопотало. Исчезла обреченность. Рок отступил. Земля больше не обваливалась вниз, в ад и тьму, громадными сырыми кусками. Люди кричали, тащили вещи, укрывали руками, локтями и животами, фартуками и вязаными кофтами плачущих детей, парни вели за рога велосипеды, фары грузовика загорались и гасли, рабочие сворачивали мертвыми удавами толстые шланги, а наш дом на обрыве единственного, среди всеобщей толкотни, замерз, замерз, закоченел, и мы все вдруг дружно на него глянули и подумали, чтобы — навек.

«О, если б навеки так было!» — пела мне однажды одну песню кришнаитка Лена.

Песню пела, печка горела.

А может, это ария какая была, из какой оперы, не знаю.

Кришнаитка Лена, с которой я не хотел ложиться в постель, хотел сберечь ее святость и принадлежность богу Кришне, но все-таки однажды лег, погибла. Она с матерью и подружкой поехала на автомобиле в Москву — покупать с рук шубу у еще одной подружки; московская подружка привезла три дешевых шубы из Греции, и три женщины вытащили из тайников сбережения и весело отправились в столицу — покупать греческие меха. Шубы были куплены, норковые, и правда дешево. Кроме шуб, женщины закупили в Москве ящик апельсинов, к Новому году, и две бутылки армянского коньяка, пять звездочек. Счастливый праздник был обеспечен.

Машину вела подружка. Может быть, она немного выпила, не знаю. Отхлебнула коньячка, попробовала тайком, без закуски. Может, дорога была скользкая. Зима, декабрь. Корка льда по всему Московскому шоссе; и блестит, как шкура черной змеи. И машины, людские железные коробки, безумный ветер заносит и переворачивает колесами вверх, валит в кювет.

Подружка не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Столкнулась с грузовиком. Грузовику хоть бы что, а «Жигули» всмятку. Лена сидела на переднем сиденье. Она не пристегнула ремень. А зачем? Свободу любит Кришна!

Она разбилась на машине, ей было всего двадцать четыре года. Я вспомнил, что я однажды нарисовал ее.

Я вытащил из-за шкафа ее портрет. Зажег свечу и начал портрет рассматривать. Остался доволен собой как художником. Я точно положил штрихи, светотень, тонко очертил профиль. Деревья вместо волос... облака плывут над головой, блее лилии... что это... что это?

Я беззвучно, одними губами лепил: «Безмолвная, это Безмолвная».

Я смотрел на свою давнюю картину «Безмолвная», и я понимал: вот он, портрет кришнаитки Лены, и я ее написал когда-то, когда еще не знал ее, и она умерла.

Что-то тут не так, подумал я, полез за печку — и стал один за другим вытаскивать портреты: и холст-масло, и гуашь, и акварель, и карандашные наброски — и потрясенно соображать: этого нет, и этой уже нет, и этот умер, и этот покончил с собой, и эта, малютка, девочка-Дюймовочка, умерла в больнице от лейкемии. Какое счастье, что я ни разу не нарисовал ни Верочку, ни Софочку, ни Юрочку! Значит, они будут жить. Будут жить!

С тех пор я перестал писать портреты. Я понял: существует непонятная связь между изображением человека и его уходом. Ну, словно бы я рисую человека в его память, посмертно. Чтобы о нем вспомнили, о нем поплакали дети и внуки. Но ни дети, ни внуки никогда не увидят портрет кришнаитки Лены: она не успела полюбить, не успела выйти замуж и родить. То, что я однажды был с ней рядом, ничего не значит.

Рядом, но не вместе.

И, глядя на ее портрет, на торжественную, как царская лилия, «Безмолвную», я вдруг понял: я написал его для себя, в память себе, в память о ней для себя, на всю мою оставшуюся жизнь. Дерево растет, вцепляется корнями в разумную землю, и облака мыслей плывут, не зацепляясь за раздутую ветром листву. Лена умерла, а я буду смотреть на этот портрет и всегда ее буду помнить.

Но вот чудеса! Я глядел на портрет кришнаитки Лены, а видел перед собой ту забытую проводницу, в лихой пилотке, в том скором поезде на юг, с голыми худыми ногами, в полутемном купе с наспех зашторенным окном, с моей недокуренной сигаретой в детской, тонкой руке.

Ночь Оползня отворила двери, за которыми время стало убыстрять бег, уплотняться, становиться все страшнее, жесточе, все стальнее, все безжалостнее. Жалость исчезала на глазах. Мир превращался в жесткий кус металла, и одним из слов, что обозначали ужас мира, стало странное слово «жесть». «Жесть!» — кричали мальчишки, увидев на задворках дохлого ободранного кота. «Жесть!» — вздыхали люди на остановке, дрожа и рассматривая валявшихся на асфальте мертвецов: пьяный водитель протаранил толпу, ждущую троллейбуса, и живые дрожали, сбиваясь в плотную жесткую массу, и лица сливались в один комок серого теста, и заливались одними слезами.

Жесть — так открывали консервную банку пьяницы в подъезде, зубами сдирая с бутылки затычку, жесть — подносили стеклянное горло ко рту, жесть — хлебали и стояли, как вкопанные, в вонючей тьме, без закуски, выжидая, когда адский огонь разольется по глотке и животу, по сердцу, меж ребрами.

Жесть, шептал я сам себе, наблюдая в холодном подвале фигурки на экране маленького телевизора, фигурки метались, падали на колени, воздевали руки к небу, то возле разбитого самолета, то возле взорванного поезда, то среди взорванного рынка, то вдоль взорванного театра, и я опять и опять слышал эти слова: «Трагический теракт! самый большой теракт за пять лет! самый крупный теракт в этом году! невероятная трагедия в Мадриде! страшная трагедия в Тегеране! жуткая трагедия в Багдаде! в Дамаске! в Марселе! в Стамбуле!» — и люди по всей земле эти слова слышали. Я открывал видео, и фигурки прыгали опять и опять — возле обломков самолета, возле обвалившейся церковной стены. И лежали на асфальте в крови, в ряд, дети и мужчины, беременные женщины и глубокие старцы, и я опять и опять складывал руки на груди и молился. Но раздавался стук в дверь, и моя молитва прерывалась: это приходил мусульманин Баттал, он приносил мне немного еды, он садился напротив меня и спрашивал меня о смысле жизни, о смерти, о моем чувстве Бога.

Что я мог ему сказать? Я ел то, что он принес, кипятил чайник, споласкивал кипятком грязные чашки, говорил тихо: «Баттал, разве о Боге говорят? О Боге надо молчать. Тогда Он придет к тебе сам».

Я видел, его не устраивали такие мои слова.

А тут рядом со мной разразилась такая гроза, что спастись трудно было от холодных струй этого черного ливня.

Наш дом, чудом уцелевший при оползне, так и застрявший на краю оврага, ветхий, кривобокий, дерево прогнило, сруб истлел, жучок и время его поели, свет то и дело отключали, замыкало старую проводку, — кишмя кишел людьми. У меня между стеклами возился и дышал маленький муравейник, а наш дом являл собою муравейник большой, и самый малый муравей, я, сидючи в подвале, никогда не заползал на самый верх муравейника, на чердак и на крышу. В каждой норке каждый человеческий муравьишка трудился, как мог, таскал что-то важное в норку и вытаскивал из норки наружу то, что уже не было нужно, дрался и блажил, плакал и включал музыку на полную катушку, сдавал комнаты бандитам и возводил перегородки, чтобы за ними, как за китайскими ширмами, спрятать выросших детей и новорожденных младенцев. Ночью младенцы надо мною орал, как резаные поросята, я поросыпался, вздыхал и молился опять.

Вскоре за Ночью Оползня последовала Ночь Убийства.

В нашем доме сын убил своего отца.

Так просто убил; убить, знаете, это всегда просто.

Ничего нет сложного в том, чтобы крепко ударить, и человек упадет и умрет. От гематомы, от того, что лопнет крупный сосуд, от сотрясения мозга, от сломанного ребра, острый край которого воткнется в сердце, в печень. Травмы, несоместимые с жизнью! — так напишут потом в свидетельстве о смерти. Но то, что сын может поднять руку на отца, это поначалу не укладывается в голове; вот и у меня не уложилось.

На лестнице, что вела ко мне в подвал, раздался гром. Это, так яростно топая, вниз бежал человек. Я проснулся и подумал, лестницу ломают. Бьют молотом по ступеням. В тельняшке и в кальсонах я, мотая головой спросонья, подкатился к двери, заправил седые свои космы за уши, не спрашивая, кто там, открыл. Кто же еще может ломиться ко мне в подвал ночью, как не свои?

На пороге моталась и вспыхивала в сыром мраке маска ужаса. Это было лицо человека, понятно, но это лицо было так искалечено, так перекошено нечеловеческим ужасом, что даже я, выдавший в жизни всякие виды, попятился. «Андрюха! — зычно завопил человек-ужас, — Андрюха, мать твою так-через-так, помоги, растак твою, у нас тут черт знает что, растудить твою через коромысло, ты даже не представляешь что, в бога-душу-мать-за-ногу!» Я всмотрелся в светящийся, мотающийся передо мной во тьме живой ужас — и едва узнал соседа Кешу Скобеева. Кеша был выпить не дурак, с покойным хозяином подвала они квасили не раз, он сам мне об этом рассказывал, и опять же за шкаликом: он со шкаликом обнимался, я с чашкой кофе и сигаретой, разделение труда. «Кеша, Кеша, стой, постой! — закричал ему я, я с трудом продираю глаза, спутанные лохмы лезли мне на лоб. — Что стряслось? Говори ясно!» И Кеша, ясно глядя мне в лицо умалишенными глазами, в них плавал ужас, ясно, внятно сказал: «Дон Кихот отца укукошил. Насмерть. Кухонным ножом».

Жил у нас такой в доме, худой и длинный, то ли парень, то ли дядька, вроде молодой, а морщины по всему лицу, его Дон Кихотом прозвали; и был у него отец, такой старый, что у него белой шерстью все темное, как кора, лицо заросло, как ягелем. Что беспомощный старикан Дон Кихоту сделал? Из-за чего повздорили? А может, и вовсе не ссорились, а что-то тут другое просвечивало, тайное и тяжелое, тяжелее гири? Некогда было раздумывать. Я набросил куртку поверх тельника, всунул ноги в холодные башмаки, и мы с Кешей побежали наверх. Соседки голосили. Кто-то возвысил голос: «Да не вызывай ментов! Ментов уж давно вызвали, и не один раз! А они все едут!» Мы вошли в квартиру Дон Кихота. Голые стены. Включенный компьютер посреди голого стола. Ободранные котами обои. На полу разлитое вино. Винные лужи подсохли, и к ним прилипают подошвы. Дверь в кухню открыта. Конфорки полыхают, горит синий газ. И пахнет газом. Я подошел, газ выключил. Форточку распахнул. Зима ворвалась, я поежился. Дон Кихот лежал на полу со связанными руками. Руки он сжал в кулаки и закрывал ими низ живота. Он тихо бормотал сквозь зубы: матерился. От него не пахло, он был трезвый. Белая злость била из его глаз. От них хотелось заслониться ладонью, как от вспышки магния. Сейчас так, со вспышкой магния, уже не фотографируют, а меня, ребенка, еще так снимали на карточку, и отца моего покойного, и мать мою, и сестер, мы еще этот чертов магний застали. Я сел на корточки возле головы Дон Кихота и тихо спросил его: «Ты, рыцарь, тебя какая муха укусила? Зачем на отца руку поднял? Где он?» Дон Кихот глядел на меня связанным волком. Его дикие глаза то белели, то желтели. Я оглядывался. Нигде не видел тела старика. Вошел Кеша, и я разогнул колени, встал. «Вон! — выкинул Кеша руку вперед. — Глянь! Деловой такой! Штук двадцать колотых ран! Не меньше!»

И тут я оглянулся и увидел мертвого человека.

Это всегда тяжело, встреча с мертвецом. Что есть живое? Когда мы живы, смерти нет, а когда будет она, не будет нас. Мы никогда не сможем встретиться, мы и смерть. Поэтому мы, должно быть, так никогда ее и не ощутим. Уходя и мучась, мы будем мучиться, да, но это все равно будет еще жизнь. Сам миг ухода не поймать за хвост. Не обтянуть тугой резинкой. Не пригвоздить, не вскричать: все! настиг! она моя! Не твоя и ничья, никогда.

Но вот очередной мертвец лежит перед тобой, и ты растерялся. Ты не знаешь, бояться тебе или сохранять спокойствие, притворяться, что все по-прежнему, или ужасаться тому, что и ты, не пройдет и десятка-другого лет, вот точно такой же станешь. И так же будешь лежать на диване, а может, на кровати, а может, на столе, на простынях или на полотенцах, в гробу на голубом атласе или на грязном полу, и неважно, будет ли засыхать кровь на твоих страшных ранах, или шею обвивать красный след от удавки, или чист ты будешь, как стеклышко, а просто разобьет тебя паралич или остановится безумное, доброе твое сердце, просто устанет биться и встанет, это все уже детали. Ты все равно станешь мертвой, косной материей. Ты станешь кирпичом земли. Колбасой Бога. Пищей для голодных червей. Тебя заколотят в гроб и опустят внутрь земли, и ты, пройдет немного времени, сам станешь землею, — гордись! Земля — твоя мать, а ты думал, женщина с тонким голосом и большой грудью, что хватала тебя, поднимала, вынимала из-под рубахи сосок и тебе в рот толкала, кормя тебя? Нет. Все не так. Ты умер. Ты родился. Ты снова войдешь в лоно. И ты собой накормишь другие живые существа. Значит, ты и есть главный хлеб земли. А может, ее соль.

Да что там, хлеб и соль вместе.



Я подошел к убитому старику. Я сам себе казался невесомым и невидимым. Это я стал ангелом, только бескрылым, а он, весь изрезанный тесаком, лежал передо мной на диване такой тихий, мирный, светлый. Перекошенный в крике рот уже успел сложиться в тихую улыбку. Лицевые мышцы разгладились. По лбу бежали волны спокойных морщин. Одежда, вся изодранная ножом, свисала лохмотьями, и казалось, старик лежит в маскарадном костюме с красными бантами, махрами и воланами. По лицу наискось шли пять красных полос: это сын, убивая отца, мазнул по его лицу рукой в крови. Я отвернулся. Горло мне захлестнуло соленой петлей. Дети! Мои дети! Неужели они тоже когда-нибудь убьют меня? Неужели я когда-нибудь им до смерти надоем, и мы крепко повздорим, и они возьмут в руки острые тесаки, и поднимут их, и пойдут на меня? Спина аж вздыбилась, как шкура зверя, от такой иглистой, как железный иней, дикой мысли. Я помотал головой, отгоняя морок. Потом опять повернулся к убитому, поднял над ним руку и нежно, медленно перекрестил его. Читать кафизмы из Псалтыри я не умел. Это дело старух. Я молился по-своему, не все православные поняли бы меня; вот Серафимушка бы понял, я знаю. «Старик, милый, — чуть слышно шепнул я, а рука все чертила в воздухе крест, — прости сыну своему, как Бог вам обоим прощает. Пожалей его. Ты еще к нему будешь приходить, и он от этих твоих посещений одуреет, взмолится: уйди, избавь! И как бы он от того, что он убил тебя, сам, по своей воле, не ушел бы вслед за тобой. Душа твоя сейчас здесь и все видит и слышит. Прости! Прости ему!»

Вдруг я внезапно, сильно и больно понял: самое великое на земле дело — прощение. Надо прощать, если тебя убили. Прощать, если убил ты. Прощать, если развязали войну. Прощать, если ты совершил непоправимое. Прощение — это еще одна, самая последняя возможность все ужасное уладить, все позорное — исправить. Вылечить. Мы никто не доктора! Тогда почему же мы все просим, и просим, и просим друг у друга прощения? И у Бога прощения просим?

«Прости, старик», — сказал я и прошел кровавой, липкой дорогой от дивана к лежащему на земле, связанному Дон Кихоту. Парень сам превратился в уродливого старика. Лоб бугрился морщинами, впалые щеки будто ямы в земле. И сам весь цвета земли. И пахнет землей. А может, кровью. Я опять присел на корточки рядом с ним. «Тебе не стыдно? Отца уж не вернуть. Зачем?» Он повел глазами. Белый огонь в них уже погас. Глядя на него, я подумал об уродце, вытащенном кюреткой из утробы преступной матери, убийцы. Еще не жил на свете, а уже погиб. «Он заел мою жизнь». Я онемел. «Твою? Жизнь?! Заел?!» Дон Кихот разжал кулаки. Я увидел, как медленно наливаются кровью его посинелые пальцы, как кровь пульсирует в их белых прозрачных кончиках. «Да. Сгрыз с потрохами. Кости зубами перемолол. Он ел меня, и ел, и ел, ты даже не представляешь, как жадно, с каким наслаждением он меня ел, он сидел тут в углу, вот тут, скрюченный, дрянной, и ел меня, пилил меня, пилил, оскорблял, душу мне резал, резал, чулком меня наизнанку выворачивал. И я не выдержал. Но знаешь, Андрюшка, прежде чем его убить, я долго думал, хорошо ли это. Позволено ли это!» — «Кем позволено?» — вылепили мои губы сами, дрожа и трясясь. «Ну как же кем! Кем-кем! Сам ты прекрасно знаешь кем!» Я закрыл глаза. Я сначала подумал: он Бога имеет в виду? — а потом догадался: нет, не Бога.

Колени мои болели, долго на корточках я не смог бы высидеть. Я слышал шаги — сюда уже шли люди. Я приблизил лицо к лицу убийцы. «И что? Ты хочешь сказать, что ты разговаривал с ним самим? С дьяволом? С самим сатаной? Да? Да?» Дон Кихот перекатил голову по заляпанной кровью половице и отвернул лицо от

меня. Он не хотел меня слушать и слышать. Не хотел отвечать. И все-таки ответил. Он не мог не ответить. Язык его сам все выболтал за него.

«Да меня он-то, короче, и достал, этот твой дьявол или как его там. С одной стороны это отребье сидит и пилит, пилит, душу уже подъял всю, до крохи. С другой — под локоток подползает этот, ну про него ты мне сейчас треплешься, да, вот именно он, я чувствовал так, что это он, именно он, а кому же еще так меня трясти? Тряс, тряс меня, я весь извелся. Я от себя ножи прятал. Днем прятал, а ночью на кухню пробирался и точил. У меня точилка есть. Я знал, что нож нужен острый. Очень острый. Чтобы мягко, быстро входил, как в масло. Человек — это масло, ты знаешь? Когда его режешь, он просто брус теплого масла, и все. Масло, и больше ничего. Красное масло. Х-ха! Я спать уже не мог. Перестал спать. Все спрашивал этого, ну, как его, ну, темного: ты, темный, а если я убью, меня что, на том свете накажут? А он мне: ты что, серьезно веришь в наказание, в то, что ты поступишь, как плохой мальчик, и тебя выпорют ремнем, да?! Подстерегут, уложат на лавку и выпорют?! Да забудь! Забей! Забей на все! На все сомнения и страхи! Нет уже этого ничего на свете! Не вини себя! Делай что хочешь! Такие времена настали! Я тебе все разрешаю! Вперед и с песней! И вот он мне разрешил. Он! Мне! Сам разрешил! Понимаешь?! Нет, ты понимаешь?! Понимаешь?!»

Далеко слышались голоса. Становились все ближе. Дверь закричала, в комнату вошли милиционеры, с ними соседи, все дружно кричали плачущими, истеричными голосами. Дверь ходила ходуном и противно скрипела, люди указывали пальцами на лежащего на полу убийцу, я тяжело поднялся с корточек и еще раз поглядел убийце в глаза. Глаз его я не поймал. На всю жизнь я запомнил его лицо — искривленное, будто громадным сапогом раздавленное лицо зародыша, выковырянного железной ложкой из брюха несчастной матери.

Все меньше людей ходило ко мне заниматься медитацией и особыми светлыми молитвами. Все меньше мне приносили еды. Я собирал бутылки в оврагах в пустой рюкзак, я хорошо знал это бродяжье ремесло, но иной раз очень сильно хотелось есть, а еды не было, и денег не было; был только молотый кофе в старой жестяной банке и вечная пачка сигарет на подоконнике. И муравьи за окном.

Я подтягивал ремень и просверливал в нем шилом новые дырки.

И тут подвернулся под руку знакомый художничек, Родя Волокушин. Родя зашел ко мне на огонек, а я как раз сидел с огоньком — без электричества, как всегда, со свечой на столе в грязном чайном блюде. С теплой свечи стекал на блюде горячий воск и превращался в скалы и фьорды, и я следил за этим дивным превращением. Дверь была открыта. Вечер стоял поздний. Я никого не ждал. Волокушин вошел, как призрак. Я хотел вздрогнуть, а вместо этого тихо рассмеялся, не оборачиваясь. Я увидел его затылком. Волокушин положил руки мне на плечи и крепко сжал их: так он здоровался. «Здравствуй, Андрей!» — «Здравствуй, Родя!» — «Как живешь-можешь?» — «Живу и могу!» Я заварил кофе. «Извини, друг, к кофию ничего у меня: ни сахара, ни сушки». Волокушин уселся в дряхлое кресло, пил горячий кофе громко, фыркая и сопя. «Фу, весь язык обжег! Крепкий! По-турецки, что ли? С перцем, с солью? Слушай, а ты не хочешь жить как человек? Ну, это, деньги получать? Место охранника свободно. У Борьки Хвостенко! У него фирма на проспекте Гагарина. Ее надо охранять! Я два дня, ты два дня! Соглашайся! Нам, это, Борька даже пистолеты даст!» — «Не нужны мне пистолеты, — сказал я, улыбаясь и покуривая, — я любого бандита голыми руками задушу. Нет! Я его — молитвой поражу!» Молитвой так молитвой, соглашался Волокушин и шумно хлебал кофе. Выхлебав всю чашку, взмахнул рукой: «По рукам?» Я ударил его ладонью о ладонь, и мы смеялись и курили.

Так я стал работать охранником. Наш хозяин, Борис Хвостенко, с белою бородкой, с ярким сладким ртом бантиком, с носом чуть с горбинкой, занимался неизвестно чем. Да мы с Родей особо и не интересовались. Кое-какие его занятия мы, правда, созерцали. Каждый день в офис приходили пять вышивальщиц и вышивали золотыми нитками на натянутых на палец полотнищах красивые женские лица в кокошниках. Кокошники были сплошь усеяны яхонтами, рубинами, изумрудами, бирюзой, жемчугом, и я толкал Волокушина локтем в бок и тихо спрашивал: «Как думаешь, поддельные?» — а он важно отвечал мне, так же тихо: «Настоящие! Уральские камни!»

Стареющий красавец, старый бизнесмен Борька Хвостенко, старый мальчик с белой бородою Деда Мороза, хотел в жизни успеть еще заняться искусством — и выставить его напоказ, свое искусство, и заработать на нем. Как выяснилось, Хвостенко задумал изобразить воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам. Нанятые за копейку златошвейки вышивали лики боярынь и боярышень, что пришли на площадь близ синей Волги к Спасо-Преображенскому собору, откуда Минин орал народу свои военные слова; от собора остались одни руины, власти все грозились его восстановить. По мысли Бориса, боярышни в кокошниках, изукрашенных самоцветами, должны были стоять справа от Минина, воины в красных кафтанах, с саблями на боку и со вздетыми копьями, слева, а в центре бешеный купец Минин Сухорук будет вздевать десницу, разевая рот, взывая к народу: отдай, народ, последнее, и врага победим! Как это по-древнему, купно заедино! Хвостенко, вздыхая, глядел, как златошвейки нижут бисер на нить, и жалобно шептал: «Продать бы это дело в столицу... в Государственную Думу... в музей Церетели... в Кремль... президенту...» Однажды я пришел на дежурство, а из бутафорской ватной фигуры Кузьмы Минина вылетела моль. Я бегал за ней и ловил ее, хлопал в ладоши. Моль улетела. Ладони мои еще долго горели от зряшных хлопков.

Хвостенко задумал повезти своего безумного ватного Минина, с боярышнями и стрельцами, в Питер, на громкую выставку, в престижный зал аж на самом Невском проспекте. Фигуры и вышивки с предосторожностями погрузили в поезд, вместе с живым Борькой и тряпичным Мининым в вагоне ехали казаки, много казаков, целый отряд. Меня Хвостенко тоже взял в дорогу на всякий случай — я ведь художник, мог ему там, в зале, подсказать, как объект поставить, как правильно его софитом осветить. Мы медленно везли Минина с воинами и боярышнями по Питеру в кузове грузовика, а по бокам грузовика вышагивали казаки, как гуси, и у них на груди тихо побрякивали ордена и медали. И я все думал: где, на какой войне они воевали, что заслужили так много наград?

Красивые ухоженные тетеньки встретили нас, любезно показали, куда нам идти с нашим хозяйством. Мы затащили фигуры в светлый зал, водрузили Минина со товарищи на большой картонный куб, самоцветы сияли, вышитые боярышни тихо млели. На завтра было назначено торжественное открытие. Теперь это называлось презентация. Борька ткнул меня пальцем в бок и сказал: «Андрюшка, ты небось на презентациях никогда и не был. Ну признайся, ведь не был? А тут так будет шикарно! Такой харч! Спонсор сама мадам Марченко. Тарталетки с черной икрой, испанский тунец, рулетки из кур, шашлык из осетрины! Ты, нищий художник, ты когда-нибудь едал шашлык из осетрины?! М-м-м-м! Это, брат, такое блюдо, закачаешься! А вина, вина какие будут! Франция, Аргентина, Чили! Лучший арманьяк, выдержка пятнадцать лет!» Я слушал все эти слова, текущую из его пушистой белой бороды вереницу сладких слов, и в моих ушах вместо них вдруг начинала звучать странная музыка: то песнопения, как в монастырском соборе, то стоны и крики, будто рядом кого-то убивали, а этот кто-то отчаянно кричал: «На помощь! Помогите!» Крики

стихали, и начинали петь птицы. Как в весеннем лесу. Я смотрел мимо Хвостенко, вбок, на гладкий навощенный паркет. Потом меня кто-то крепко ухватил за локоть, еще одна живая рука просунулась мне под мышку. Меня потащили, и башмаки мои процарапывали грязными пятками драгоценный паркет. «Эй, мужик, ты что это, нельзя тут в обморок падать! Ты разве красная девица? Эй, быстро, у кого есть валидол!»

Мне засунули под язык сладкую мятную таблетку, и я, как дитя конфетку, сосал ее весь вечер. Она оказалась вечной.

Вокруг Минина, по стенам, развесили картины современных художников, странная такая живопись, на мой взгляд, не очень-то пристойная: вот мужчина с женщиной прилюдно совокупляется, а называется это дело «Адам и Ева в Раю», вот детородный орган изображен величиной с целый стол, и название такое: «Отсюда вышел род героев», или вот еще, такая там картинка висела: голый толстый зад, и из него торчит труба, и название совсем уж не в шубу рукав: «Трубящий ангел». Я ходил, глядел и со смеху помирал. Между картинами, для чего, не знаю, повесили иконы. Какого хрена, до сих пор не пойму, среди непристойных холстов иконы развесили? Чтобы сгладить впечатление от живописного хулиганства? Думаю так: ни зал, ни музей не место для иконы. Место святой иконы в церкви. Там ей можно молиться. Еще икона может висеть у тебя дома. Там только ты молишься ей, и это как любовь. Этого никто не должен видеть. Но я изо всех сил оправдывал дур этих, выставочных тетенок, они небось так себе мыслили: все, что живо, то и свято, нет ни верха, ни низа, все едино. Короче, что природно, то не постыдно.

Нет, икона рядом с голым задом — это надо суметь. Я бы так не смог.

Мне Борька сказал, поднимая палец с богатым перстнем: Мицкевич, ты не морщись, ты не смотри, что тут везде сморчки и ягодицы, все это знаменитые мастера, ужас какие известные, эти картинки и на Сотбисе выставлялись, и в музее Гугенхайма, и в галерее Тейт в Лондоне, и черт-те где еще. А я себе тихонько думаю: это ж надо, такая чепуха в таких славных местах на стенах висит и людям глаза мозолит, это же чистой воды порнушка, смех один. А может, для смеху это все и нарисовано? Ну ходят же люди в цирк, там клоун запросто может штаны спустить и белые булки залу показать!

А Борька мне шипит змеей: ты гляди, изучай, смекай, учись современным живописным приемам, ты, горе-художник!

А может, это они горе-художники, а не я, хотел я хозяину возразить — и смолчал.

О чем думали дуры тетки, устроительши этого вернисажа, в кучу сваливая наглый авангард и умильную святость? Было ли это провокацией? Или глупостью? Не знаю. Знаю одно: рот свободному художнику не закроешь, но и истово верующему рот не закроешь тоже. Если кто обидит Бога твоего — берегись! А что, запретных тем для искусства теперь уже нет? Рисуй все что попало? Если святое выгнали взащей, его место быстро занимает наглая пошлятина.

А может, эти нахальные изображения были страшнее пошлости?

Как называлось это всё, то, чего я раньше никогда не видал?

Я не знал этому имени.

Я разгуливал по залу среди богохульных картин, и мне становилось стыдно.

И даже развешенные среди непотребства подлинные иконы не спасали. Не охлаждали мой горячий стыд. Я подошел к нашему Кузьме Минину, к вышитым боярышням и тихо сказал им: терпите, боярышни, Христос терпел и нам велел.

Я чуял запах опасности в пыльном воздухе.

Казаки тоже почуяли этот запах. Они ходили по залам, вертели головами, разглядывая дерзкие шедевры, а потом вертели пальцами у висков. Мрачнели. Терли лбы ладонями. Один старый казак подошел ко мне и тихо, но внятно сказал мне

на ухо: «Глянь, какое дерьмо повесили. Любуйтесь, люди!» Я пожал плечами. «Это все, брат, шедевры». — «Не шедевры, а дешевы», — криво усмехнулся бородатый казак. Он был весь изрезан морщинами, и лицо и руки, и он знал жизнь и различал, где у нее уродство, а где красота.

Ночевать нам было негде, такой ораве, Борька пожадничал оплачивать нам всем, такой толпе, гостиницу, пошептался с начальницей зала, и нам всем разрешили ночевать здесь, на выставке, в двух просторных кладовках. В одной стояли у стен холсты; там расположились на ночлег казаки. В другой лежали, сваленные в кучу, подиумы, мольберты, планшеты, рулоны ватмана, старые самовары, старые чайники и еще много старого барахла. «Раскладушки у нас нет! А вы, господин художник, может, подиумы сдвинете? И будет у вас как диван!» Не беспокойтесь, граждане-товарищи, улыбнулся я милым женщинам, крепче всего я сплю на гладком красивом паркете. Когда я сплю на паркете, у меня ощущение, что я плыву в лодке. И надо мной гребец взмахивает веслами и поет нежную песню.

Хвостенко уехал спать в гостиницу. Опустилась ночь.

И на исходе ночи, когда уже в огромных голых, без гардин, окнах стал лить белое молоко печальный питерский рассвет, я проснулся от странного стука и скрежета. Будто кто-то выставлял оконное стекло в соседней комнате. Я прислушался. Услышал шаги. Паркет скрипел. Кто-то шел за стеной, шел по коридору. Вот проскрипела дверь в зал. За шагами прозвучали еще шаги. И еще. И еще.

Я успокаивал себя: да брось трястись, это смотрители ходят, это ходят сторожа! Не обманывай себя, никакие это не сторожа, это воры. Сейчас стибрят самую дорогую икону, раз — и в сумку, и в разбитое окно. И поминай как звали. Из зала доносилось мышинное шуршание. Люди, а это точно были люди, молчали. Не говорили ничего. И в молчании они что-то там такое делали в зале. Что?

Я спал одетый. Мне ничего не стоило встать и бесшумно, бесшумнее мыши, прокрасться ко входу в зал.

Я заглянул в чуть приоткрытую дверь.

Лучше бы я туда не заглядывал!

Люди, а их много рассеялось по залу, они разбежались по всем углам, как черные тараканы, в черных масках и черных перчатках, делали черное дело. Черной краской из аэрографов они поливали картины. Резали ножами холсты. Я рассмотрел: стоящий ближе всех к двери черный таракан вычерчивал аэрографом на полотне, изображающем громадный детородный член, черный топор. Топор был занесен прямо над волосатой мошонкой.

Я прищурился. Глаза мои уже плохо видели, но не настолько, чтобы не увидеть то, что творилось. Все иконы были аккуратно сняты со стен и сложены в темную поленицу. Все неприличные картины густо замазаны черными разводами. Как говорила моя соседка, старуха Жулька, старая пьяница: «Сиськи-письки, волчий хвост!» Наискосок, через весь холст, бежали матерные надписи. Над намалеванным жирным задом, из которого высовывалась Судная труба, чернел грозный лик Спаса и чернела надпись: «ИЗЫДИ, САТАНА». А у всех шестикрылых серафимов, летавших вокруг Адама и Евы, лежащих на райской травке в жарком объятии, были нарисованы чертовы рога.

И это была третья моя Судная ночь — Ночь Глумления.

Размышлять было некогда. Я сложил пальцы в кольцо, всунул в рот и оглушительно засвистел. Я же все-таки был драчун и хулиган, отъявленный и наглый. Ночной бандит из заводского дымного района. И я, если дрался, я мог свалить против-

ника одним ударом, я вам уже это говорил. Поэтому я громко свистнул, распахнул дверь — и ринулся в самую гущу черных людей. При этом на бегу я успел обернуться и зычно проорать на весь мертвый, спящий коридор: «Казаки! Ребята! Эй! Атас! Вставай быстро! Быстро в зал!»

Казаки, ну они же тоже солдаты, как-никак. Повторять воззвание не пришлось. За моей спиной затопали ноги в сапогах. Казаки ворвались в зал. Черные тараканы металась от стены к стене. Казаки ринулись на них. Раздались страшные вопли: тараканы брызгали им в лицо краской из аэрографов, кое-кого уже успели ножом пырнуть. На паркет лилась кровь. Я поскользнулся в луже крови, упал, и мне на спину наступила тяжелая нога в кованом берце. Черный поганец, он же сейчас полоснет мне ножом по шее! Я напряг все мышцы, извернулся и сбросил человека со своей спины, как грузчик сбрасывает куль. Ногой выбил у него из кулака нож. Быстро схватил его за руку и вывернул ее ему за спину. Он заверещал. Я повернул его к себе и жестоко ткнул его коленом в пах. Куда исчезло все мое умоленное христианство! Куда делся мой мирный Кришна, мой светлый Будда! Я хотел сражаться, и я сражался.

А с кем я сражался? Может, с братьями?

А что я защищал? Искусство? Это — искусство? Эти картины, где библейские герои принародно совокупляются, и еще миг — будут прилюдно мочиться и испражняться?

А может, я защищал нетленные иконы? В огне не горят, в воде не тонут?

А может, нашего бедного Кузьму Минина, что на этой выставке, вместе с боярышнями и стрельцами, возвышался на подиуме не пришей кобыле хвост?

Изображение имеет силу. То, что ты изобразишь, может быть от дьявола, а может быть от Бога. Это Истина.

И я, среди общей драки, остановился. Замер.

На гладком, как в царском дворце, цветном паркете копошились, пыхтели, ползали черные тараканы. И вдруг я увидел их не тараканами, а солдатами в черной броне. Сам себе шепнул: за что бьетесь? И еще бормотал потрясенно: эй, казаки, ведь мы своих бьем! Своих! А если не своих? Если черное воинство тоже подослано нарочно? О чем они думали, эти люди, когда выставили дворянское окно и лезли в него, лезли сюда, в зал, битком набитый иконами и картинами, или ни о чем не думали, а просто исполняли приказ? Или вовсе не приказ, а они это сами задумали, это нападение, и они совершенно не ожидали, что тут, в питерском старинном дворце, ночует народец, да еще какой храбрый, мои казаки ломали и гнули этих ребят просто одной левой, сильные были мужики, мускулы под гимнастерками играли, ноги в тяжелых сапогах вздергивались и били точно, жестко — под колено, в локоть, в голень, черные стонали и даже визжали, все разом матерились, в воздухе стон стоял от мата, наши казаки дрались отменно, никого насмерть не прибили, ножи валялись на паркете, казаки наклонялись и живо, ловко их поднимали и заталкивали за голенища сапог, а я махал кулаками и все удивлялся: неужели здесь нет никаких охранников, нет сигнализации, неужели милые женщины, здешние работницы, просто закрывают входную дверь на ключ, кладут ключ в карман и спокойно едут домой, пить чай с малиной, от простуды?

Эй, ребята, своих бьем, хотел крикнуть я, но глотку мне словно забили ватой. Кто — свои? Каких — своих? Кто мы, кто они? Я ничего не понимал. Я запутался. Может, это просто питерские бандиты, и в дикой свалке они хотят умыкнуть с выставки дорогие иконы?

Я в полутьме не заметил, как ко мне подобрался парень с ножом. Я просто не увидел его.

Движение было неуловимым. Так всегда бывает, когда убивают, я теперь знаю это. Боли я не почувствовал. Мне было не до боли. Но я почувствовал слабость, тяжестью, как сундук со старым добром. Слабость потянула меня вниз, за собой. Пол поплыл вбок. Это уже был не пол. Он встал передо мною вертикально, стеной. Я падал или поднимался? Я не знал. Я ослабел разом, вмиг, и так, что весь превратился в слабость, в тихий вздох. Тела больше не было. Из меня лилась кровь, но я не ощущал этого. Я лежал на полу, а мне казалось, я летел.

И тут я увидел перед глазами лезвие.

Отчего человек борется со смертью?

Как он ее видит? Как узнает в лицо?

С человеком можно сделать все что угодно. Можно изуевчить его как хочешь. Скрутить в бараний рог, повыдергать руки, ноги. Изломать, оторвать и выбросить пальцы. Выколоть глаза. И все это будет еще не смерть. Человек будет испытывать сильную боль. Он будет орать, плакать, реветь, как бык, но он будет тайно и верно знать: нет, он не умрет. Еще не умрет. Он выживет.

Но есть момент, когда смерть смотрит тебе в лицо. Глаза в глаза.

И это точно так же, как смотрит тебе глаза в глаза Богородица.

Я видел нож, занесенный над собой.

Счет шел на секунды. А может, на века? Время, его на самом деле не было и не будет никогда, растянулось, задрожало тонкой золотой нитью. Златошвейка всовывала нить в ушко иглы, а игла выскальзывала у нее из слабых костлявых рук. Туманная златошвейка стояла прямо за спиной человека с ножом, и я не мог, лежа на паркетном ледяном полу, рассмотреть ее лица.

Оно текло, стекало золотом и сиянием, плыло во тьме, и вспыхивало, и гасло.

И лица того, кто занес надо мной нож, я тоже не видел. Вместо лица передо мной мотался черный шерстяной носок, напаянный на голову. А может, черная вязаная шапка с прорезанными, как в маске, дырами. А может, это был черный, обгоревший на пожаре, закопченный чайник. Никто не знал.

В это время миг становится тысячью лет, я теперь знаю это.

Я выбросил вперед руку, и в тот самый миг, когда парень выкинул вперед, к моей глотке, кулак с ножом, я схватил его за железное запястье.

Схватил железной рукой.

Мы оба в тот миг были сработаны из железа.

Выкованы насмешливой смертью. Она еще тот кузнец.

Я задираю его руку с ножом все выше и понял, что вот сейчас надо быстро встать, вывернуть ему запястье и правильным ударом колена уложить его, но встать я не мог. Я все еще видел златошвейку в тумане за его спиной, облачное золотое шитье окутывало ее шею и плечи, стекало ей на руки. Я понял, что я ранен и истекаю кровью. Плохо твое дело, Андрюха, сказал я себе, Андрюха-два-уха, плохо, эх ты, а еще хвалился, что одним ударом, одним ударом... Кранты тебе, не удержишь ты долго его ручонку с ножичком, все, до свидания, тесная земля, здравствуй, широкое небо! И тут послышался грохот, голоса людей не хуже ножей резали ночь, в зал с грохотом и свистками ворвалась милиция, да, тогда еще милиция была, не полиция, полицию объявили в государстве то ли через год, то ли через два. Нам потом все рассказали, как было: налетчики отключили сигнализацию, стукнули по голове охранника, огнестрельного оружия у них не было, только холодное, впрыгнули через окно, ну первый же этаж, и через окно хотели выйти. Не получилось у них.

Не все и не всегда в жизни идет по плану.

Менты стали стрелять в воздух С потолка осыпалась штукатурка. Мой убийца выронил нож. Его тут же подобрал ловкий милиционер. Менты быстро и жестоко орудовали дубинками. Живенько нацепляли на погромщиков наручники. Не прошло и десяти минут, как все было кончено. Черные люди валялись на полу, кое-как, животами вверх, животами вниз, с руками за спиной, сцепленными стальными кольцами наручников. Раненые казаки охали, сидели меж поверженных, перевязывали раны рваными рубахами. В зале стоял звонкий музейный холод, и среди строгого холода пахло жаром пота и жаркой кровью.

Мой убийца лежал рядом со мной. Ничком, и голова у моего колена. Я скосил глаза и двинул его коленом в рожу. Кажется, я разбил ему нос. На улице завывала сирена «скорой помощи». В зал вбегали санитары с носилками. Меня уложили на носилки, помню, они прогнулись подо мной, как гамак в саду, и я испугался: вдруг я сейчас разорву их своим тяжелым телом. Мышцы, кожа да кости! Но я ведь рослый, высокий я и, как ни отошай, все равно на весах хорошо потяну.

И вот несут меня среди этого побоища, среди разгрома, раскардаша этого позорного, несут среди размалеванных аэрографом, убитых знаменитых картин, и стыдно мне, что не смогли мы, не успели ничего, ни наказать, ни уберечь, а над собой слышу беспокойный такой голос, мужчина кричит: «Он крови много потерял, готовьте кровь, гемотрансфузию прямо в машине будем делать, иначе мы его до клиники не доведем, потеряем!» Златошвейка наклонилась надо мной ниже, ее призрачная улыбка обволокла меня облаком, ветром. Мне стало удивительно хорошо. Будто я на пляже лежу, и никакого холода, одно тепло. И радость. Радость моя! Интересно, чью кровь мне вольют? Может, гения какого, и стану я не подвальным бесталанным мышонком, а царем живописи, великим художником, и картины мои будут задорого покупать богачи, вожди и знаменитости по всему миру? А может, алкоголика какого подзаборного кровушку в меня перельют, и унаследую я его беззубый сумасшедший смехок, и бриться неделями не буду, как он, и водку бидонами буду глушить, как он, и валиться под стол, и храпеть, и мочиться во сне, и дурью маяться, и чертей от себя отгонять, и букашек в белой горячке на себе собирать? Кровь — она же живая, и у нее есть память. Если у камня есть память, то какая же она у крови? Наша кровь помнит вечность, и мы вечны только потому, что в нас течет кровь! Текло бы машинное масло — хрен бы мы вечность увидели!

Да и она, глядя на нас, бездушных, зажмурила бы глаза. И отвернулась.

Дальше что было, я не помню. Нет, помню кое-что. Длинную резиновую трубку. Иглу у себя в локтевом сгибе, и ампулу, полную темной страшной крови. Я на эту кровь поглядел, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Ведь она была чужая. И может, человек, отдавший ее людям, был уж мертв. А кровь все жила в чужой стеклянной банке. В прозрачном пакете с крючком, чтобы удобно было на другой крючок вешать. Я глянул на ампулу и тут уже отрубился окончательно.

А потом мир снова пришел ко мне. Бог из-под облаков, верно, посмотрел на меня и решил: пусть еще небо покоптит!

А кто тогда вызвал милицию? Кто-то из наших казаков?

Неважно. Все уже неважно. Все уже давно съело время.

Время ведь очень хищное, его зубы перемалывают все что угодно: и кости, и бумагу, и холсты, и доски, и железо, и жуть; и гроб гниет в земле, и атом распадается. Распад — вот мелодия мира. А мы-то думаем, созидание!

Тогда зачем, Боже мой, зачем мы все создаем и создаем, все трудимся и трудимся, все рожаем и рожаем?! Боже мой, Боже, как же нам не надоело! На что же мы, безнадежные, надеемся!



Мой дорогой сын!

За окном гуляет невидимая смерть. Я все сижу в своем подвале, и мне уже кажется, я сижу в подвале под египетской пирамидой. Или в подземелье, в пещерном храме в Аджанте, и над слоем черной земли надо мной — яркие, цветные, солнечные фрески, веселые нежные росписи, смуглые апсары, синекожий Кришна играет на тонкой флейте, а на его шее висят снежные жемчужные ожерелья, тяжелые связки белых, голубых и розовых гладких бусин. Земля была полна драгоценностей! А мы их все убили. Человек тоже драгоценность, а все в один голос гнусаво, уныло пели: человек страшен, человек гадок, человек темен. Сыночек, я однажды говорил с человеком, что убил своего отца. У него тоже оказалась душа! И эта душа страдала! И я ничем не мог его утешить.

Я сижу в безглазой и безъязыкой каморке под громадным пещерным храмом, и там, наверху, надо мной, огни и голоса, там те, кто остался после бойни в живых. Люди, такие хорошие и драгоценные, все-таки ненавидели друг друга, терпеть не могли. Они и рады бы не враждовать, да вот вражда просто лезла из них, как лезет мясо из мясорубки, как лезет младенец вон из матери, и обратно его не затолкать никакими усилиями. Окна по-прежнему затянуты брезентом, и за окнами гибель. Если я выйду наружу, я схвачу еще одну дозу смерти. А я хочу жить. Выжить. Выжить для тебя.

Потому что я знаю, мальчик мой: ты стал плохим и попал в тюрьму не потому, что ты плохим родился. Нет. Ты родился божественным. Все люди рождаются на свет божественными. И Гитлер, и Сталин, и Ленин, и Берия, и Пол Пот, и доктор Менгеле, и Трумэн, и Шефер — все они родились на свет божественными. Что же случилось? Что случилось со всеми вами?

Что случилось с тобой?

Может, ты просто опередил нас всех? Ты понял, что не надо бороться за радость, не надо сражаться за святое, не надо защищать Свет — а надо просто ждать Тьмы, она рядом, она каждую минуту готова раскрыть пасть и проглотить тебя, этот железный крокодил всегда наизготове, и пока ты ждешь Тьмы, ты можешь расслабиться и позволить себе все что хочешь. Все что хочешь! Разве это не радость? Разве не для наслаждения мы живем? Вот оно, рядом! Нагадить в чужую миску с кашей — да пожалуйста! Разбить топором священное, на что молились поколения, предки твои — да хоть сейчас! А зверя зарезать? Да на бойнях коров, баранов, свиней стадами током убивают, и потом мы их жрем, и мы улыбаемся, и мы молчим и смеемся, спасибо тебе, вкусный модный ресторан! А человека убить? А где мой черный пистолет? На Большом Каретном? Да нет, вовсе нет, он у меня под кроватью! Под подушкой! И, по секрету, заряжен! Уничтожение — ведь это такое удовольствие! Может быть, слаще всех удовольствий на земле. Слаще объятий!

Поэтому мы мазали святые иконы дерьмом. Поэтому мы изготавливали на специальных заводах ракеты. И закладывали в них смерть, как начинку в пироги: этот с яйцами и капустой, а этот с зеленым луком. Смерть, в отличие от начинки пирогов, не протухала. Не портилась. Она ждала. Она, тихая и безмолвная, была в союзе с нами, временными, и ждала вечно.

Она ждала нас. Когда мы созреем. Станем готовы к ней, к всеобщей.

Война, она привычнее, чем мир. Мы думали: вот настанет двадцать первый век, и мы одумаемся! Как бы не так. Мы приближали ракеты, бомбы, самолеты к чужим границам, и к нашим границам тоже приближали смерть. Кто первый начал? Ну точно как в детской игре. Ты первый! Нет, ты первый! Нет, ты! Первый, второй... Однажды появился третий, и он решил: пора покончить с сомнениями.

А заодно и с земной треклятой жизнью.

Эй, Бог! Где Твой Серафимушка? Где Твоя Пресвятая Матерь? Ты с небес увидел эти вспышки по всей круглой маленькой планетке. Сколько таких земель

вот так же погибло в Твоем безбрежном, многозвездном мире? Ты разве считал! Это мы, мы считаем.

Мы считаем дни, минуты жизни: сколько нам осталось.

Один какой-то могучий ученый, умная голова, не помню, когда он жил, вычислил: если в космосе дышит и копошится множество разумных человечеств, то любое человечество, дойдя до роковой черты, останавливается и убивает себя. И такое человечество, что само, своими руками готовит себе гибель, порог этот роковой не переходит. Но бывает и так, что переходит.

И вот то счастливое, особенное, невероятное человечество, что перешло этот заповедный страшный порог и не погибло, только оно, такое человечество, способно стать равным Богу. Это значит жить вечно. И в огромном мире, в черном космосе однажды встретиться с другой разумной жизнью.

Смеюсь я, сынок. Улыбаюсь. И плачу. Ведь если мы до сих пор не вышли на связь с инопланетянами, значит, все они, разумные, страшные, бедные, дошли до рокового порога! И все умерли!

За брезентом, которым затянуты мои подвальные окна, где-то далеко в небе, над мертвой землей, висит, мерцает красный Марс. Мой друг Родя Волокушин однажды показал мне его в самодельный телескоп. Я ужаснулся: Марс был такой же круглый, как Земля, только совершенно мертвый. Рыжий, красный, голый, весь в оспинах кратеров. Руслу высохших рек бежали по нему, как костяные швы по черепу. Если по нему постучать, то он зазвенит. Такой он выжженный и медный.

Я спросил Родю: Родя, а он мертвый, или кто-нибудь там все-таки живет? На что Родя с видом знатока ответил мне, важно выпятив губу: не исключено, что и живет, правда, доказать это пока невозможно, но многие ученые считают, что да, живет, вот и я так тоже считаю, хоть многие со мной и спорят, но ты почитай, почитай в Сети, то в одном марсианском камне мертвую улитку найдут, то на другом отпечаток червя, то вообще на поверхности Марса из космоса сделали фото железной дороги! Натуральные рельсы, ей-богу, не вру! А потом внезапно замолчал мой Родя. И тихо так, тихо и беспомощно, обреченно сказал: да нету, нету там никакой жизни. Это нам так сильно хочется, чтобы была. А на самом деле ее нет. Да ведь ты с самим Буддой беседовал, как ты наш отшельник, с самим Кришной; и ведь они в один голос говорили же тебе, что ничего нет? Вообще ничего нет? Ничегошеньки? Ни жизни, понимаешь, ни смерти! Ничего!

Я отшатнулся от телескопа, и мне захотелось поднять кулак, размахнуться и разбить эту толстую железную трубу с толстыми стеклышками, что вместо жизни мне показывала опять смерть.

Милый мой мальчик! Я догадался. Если Бог работал на соединение, на любовь, на сближение, то мы все работали на распад. Распад! Взрослые распались на молекулы боли, дети на атомы зла. Распад — вот что начинало править миром. Люди оглядывались и видели: все разваливается на куски. Вот-вот развалится планета. Взорвется, и клочки разлетятся. Как кончается человек, так кончается когда-нибудь и почва, на которой он живет и в которую ложится.

Распад! Это трудно осознать. Но, живя внутри смерти, я это осознал. И другие, кто еще жив, осознали. Я буду бороться. Я буду сопротивляться распаду! Я буду все опять собирать воедино. Я буду молиться. Ведь это же так просто. Тепло будет остывать, улетучиваться в открытый космос, а я буду сидеть и молиться. Я никуда не уйду без тебя, сынок. Я не уйду отсюда без горстки живых. Пусть приходят ко мне, приползают, и будем молиться вместе. Молиться вместе — это все, что нам осталось.

Не тяните меня за собой! Не тащите! Я никуда не хочу отсюда уходить. Да, я так решил! Да, это мой выбор! И вы не имеете права лишать меня моего последнего пристанища.

Мой последний приют — это не разрубленные топором иконы. Я никогда не буду топить печь холстами Рафаэля и офортами Рембрандта. Я никогда не сколо-

чу себе нужник из фаюмских портретов. Боже мой! Боже! Может, нам нужно было перестать есть мясо?

Доброе утро, сын мой! Если это утро, конечно. Знаешь, Юрочка, я стал совсем другим человеком. Я перестал знать, что такое холод и тепло, я стал путать голод и сытость. Я живу среди мусора, и он для меня светится изнутри жемчугами и рубинами. Только для меня. Я понимаю, сознаю, что этого чуда больше не увидит никто и никогда.

Мы пережили первый страшный взрыв, мы пережили много других взрывов, поменьше, их раскаты доносились сюда, под землю. Нет, у меня, конечно, не бункер; какой это бункер! Брезент заслоняет окна, и я не вижу, как на меня смотрит безглазый череп мира. Это к лучшему. Зато я вижу моих муравьев за стеклом. Они, странно, остались живы. Они ползают и ползают, все трудятся и трудятся, работают неустанно, если долго смотреть на муравейник, он начинает шевелиться сам по себе, а муравьи исчезают. Так и земля; она все равно будет шевелиться и вздрагивать, когда мы совсем исчезнем. И я исчезну первым. Я уже старенький, сынок. У меня уже голова седая. Каждое утро я туго стягиваю резинкой свои длинные космы в тощий конский хвост, и он бессильно свисает у меня по спине, между лопаток. Мне всегда все говорили: ты с этим хвостом похож на гуру. Ты настоящий гуру, и твое место в Индии! У ног Будды, у ног Кришны! У босых ног апостола Фомы, ведь он тоже пешком в Индию ушел.

Вот она, наша Индия, за окном. Серая мешанина из досок, оплавленных камней, колотого асфальта, кирпичной пыли, людских костей, людского гнилого мяса, примет людской жалкой жизни: сгоревших велосипедов, рваных сумок, скелетов машин, скелетов домов. Мир никогда не воскреснет, надо это осознать.

Сыночек мой, я все еще не сошел с ума, хотя к этому близок. Я не вижу ничего, кроме любви. Я не вижу ничего, кроме любви и печали. Я не замечаю смерти. Возможно, ее нет, как я и учил всех раньше. Я, гуру, всегда всех хорошо учил; и все радостно молились вместе со мной и благодарили меня за то, что я есть. Один ты, Юрочка, меня не благодарил. А плевал в меня и проклинал.

Ученый делает открытия в науке. Художник шагает вперед в искусстве. Почему один я не шагаю вперед, не открываю ничего, а сижу в пронизанном радиацией подвале и молюсь? Может, я и правда сошел с ума, один я, а мир живехонек, и не надо забиваться ни в какие подвалы и прятаться ни в какие бункеры, и пить противоядие, и укрываться брезентом от ослепительной вспышки, а надо просто открывать рот и, благоговейно сложив на груди руки, произносить древние забытые слова. Юра, ты молился когда-нибудь? Ты знаешь хоть одну молитву? Я не научил тебя ничему. И этим важным словам не научил. А этими словами можно бинтовать раны. Накладывать их на опухоли и гематомы. Ими можно перевязать подземное человечество, всю его гигантскую рваную рану, во все земное тело, ими можно кадить, брызгать, как в праздник Водосвятия, на трупы, и трупы оживут, и встанут, и сростутся кости, и оденутся плотью. Чуть, скажешь? Но этой чутью люди жили много тысяч лет. Тысяча лет — и один день! На что мы променяли молитву? На то, чтобы стать кротоми, червями?

Сынок, я знаю, о чем ты хочешь меня спросить. Ты хочешь спросить меня: отец, а вдруг мы возьмем и приспособимся? Ну, к мертвой земле? К мертвому дождю из мертвых туч? К мертвым деревьям и к мертвому песку? Потихоньку, по чайной ложке будем вдыхать гибель. Сегодня вдох. Завтра вдох. Сегодня доза смерти. Завтра доза. И дозу будем увеличивать. И, глядишь, сможем жить в аду! Ведь об этом ты хотел меня спросить, да? Да?

Да. И я отвечу тебе. Потому что сам себе я тоже задавал этот вопрос.

И сам себе я отвечал на него так: человек не крот и не червь, и он никогда не сможет навек уйти под землю. Да, человек — существо гибкое, и он ко всему приспособится, все перетерпит. И будет трудиться и не изнемогать. Что он будет делать в мертвом мире? На кого работать? На чужого дядю? Но все заводы взор-

ваны, все фабрики сгорели, и чужой дядя превратился в скелет. На самого себя? Но ведь денег уже нет, и еды нет, и жить осталось очень мало, и перед смертью не надышишься, и все бессмысленно. Значит, остается работать только на одного — на Бога.

А как на Него работать? Пахать, сеять? Склеивать разбитое? Лечить, учить?

Всего этого сейчас делать нельзя. Дети погибли. Те, что остались в живых, плачут и кричат от боли. Им осталось немного. Им просто нужно обезболивающее. А лекарств нет. Ни таблеток, ни ампул. Ни шприцев, ни аэрозолей. Ничего.

И кого, и чему может научить несчастный гуру, что горбится над обсосанным куском облученной воблы, найденной в недрах шкафа?

На Бога ты будешь работать только так: Ему молиться.

Молиться Ему! И больше ничего.

Это я тебе говорю, отец твой. Хоть раз в жизни послушай меня.

Тюрьму твою тоже, наверное, взорвали, и, может, вас, заключенных, завалило обломками, и вы лежите под завалами, придавленные каменными плитами, стонете и зовете на помощь. А может, твоя темница уцелела, и ты сидишь и смотришь через решетку на дымное серое небо, на нем никогда больше не выглянет солнце. У тебя с собою нет моей фотографии. Зато у меня твоя фотография есть. Ты меня не любил, быть может, даже ненавидел, а может, презирал; может, я заел твою жизнь, только чем? Зубов у меня нет, я не хищник. Я, наоборот, давал тебе слишком большую свободу. Большая свобода ведет к распаду. Ты на моих глазах распался на куски, на смешки и матюги, на вранье и воровство. Лжец всегда станет пакостником, пакостник — преступником. Все очень рядом.

В большом мире так же. Народы врут друг другу, а потом гадят друг другу в шапку. И, не вынеся вони, кидают друг в друга гранату, бомбу, снаряд. А ты не погиб, мой сын? Кто-то сказал мне, что ты умер. Но я этому не верю! Ты жив. Твой скелет не валяется на пустынной пыльной улице под обгорелым фонарем. Я видел во сне, что ты живой и улыбаешься мне.

У меня есть твоя фотография, я храню ее за пазухой, в тепле, чтобы она чувствовала все время тепло сердца и тела, согревалась, ощущала биение жизни, чтобы твое лицо все время, отпечатком на липкой блестящей бумаге, прижималось к моей поросшей седыми волосами груди. Ты не сгорел. Ты дышишь и плачешь. Сжимаешь кулаки. Кто-то кричит так далеко, что я не разбираю слов, а потом разбираю: «Внимание! Внимание! Тревога! Воздушная тревога! Всем спрятаться в укрытие! Никому не выходить наружу! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Всем спрятаться...»

Милый мой, мальчик мой! Как ты там без меня? Все мы на земле живем друг без друга. Хоть и рядом. Рядом, но не вместе. И это ужасно. Вот это ужаснее какой угодно войны. Распад одолел нас, он оказался сильнее нас. Прежде чем разъять на части нашу живую и теплую землю, мы развалились сами. Знаешь, сынок, как надлежит молиться, чтобы опять все воедино собрать? Не знаешь? Слушай.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Господа. Богородица Дево радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Господи Иисусе Христе, сыне и слове Божий, молитв ради Пречистые Твоя Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас.

Думаешь, вот твой отец рехнулся или нашел близ печки старинную книгу и бормочет по ней, вслух читает корявые письмена? Мы мало и плохо молились, поэтому это все получилось с нами. Сынок, не смейся надо мной, ты же ведь не жестокий, как все эти насмешники в модных одежонках, в лаковых штиблетах, с навороченными гаджетами, с ароматными сигаретами в углах пресыщенных ртов. Эти люди, а таких много было в нашем прежнем мире, знать не знали, что та-

кое молитва. Они громко хохотали над теми, кто молится. Они плевали в лица тем, кто на прощание осенял их крестным знаменем. И чем больше становилось на земле поклонников дьявола, тем быстрее приближалась Ночь Огня.

Сынок! Молись!

Если можешь.

Иисус молился. Будда молился. Кришна молился. Я, хоть и спятил с ума, молюсь. Мне Бог пошлет лекарство, чтобы не так сильно болели ожоги. Мне Бог пошлет еду, старые консервы, черствую горбушку, и я размочу ее в остатках воды и буду жевать долго, как жвачку. Что будет, когда я допью последнюю воду? Объявлен комендантский час, и когда он наступает, по всей земле гудит долгий пронзительный гудок. Он прожигает уши и прожигает времена. Если после восьми вечера ты вдруг выйдешь на улицу, тебя застрелят. Огонь на поражение, и все. Но ты не выйдешь. Твои часы встали. И ты не знаешь, сколько времени на земле. Все правильно. Времени ведь нет.

Баттал бывал у меня редко. Ко мне все меньше приходило людей, моих учеников, я переставал быть для них учителем, все, что им надо было услышать, я им уже сказал. Баттал нашел свой смысл жизни. Он нашел его в Аллахе и в джихаде.

Ну что же, таков был его выбор.

Я смотрел на этого смелого и сурового, с накачанными мускулами, с белозубой улыбкой во все лицо, обычного парня, простого русского веселого парня с диким и гордым восточным именем, на то, как он аккуратно, стараясь не обжечься, пьет кофе из моей вечно грязной чашки, и думал: какая судьба его ждет? Я не прозорливый старец, чтобы видеть судьбу. Я обычный человек. Я много лет по земле ходил в стареньком пальто. Людям я о любви говорил, но меня не слышал никто. Но ведь кто-то слышал! И кто-то уже — любил! Не потому, что я его научил.

А потому, что любовь сама к нему пришла.

Важно, чтобы Бог пришел к человеку Сам. Тогда человек увидит и услышит его. И изменится. Как это сказано в Писании, точно не помню: мы все не умрем, но все изменимся. Апостол Павел вроде бы сказал. Или не он?

Баттал позвал меня к себе домой на Курбан-байрам. Я никогда не был у него дома. Но, знаете, я всегда приходил в чужой дом, будто я тут бывал сто раз, будто я тут был уже сто лет как свой. Так я и к Батталу пришел. Позвонил в дверь, дверь открыла женщина, у нее голова и грудь были обвязаны таким, знаете, их восточным платком, забыл, как он называется. Да, хиджаб. Это из древности идет, чтобы женщина стыдливо покрывала тканью свои грешные, соблазнительные волосы. Я, стоя на пороге, сложил руки на груди и поклонился, женщина попятилась и на мой жест намасте ответила странным, растерянным жестом: махнула вбок рукой, будто отгоняла с плеча муху. Гомон и мясные запахи обняли меня, подхватили и понесли. Все веселились громко, даже слишком. Будто бы это было не простое веселье, а веселье на краю пропасти. Кто-то играл на восточной дудке, кто-то сидел за столом в чалме, у меня было чувство, что я попал куда-нибудь в Стамбул или в Тегеран. Баттал обнял меня и усадил за стол. Я старался не глядеть на людей, нагло не рассматривать каждого, здесь их было слишком много. Все теснились, хохотали, наступали под столом друг другу на ноги. Женщина, что открыла мне, это была жена Баттала, вносила в комнату на подносе блюда и расставляла их по столу. Все потирали ладони, подмигивали друг другу. Кто-то пел заунывные восточные песни. Нет, русские люди тут тоже были, да и я сам был тут русский. А впрочем, разве на мне это было написано? Приглашен на мусульманский праздник, значит, мусульманин. Почему все мы не мусульмане? Все, разом, не христиане? Все не буддисты? Как бы

было удобно и просто, если бы на земле у нас был один Бог! А вам и правда кажется, что мы, разные народы, из-за наших богов передрались? А не из-за чего-то другого?

Одни блюда сменяли другие, женщина вносила питье в высоких позолоченных и посеребренных кувшинах с гнутыми ручками и изящными латунными носиками, кланялась, улыбалась, молчала. Тут же крутились детки; должно быть, это были детки Баттала, не гостей, они то и дело подбегали к Батталу, и хватали его за колени, и куда-то звали его, тянули, растопырив пальчики. Девочка в особенности была хорошенькая. Черненькая, смугленькая, она повизгивала от радости и прыгала на месте. Потом оба ребенка убежали. Я поймал взгляд Баттала. Он смотрел на детей тяжело и печально. Он не сказал мне, как зовут его жену; может, думал, она сама мне представилась. Когда мы ели и пили, женщина села на краю стола. Смутное волнение накатило, захлестнуло темной волной. Это не было воспоминанием. Я не вспомнил ее. А с чего бы это мне вспоминать чужую жену, мусульманку? Может, она узбечка, а может, башкирка. Кто их разберет, восточных, раскосых. Это было, знаете, трудно объяснить, но попробую, такое неясное чувство: на уровне ошупи, на уровне вдоха сырого тумана. Будто я шел, шел и вдохнул сырой осенний туман. Вот-вот пойдет снег. И тьма вокруг. Ночь. И в ночи свет. Идет дождь, дождь со снегом, и горит чужое крыльцо. И оно превращается в светящийся в ночи вокзал. Идут люди. Бегут люди. Они опаздывают на поезд. Они кидают отчаянный взгляд на часы: о, все! Нечего и бежать! Уже опоздали! И садятся на узлы и баулы, на мешки и чемоданы, и плачут, и растирают по щекам слезы. И я иду по вокзалу, между ожидальных кресел, иду на тепловозные гудки, на мелькание огней в огромных, как ночное небо, окнах, на стук колес. Это мой поезд ушел? Нет, мой меня ждет. Это ее поезд ушел. И мне его не догнать. Я поеду по другому расписанию. По другому маршруту.

Женщина запустила ложку в салатницу, зачерпнула салат, положила на чистую тарелку и протянула в мою сторону. Тарелку подхватили и мне передали. Поставили напротив меня. Я обернул лицо к чужой жене и кивком поблагодарил ее. А потом взглядом. А потом улыбкой. Вспомнил, что у меня нет зубов, застыдилась и сжал губы. И улыбался скупой, одними губами. Не скалился. Женщина прижала руку к груди. Ее тонкие смуглые пальцы красиво смотрелись на фоне белого хиджаба. Я подумал: хорошо бы написать ее портрет. И тут же испугался. Ни за что и никогда. Чтобы она умерла?

Голос рядом со мной сказал: «Пируем напоследок, Баттал наш уезжает на войну! На джихад!» Другой голос подхватил: «Герой! Все верно делает, он настоящий мужчина! Не чета многим слабакам!» Я повторял про себя, я спрашивал себя растерянно: на войну, на какую войну? Он мне ничего не сказал! Да я и не спрашивал. И не спрошу теперь. У него праздник сегодня, и я пришел разделить праздник с ним. Вот и все. Знаете, есть такая древняя мудрость: не просят — не лезь. Принимай все смиренно. Молчи, если не требуют тебя к ответу.

А тут я познакомился с одним прикольным парнишкой. Таким чудным, ухочешься! Ночью, в темных дворах, напали на девчонку. И я встал на колени и стал за нее молиться. А тут парнишка этот подвалил. И быстро насильников раскидал. Насильники-то были молоденькие пацаны, справиться с ними оказалось легче легкого. И я повел этого забавного парнишку к себе в подвал. По дороге мы с ним даже выпили, купили водку у таксиста. Парнишка, коротко стриженный, чуть раскосый, смуглый, лицом напоминал мне татарина; ну что-то восточное в нем точно просвечивало. Везло мне на Восток. Тщедушный он был, ну такой тощенький, что тебе астраханская вобла. Я заварил чай с бутонами роз, мы попивали чаек, болтали о всякой всячине. О чем говорят люди за чаем, за кофе? Они на самом деле не говорят. Они

молчат. Это им только чудится, что они беседуют. На самом деле они медитируют. И слышат свои голоса внутри себя.

Он вспомнил, где он меня видел: у Баттала на празднике. Я, как ни силился, не мог вспомнить его. Я звал его: Ефим, он звал меня: Мицкевич, по фамилии. Ну, может, ему так удобнее было. Чем-то неуловимым он мне напоминал моего несчастного сына Юрочку, вечного заключенного.

Наши узники! Наши преступники! Наши заключенные по всем тюрьмам и лагерям! Надо ли винить режим в том, что они в стране есть? Или тут дело в другом, не в режиме? И что такое режим? Что такое власть? Вы хотите сказать, что в чьих руках власть, в тех руках и наши жизни? Что власть и ты, власть и я — это мертвая такая, крепчайшая сцепка? Что от власти как ни прячь голову в песок, трус, как ни запирайся на все замки, рак-отшельник, как ни заслоняйся ширмами, ставнями и пуленепробиваемыми стеклами, она тебя все равно найдет и, если ей это надо, уберет? Убьет?

Ты кричишь: моя власть преступна! — и идешь, к примеру, на площадь с транспарантом, а на нем написано аршинными буквами: «УБЕЙ ВЛАДЫКУ!» Власть видит эту надпись. Она все видит и слышит. Ночью к тебе приходят, ты уже арестован. И ты уже за колючей проволокой — сибирская тайга большая, тундра еще шире. Полно в стране лагерей. И даже новые строят. А куда денутся.

Ты выходишь из заключения. Ты обозлен сверх меры. И ты говоришь: я все равно убью владыку! Того, кто мучил и терзал меня! Кто засадил меня за решетку! Оружие достать? Да пожалуйста. Заговор выстроить? Да сколько угодно. И вот день покушения. Или ночь покушения, все равно. Ты стреляешь метко. У тебя хороший глаз и твердая рука. Ну попал же Ли Освальд в президента Америки. Попадаешь и ты. Человек, что правил тобой и твоим народом, падает замертво. Скажи, ты об этом мечтал?

Скачет конная милиция. Или, может, уже конная полиция? Да, полиция, конечно, я все путаю эти названия. Грохочут танки, утюжат новенькими гусеницами взбесившиеся улицы. Орут гудки машин. Гудят трубы заводов. На улицах стреляют. В метро все едут с лицами мрачными, как уголь в топке. Все матерятся вслух, безнаказанно: сейчас никто не накажет за скверную ругань, ведь рухнула страна, и рассыпались в прах ее законы. По асфальту льется кровь. На площадях люди, толпясь и толкаясь, давят друг друга, режут друг друга ножами. Ненависть вырывается из тайника и метет над кремлями и небоскребами, над избами и бараками. Над казармами и стадионами. Вы хотите, чтобы военные взяли власть? О, они ее возьмут! Ведь у них оружие, танки и ракеты. Кажется, это называется хунта? Звучит неприлично. Как ругательство. Хунта! Вашу мать!

Или нет! Нет! Не так. Все не так. Власть возьмет друг убитого президента. Его закадычный дружок, они вместе учились в школе, вместе дрались в подворотнях, потом вместе служили в армии и работали в разведке. Дружок этот выедет на белом коне на Красную площадь, а может, верхом на танке последней модели, а может, просто взлезет на наспех сколоченную трибуну и заорет в микрофоны, и это услышит вся страна: «Всем стоять! Всем лежать! Молчать! Шаг влево, стреляю, шаг вправо, стреляю! Распустились! Расхристались, гады! Не жилось вам спокойно! Не елось, не пилось с фаянсовых тарелочек, из луженых чайничков! Ну ничего! Мы вас в кулак всех соберем! В кулак! И будем давить! Медленно, но верно! Чтобы вы стали задыхаться! Молить о пощаде! Чтобы стали тут же нежненькими, тепленькими и послушненькими! Чтобы по струнке ходили! Честь отдавали! Равнение направо! Смирно! Вот так! Так! Ну что, теперь поняли, что такое власть?!»

О да. Да. Мы забыли, что такое власть. Мы думали, мы свободны.

И слегка расслабились. И изрядно обнаглели.

И стали ругать власть почем зря, измываться над ней, издеваться. Потому что мы все видели, как обжирается власть, как набивает себе брюхо черной икрой и осетрами, как вливает в себя бочки коньяка, как гребет себе под живот мешки с деньгами, как гоняет на «мерседесах» по автострадам, и сбивает чужие нищие машины, и давит пешеходов, и нагло смеется над народом: «Народ? Это разве народ? Это быдло! Скот! Скотину не грех и раздавить! Ее надо давить, скотину, убивать! Резать! Вешать! Народ для того и создан, чтобы вешать и резать его! И стрелять в него! И даже хоронить этот чертов народ не надо, пусть так валяется на площадях и задворках, пусть так гниет! Народ, видишь ли! Заслонился святостью, закрылся золоченой иконой! А мы ту икону — вырвем, расколем на дрова да в костер! А мы народу этому — пулю в грудь! Мы твои владыки, поганый народ, а ты наш слуга! Вот это правильный порядок, хороший!»

Глядели мы, глядели на такую нашу власть и вдруг подумали: а если мы сами власть возьмем? Если преступную власть — уберем, скинем?

Ефим говорил мне, что он занимается революцией. Он и его друзья, они против нынешней власти. А я сидел в подвале, наблюдал, как муравьи снуют за стеклом, как то спасают, то убивают друг друга, то волокут друг друга на спинке, то перегрызают жвалами друг другу тощие шейки, отгрызают лапки и усики. Когда муравьи видят, что их сородич умирает, они помогают ему умереть. Жестоко? Да. Еще как жестоко. Но ведь и древние люди сажали на санки своих стариков, везли их на снежную гору и сталкивали санки в овраг! Умирай, старик, не своею смертью! А мы, мы помолимся за тебя! Иди к богам и предкам с миром!

Мы. Что такое мы? Во что мы превратились? Какая власть нам нужна?

И защитит ли она нас, если придет беда?

Может, мы сами себя защитим?

Но ведь наша власть — это мы. Наш властелин — он из нас. Он не голубых кровей. Он из народа. Он тоже народ. Он говорит на нашем языке. Он ест нашу еду. Он родил на свет детей, как мы. У него умирает родня, как у нас, и он ее хоронит, и он заказывает в церкви по умершим панихиду и сорокоуст, как и мы, мы по своим покойникам. Он такой же, как мы! Он просто посажен над нами, высоко, наверху, чтобы мы все отовсюду видели его, и оценивали его поступки, и ругали его, если делает он плохо, и хвалили его, если делает правильно и хорошо, и понимали его, умного, и плевали в него, в глупого. Нас много, а он один! И поглядите, как трудно ему с нами со всеми, с огромной такой землей, с безумной Россией, которой то не так, это не эдак, которой то слишком мало всего, то слишком много, которой кричат отовсюду: «Ты наглая захватчица!» — а она спасает людей от верной смерти; «Ты тюрьма народов!» — а она держит на свободе вереницу преступников, от ничтожных воров и пьяниц до тайных богачей и играющих в открытую, скалозубых бандитов.

Россия, ее так хотят видеть преступницей, весь мир вдруг ополчился на нее, а она ведь великая. Великая! Была, есть и будет. Я, поляк Мицкевич, знаю все про свою Россию: она под покровом Матушки, и между ладонями у нее чистый ясный Свет. Это я, я сам, помолясь, написал ее портрет. И каждый день пишу. И сейчас пишу.

Вот Ефим, он всерьез хотел убить нашего царя. Даже целый план разработал. Он мне говорил. Однажды пришел ко мне в подвал, сильно навеселе, качался, как маятник, за стены держался. Я чаю вскипятил. Еле усадил его, он все вскакивал и мотался по подвалу, стал падать, выставил локоть и локтем чуть стекло не разбил. Звон раздался, муравьи всполошились. Я пригрозил ему, что прикручу его веревками к стулу; тогда он сел, грел руки о чашку и, плетя языком вензеля, стал делиться со мною подробностями покушения на Первого Человека в Стране. Я едва удерживался, чтобы не



расхотаться в голос. «Я найму летчика, ну, знаешь, даже не летчика, а вертолетчика. Вертолет — это, брат, классно. Это как в бандитском фильме. Ну, мы все сложимся, естественно!.. у нас, знаешь, есть такой мужик в партии, Тройная Уха, у него все схвачено, за все заплачено... денег у него куры не клюют... но это неважно, у него есть связи... там нефть, газ, все такое... там вообще, старик, слышишь, мировые деньги... к которым, ну, допуск у немногих!.. ты че скалишься, я тебе правду говорю!.. Я заманю его в вертолет, ну че смотришь, да, его, его самого!.. чем, спросишь?.. а-а-а-а, это уже наша тайна, старик!.. наше ноу, так сказать, хау!.. но заманю такой заманухой, что он на нее беспрекословно пойдет, клюнет сразу, бесповоротно!.. За ним, понятно, влезет его охрана. Он же без охраны никуда! И лестница подымет-ся, и люк задраю, и я дам знак пилоту... винт завертится, и мы взлетим... взлети-и-им!.. и вот тут-то я и распотешусь. Я, знаешь, Мицкевич, ты че, ну ты че, ты не смейся, вытащу из-за пазухи автомат!.. а сам буду в тулупе, автомат под шкурой спокойно спрячется. И для начала я уложу этих... его... бодигардов. Бац! бац! бац! — готовы. И что? Мы с ним тет-на-тет. Мордой к морде, в переводе на русский!»

«И что?» — спрашивал я, подливая Ефиму горячий чай. Меня уже всего просто колыхало от смеха. Я представлял себе всю эту пошлую сцену в вертолете, и я пытался представить, что же творилось в душе этого смешного паренька, зачем, почему он до этого всего додумался. Кто ему мешал жить? Какой он жизнью жил, чтобы так, до такой степени возненавидеть того, кто правил его страной? Сидел ли он в тюрьме, как мой сын Юрочка? Нет. Велли его на эшафот, чтобы расстрелять? Нет. Погибал он в нищете, просил подавание, просил на кусок хлеба? Нет. Запрещали ему говорить, зажимали рот? Нет. Оскорбляли? Били прилюдно? Морили голодом? Отнимали детей? Не давали работы? Вышибали из жилья? Что ему власть такого сделала, что он люто, дико, страшно, открыто, чудовищно ненавидел ее?

И не только мне, другу, эту кровавую бредятину поверял, но и с другими своими друзьями, их он называл революционерами, и вправду готовил этот переворот, это покушение, это чумное убийство — не нашего властителя, нет: всей нашей земли?

Залить кровью Россию! Опять! В который раз! Неужели они, с виду такие славные ребята, и правда этого хотят? Или они не осознают, что кровь рекой польется?

Нет! Сознают! В том-то и дело, что сознают. И им хочется, безумно хочется, чтобы — полилась!

«И то! — Ефим отхлебывал чай, и чашка дрожала в его руках, чай выливался ему на джинсы, и он вздрагивал от ожога. — И то, глупый ты Мицкевич! Я наставлю на него, на паразита, ствол! Но не сразу буду его убивать, не-е-е-е-ет. Я не буду ему в башку стрелять!.. чтобы его мозги, его куриные мозги брызнули на пол... вертолет замазает, жалко... я его еще помучу. Я над ним — покочевряжусь! Я ему сначала ногу прострелю. И спрошу: а сколько ты наших по тюрьмам рассовал?.. сколько политических за решеткой мается?.. скольких ты заставлял пытаться, скольких твои прислужники били проводами по спине, насиловали бутылкой... вздергивали на дыбе, а дыбу из рваной простынки скручивали... а-а-а?! и буду слушать, да, слушать буду, Мицкевич, что он ответит! Только он ведь не будет знать, что отвечать! Он будет стонать и дергаться, а кровь из простреленной ноги будет течь и течь на пол вертолета, все течь и течь... течь и течь... а потом, потом, знаешь, я прострелю ему руку! Правую или левую, я еще не решил! Выстрелю в локоть, пусть локоть повиснет!.. Пусть все у него повиснет... и висит... и так висит... навсегда висит... А я его спрошу напоследок: сожрал Россиюшку?.. выгрыз ее сладкие потроха?.. теперь пусть Бог тебя пирожком угостит! пирожком с котятами! с волчатами! с ребятами... с нашими ребятами... и кости ребятшек наших пусть на твоих зубах хрустят... И потом... потом...»

Он размахнулся и швырнул чашку. Она влетела в стену и разлетелась на мелкие куски.

Хохотать мне расхотелось. Я погрел руки о чайник. На улице мела метель. Как всегда. Десять месяцев зима, остальное лето. Я просто сознание терял от этой дикой злобы, что выплескивалась на меня, как грязная вода из ушата, изо рта Ефима, из его бессвязных, полоумных речей. Ненависть вспыхивала между слов, превращалась в слова, превращалась в оскал. Я видел: еще немного, и он сам умрет от своей ненависти. Это все надо было как-то остановить.

Я не знал как. Зажать ему рот рукой? Обнять, прижать к себе, погладить по голове? Прошептать: успокойся ты, дурачок? Дать пощечину? Заорать: хватит! Довольно! Облить кипятком? Чайник булькал. Кто поставил его на плиту? Моя старая электроплитка то и дело перегорала. Вот и тут она взяла и опять перегорела.

Погасла старая красная спираль.

Как раз тогда, когда я уже хотел было схватить Ефима за воротник, встряхнуть хорошенько и крикнуть ему в ухо: заткнись! Всегда был царь и был народ!

Сверкнула искра, раздался треск, и выключился свет. Вовремя.

Мы замерли.

Когда глаза привыкли к темноте, я различил во мраке блеск оконных стекол и медленное шевеление моего муравейника. Ефим сопел в кресле напротив.

Молчание муравьями бегало по нас взад-вперед, щекотало нам сердца. Я не выдержал первым.

«И потом ты его убьешь. Я понял. Убьешь во имя чего?»

«Во имя свободы», — тихо, потерянно пробормотал Ефим.

«Какой свободы? — спросил я также тихо. — Что такое свобода? Ты знаешь, что такое свобода?»

Мы оба говорили очень тихо. Почти молча. Как муравьи.

«Ну... я догадываюсь...»

«И что же она такое?»

«Свобода, ты, слышишь... ты... ну... ну, это... знаешь, свобода...»

Я видел, ему совершенно нечего ответить мне на этот простой вопрос.

Потому что он, бедный мальчонка, и правда не знал, что такое свобода.

Потому, что он был слишком свободен.

Он жил внутри такой свободы, которая была хуже тюрьмы. Потому в ней каждый был за себя и каждый держал отчет за поступки свои перед Богом, а Бога-то никто и не знал: Бога забыли.

Поэтому в такой свободе никто по-настоящему и не нуждался. Хотели свободы другой.

Но как выглядит эта другая свобода, и от чего надо быть свободными, и во имя чего надо освободиться, тоже не знал никто.

«Ну... это... знаешь, когда ты берешь билет на любой рейс и летишь в другую страну... в любую... в какую захочешь...»

Я улыбнулся в темноте. Ефим не видел этой моей беззубой улыбки. Он смотрел себе под ноги. Кажется, губы у него тряслись, он хотел заплакать.

«Ты и сейчас можешь полететь в любую страну. В какую захочешь. Зарабатывай деньги и поезжай».

«Да... да... ну да... А это... Ну, жилище! Крыша над головой! Мы же все живем как нищие... мы же не можем купить квартиру... мы ютимся черт знает где... и с кем...»

Я опять улыбался. Я все время улыбался. Важно было улыбаться. Внутри и снаружи. Улыбаться всегда.

«Но ведь у тебя есть крыша над головой? И ты спасаешься от дождя и снега? И в доме тепло? Вот даже у меня тепло. Видишь, у меня есть печка. И я топлю ее. Дровами. И не жалею. Каждому свое. Одному дворец, другому печка с дровами. Есть у тебя деньги, купи себе жилье, какое хочешь».

Он внезапно обозлился. Сидя в кресле, замахал руками. Стал похож на заводную куклу. Меня опять разобрал смех. Но если бы я тогда засмеялся, у меня бы слезы тут же хлынули из глаз.

«Деньги! Деньги! Они же захапали себе все деньги! Все деньги — у них! У толстопузых! Они ими распоряжаются! Они к ним допущены! А мы — нет! Нам слабо! Мы для них... мы... мы... — Он показал на светящееся во тьме окно. — Муравьи!»

«Значит, тебе нужны просто деньги?» — тихо спросил я его.

И тут Ефим сломался. Я даже не ожидал, что он сломается так быстро. Я думал, он будет со мной спорить, горячиться, бешено, пьяно кричать, полезет в пьяную драку, будет доказывать мне, что он прав, и что власть поганка, и что революция неизбежна. Он согнулся пополам в кресле, будто ему перебили хребет, и застонал. Простонал так длинно, страшно, будто волк выл далеко, в снежном поле, под острыми иглами звезд. Я никогда не слышал у людей такого дикого стога. И пока он так стонал, я понял, чего ему не хватало. Его свобода — это была просто хорошая жизнь. Просто хорошая жизнь, полная чаша! Чаша, полная достатка, праздника, радости и любви. Да, любви! Ему просто не хватало любви! А он думал все это время, что денег! И вдруг, здесь и сейчас, он это осознал. Внезапно и страшно.

Господи, какая же это мука на земле — жить без любви!

И я осознал, что я не просто люблю; я емь сам любовь, поэтому мне легче всех. Я есть любовь, я любовь, и я не дарю любовь, не люблю — я, любовь, есть всегда, и это обо мне мечтают, меня призывают, мною любят, я сам любовь и молитва, мною молятся и обо мне плачут. Боже мой, ведь любить и быть любовью — это разные вещи! Любовь была, есть и будет. А те, кто любят или ненавидят, те уходят навек, исчезают, тают, тают.

И когда я это осознал, ну, что я сам любовь, мне стало так легко и прозрачно, что Ефим, даже пьяный, даже внутри своей дикой ненависти и боли, это почувствовал. Он поднял лицо и исподлобья так изумленно поглядел на меня, такими мрачно светящимися, горящими, как у кота, глазами, они у него будто зеленым фосфором пылали.

И тут он такое сказал! Если бы я был не робкого десятка и если бы я не был философом, я бы содрогнулся.

«Ты!.. ты... — Он шумно глотал слюну, и кадык у него дергался. — Ты... Думаешь, я его убить не могу?.. Я же видел, ты надо мной внутри себя смеялся... ржал... Да я... и тебя могу убить! Если захочу! Ну вот сейчас захочу — сейчас и убью! Что?! Не веришь?!»

Мы сидели в подвале, как при луне: это снег так ярко сиял за окном, и сугробы, как фонари, мерцали и лучились, и снежные лучи били мне в окна, беспокоили прозрачным светом моих муравьев.

«Ты меня убьешь, да! — Я решил отбить удар. — Убьешь, Ефимка. А знаешь почему? Потому что ты его убить не сможешь. Владыку. Владыка далеко. А я рядом. Поэтому и сможешь. Ну, давай! Налетай! Чем убивать будешь? Ножом? Удавкой? Или голыми руками? А может, у тебя при себе пистолет? Ваш, революционный?»

Он все так же глядел на меня исподлобья. Буравил фосфорными, кошачьими глазами. Ежик его волос тоже светился, чуть шевелился: он страдальчески собирал кожу на лбу.

«Нет. Пистолета у меня нет».

Он заметно трезвел.

«А чем же ты тогда меня убьешь? Мыслью? Прикажешь умереть?»

Он криво усмехнулся.

«Нет. Я так не смогу. Я тебе не Вольф Мессинг. И не твой Иисус Христос».

Я улыбнулся. Мне даже стараться не пришлось, губы сами раздвинулись. Я смотрел на него сверху вниз.

«Иисус никогда никому не приказывал умереть».

Он показал в оскале пожелтевшие, черные от табака зубы.

«Ишь ты! Никому! А ты, Иисусик? Ты можешь приказать? Ты же все время молишься! Молитвы бормочешь! Вот ты и проверь их силу! И опереди меня! Не я тебя, а ты меня! Ну, порази громом! Ну, задуши мыслью! Загрызи! Ведь мысль — она тоже хищник, она волк голодный, у нее зубы, у нее когти! Ну, давай, валяй! Кто кого!»

У него поднялись руки и скрючились пальцы так, будто он хотел разорвать рубашку на груди.

Я сидел спокойно. Холод поднимался от моих ступней к коленям. Полз выше, по бедрам, к животу.

«Я не хочу с тобой сражаться».

«А, не хочешь?! А я хочу!»

Его руки протянулись вперед, он пошевелил во тьме скрюченными пальцами, опять осклабился. Я не успел увернуться. Он боднул головой воздух, рухнул вперед, и его руки сомкнулись у меня на горле. Мы оба уже лежали на полу и катались по полу, и мой родной мусор: бумажки, окурки, пух из подушки, натеки воска, коробки из-под сигарет, резинки для волос, крошки и корки — все липло к нам, впечатывалось в нас, клеймило нас. Мы валялись и боролись в грязи и во мраке, и Ефим задел ногой ножку стола, и чайник покачнулся на плитке, упал, кипяток вылился под наши животы и бока. Ефим заорал, а мне ничего не стоило побороть парня: хоть я был вдвое старше, я был втрое сильнее. Я скрутил его в два счета. Заломил ему руки за спину, и крепко держал, и громко дышал, и уже хохотал.

Я хохотал так заразительно, что и он не выдержал и, лежа ничком на грязном полу, приснул, потом залился тонким, ребячьим, детским каким-то смехом. «Ну что, — говорил я сквозь хохот, — убил меня?! Убил?! Убил?!» Он извивался подо мной, заходил в пьяном смехе, стучал ногами об пол: «Твоя взяла! Твоя взяла!» Я отпустил его, помог ему подняться, усадил за стол, зажег свечу, поковырялся в плитке, наладил спираль, наново вкрутил пробки, налил воды из ведра в чайник, поставил на плитку, потом подтер тряпкой горячую лужу на полу. Он, пока я делал все это, задумчиво бормотал, пошевеливая крючьями пальцев: «Ну да, вот она, война, в войне всегда побеждает тот, кто сильнее, я же знал это, ну я же знал, куда же я полез, ах ты черт». Чайник шумел. Я включил свет. Мы оба зажмурились. Свет был над нами, и свет бил изнутри, и свет был в нас. И мы сами были свет. Свет был сильнее нас, сильнее тьмы, сильнее войны и мира, сильнее времени. Свет был до времени и будет после. А мы-то, мы, слабаки, что мы еще дергаемся!

Из носика чайника повалил пар. Я выключил плитку, разлил по чашкам заварку и кипяток и тихо сказал Ефиму: «Человека убить трудно только в первый раз. Тебя стошнит, ты будешь блевать, ты даже можешь потерять сознание. Но это только впервые. Потом уже не страшно. Потом все идет как по маслу. Будем считать, что мы оба пошутили? Да?»

Я видел, как ему трудно было говорить. Он смотрел на чай, чашка дымилась. Я жалел его, как ребенка. Как Юрочку. Он тоже заблудился. Он считал меня бродягой и беднягой, а на самом деле бедняга и бродяга-то был он, и не знал он, куда себя

приткнуть, не знал, куда податься, что делать в этой жизни. Они все были наши дети, и они все потерялись. И это мы их потеряли. Мы сами. Значит, мы и виноваты.

«Да», — наконец выдал из себя, так я выдавливал масляную краску из старого тюбика, засохшую, густую. «Пей чай, остынет, — сказал я, — с горяченького протрезвеешь». Да он уже был почти трезвый, совсем трезвый. Он постепенно осознал, что произошло, и ужасался, и кусал губы, и ловил ноздрями чайный горячий пар, и молчал.

А потом он пришел еще раз, эх, раз, еще раз, еще много-много раз, и мы с ним опять пили чай, и я, уже безбоязненно и радостно, философствовал на всякие важные темы, а для меня, как для истинного философа, любая тема была важной, и в то же время она и неважной, совсем никчемной была, гроша ломаного не стоила; так думать было хорошо, правильно, ни к чему не надо привязываться, если привяжешься, а пути твои порвут или перережут, так больно, не сказать как. Я и Ефима так учил: не привязывайся ни к кому, ни к чему! Иди по земле свободно! Чем ты свободнее, тем ты счастливее. «Значит, и любить не надо?» — мрачно спрашивал он. Прихлебывал чай. Я весело улыбался в ответ. «Значит, не надо!» В его глазах зажигалось мрачное изумление, он нюхал чайный пар. «Значит, не надо?» — «Если нельзя, но очень хочется, значит, можно», — продолжая улыбаться, отвечал я. Он дергал плечами, дергал губой. Его не устраивало это объяснение.

Я читал Ефиму свои письма из будущего, которые писал сыну Юрочке, заключенному, моему бедному преступному сыночку, писал и складывал на полочку в своем подвале, а полочку паук тихо затягивал паутиной, и по стене к исписанным листам медленно подползала мохнатая, похожая на ягель плесень. Я вставал, брал с полочки листы, мрачно горящие, по-татарски узкие глаза Ефима следили за мной. Иногда я видел на его лице только глаза: носа, рта не видел, одни глаза светили в меня и просвечивали меня. Я садился к столу и спрашивал: «Будешь слушать?» Он молчал. Я все равно читал. Пусть он меня не слушал: я читал мху на стене, чаю, пауку. Я заканчивал читать и робко взглядывал на Ефима. Кроме его глаз, я теперь видел его губы. Они смеялись. Под ними тускло светились желтые от табака зубы. «Какая бредятина», — говорил Ефим, и я видел, он с трудом удерживается от громкого смеха. Я махал рукой: «Ну давай! Смейся! Разрешаю!» Он выдавливал из себя два сухих, куцых смешка, умолкал и цедил сквозь гнилые табачные зубешки: «Не смеется, если разрешено. Смеется, только когда запрещено!» Я гладил измаранные записями листки. «А что смешного? Нет, что тут смешного, скажи?» Ефим закуривал и сыпал пепел в чайное блюдце. «Ну, смешно, что из будущего. Да еще после атомной войны. Какие-то кукольные письма. Клоунские. Ты хоть догадываешься, что никто жив-то не останется? Нет, ты не догадываешься. А пора бы уж и догадаться!» Я тоже закуривал, глядел на Ефима неотрывно, тоже стучал пальцем по сигарете. И мой пепел летел прямо в мой холодный чай.

Ефим мне в сыновья годелся, а был умнее меня. И горе, горе ему будет от его ума.

А я умею отключать горький, как хина, ум; и счастлив я, и весел, и ветер мне в зад.

Я больше не читал ему писем из будущего. Ефим сам был мне письмо из будущего, только еще не написанное. И мне почему-то все казалось: когда его напишут, его зло сомнут в кулаке, и подожгут, и сожгут. Быстро горит бумага. Ткань быстро горит. А сколько времени горит человек? А за сколько времени сгорит Земля? Не смейтесь, я фильмы ужасов тоже смотрел. Но одно дело, когда умелый режиссер поджигает бутафорию, картонные декорации; и совсем другое, когда мир горит по-настоящему.

Что я мог сделать для Ефима? Для Юры? Для всех этих наших детей, что ненавидели власть, играли в революцию, ленились работать? Для них, бездельников, скитальцев, дешевых ночных бандитов? Они сами выбрали тунеядство и презрение ко всему, что не они сами. Они соль земли, все остальные — окурки и отбросы. А на деле отбросами-то были они, и уже не в наших силах было сделать их заново людьми. Человек не электрическая пробка, его заново не вкрутишь. Если он перегорит, так это навсегда.

Да, так родилась особая порода людей, и эти люди сейчас заполнили все континенты, всю планету. Общество хворает, как и человек. Оно покрывается язвами, харкает кровью и страдает шизофренией и паранойей. Это неизлечимо? Излечимо? Я не знал. Мое дело было молиться, но я с ужасом понимал: я скоро возненавижу свою бесцельную, бездельную молитву. Работа духа тоже дело, твердил я себе, садясь в позу лотоса, складывая ладони на груди, но нет, мой дух и мое тело требовали дела, настоящего дела! Я так его хотел!

Я устал жить в подвале и бесконечно молиться.

Я хотел выйти в мир и честно, громко, открыто, в лицо миру говорить о том, как мир заврался; открыто воевать с Распадом, обнимая всех Светом; воевать с теми, кто хотел войны и всячески приближал ее.

Ефим и его друзья кричали: убьем власть, она вооружается и хочет войны! Власть кричала с высоких трибун: скрутим в бараний рог революцию, экстремистов и террористов, они вооружаются и хотят войны!

Всеобщее примирение? На развалинах мира? Сначала взорвем мир, а потом, рыдая на руинах, помиримся, обнимем друг друга? Неужели для того, чтобы крепко обняться, надо сначала перебить половину человечества?

Я молился за всех: и за любящих, и за ненавидящих. Вспыхнула революцией и гражданской войной соседка Украина, и я молился и за Майдан, и за тех, кто пытался вал войны остановить. Украина открыла страшную шкатулку, оттуда вылетел черный воздух мести, и люди глубоко вдохнули его. Русские разъярились: нам не дают говорить по-русски на Украине! так выкусите, отделимся от Незалежной! — а украинцы озверели: ага, Россия отрезала от нас Крым, а теперь хочет еще и оттяпать Донбасс?! не дадим! И вот она, настоящая война, покатила по земле колесом и всех начала давить. И мир не слышал, как русские в Крыму отчаянно кричали: это мы, мы сами выбрали Россию, потому что не хотели потонуть в морях крови, как Донецк и Луганск! — и глух мир оказался к тому, что на города Донбасса сбрасывали мины, палили по ним из всех углов, швыряли фосфорные бомбы, глухой и слепой мир отворачивался и не видел, как от разрывов и осколков в больницах умирают дети, и за руку не хватили тех, кто отдавал приказы в Киеве, а только кричали, надрывая глотку: это все Россия, Россия виновата!

Я, великий молельщик за всех, вдруг понял в эти дни, когда война взорвалась на Украине и полетели в стороны осколки и черная земля: Россию ненавидели всегда, во все времена, а поскольку времени нет, значит, ее ненавидели вечно. Ненавидели, а боялись. Боялись ее силы. Ведь она могла запросто любого завалить и побороть. Это раздражало. Это возмущало! По всей России поднимали голову те, кто мечтал о ласковой Россиенке, о Российскойке-малютке. Зачем хвастаться силой и надуть мускулы! Разве нельзя нашей милой странишечке, славненькой Россиичке уменьшиться в своих оголтелых, никому не нужных размерах, съежиться, скукожиться, стать такой маленькой и уютненькой, как обычная европейская уютненькая страна, и все в ней чудесно и удобно обустроить, и жить себе припеваючи, и ни к кому не лезть, и всех слушаться, и подо всех ложиться, и всем потрафлять, и со всеми вежливо торговать, и всем делать реверансы, и всячески разоружаться, безжа-

лостно топить в океане атомные подлодки и швырять на переплавку артиллерийские снаряды, и слабеть день ото дня, но это же ко благу, это же только на пользу, чем мы тише и слабее, тише воды ниже травы, тем к нам больше благосклонны, нас похлопывают по плечу, нам улыбаются, нам бросают подачку, нас прощают! Да, да, прощают, даже если мы ни в чем не виноваты!

Было бы кому прощать. Охотники найдутся.

Но не дай бог нам стать сильнее. Выше. Крепче. Победительнее. Праздничнее. Умнее. Мощнее. Этого нам не простят. Не простят ни за что и никогда.

И уже не прощают.

Вокруг меня со всех сторон вопили разные люди на разные голоса: еще есть время! еще нам можно спастись! не надо строить вокруг страны китайскую стену! не надо ужесточать режим! наоборот, надо дать слабину! и выпустить из тюрем всех преступников! и дать всем полную, полнейшую свободу, что хочу, то и ворочу! и отдать чужим государствам те земли, что они у нас требуют! во имя сохранения мира! и вернуть обратно Крым! и повлиять на безумный Донбасс, чтобы не рыпался! и уйти насовсем с Ближнего Востока! и хватит уже сражаться с террористами, вы и их оставьте в покое, пусть себе стреляют и взрывают! ну когда-нибудь насытятся же! успокоятся! вы лучше их ублажите чем-нибудь соблазнительным, этаким, ну, отдайте уже этому пресловутому Исламскому государству те земли, на какие оно покушается! эй, узбеки, таджики, казахи, туркмены, азербайджанцы, афганцы, иранцы, иракцы, турки, ну оттяпайте уже по кусочку от ваших стран в жертву Новому халифату, вас не убудет, а мир сохранится! Мир! Сохранится! Вы что, оглохли все, не слышите, что ли?!

Я зажимал ладонями уши. Я понимал: это люди так хотят запастись жалкой кислородной подушкой на случай всеобщего и навечного удушья. И я знал: я буду не я, если я не возвышу свой голос, не подниму его от тихой молитвы до громкой проповеди.

Но кто я такой? Жалкий подземный крот, невидимый муравей, век таскающий за собой свой крест, сколоченный крестообразно сосновый подрамник, и холст на нем, натянутый туго, как кожа на барабане. Холст — моя кожа, крест — моя молитва. Все правильно. Все привычно.

И это я, старый муравей, хочу выползти из-под земли, и поползти вперед, вперед и вверх, и лапками махать, и пищать, да никто же меня не услышит, а услышит — не поймет, а поймет — возненавидит, а не возненавидит — так просто так, походя, сапогом раздавит, на всякий случай? Зачем ты обольщаешься, уговаривал я сам себя, куда ты лезешь, Андрей, в какое пекло голову суешь? Не лучше ли сидеть тихо и продолжать себе под нос молиться и медитировать?

Ефим уехал на войну. На Украину, на Донбасс. Он позвонил мне, и в моем старом мобильном телефоне я услышал его тихий, как у девушки, голос, он всегда так говорил, тихо и быстро, орал он, только если его разозлить: «Мицкевич, прощай, друг, я уехал на Украину». Я слова не разобрал и проорал в трубку: «На какую окраину?!» Телефон помолчал. Я грел его ладонью и ухом. Я уж подумал, связь разорвали, но голос Ефима полоснул мне по щеке: «На Украину, придурок ты, глухой Бетховен. За русских на Донбассе биться! У нас автобус идет партийный. Ну все, пока». Пока, говорил я уже гудкам, гудки бились и стонали у меня в ухе, все верно, долгие проходы — лишние слезы.

А тут к нам в Нижний Новгород взял да заявился Патриарх всея Руси. Событие! И я, хоть в церковь не ходил, мне моей подвальной молитвы было достаточно, тут начистил башмаки, придел мохнатый тулуп, которым накрывался зимой для те-

пла, когда спал, гладко причесал и аккуратно стянул резинкой свой конский хвост и направил стопы в храм Божий.

В храм Святого Александра Невского на Стрелке, у Оки.

Сказали, там Патриарх служить будет.

Я даже не знал, что туда, в собор Александра Невского, привезли такую мощную святыню, Пояс Богородицы. Я пешком перешел по мосту Оку, вода уже затягивалась первым тонким, прозрачным ледком, ветер дул мне в грудь и пытался скинуть меня в реку, я боролся с ветром всем телом, высоко поднимал овечий воротник и смеялся. Наконец дошел. Перед собором — такая толпа, просто жуть! Господь помог мне, я как-то удачно, ловко нырял меж людей, между их спин, голов и локтей, протискивался, просачивался и втек в двери. И люди сами, стискивая и толкая меня, жалкого, в жарком тулупе, внесли меня внутрь, вплеснули живой темной волной, и я тек дальше, к царским вратам, к иконостасу, и уже видел: Патриарх стоит, воздевая обе руки, и в каждой свечи: в одной руке две переkreшенных длинных свечки, в другой три. И он помахивает ими, так медленно, так важно. А хор поет. И душа моя тут же полетела на небеса. Я уж и забыл, как это в храме службу служат. И себя обругал: вот, мол, лентяй такой, сидишь в подвале своем, как запечный таракан, никуда не ходишь, хоть бы, старик длиннохвостый, в церковь изредка ходил, ведь здесь... здесь...

Я забыл слово «благодать», и тогда, на той Патриаршей службе, я не вспомнил его. Еще долго и Патриарх, и другие батюшки говорили и пели, и пел хор, и махали кадиллом, и народ в церкви то гасил, то опять зажигал свечи в руках. Потом причастники медленно, будто плыли и ногами под водой перебирали, поползли к причастию. Я не исповедовался, мне причащаться нельзя было. Но мысленно я был с каждым из этих людей, что шли вкусить Святых Даров. Патриарх зачерпывал позолоченной ложкой из огромной чаши причастие и совал в рот людям. Люди кланялись и отходили. Принять участие в древнем обряде! Это значит успокоить свою душу. Хоть временно, на миг. Ты поживешь спокойно две-три недели, надеясь на миг счастья и чистоты в мире смерти.

Потом Патриарх направился к серебряному ящичку, изукрашенному цветными кабошонами, благоговейно наклонился и поднял крышку. Внутри драгоценной раки лежал Пояс Богородицы, я догадался. И я вдруг так сильно захотел его, этот Пояс, увидеть! И, как все, крышку этой серебряной раки поцеловать! Я опять стал толкаться. Протолкнулся ближе. Еще ближе. Прямо передо мной мерцала эта рака, крышка распахнута, внутри лежит Пояс с огромными такими, плоскими камнями, они светятся, я не разобрал, какого они цвета, то ли темно-красного, а может, бледно-розового, какой же я тогда после этого художник? Или я тогда к цветам ослеп, а видел только Свет?

И вот что меня тогда шатнуло, кто под локоток подтолкнул, не знаю. Не надо, наверное, было этого делать, что я сделал. Но я так захотел, и я сделал, что хотел. Я низко наклонился и сначала приложился губами к откинутой крышке раки, туманно и безумно глянул на Пояс Матушки, потом шагнул к Патриарху и громко спросил его: «Скажите, пожалуйста, если Бог Христос есть, как Он допускает, что люди воюют? Что человек убивает человека? Пожалуйста! Объясните мне! Я всю жизнь над этим думаю, и ответа не нашел!» Все кругом заволновались, зашумели. Меня малявка старушка в бок кулаком толкнула и зашипела: «Святейший владыко! А ну скажи! Святейший владыко, обращайся правильно, ты што, черт хвостатый, не русский, што ли?!» Я послушно и громко повторил за ней: «Святейший владыко!» И замер. Патриарх, весь белый и праздничный, глядел веселыми глазами поверх заросших щек, поверх короткой белой бороды. Чем-то, может, снежной боро-



дой, а может, хитринкой в лучистых маленьких глазках, он мне напомнил бизнесмена Борьку Хвостенко. Он молчал, и я молчал. А вокруг нас такой гогот поднялся! Как на Майдане. Я подумал: ну вот она, революция в церкви, и это я ее сделал, вызвал огонь на себя. А всего-то задал простой вопрос! И тут Патриарх разлепил губы, усы и борода его дрогнули, и он выпустил наружу голос, как птицу из клетки, — резкий и чуть скрипучий. «Чадо, а ты не допускаешь, что наш мир находится не только под белым крылом Бога, но и под черным крылом сатаны?» Я не растерялся. «И это знаю! И знаю, что человек делает выбор между злом и добром! И все же! Почему мы все всегда живем под дамокловым мечом ужаса? Как избавиться от ужаса близкой войны? Ужас смерти поборол Христос, да! Он воскрес — и все поняли, вот, может, и они воскреснут! И стали верить в это! Но мы худо-бедно справляемся с ужасом отдельной, нашей смерти. Только нашей! Ну, родных наших! А как нам быть с тем ужасом, который нависает над нами всеми? Пожалуйста! Скажите! Неужели миру нельзя раз и навсегда избавиться от войны?! Неужели — нет?!»

Что тут поднялось вокруг нас! Неопишимо. Все в храме орали так, что даже хор заглушали! И регент дал хористам знак: перестать петь! Патриарх поднял обе руки ладонями вверх. Так на иконах пишут святых, когда они возносятся на небо. Или Богородицу Оранту, я этот жест на иконах Матушки сто раз видел. Вот так же поднял руки и Патриарх. И так стоял. И все замолчали. И в полной тишине чуть надтреснуто звенел этот теплый, скрипкий, усталый голос, эти связки много смыкались, эти губы много говорили, увещевали, изъясняли, исповедовали, смеясь от великой радости, восклицали: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И все слушали. А за чем же все тогда сюда пришли, как не за словом Божиим?

«Поймите все! — говорил Патриарх, возвысив голос, и, говоря, закрывал глаза, будто слушал далекую музыку. — Времена меняются. Если раньше все поступки, все деяния мерили мерой Божьей, то потом, с ходом веков, к людям стали приходиться такие мысли: а что это мы все на Бога киваем, на Бога надеемся? И пословицу вспоминали: на Бога надейся, а сам не плошай! И когда люди подкатились уже поближе к нашему веку, мысль о том, что человек, а не Бог определяет и направляет жизнь, воцарилась на земле. Воцарилась, вы слышите! И что же? Я вам так скажу: это ересь. Это опасная ересь, и она гибельна! Раньше Бог — это была наша совесть. Бог был нашим правителем. Мы наши законы соизмеряли с Его законами. Закон Божий, страх Божий! Мы боялись совершить преступление, потому что Бог видел все наши поступки и читал все наши мысли. Но вот пришло время, и люди поглядели друг на друга и весело сказали друг другу: нет, Бог тут ни при чем! Ты веруешь, а я вот не верую, ну и что? Это мой свободный выбор, и это мое право! Право человека — вот главное на земле! И сам человек, и только он один, строит жизнь всего человечества!»

Патриарх помолчал. Обвел всех глазами. Они уже больше не лучились спокойно. Они сверкали, и сам он напомнил мне Илью Пророка, возносящегося на колеснице в окружении могучих мускулистых ангелов, молний и грозových туч. Так я его увидел тогда, и так бы я его нарисовал.

«Так человек стал во главу угла. Человек стал краеугольным камнем мироздания! А не Бог! Так началось изгнание Бога из жизни человека. В Ветхом Завете было, помните, изгнание из Рая, когда Бог пылающим мечом изгнал, после грехопадения, Адама и Еву из Райского сада. Бог изгнал человека и жену его! А тут человек изгнал Бога! Поднял на Бога все, изготовленное им: и железные мечи свои, и бомбы, и танки, и смертоносные ракеты. Уничтожая другого человека, вы уничтожаете Бога в себе и убиваете Бога в другом! А вы думаете — вы человека убиваете?! Нет! Убийца всякий раз, убивая, убивает Бога! И война начинается лишь потому, что

так хочет человек! Все войны так начинаются! Но в чем весь ужас? В том, что человеку надо ведь кому-то служить; ибо человек слаб и над ним есть высшая сила. Изгнав Бога, человек тут же начинает служить другой высшей силе. Не Христу. Служить — Антихристу!»

Старику стало тяжело стоять с поднятыми руками, и он медленно, устало опустил руки. И умолк.

Я сам не ожидал, что вызову такую бурю — и в прихожанах, и в душе Патриарха. А может, я и был послан высшей силой сюда, в этот собор, чтобы такой ветер поднять, такую воду взбаламутить. И то правда: ведь над этим всякий раздумывает. А тут мы, в тот день, просто случайно оказались все около Пояса Матушки, чтобы над этим всем сообща подумать.

Прекрасное слово сказал Патриарх. Здесь было над чем подумать не только в церкви, и я шел домой и думал, варил себе на плитке гороховый суп и думал, ложился спать в мою холодную самодельную кровать из ящиков и думал. Я думал над всем этим даже во сне.

Где-то далеко, в Париже, террористы расстреляли людей. Я смотрел в призрачный мигающий экран, в аквариум времени, там колыхалась мутная вода и плавали тени живых и убитых рыб, и виртуальный мир смеялся надо мной: это была еще одна компьютерная игра, и никого в ней уже не удивляли моря клюквенной крови, красной, вылитой в воду и на землю краски. Призрачная краска, и призрачная вода, и призрачная земля. Я ужасался, шептал себе: ты что, ведь это все живое, ведь все правда, и это настоящие люди! — но подводный экран мигал и гас, и зло можно было убить просто, выдернуть шнур из розетки. А потом грузовик, что вел убийца, передал кучу народу на красивой набережной Ниццы, теплым летним вечером, когда пряное южное небо уже вызвездило, а по набережной гуляли влюбленные, целовались под пальмами, и почтенные старики стояли у парапета, любясь на огни на темной воде, и стайками бежали туристы, и матери катили детишек в колясках, чтобы дети на ночь подышали свежим морским воздухом. Подышали!

Знаете, я думал, что это все только там, у них, творится. Весь этот ужас.

А мне показали, что нет, не только.

В один день все перевернулось в моем сознании.

И это была Ночь Взрыва.

Спросите, как это все началось? А никак. Обычный зимний вечер. Фонари призрачно, как золотые рыбы в пруду, мерцают сквозь черный мороз. Народ толпится на троллейбусной остановке. Толпится себе и толпится. Кто молчит, уткнув нос в воротник, кто дергает ребенка за руку, кто весело обсуждает насущные дела. Я подошел к остановке. Мне надо было ехать на мое дежурство к Борису Хвостенко в офис. Родя Волокушин уже звонил, рассерженно бормотал в трубку: «Ну тебя и ждать! Ну ты и плетешься! Ну и что, час пик! Нет транспорта — иди пешком! Мне уходить уже надо, на другую работу, а ты вошкаешься!»

Троллейбус показал рога из-за поворота. Приближался, разрезая вытарашенными фарами морозную мглу. Люди заволновались, сгрудились ближе к железной повозке. Между железных рогов проскочила искра, троллейбус тяжело встал, распахнул двери, из них на тротуар вывалилось вспученное, черное людское тесто. И это же тесто, дрогнув на асфальте, опять полезло внутрь машины, толкаясь, ругаясь, дергаясь, жестоко и яростно вминаясь в железную коробку. «Эй! Нажми там! Да что вы мне локтем в ребро, мужчина! Вы мне ребро сломали! Заткнись, гнида, а то я тебе

еще не то сломаю! Граждане, вы там утрамбуйтесь, пожалуйста, потеснее, в тесноте, да не в обиде! Ай! Вы не бейте меня в лицо! Шапку потеряли! Шапку потеряли! Да! Поймали! Сюда передайте!»

Я стоял позади всех. И рядом со мной стояла и тоскливо смотрела на окна троллейбуса эта самая, будь она неладна, согбенная, старая старуха. Согнута кочергой, есть такое выражение: старая кочерга, я глянул на эту бабку и понял, почему так говорят. Гнутая, черная, ржавая. Лицо такое ржавое и, чудится, твердое, тверже металла. Вот эти старухи нам грудью Россию выкормили, на руках своих с поля боя вынесли. Громкие слова, скажете? Да какими угодно словами, тихими, громкими, то, что сделали наши старухи и наши старики, не измерить.

Я вырос с пьющей матерью. Я женился на пьющей женщине. Да и Бог бы с ней, пусть бы эта замухрыстая старуха на остановке тоже конченная алкоголичка была! Но у нее, из черного ржавого лица, в глазах светилось, играло, сквозь всю ржавчину и ложь бившей-гнувшей ее жизни, такое, такой Свет, что я обомлел просто — и захотел ей как-то немедленно помочь. Услужить. В троллейбус посадить, что ли!

И вот стоял перед нами этот кошмарный троллейбус, и лезли в него, крича, люди, а я цапнул бабушку эту под мышки и поволол к двери. Люди все лезли и орали, старуха у меня в руках брыкалась, как коза, но я все-таки изловчился и поставил ее, как куклу, на ступеньки. Она ухватилась за стоящего впереди. Чуть не вывалилась обратно на снег. Она материлась, как грузчик на пристани! Такого мата я не слышал никогда! Троллейбус дернулся всем железным телом и поехал вперед, набирая скорость; задние двери, где стояла, вцепившись в чьи-то локти, в чьи-то шали и воротники эта скрюченная старуха, так и не закрылись. И пока троллейбус набирал ход, старуха обернулась ко мне, ухитрилась по-птичьи вывернуть из ободранного воротника тощую шею, и прокричала мне страшно и скрипуче: «Мать твою перемать! Не просят — не лезь!»

Эти слова хлестнули меня по лицу мокрой веревкой. Вот так! Коротко и ясно! Не просят — не лезь!

А я все лезу со своей добротой. А мы все лезем — кто с чем: кто с товаром, купите, не пожалеете, кто с нежностями, ах, милая, ах, миленький, ты видел в жизни так мало любви, кто с войной, эй, давайте объявим войну этим уродам, уродов победим и на продаже оружия неплохо заработаем, кто со своей религией: ты, дурак! поверь в моего Бога, мой Бог лучше, чем твой! моему будешь молиться — и все у тебя будет, чего ни пожелаешь! — кто с воспитанием: не делай так, дрянь ты такая, а делай вот эдак, да нет, я не со злом к тебе, я не бью тебя, не издеваюсь над тобой, это тебе только кажется, что бью и издеваюсь, я ж тебе добра желаю! Кто с чем лезет, и непрошеное добро оборачивается злом. Мгновенно. Бесповоротно.

Троллейбус уже исчезал в дымном зимнем мареве, я уже видел его колышущийся на дороге широкий зад, как вдруг железный саркофаг осветился изнутри бешеным пламенем, железные стенки начали выворачиваться и отваливаться, изнутри раздались адские вопли, колеса спустили, он встал, беспомощно осев на один бок, и это был уже не троллейбус, а взорванный железный общий гроб, антенны повисли мокрыми усами, внутри, за разбитыми окнами, вспыхнул огонь и быстро, жадно обнял, обхватил железный остов. Взорванный троллейбус горел, мы, кто стоял на остановке, ничего не понимали, охваченные молчаливым ужасом; я раздул ноздри и почувал запах паленой резины и паленого мяса.

Из открытых дверей сыпались, валились на заснеженный асфальт и уползали по снегу те, кто остался в живых. Ползла и моя старуха. Я узнал ее. Я бросился вперед, поднять ее, обнять и теперь уже не отпускать, доставить в больницу, отвезти домой, к детям и внукам, если они у нее были, куда угодно, — но нога моя поехала

на льду, подвернулась, я свалился, как мешок с картошкой, и на меня сверху падали и валились бегущие люди, надо мной звучали крики, меня пинали и толкали, я ощущал резкую боль в лодыжке и понимал: ногу или сломал, или вывихнул.

Так меня наказал тогда Бог, наказал за все, что я делал неправильно — за мою гордыню, за мою глупость, — и дал мне увидеть близко, рядом с собою гибель людей, чтобы я сильнее восчувствовал чудо своей, еще не отобранной Им жизни, и я лежал на мерзлом асфальте на животе, подняв голову, смотрел, как горит троллейбус, и думал: ах вы, дряни жестокие, вы подложили туда взрывчатку и сами выскочили, а может, вы смертники и перед взрывом наслаждались мыслью, что, уничтожив сразу кучу неверных, вы прямиком к Аллаху пойдете. Дряни! Бактерии вы среди людей, вирусы вы!

Я, пораженный внезапной мыслью, даже прижался лицом ко льду, уткнул голый горячий лоб в ледяной тротуар.

А может, и правда мы вирусы в теле огромного, величиною с Вселенную, добро-го Бога? Может, это мы, гадкие и опасные люди, жрем великого Бога изнутри?

Милый мой Юрочка! Я знаю, ты обязательно попросил бы меня рассказать, как оно все началось. Эта война. Я ведь все хорошо запомнил. Да, счастливы те, кого не стало в первые секунды, в первые минуты; кто попал в сердцевину взрыва и сразу сгорел, испепелился, вернее даже, превратился в собственную тень. Мы все видели, когда учились в школе, фотографии Хиросимы и Нагасаки: там отпечатки тел людей — на камнях, на железе, на бетоне. Тень вместо тебя! Это было бы счастье. Жизнь после атомного взрыва есть медленная смерть, она растянута во времени, а поскольку мы с тобой знаем, что времени нет, значит, эта ужасная смерть бесконечна.

Началось все так. Я приехал в офис, мне надо было заступать на дежурство, сторожить. Проверил сигнализацию, открыл форточку и немного в нее покурил. Слышал отсюда, с вахты, как открываются и закрываются двери лифта. Люди входили и выходили. Потом передо мной возникла женщина. Она возникла, как во сне. Я не знал ее. Я не помнил ее лица. Такая короткая стрижка, большие черные глаза. Слегка раскосая, скуластая. В короткой юбке. Она проследила за моими глазами, одернула юбку и сказала: «Простите! Простите! Там что-то такое творится! Я боюсь! Спасите меня! Пожалуйста!»

Я встал из-за стола. Раскосая женщина показывала на окно. На что-то там за окном. «Посмотрите! Ужас! Нет, не смотрите! Не смотрите!»

Я отодвинул ее и, хоть она цеплялась за меня и уже ахала и плакала, все-таки подошел к огромному окну. Стекла немытые, успел отметить, у Хвостенко на уборщиц, видно, опять денег нет.

Из наших громадных офисных окон было отлично видно всю заречную часть города — Оку под первым хрупким льдом, свечки небоскребов около вокзала, угольные и хрустальные друзья торговых центров, маленькие жалкие домишки, аварийные, на слом, они даже не стояли, а почти лежали на покрытой слоями жесткого грязного снега земле, как забитые на птицефабрике мороженые куры. Город размахнулся далеко на север и запад, в каменном лесу можно было затеряться. Я увидел ярчайшую вспышку, и закрыл глаза ладонью, и застонал. Города за рекой больше не было. Вместо него горел огонь. Стекла треснули, в разлом ворвался горячий ветер, и раскосая женщина закрыла лицо руками и закричала: «Глаза! Мои глаза! Горячо!» Я схватил ее за плечи и повалил на пол. Сам растянулся рядом. Дом дрогнул и сотрясся. Я крикнул женщине в ухо: «Ползем к лифту! Скорее! Пока он еще работает!»

Мы по-пластунски поползли к дверям лифта, в разбитое окно дул жаркий ветер. По всему зданию гуляли крики. Люди кричали. Они, как и мы, не знали, что делать.

Я встал, шатаюсь, и вслепую нашупал кнопку. Нажал. Я все еще жмурился, у меня страшно болели глаза. Я боялся, что, если я их открою, я ничего не увижу.

«Вы ослепли?! Ослепли?!» — кричала мне женщина. Лифт подошел, я услышал, как раскрылись двери. Я ощутил, что вместе с нами в лифт ввалились, дрожа, крича и плача, еще люди. Женщина положила свои руки на мои руки и стала нежно и настойчиво отнимать, отдирая мои руки от моих глаз. «Откройте глаза, пожалуйста, откройте!» Я послушался. Слава богу, я видел. Но все как в тумане. Лифт полз вниз. На табло горела цифра «-3». Лифт преодолел поверхность земли и ушел под землю. Все разом вздохнули. В кабину набилось много людей, нас здесь было человек десять, мы стояли плотно, прижавшись друг к другу спинами, боками и плечами, и я подумал: «Сельди в бочке, шпроты в банке». Представил себе нас всех запеченными, облитыми оливковым маслом. А что, неплохая закуска для Бога.

Для Бога? Может, для сатаны все-таки?

Мы ехали вниз и вот остановились. Двери распахнулись. Мы вылезли и с удивлением и ужасом увидели: минус три — вовсе не глухое подземелье, здесь, в подвале под огромным зданием, тоже были окна. Я сообразил: дом-то стоял на обрыве. На краю оврага, как мой ветхий домишко. И досужий архитектор придумал: прорубить окна в земляном срезе. Эффектно, что тебе Голливуд! Сквозь стекло было видно: больше взрывов нет, есть только сплошная стена огня, быстро и жадно поедающего город за рекой. «Может, это все, и они больше не будут бомбить?» Я погладил женщину по стриженным жестким волосам. «Может, это не самолеты сбросили бомбы. А прилетели ракеты. Вероятнее всего, ударили из-за океана. Это ракета с ядерным зарядом».

Я смотрел в лицо женщины. Оно было красное, обожженное. Неужели можно так обжечься светом? Получить световой ожог?

«Из-за океана, — тоскливо сказала она, — все-таки ударили. Все-таки осмелились. Я думала, не осмелятся никогда». Я погладил ее по красной щеке, и она дернулась и отпрянула: ей было больно. «Как раз и осмелились. Они только об этом и мечтали». — «Почему они это сделали? Они на что-то обиделись? Обиделись на нас? Мы для них плохие?» Мне было тяжело говорить это и тяжело сознавать, что она это услышит, но я все-таки это сказал. «Ни плохие, ни хорошие. Никто не плох и не хорош. Дело не в этом. Просто это необходимость. У земли есть необходимость однажды умереть. Как у всякого человека».

Ее начало заметно трясти. Я пощупал ей лоб. У нее поднималась температура. «А долго я еще проживу, если я облучилась? — спросила она тоненьким детским голоском. — Долго мы все проживем?» Я нашел в себе наглость улыбнуться. «Ну мы же все себя враз не убьем. Слишком много надо заготовить крюков и веревок. Или слишком много таблеток». — «Зачем таблеток, — сказала она с горящими глазами, — можно подняться в лифте наверх, на самый верх, и броситься вниз!» — «А вы сможете так сделать?» — «Нет». — «И я не смогу». — «Значит, будем тихо умирать в муках?»

Кому-то стало плохо, кто-то уже лег на пол и стонал, а лекарств и правда ни у кого не было. Раскосая женщина порывалась в сумочке. «Ничего нет у меня обезболивающего, только от сердца валидол», — сокрушенно покачала она головой. Лоб у нее тоже стал красным и шея тоже. Я прижал ее к себе. Она дрожала все сильнее. «Успокойтесь, — шептал я ей, — успокойтесь, успокойтесь. Все уже позади». — «Что позади? — Она отшатнулась от меня и вскинула на меня злые, степные смоляные глаза. — Все еще только начинается! Все муки!»

Люди подходили, подползали, подбредали к подземному окну. Мы видели, как по мосту через Оку бегут люди. Они бежали, как черные муравьи. Как мои, в моем подвале, бедные муравьи. Они бежали от огня, от радиации, от смерти, и они понимали, что не убегут, и бежали все равно.

«Нет, больше не ударят, — прозвучал хриплый голос рядом с нами, — все, закончился порох в пороховницах». Человек еще находил в себе мужество шутить. Мы видели, как за рекой, у самой кромки воды, упали два высотных дома, должно быть, от ударной волны. Из-под руин и обломков тоже выбирались люди; мы видели, как они тащили друг друга за руки, за ноги, как садились над кем-то бездыханным, может, уже мертвым, и плакали, уронив лицо в ладони.

Видели мы и тех, кто медленно, по спирали, поднимался по дороге, вьющейся меж холмов над Окой. Почему все были в черных одеждах? Почему в трауре? Нет, что-то у меня с глазами и верно творилось: не могли же все люди разом нарядиться в черное! Но люди в черном медленно и страшно шли, текли вверх, все вверх и вверх по серой ленте дороги, ни одной машины на дороге не было, только люди, они переступали будто ватными ногами, они, я видел это, заставляли себя идти.

Женщина сглотнула слюну. «Горло болит», — пожаловалась она мне, будто она была дочь, а я отец. Я положил ладонь ей на горло. Оно билось, там, внутри, билась живая жила, и у меня было чувство, что я охотник и поймал птицу, и сейчас должен свернуть ей горло и ощипать. «Вы что, экстрасенс, лечите наложением рук?» Она тоже пыталась шутить. «В каждом человеке есть энергия ци. И в вас. И во мне. Все искусство в том, чтобы правильно ее передать. Ци хорошо передается в любви. И если кто-то страдает, надо положить руку на больное место и стараться через ладонь направить в это место всю любовь, на какую ты способен». В улыбке дрожали ее губы. «И правда легче», — тихо сказала она. «Вы напоминаете мне мою жену, — сказал я, продолжая держать руку на ее нежной тонкой шее. — Только она пьяница. А вы нет». — «Да, я не пьяница. Мы с вами шутим. Это хороший признак. Это значит, мы еще живем. Как вы думаете, больше не будет взрывов? А может, мы выживем? А может, выживем?! Ну скажите!»

И тут, милый мой Юрочка, тут в большое окно мы увидели, как над городом и над рекой сгустился странный, плотный и рыжий туман, он играл то оранжевым, то красным светом, и в этом красном тумане прямо над нами из туч вынырнули самолеты. Странные это были, Юра, самолеты. Первый летел остроносый и слишком большой, величиной, быть может, с мост через Оку; за ним летела армада тупорылых, кургузых самолетов, они были похожи на толстых крокодилов — широкие толстые морды, маленькие, как лапы, крылья. Слишком поздно мы услышали гул, и он забил, заклеил нам уши. «Обречены!» — взвился над нами всеми отчаянный женский крик. Я не знал, кто это крикнул, моя женщина или еще кто-нибудь. «Ложись!» — услышал я свой собственный рык, дернул за руку мою женщину, мы повалились на пол и закрыли затылки ладонями.

Почему человек, когда его хотят убить, все время защищает голову? Почему он ложится ничком и отчаянно, изо всех сил закрывает свою бедную голову, обнимает ее потными от страха руками? Именно головой человек надумал, придумал себе всеобщую смерть. Именно головой, ничем иным.

Ты спросишь, что же было потом? Сыночек, потом раздался грохот, потом налетел жар, потом настала тьма.

Спросишь, почему же я оказался опять в моем подвале? Как я туда дошел? Как добрался, ослепший, обожженный? Значит, зрение ко мне вернулось, и не так уж сильно я был обожжен. Я не помню, милый, как я добрался до подвала. Помню только ужас, когда я видел, что вокруг, кроме пепла и руин, ничего нет. Я шел по мертвому городу, обмотанный старым резиновым дождевиком, плащом Борьки Хвостенко. Где Борька, я не знаю. Многие умерли. Я вот жив. Я дошел до подвала почти на ощупь. Память тоже может двигаться и идти вперед, не только ноги. Память вела и привела меня к себе.

Деревянного верха моего дома не было, он сгорел. Я хотел спуститься по лестнице, она была цела. Не удержался на ногах, упал и покатился. Считал ступени ребрами. Открывал дверь, сидя на корточках, так я был слаб. Я надыхался

гарью, и когда вдыхал воздух, легкие схватывало пронзительной болью. Я подумал: надо покурить. С трудом встал и нашарил на полке пачку сигарет. Счастье, у меня еще были сигареты. А может, и кофе? Я потряс кофейной банкой. В банке зашуршало. Да, есть и кофе. Все есть для счастья. Даже немного жизни.

Я закурил, а форточку уже открыть было нельзя. Я не хотел впускать сюда радиацию. Ничего, буду дышать табаком, сказал я себе, табак, он убьет радиацию. Водка и табак ее убивают.

Но водки, сынок, у меня, увы, не было. Была, года или века назад; да ее выпили чужие люди.

Знаете, а я преступник.

Только не ахайте, не охайте. Я вам все расскажу. Поймите меня правильно. Да вы не поймете, я знаю. Я сам себя не понимаю и не оправдываю. Так получилось. Меня должны были судить люди, но они меня не судили. Я улизнул от людского правосудия. Это верно? Неверно?

Почему все самые страшные и важные дела на земле происходят ночью?

Я ехал в одну семью, они жили в заречной части города, за грязной Окой. Я долго ехал к ним на трамвае, трамвай гремел, подпрыгивал и тарыхтел, я, пока ехал, отбил себе все кости. Эти люди, там, за рекой, позвали меня к себе, потому что им сказали, будто я обладаю чем-то таким, ну, силой, что ли. Что я такой особенный человек, и ко мне достаточно прикоснуться, и из меня больному перельется сила. Я в телефон сказал строго неизвестному голосу: не кошунствуйте, такой силой обладают только боги, а я не Бог. Ну все равно приезжайте, взмолился голос, у нас мальчик от роду бесится, мы уже замучились, устали как псы, и в психушке его держали, и к знахарям водили, и священника на отчетку приглашали, все без толку. Может, вы поможете? Я не мог отказать и поперся.

Обнаружил мальчика и правда бесноватого. В квартире вся мебель на шкафах лежит. Матрацы, одеяла и подушки в шкафы спрятаны: иначе бесенок их разрежет, растерзает. Родители слепо ходят по пустому дому, как загробные тени. «У жены уже даже нет сил плакать, она все слезы выплакала», — угрюмо сказал мне мужчина. Мальчик резво подбежал ко мне и первым делом ударил меня кулаком, крепко, зло, в живот. Я даже согнулся от боли. Ну не драться же с ребенком! Я сел на пол и позвал мальчонку к себе: «Пооди сюда! Сядь на пол рядом со мной!» Он воззрился на меня: так никто и никогда с ним не говорил, и на пол его родня, упаси Боже, никогда не садилась. Осторожно подошел, сел. Лоб надут, как пузырь, глаза запали глубоко внутрь черепа. О чем он думал? Что он чувствовал? Так же, как мы, или иначе?

Я долго, весь вечер, говорил с этим ребенком. Так, как говорил бы с сыном, но с сыном я так никогда не говорил. Почему мы можем помочь чужому, а на своего плюем? Я весь выдохся после такого разговора, а мальчик приутих, примолк. В маленьких глазках, глубоко, зажегся свет. Робкий, слабый. Еле тлел. Но я знал: он разгорится.

Я еще говорил, когда одержимый бесом ребенок вдруг лег на пол, подложил ладони под щеку и уснул.

Родители совали мне деньги. Я не взял. Тогда они сунули мне курицу гриль, еще теплую, в фольге, и большой ананас: вроде как гостинец. Еду я взял и поблагодарил добрых людей. Я сказал им: «Молитесь за него. Он поправится. Пусть он спит сколько угодно: день, два, три. Ему это сейчас очень надо. Он отдыхает от ужаса».

Курицу сунул в один карман пальто, ананас в другой. Карманы раздулись, как опухоли.

Был поздний час, трамваи уже не ходили, автобусы тоже, и я быстро сообразил: придется идти пешком через весь район к реке, потом переходить Оку по мосту,

а от моста до меня недалеко останется, лишь на гору подняться. Однако час протопаю, не меньше.

Иду, бреду, грею голые руки дыханием. В новых домах окна еще горят; в старинных чернеют, отсвечивают темным зеркальным серебром. Дома наблюдают за мной, как я иду. Маленький человек. Большой город. Все спят, один муравей не спит. Тащит за спиной свое страдание. Или радость?

Вот подошел я к мосту и вот уже иду по нему. Хватаюсь за чугун перил; ладонь испачкал в пыли. Сколько машин тут днем плюются бензином удушливым дымом! Ока уже схвачена первым ледком. Почему у нас в России всегда поздняя осень? Даже если это и лето, и весна, и зима. Все равно это поздняя осень. Грязная вода закручивается в темные спирали, если нагнуться над перилами моста, стекло соленого льда отразит твое растерянное лицо.

Ну я и нагнулся. А потом выпрямился.

И оглянулся.

Оглянулся на то, что видеть нельзя.

И это была Ночь Преступления.

Белизна тела светилась сквозь разодранные тряпки. Полуголая женщина карабкалась и боролась, она сопротивлялась неистово, но видно было, что ее уже безжалостно потрепали, а может, и покалечили. Она волочила одну ногу. А может, она такая от роду, хромоножка? Я не думал тогда об этом. За меня это все думал Тот, Кто летел над нами в ту холодную, с ледяным ветром, ночь и привел меня на этот мост, для того, чтобы я сделал свое дело. Люди, что били и минуту назад насиловали эту женщину, молчали. Они дышали и рычали. Как звери. Кто в приспущенных штанах, кто с голым животом. Блеснул нож. Блеснул лед под быками моста. Я бежал и орал: «Э-ге-гей! Васька, Фимка, Родька! Ко мне! Тут бабу бьют! Ребята! Быстрой!» Засунул в рот пальцы и оглушительно свистнул. Рассуждать и бояться было уже некогда.

Двое сорвались с места и припустили прочь. Один остался. Он не был намерен отпускать жертву. Тащил ее за собой и наконец заговорил: люто заругался. Мне даже показалось, у него от скверны дымится рот. Я подбежал, он пнул меня в пах. И удачно попал. Я взвыл и озверел. Мужик размахнулся и вмазал бабе кулаком по лицу, изо рта у нее потекла кровь, он выбил ей зуб. Потом он схватил ее за волосы и так, за волосы, потащил за собой по мосту. Я света не взвидел. Я обнаружил, что тоже могу гневаться и даже впасть в бешенство. Это я-то, тихий и благостный! Просветленный Мицкевич, блин! Черная, с солью льда, Ока текла под нами, а мы плясали, бедные черти, на мосту, у чугунных перил, и я думал тоже недолго: шаг, другой к мужику, а он, обхватив женщину, как кота, поперек живота, уже переваливал ее через перила, и уже толкал в пустоту, и уже разжимал руки.

Я успел. Я подхватил несчастную бабу, когда она уже валилась в реку. Она оказалась на диво легонькая, сухая как воблочка, почти невесомая, на ней мотались лишь разодранная на клочки исподняя рубаха и на щиколотках — рваные колготы. Я ловко вытащил ее из-за перил, уронил на холодный мокрый чугун моста и даже, кажется, толкнул ногой, чтобы она сообразила и откатилась подальше. А мужик время не терял: именно в это время он прыгнул на меня. Он хотел убить ее. Не вышло. Теперь он хотел убить меня.

Я облапил его. Ломал его. Мое счастье, он был без ножа! Нож валялся рядом с нами, но мужик не видел его. Я понимал, что я сильнее. Мышцы мои обратились



в камень. Вот тебе, мирный святой Мицкевич, и вся философия жизни! Кто кого! Мужик изловчился, схватил меня за шею, пригнул мою голову к перилам и сильно стукнул ею о чугун. Он хотел размозжить мне башку. Все поплыло, я поплыл по черному воздуху, по течению реки, мне уже казалось, холодная вода обнимает мне руки и ноги. Истощенный визг распорол ночь. Женщина кричала. Она кричала так невыносимо, так отчаянно и вздохом, что я очнулся и устранился: а вдруг она вся превратится в крик, и ее не станет?

Этот крик вернул меня в реальность и придал мне сил. По лицу моему текло теплое. Я понял, это кровь. Она затекала мне в глаза и текла по щекам за воротник моего старенького пальтеца. Я животом прижал негодя к перилам. Он вырывался, верещал. Хрипел. Я нагибал его ниже, все ниже над черным чугунным узором. Подвел ногу под его согнутые колени и резко дернул свое колено вверх. Он стал заваливаться назад, его голова и торс повисли над рекой. Я уже не помнил, что я делал; мне было важно это сделать, и я это делал. Еще хрип, сдавленный вой. Он пытался вцепиться мне в шею, но я из последних сил опрокинул его назад, еще назад, еще и всем собою столкнул в кипящую лютым холодом и льдом, черную воду.

Он падал долго. Высота старого моста через Оку сорок метров. Эти сорок метров он преодолевал, жутко крича, махая руками, вздергивая ноги выше головы. Мне казалось, он летит в черных облаках. Падал он долго, а когда врезался в воду, показалось, что упал быстро. Там, внизу, в черной реке, живое еще ворочалось и плескалось. Дергало плотью. Живое не хотело умирать. Это я умертвил его. Я, безоружный дурак.

Я обернулся к спасенной бабенке. Она сидела, скрючившись, возле чугунных мочальных узор и дрожала. Обхватила себя за колени. Стыдилась своего голого, в крови, тела. Я подошел ближе. Она стучала зубами. «Не прикасайтесь!» — крикнула она дико. Я выставил вперед ладони. «Я вас не трону. Я вас спас. Вы здесь замерзнете. Где вы живете?» Она ничего не могла мне ответить. Она не могла говорить. Я смотрел на черную реку. Далеко внизу бурлили водовороты. В мертвенном свете фонарей искрилась белая тонкая платина льда возле грязных кустов берега, обнимала быки моста. «Я убил человека, — сказал я. — Я должен пойти и заявить на себя в полицию». Полуголая женщина завопила: «Нет! Нет! Ни в коем случае! Не ходите в полицию! Нет! Прошу вас!» Она вскочила, она вся тряслась от холода и ужаса, и я сдернул с себя пальто и укутал ее.

Делать нам обоим было нечего. Мы оба пошли ко мне в подвал. Я вскипятил чаю, напоил ее горячим чаем. У меня уже не было знатных чаев с бутонами роз, я заварил обычный, скучный чай «Принцесса Нури». Мы ели холодную овсяную кашу. Для красоты я посыпал кашу сахарным песком. У нас руки дрожали. Все-таки это непросто, убить человека. Это вам так кажется, что просто. Чик, и нету. И вместо человека мясо с потрохами. В один прекрасный момент я все это вспомнил, как бандит падал в реку и орал, оставил чашку и еле успел выбежать на улицу. Меня мощно рвало в сугроб, и две окрестные ночные собаки подошли и грустно глядели, как я это делаю: хриплю, плююсь, ругаюсь, вытираю ладонью лицо.

Я умылся снегом и вернулся обратно. Женщина сидела за моим грязным столом в моем старом пальто и грела руки о чашку. Женской одежды у меня, понятно, не водилось, и я нарядил ее во все свое: в мужские трико, в мужскую рубаху. Она закатала рукава рубахи, и у меня в сердце кольнуло: я вспомнил мою жену Верочку, и кришнаитку Лену, и ту мою любовь в поезде, бесшабашную худенькую проводницу в пилотке набекрень. Они тоже любили носить мои рубахи. Все три любили. Любили они меня? Я не знаю. Но что я их любил, это точно.

Я постелил женщине на своем самодельном топчане, извинился за грязное белье, накрыл ее поверх одеяла теплым зимним тулупом. Она все тряслась и вздрагивала, обхватила себя под одеялом за колени и плакала с закрытыми глазами. Я сел в кресло и стал медитировать. Я легко мог спать сидя. Мои муравьи сновали в муравейнике, исполняли свою вечную работу.

Наутро женщина ушла. Я занял денег у соседей и посадил ее в такси. Она шла к машине и слегка прихрамывала, и я галантно поддерживал ее под локоть. Когда она уехала, я стал мучиться. Мне то и дело хотелось пойти и повиниться. Чтобы люди узнали, что я убийца? Нет. Чтобы перед людьми обелиться, очиститься, что вот я, дескать, убил одного человека, защищая другого? Нет. Чтобы меня обвинили во всем, меня одного, и засудили, и осудили? Нет. Я не этого хотел. Можно сказать, я всего этого совсем не хотел. А чего же я тогда хотел?

Мне трудно об этом сказать, почему я рвался обнародовать то, что я убийца. Может, для того, чтобы избавиться от обмана? Чтобы опять уравнились весы, которые дрогнули? Я убил, да. Но я и спас. Я и женщина, мы оба это знаем. Но люди будут знать только то, что я спас. А то, что я убил, не узнает никто. И здесь есть обман. Есть грех. Так вот что такое грех, оказывается, это когда тебе все время больно и боль не кончается, а только усиливается. Она растет с каждым днем.

Эта женщина пришла ко мне однажды. Я сидел у раскрытой форточки и курил. Я не закрывал дверь в свою обитель — заходи всякий, и зверь и человек, тебе всегда найдется чашка чая. За дверью заскреблось, я подумал, это мышь, и тут дверь открылась, и вошла эта бабенка. Она, понятно, была уже во всем женском и очень даже недурно сложена, в моем вкусе: худенькая, как девочка, глаза большие. В тот вечер она сильнее припадала на свою больную ногу. Она держала сумку и смущенно прижимала ее к груди. Я сам смутился. «Хотите чаю?» — «Ой, нет. Я ненадолго. Вы знаете, я вам гостинчик принесла. И еще, знаете, простынку и наволочки, они у вас грязные, а так хоть немного на чистом поспите». Я тут совсем устыдился. Надо устроить большую стирку, таз же есть, и все постирать, и постирать белье, штаны, трусы, носки и самого себя. Женщина выложила из сумки на стол свертки с едой и белье и смутилась еще больше меня. Так мы стояли друг перед другом и смущались. А потом она собралась уходить. Я не держал ее. Я понял: ее не удержишь, не прельстишь ничем — ни чаем с призрачными розами, ни кофеем, ни сигаретами, ни медом, ни молитвами, ни нежностями. Есть такие женщины; им самих себя достаточно, и они не любят, не хотят, чтобы их прельщали. Да и какой из меня прельститель? Она осталась жить на земле, а ее убийцу убил я. Все правильно. Все справедливо.

Я не спросил ее, где она живет. Не просят — не лезь, сказано же было той святой, тощей старухой. Я натянул наволочки на подушки, расстелил новую простыню, развернул свертки. В свертках оказались постная буженина; две баночки красной икры, и между ними вложена записка: «К НОВОМУ ГОДУ»; копченая горбуша; баночка тресковой печени; и в промасленной бумаге что-то такое горкой дыбилось, еще теплое, я разорвал бумаги — и на свет явился пухлый, темного теста, толстый яблочный пирог. И тут у меня горло захлестнуло петлей. Милое! Женское! Такое теплое, нежное! Я всего этого лишен. Взамен мне дано одиночество, и я его отрабатываю, как волокут за собой на горбу каторгу. В вечной каторге есть тоже сладость. Ее трудно понять, ощутить на вкус, положить на зуб. Но сейчас сладость обратилась в горечь. Я согнулся над всей этой любовно купленной снедью, над теплым яблочным пирогом и заплакал, и я захотел, чтобы женщина пришла еще раз. Все равно когда.

И она пришла.

Она пришла, увы, под хмельком.

Как я сразу же вспомнил Верочку! Верочку, красивую, бойкую, еще молоденькую, в теплой компании, глаза горят, грудь поднимается, с бутылкой в одной руке, с рюмкой в другой. Женщина с трудом переступила мой порог, подковыляла к столу. Вынула из-за пазухи початую бутылку и весело продирижировала ею в воздухе — точно так же, как махала когда-то моя бедная жена. Внутри мою чакру анахату обреченно обнял мрак. Снаружи я делал вид, что веселюсь, а на самом деле только и думал, как же упасти эту бабенку, хромоножку, от этого обычного и беспросветного водочного горя, только и жалел, бесконечно жалел ее.

«Выпьем?» — радостно, уже совсем не смущенно, а даже нагло спросила она и, не дожидаясь моего согласия, сама придвинула к себе на столе две пустые чашки, вытащила зубами пробку и живенько, щедро наполнила чашки вином. Запахло сладким. «Это кагор, — важно сказала женщина, подняв указательный палец, — церковное винишко. Так причастимся же, святой человек!» Она подняла за выгнутую ручку свою чашку, закрыла ею лицо и из-за чашки, как из-за маски, смотрела на меня. В ее сияющих, густо подкрашенных глазах плясало пламя. Я не понимал, откуда огонь. Потом сообразил: у меня же на столе горит свеча. Свеча стояла в консервной банке из-под кильки в томате и оплывала, ее за одинокую ногу обнимали сталагмиты воска и кольца засохшего лука, и пахло томатной пастой и рыбой. Свеча — вот в чем дело! Это все она. Она виновата. А так на самом деле у женщины глаза тусклые, и пальцы холодные, и ей надо от меня только одно: чтобы глотнуть в хорошей компании и уйти, вот и все.

Она все еще держала на весу чашку, заслоняя ею лицо. Делать было нечего. Я поднял свою чашку с вином и так же, как она, заслонил нос и губы, и только мои глаза видела она. Ее глаза смеялись, а мои чуть не плакали. Надо было скорее выпить. Мы сдвинули чашки, раздался тупой стук, мы выпили. Кагор дешевый, приторный, притворный, дамский. Поддельный: крашеная водичка. Даже виноградом не пахнет, а какой-то бытовой химией. В нашей жизни теперь почти все обман. Но мы-то, мы-то настоящие! Или она тоже — обман?

Она выпила всю чашку, до дна. Крякнула уткой, как мужик после шкалика. «Ты убийца», — радостно шепнула она, и схватила бутылку, и плеснула еще в чашки вина.

И мы снова подняли чашки и выпили.

Так мы быстро усидели всю бутылку. И мне захорошело.

Я уже весело рассматривал женщину. Она была не первой молодости. Осетрина не первой свежести. Ее спасало то, что она, худышка, издали выглядела вообще школьницей. Она соблазнительно облизывала грязный палец, откидывалась на спинку моего скрипучего шаткого стула, выпячивая тощую куриную грудку. Хлопала размазанными веками. Женщина-вамп, да и только. За версту было видать шалаву с Московского вокзала. Я усмехнулся. Она поймала мою усмешку и надула губки: обиделась. Я нежно тронул ее за плечо: ну что ты! «Хулио Иглесиас, что в переводе значит: ну чё ты, Иглесиас, — сказал я весело, — ну чё ты, не обижайся. Я не над тобой смеюсь. Я над собой смеюсь». — «А над собой-то что?» — спросила она, и верхняя ее, ярко накрашенная губка, с едва видимыми усиками, оскорбленно дрожала. Я развел руками. «А то, что я глупец. Надо такую хорошенькую дамочку поцеловать, а я все медлю». — «Так что же ты медлишь?» — тут же с готовностью спросила она. «Я медлю потому, что в жизни нельзя спешить. Никогда». — «А может, ты просто импотент?» — фыркнула она, и алая накрашенная, блестящая губка опять задрожала, но уже в смехе.

Я встал, она тоже встала, ожидая, что тут-то я и обниму ее. На краю стола, среди чашек и невымытых ложек, лежала ветхая книга. Без начала и конца. Страницы были в начале вырваны, в конце сожжены. Я вместо того, чтобы обнять гостью, взял книгу в руки. Она перевела взгляд с моего лица на книгу. «Что это?» — «Книга». — «Я вижу! Не слепая!» — «И читать, думаю, умешь». — «Ты смеешься!» — «Нет. Я серьезно. Знаешь, о чем тут написано?» — «Откуда мне знать!» — «О нас с тобой».

Я не соврал. Я открыл книгу наугад, и она открылась именно на том месте, на котором и нужно было, чтобы она открылась. Женщина внимательно следила за мной. Она как-то враз, быстро присмирела, и, хоть она была весела и пьяна, я видел: она охвачена сейчас сложным чувством, в котором, видать, смешались внимание, любопытство и настороженность. А еще смирение. А еще почитание, если не благоговение. Она никогда не испытывала таких чувств, шалавочка с вокзала, и она дивилась им и боялась их, и все глубже погружалась в них. А мои глаза уже жадно бегали по старинным строчкам. Я умел читать на церковном языке.

«Ядущим же им, прием Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: примите, ядите, сие есть Тело Мое. И прием чашу, хвалу воздав, даде им, глаголя: пейте от нея вси. Сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже за многия изливаема, во оставление грехов. Глаголю же вам: яко не имам пити от ныне от сего плода лознаго, до дне того, егда и пию с вами ново во Царствии Отца Моего. И воспевше, изыдоша в гору Елеонску. Тогда глагола им Иисус: вси вы соблазнитесь о Мне в ночь сию», — читал я и чувствовал на себе ожог чужих глаз. Разве может быть чужим тебе человек, которого ты спас?

«Стоп, стоп, — пробормотала женщина, — какая-то абракадабра, черт, ничего не понимаю, чушь какая-то... что такое лозный плод?» — «Виноград», — ответил я и улыбнулся. «А почему кровь изливается, какая, к чертям, кровь?» Я сел на мой колченогий стул и положил книгу на колени, и погладил, как кота. «Потому что человек, который есть Бог, будет с тех пор проливать кровь и страдать за всех. За всех». — «Какой человек, какой Бог, про кого ты мне тут впариваешь?»

Она уже везла языком, тащила за голосом слова, как телегу. «Христос», — смиренно сказал я. Свеча горела и освещала пустую бутылку. Огонь отражался в черном стекле, плавал, как красный огонек внутри опала. Женщина взяла бутылку за горлышко и осторожно поставила на пол, и шепнула: «Так грамотно, на пол надо, иначе счастья не видать», — и криво улыбнулась.

Свеча горела и исчезала, как положено свече. Я хотел читать дальше — и вскинул глаза, и сошелся глазами с глазами этой женщины, что я спас на мосту. И опять увидел мост, и убийцу, и белые пластины льда под мостом, и мрачную воду реки. Мы как-то смогли пьяными глазами что-то такое сказать друг другу, что никакого чтения уже не надо было и разговоров тоже. Но языки плели свою вязь сами, без нашего приказа.

И при свече было легко говорить.

«А ты тут давно живешь?»

Она спросила это и покраснела, будто спросила что-то стыдное. Я обвел взглядом свою подземную келью. Низкий потолок, лампочка висит на шнуре, без абажура. Печь, горят и потрескивают дрова, чуть приоткрыта печная дверца, и сполохи огня ходят по стенам и по потолку, и кажется, что потолок накренился и стены медленно падают, напользают друг на друга и плывут. И весь подвал плывет, как плот. И мы посередине плота; провизия закончилась, вино выпито, вокруг черная река, и, может, до берега не доплывем.

«Давно. Не помню, когда здесь поселился».

«А кто тебя сюда затолкал? А?»

«Сам затолкался. Так захотел».

«А что у тебя... — Она глядела туда-сюда, хлопая густо накрашенными ресницами. — Так мебели мало? Пусто как-то у тебя!»

Я поглядел на свой стол, уставленный грязной посудой. Чашки, блюда, тарелки, ложки. Я не всегда успевал их мыть. У меня из-под крана текла лютая, ледяная вода. Для мытья посуды надо было кипятить чайник. Поглядел на шкаф. За его крашеной под красное дерево фанерой валялись мои рубахи и портки, за стеклом спали книги. Немного книг. Я нашел их на помойке. И Евангелие тоже.

«Пустота — это высшая полнота». Я опять улыбнулся.

«Что ты все время скалишься! А? Веселый ты! Закурить есть?»

Я вытащил из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой; дал ей прикурить.

Закурил сам. Отворачивался, чтобы дым не летел на нее.

«Я не веселый. Улыбка — это не признак веселья. Это признак спокойствия. Ты спокоен, значит, ты свободен».

Женщина искала, где бы загасить окуроч. Я пододвинул к ней ближе консервную банку с горящей свечой. Она ткнула окурком в застывшие потеки воска.

«Мудрено ты говоришь. Я тебя не понимаю. — Она глубоко и прерывисто вздохнула. Покачалась на стуле. Облокотилась на стол и подперла ладонью щеку. — Картинки вон у тебя везде понатыканы! Ты художник, что ли?»

Я кивнул. Следил, как горячий воск ползет вниз по свече.

«Понятно, — она облизнула красные губы. — Так тогда ты должен быть богатым и знаменитым, а не сидеть тут, как пес в конуре!»

Я шевельнул ногой, бутылка, спрятанная под стол, свалилась и откатилась в угол, к печке.

Осторожно положил святую книгу на край стола.

«Верно. Только эта судьба не для меня. Почему мир должен страдать, а ты один должен быть счастливым? Чем ты лучше мира?»

Тут ее лицо опечалилось. Она опустила голову, и я увидел: волосы у нее крашенные, как вся она, рыжие, а около пробора — белые. Седые.

«Ты прав, слушай, да. Мир-то и правда мучается. Болеет. Психом стал мир. Но нет на него психушки. — Она стала мелко дрожать. Может, так хмель выходил из нее. — Или раком он хворает. Скоро он загнетса, а? Мир-то? Как считаешь?»

«Если врач опухоль не вырежет, загнетса», — спокойно кивнул я.

Свеча неотвратимо таяла. Она еще горела, не гасла. Еще жил свет.

«А кто вырежет этот рак? А? Кто?! Нет такого хирурга! Ну хоть бы кто появился, закричал: эй вы, людишки, что творите! Друг друга взрываете! Детей убиваете! Стариков! Вот меня... чуть не ухлопали... ты спас... — Она поежилась, как на морозе. — А мир кто спасет? Нет на него такого спасителя! Нет!»

«Он есть, — тихо сказал я. Пламя свечи забило от моего дыхания. — Его звать Бог».

Она неожиданно разозлилась, взорвалась, аж заколыхалась вся. Грудь ее под черным гипюром колыхалась, как студень.

«Бог! Бог! — кричала она хрипло, пьяно. — Бог, Боженька! Снова Бог! Как буд-то, кроме Бога, и нет никакого другого выхода! Да не верю вот я в этого твоего Бога! Ну не верю, хоть режь меня! Разве Он мне помог хоть чуточку?! Разве Он спас меня, когда меня... в восемь лет... испоганили?! Вот, между прочим, там же, около этого проклятого моста... и тоже — осенью... первый снег выпал... Разве Он спас ребенка моего, дитенка, когда он, бедняжка, в жару метался, а у меня деньжищ не было, чтобы дорогое лекарство купить, и я пошла собой торговать, на вокзал этот чертов, и поторговала, и заработала, да, сунули мне эти распроклятые бумажки за то,

что я ноги ловко раздвинула... прихожу — а он уже мертвенький лежит... и носик заострился уже, посинел, и пальчики холодные... Так я пальчики эти как целовала! Каждый, каждый пальчик! Целую и шепчу: оживи, оживи... Господи, прошу, оживи моего мальчика... Целую, и вся ручонка у него мокрая и скользкая от моих слез стала... И что?! Бесполезно все. Нет Бога никакого! Не оживил! А как я молилась, слышал бы ты! Как я молилась!»

Я хотел утешить ее словами. Но смолчал. Только протянул руку и погладил ее по плечу, по жесткому гипюру. И она затихла. Ее лицо стало мокро, оно блестело в пламени свечи: она плакала.

«Поплачь, — шепнул я, — это правильные слезы».

«А слезы разве букварь? Таблица умножения?»

Огонь в печи. Огонь на столе. Два человека под землей. Никто о них не знает. Никто не знает обо мне, а может, я и есть спаситель мира. Все мы, если постараемся, можем спасти мир. Любой преступник. Любой подзаборник. Было бы желание. Да мы не хотим. Мы хотим взрывать, разрушать. Распад всегда удобнее. Разбить легче, чем собрать воедино, слепить, склеить. Ударить легче, чем обнять.

«Убить легче, чем родить», — сказал я вслух.

Она так и вскинулась.

«А! Я поняла! Я все поняла! — Она кричала так, как будто бежала, догоняла кого-то ускользящего, бегущего впереди, и задыхалась, и не могла догнать, и только крик один ей и оставался. — Мы все хотим легче жить! Наслаждаться! Мы не хотим тяжелее! Мы хотим откусывать большие куски и жевать вкусно, сладко! Мы не хотим трудиться! У нас тот, кто ворует, тот и богат! А тот, кто честен, тот жалок, слабенький тот, презирать его надо, именно за то, что он честный, что не рвет кусок из рук другого, изо рта! Таких — презирают! Они у нас, такие, немодные! У нас в моде успех! А успех, я знаю, да и ты тоже знаешь, да и все знают, построен на крови! На костях! Любое богатство, любая слава — на костях! На костях!»

Я вздохнул. Мне хотелось положить ей ладонь на губы, так она кричала.

«Так-таки любая слава на костях? А слава Бога?»

Она уже слизала всю краску со своих прежде алых губ. Дышала тяжело, с при- свистом.

«Опять ты мне про Бога, заколебал уже...»

«Прости. Я не думал, что имя Бога на тебя так действует. Может, дьявол в тебе? Так давай мы его изгоним».

Я встал. Под моим пристальным взглядом послушно встала и она. Ее глаза пылали, как две черные свечи. Я взял консервную банку с горящей свечой, поднял огонь и приблизил его к ее лицу. Опустил свечу, так, что она подсвечивала лицо женщины; пламя моталось чуть ниже подбородка. Я видел все ее морщины, все впадинки и лицевые выступы. Скулы. Широкие, чуть татарские. Чуть раскосые глаза. Нос чуть вздернут. Тушь с намазанных ресниц потекла, от тепла и от слез, испачкала нарумяненные щеки. Матрешка вокзальная, суслик, бедняжка. Мать потеряла ребенка. Шлюха вкалывает, и ее работа ничем не позорнее любой другой. Или все-таки мерзопакостней, позорнее, грязнее, и надо ей долго говеть и поститься, а потом идти причащаться, не кагором в подвале нищего художника, а из золотой лжицы, из руки священника, что отпустил ей все грехи?

«Эй! Огонь жжет глаза... Я ослепну!»

«Не ослепнешь. Смотри на огонь».

И она послушно стала смотреть на огонь.

Что-то случилось с нами обоими. Свеча, уже почти съеденная огнем, все еще горела в моей руке, и женщина глядела на огонь, в самую сердцевину белого пламе-

ни. Я тоже глядел внутрь огня. В огонь, как на солнце, может, и правда глядеть нельзя. Душа начинает выворачиваться наизнанку, а зрение теряется, глаза слепнут, ты начинаешь видеть Третьим Глазом. Огонь освобождает Третий Глаз от налипшего на него века. От налипшего времени. Ото всех веков.

«Я вижу...» — прошептала женщина.

«Что видишь?»

И тут она, широко открытыми глазами глядя на огонь свечи, стала говорить, тихо и медленно. Я не могу вам дословно передать, что и как она говорила. Я точно не помню. Потому что я вроде как в нее переселился; я стал видеть вместе с ней, а не слышать ее. Голос ее, почти шепот, вился и плавал надо мной, и я даже не разбирал слов. А слышал только гул. Будто подземный. А вот видел хорошо. Мы видели вместе.

«Вижу синеву. Воду большую. Это море. Прибой бьет в берег... в сушу. На суше дома. Они высокие и страшные... они как муравейники... и в них, внутри, бегают по лестницам люди, сидят у окон, распахивают двери... выскакивают на улицу, в снег и ветер... а кто-то, вижу, выпадает из окна и уже летит... Город, это огромный город. Сплошной камень. Каменные столбы движутся, налезает друг на друга. Дома смещаются и качаются. Вот-вот упадут. Может, это трясется земля? Я поднимаюсь... выше... мы поднимаемся! Я и вокруг меня люди. Но они какие-то бесплотные! Слишком легкие! Им легко лететь. А мне трудно. Я вижу... суша грозная, огромная, она выгибается подо мной. Горы — складками, будто смяли ткань... будто одежду неряшливо на пол кинули... это море застыло камнями... Пустыни... они жаркие, как сковородки... и по ним, далеко внизу, тоже бегают люди и орут что-то, отсюда, с высоты, не слышно... беззвучно кричат... Леса лежат колючей шкурой, дикой... это волка ободрали, освежевали... красное мясо собакам кинули...»

Она, говоря все это, взяла меня за руку. Ее пальцы обожгли меня холодом. Холод ударил мне в сердце, хотя я тоже, как и она, глядел на огонь.

«А это что... что это! Огонь нависает над сушей... вместо прибоа, вместо воды — огонь. Его нельзя остановить! Он льется, катится... и он вспыхивает там, сям... много огня рассыпано по земле... землю ест огонь, жадно жрет... волк ожил, и волк — это огонь... он стосковался по еде, земля — это для него дичь, он когтит ее, рвет зубами и лапами... огонь! Все, вся земля уже под ним! Вот это костер! Величиной... величиной... черт меня дернул.. величиной с целую землю...»

И я это тоже видел.

Она стала дышать хрипло; ей трудно было говорить, половины слов я не понимал.

«Люди бегут прочь от огня... Люди хотят спастись. Огонь — это смерть. Огонь смеется над ними всеми. Над нами всеми! Его не избежать. От него не убежать! Люди скалят зубы... смеются или плачут?... они стреляют друг в друга. У них в руках оружие. Это война! Опять война! Снова война, война, ты слышишь!»

Я не только слышал. Я видел.

Под нами, летящими, вздымалась и рушилась вниз суша. Громадные пласты земли. Они топорщились костистыми хребтами и рассыпались на мелкий песок, на кристаллы кварца и куски мрачного угля. Из пучины поднимались земные слои, вспучивались круглой костяной лысиной, блеском лунного черепа. Черный дым полз над идущей волнами, бешено танцующей землей, то рассеивался, то сгущался. Дым заволакивал широкие поля, где сшибалось в схватке железо. Оно плевалось огнем. Огонь ударял в дома, в горы и в деревья, и они тут же становились огнем; я видел, как в огне мгновенно сгорали люди. Минуту назад человек, теперь пламя. Суша менялась местами с морем. Суша восставала на море, а море рьяно катилось на человека, чтобы подмять его под себя, чтобы и следа его не осталось.

«Люди... что вы творите... Не убивайте друг друга! Не убивайте! Не убивайте!»

Я перевел взгляд с пламени свечи на лицо женщины. Я изумился: вместо ее лица на меня катилась из мрака земля. Круглое лицо земли, гигантский выгиб каменного лба, мощные скулы горных отрогов, увалы щек, скала подбородка. Земля дышала такой мощью, что трудно было поверить в то, что она сейчас погибнет. Она так дышала жизнью! Она дарила жизнь, отдавала, она раскрыла губы и дышала виной, хмельной жизнью на меня, в меня. Я хотел обнимать, целовать эту пьяную, бедную жизнь. Последнюю мою жизнь! И я не мог! Потому что она была вся в огне, она горела и умирала, она катилась в никуда!

«Провались все на свете... не убивайте!»

Если она, пьяная, была земля, тогда кто же такой был я?

Я жадно ловил запах кагора из ее приоткрытых губ. Я все еще держал свечу, уже полумертвую. Прозрачный сладкий воск растекался по жестяному дну банки.

По скулам земли катились слезы. Моря. Ручьи. Реки. Водопады. Старицы. Протоки. Ключи.

«Это все ислам. Ислам проклятый. Это все он! Они хотели всемирную войну... и они ее развязали. Без нее что, не обойтись?! Я не хочу! Слышишь! Я не хочу, чтобы все так закончилось! Не хочу! Не хочу! Это они, они, проклятые мусульмане! Восток проклятый! Развязали все-таки! Захлестнули все огнем!»

Я поднял руку, чтобы положить ладонь ей на жаркие сухие губы. Ей, земле.

«Ты не права. Это не мусульмане. Аллах велик. Он добр. Это люди Его сделали злым ненавистником. Это все люди! Это люди извращают Бога. Приклеивают к Нему свои грешные руки, ноги. Его именем сжигают и вешают. Его именем, слышишь!»

Она не слышала.

«Кто вас защитит? Кто вас защитит, бедные, родные мои?! Вы ведь все сейчас горите! И сгорите! Огонь, у него жалости нет! Он без жалости! Без милости! Он есть — вас нет! Люди, нас всех нет! Уже нет! А ты: книжка, святая книжка, Бог святой, примите, едите, тело мое, кровь моя! Вранье это все! Ничего этого нет! Есть только огонь! Последний огонь! Проклятие! Да будь же проклята ты, земля! Ты хрюшка, ты сожрала своих детей! Пощады тебе за это нет!»

Она, земля, проклинала сама себя. И это было слишком страшно.

Я не думал, что я такое в жизни услышу и увижу.

«Никогда никого не проклинай! Слышишь!»

Свеча мигнула раз, другой и погасла.

Настала тьма.

И в полнейшей тьме, кромешной, без единого огня, без отблеска уличных фонарей на крышке латунного чайника, без блика на грязном стекле, я услышал ее хриплый, нищий голос. Пьяный, трезвый, я не понимал. Я понимал одно: это говорит со мной земля, и в ее голосе сошлось все, по чему я тосковал и что приближал, что старался забыть и никогда не вспоминать и над чем трясся, как над куском золота или, может, хлеба, одинокий, всеми покинутый.

«Я прощаю всех, кто замучил меня. Я вас всех прощаю. Всех, кто бил меня и убивал меня. На мосту... под мостом... на рельсах, в подвалах, в сараях. На зимних улицах. В песках, под звездами. Меня все убивали, а меня ведь не убить. Огонь — это просто мое покрывало. Фата моя! Это я так, окутанная огнем, замуж выхожу! Огонь, он только сегодня смерть. Он только сегодня саван. Завтра меня завернут в огонь, как в пеленки. Я прощаю всех, кто не пощадил меня. Вы меня не пощадили, а я вас пощажу. Я полюблю вас заново. У меня на это есть силы. Есть еще у меня силы. У меня есть силы... на все!»



Она тяжело дышала и вот передохнула, замолчала.

Опять забормотала.

«Но ты... слушай, ты... ты не защищай мусульман... от них все сейчас началось... они меня под себя подгрести хотят... а ты их не слушай! Ты слушай меня. Ты ложись на меня, прижимайся ко мне животом... крепко... и слушай меня. И услышишь... как пойдут круги по воде... пойдут... все сохранится в этом мире, все... все останется в этой вселенной... все, все... даже то, чего мы сами не знаем... все останется!.. и я останусь, а они все думают — они меня сожгут... Да никогда! Да чтобы я сгорела?.. никогда в жизни! Потому что...»

Ее круглое мощное лицо с оттопыренной нижней губой, чуть светящееся старым серебром из мрака, метнулось, качнулось маятником ко мне, ближе, еще ближе, я почувствовал тепло кожи и запах пота и духов на ее каменном лбу, за ушами, на древесной шее. Жилы древних рек перевивали шею, скатывались за горы груди, земля дышала, она дышала тихо и мерно, она дышала, она еще жила.

«Меня никогда никому не убить... меня уже убивали много раз!.. я горела в огне много раз!.. и я — воскресала... Я — воскресала...»

Я приблизил к ней губы. Ловил губами ее грязный, вечный, нежный, смертный запах. Бессмертный.

И тут будто кто меня толкнул в спину. Все внутри затряслось. И губы мои задрожали, задергались. Я быстро опустился на колени. И, чуть задрвав подол ее пошлой гипюровой юбки, поцеловал ее колено, обтянутое тонким капроном.

Она тихо вскрикнула.

«Что это, ты спятил? Ты мою ногу целуешь! Вот ненормальный! Ну точно чудик! Ты знаешь, ты мне мою хромую ногу поцеловал!»

Моя земля тихо смеялась. Она уже смеялась.

Мне было не до смеха. Все внутри меня металось, боролось и вспыхивало. Внутри меня шел бой. Я сам в себе, в потрохах своих, носил смерть и внезапно обреченно, страшно понял: я мужчина, и я носитель смерти, а она, земля, носитель жизни, и война-то идет на деле меж нами двоими, а только потом перекидывается на всех, на огромные поля, горы и моря, деревни и города. Мы воюем! Мы убиваем друг друга! Мужик-смерть, баба-жизнь. А может, я просто схожу с ума, и я пьян, и надо... что надо? Выспаться? Захотеть? Закурить?

«Я не спятил, — сказал я тихо. Так тихо шевелятся водоросли под водой. — Я не тебя поцеловал. Я через тебя — всех женщин поцеловал. Всех матерей. Всю землю. Земля, она мать. Сколько бы ее ни убивали, сколько бы ни насиловали, ни измывались над ней, а она все жива и сильна. И она еще родит. Еще...»

«Я уже не рожу! Куда мне! Стара!» — крикнула она, и лицо ее страдальчески покривилось.

Я уже различал во тьме слезный блеск ее глаз и свет, идущий от зашторенных подвальных окон.

«Я не только о младенце говорю. Ты — любовь родишь! В яме ненависти...»

Ее лицо сморщилось.

«Ты дурак! Ты мне такие высокие слова говоришь. А я — кто? Я подзаборница! Просто ты меня спас, и я хотела тебе спасибо сказать! А может... может... мне не спасибо тебе надо говорить! А проклясть тебя, послать куда подальше! Может, ты меня на новые муки спас! И лучше бы меня убили! Сбросили в реку! И делу конец!»

Она все больше становилась опять женщиной, приبلудной бабенкой, человеком, шалавой с вокзала. Все сильнее от нее снова пахло вином.

Я все еще стоял на коленях, будто молился ей.

«Это грех, так думать».

«Думать! Видишь ли ты! А жить так не грех?! А я так живу! И буду так жить! Пока не сдохну!»

«А ты, — внезапно спросил я ее, — в церковь ходишь?»

«Чего я там забыла!»

«И после смерти... смерти ребенка... не ходила? За его душеньку не молилась?»

«Да нет же! Нет!»

И вдруг она умолкла. И опять огромной волной накатывало молчание, погребая под собой все ненужное и мусорное, все сиюминутное. Из-под воды веков светилось вечное: свечной погасший огарок, разрезанный лук на тарелке, бок чайника, корешок книги с вытисненной, позолоченной надписью: «СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ».

И в этом вечном молчании я опять увидел, как медленно крутится земля. Земля ее лица. Она поворачивалась то боком, то затылком, то зрячими глазами, видя насквозь, исследуя, лаская, запоминая, благословляя. Она катилась молча, во мраке, и светилась изнутри, и я тихо и медленно обнял ее колени и прижался лицом, щекой к ее ногам, к ее теплым коленям и бедрам. А потом повел лицом выше, выше и уткнулся носом ей в живот. Как ребенок. И почувал себя ее ребенком; внутри нее, у нее в животе; и вот я скоро должен родиться; и вот я родился, и я целую ноги, грудь, живот своей матери. И я кричу, надрывая глотку в отчаянии, в радости. От ужаса жить. От счастья жить.

Сынок мой, Юрочка, родной мой!

Мы так недавно еще были. Мы так недавно еще жили в таком шатком и зыбком мире, мы все прекрасно понимали его шаткость и зыбкость, и мы глядели, кто через лупу, кто в микроскоп, кто в бинокль, кто невооруженным глазом, на него, рассматривали рытвины, оспины и вмятины на его уродливом лице, на его железных и земляных боках.

Ты знаешь, Юра, ты не зря начал убивать и насиловать. Вы, наши дети, дети хороших родителей, сейчас многие вот такие. Мы воспитывали вас в любви и согласии, втемяшивали в ваши головенки, что мир изначально добр и светел, а вы во все зубы, во всю пасть хохотали над нами, ржали как бешеные кони, показывали на нас пальцами: эх вы, несчастные старые шнурки, вы даже не представляете, насколько мир темен и страшен! И человек тоже темен и страшен, он брат ужасного мира, они близнецы-братья. Сиамиские близнецы! Попробуй ты, дурак родитель, нас разруби! Вы родили нас в мир, совершенно не подозревая, что мы станем армией мира. Его священным воинством. А что делает воинство, а? Правильно, воюет.

И вот вы все стали воевать.

Вы все воюете, и даже сейчас, когда и воевать-то, считай, не с кем.

Кто грабит и убивает на улице, в подворотне. Это его личная война. Кто столпился под знаменами: черными, красными, да все равно какими. И подчиняется приказу вождя. Равнение на трибуну, подобрать животы, подобрать слюни! Кто кричит: я один армия! — и идет в последний, безумный бой, с голыми руками на врага. Кто собирается в отряды и колонны, и сапоги разношены, и гимнастерки облохматились, а поди ж ты, прут вперед, валом валят, и нипочем им ни бомба, внутри которой всеобщая смерть, ни рев самолетов, ни черные тени смертоносных подводных лодок. Моя армия! Вот, сынок, какая у меня армия? Пойду ли я воевать? Ведь война-то уже закончилась.

Быстро же она прошла, эта последняя война. Раз — и нету.

Я, сам себе генерал и сам себе армия, беспомощно оглядываюсь назад. Оглядываю то, что еще вчера было моей землей, а значит, моим родным домом. Мы до войны не осознавали, что вся земля была нашим домом. Мы хищно делили ее, разрезали на куски, наваливались на эти отрезанные куски животами, подгреба-

ли землю под себя: мне! мое! не тронь! Оглянулся я, стоя по щиколотку в серой пыли собственной смерти, на краю собственной могилы, и что же я вижу?

Я вижу, как мы готовили эту войну. Как бесились, вопя это вечное: мне! мое!

Я вижу арабский песчаный мир. Людей с лоснящимися, потными на жаре лицами. Крупный пот течет по лбам и щекам, он течет, как слезы. Но люди смеются. Они владеют нефтью, а значит, допущены к богатым сундукам мира, к его деньгам и золоту. Еще больше денег! Еще больше золота! Ведь деньгам и золоту предела нет. Но я вижу иное торжество на потных лицах. Это не отблеск золота. Это торжество веры. Вера — вот что изнутри греет сердца, сжигает черную пустоту под ребрами. За веру легко умереть. Так считают мусульмане.

А как считают христиане? Когда-то давно, за тысячу лет до нас и через тысячу лет после Распятия, они пошли по дорогам Европы на Восток. К сарацинам. В Иерусалим. Изгнать мусульман из земли Христа. Три века воевали они, и у них ничего не получилось. Но шли и шли они, плыли на кораблях в Святую Землю и были полны решимости убивать, проливать черную исламскую кровь. Вера во Христа была тогда еще молодая, и она горела и пылала, а теперь она дымит, дымят и чихают старые дрова. А ислам поднял голову: он молодой, ему еще только тысяча лет, и он, заводной апельсин, полный злобы и огня, намерен воевать, победить весь мир.

И это совсем другой ислам. Не тот, ради которого ходят в мечеть, надев лучшие одежды, сгибаются в поклонах на коленях, съезживаясь, как плод в утробе, и режут барана в Курбан-байрам. Другой.

Новый Ислам кричит: я тебя казню, я твой владыка и палач, мне позволяет это Аллах! Я казню не только тебя, но и всех твоих братьев, все твои города и села, весь твой народ! Я вырежу твой народ, сожгу его, от него ничего не останется ни на твоей земле, ни в широком мире. Он кричит: я разрушу твои святыни, взорву твои памятники и кремли, взорву оркестры, что играют твою музыку, фрески на стенах твоих храмов! Сами храмы твои в пепел превращу! А потом, ухмыляется он, ты ляжешь под меня. Как? Очень просто! Ты примешь меня! Тебе просто ничего не остается делать!

И ты, прежде иноверец, станешь мусульманином, чтобы жить. Чтобы тебе не отрезали башку, ты припадешь к стопам имама. Ты отправишься в Мекку на хадж, и тебе всунут в руку нож, и ты сожмешь его, и взмахнешь им, и сначала зарежешь барана на праздник, а потом человека, тоже к праздничному столу. Для Нового халифата праздник — новые трупы неверных! И мне, Новому Исламу, все равно, кто эти мертвецы: старики ли, женщины, юноши, дети. Дети — это даже хорошо. Отлично! Молоденькие цыплята самые вкусные, их хорошо, правильно подать к столу Аллаха.

И от нас никто живым не уйдет, так вопит Новый Ислам и размахивает черным знаменем. Если ты изменишь мне, предашь, захочешь убежать, тебя настигнут. Тебя казнят! Я тебя казню, сам. Расстреляю или горло тебе перережу, неважно! А потом рассеку кинжалом или топором, тоже неважно, твою грудь, и выну твоё теплое сердце, и буду живьем грызть, жрать его, и мой дикий горячий обед мои друзья, хохоча, умирая от смеха, будут снимать на камеру, а назавтра вывешат в Сети — веселитесь, люди, смотрите и понимайте, за кем сила!

Он вопит, у него глотка луженая, голосовые связки из проволоки. Вопит, надрывается, скалит зубы.

Сынок, я слышал этот крик. Все мы слышали эти крики. Кто из нас и что сделал, чтобы остановить зло? Мы все покорно, как бараны, ждали, когда нас резать придут.

Нефть лилась черной кровью. Людская кровь от нее не отставала. Правители всяких разных стран гневались и метали молнии с высоких трибун, а сойдя с них и прикрыв глаза ладонью, подписывали бумаги, чтобы купить у Нового халифата нефть и наркотики, продать ему оружие, продать яды и снаряды. А потом

нашелся толстый владыка, что, тайком погладив под рубахой нательный крест, продал халифу ядерную бомбу: ни за понюх табаку.

Новый Ислам заполучил всеобщую смерть и осмотрелся. Кто враги? Они рядом. Кусочки лоскутного одеяла Земли, их надо быстро выпороть, бросить в костер, сжечь. Ветхая ткань! Запад с его поддельной новизной! Ты гроша ломаного, нитки гнилой не стоишь перед законами сурового шариата. Мы взорвем твой разврат. Мы зальем твои зенки твоим же вином, а в твою глотку вошьем наш расплавленный свинец. Но и Восток не весь нам друг. Восток, обезьяна Запада, должен быть убит безжалостно. Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Йемен, считайте, вы уже трупы. Мы спляшем на ваших костях!

И сплясали.

Атлантида тоже была их врагом. Они подчинили Евразию, но по другую сторону Атлантики маячили обе Америки. А на севере тускло, призрачно мерцала чудовищная, огромная Россия — медведь, обросший замерзшей, в сосульках, густой шкурой, медведь, что в вечной берлоге своей сосет лапу и высасывает из нее нефть и газ, алмазы и сталь, сладкое вино и драгоценные меха. Богатая Россия! Враг и соблазн. Сильная, с чертовой железной кучей оружия, царицей с тремя подбородками сидящая на горах танков и зенитных пушек.

Это мы, сынок, мы одни могли бы противостоять Новому халифату. Только мы.

Кто нас опередил?

Все получилось как получилось, знаешь, есть такая старая поговорка: пусть дорога сама о себе заботится. Мы ее повторяли-повторяли, вот дорога и позаботилась: встала дыбом. Земля встала дыбом, пошла на нас каменной волной. Войной на нас пошла.

Без объявления войны.

А зачем объявлять войну, если ее исход уже предрешен?

А мы не нашли ничего лучшего, кроме как обнять колени свои и сжаться в комк. Мы скорчились на земле, на этажах падающих зданий, в сырых подвалах, на дне лодок и в трюмах кораблей, легли на животы и закрыли ладонями затылки.

Мы понимали, что мы умираем, и мы делали вид, что так спасемся.

Юрочка! Я так тоскую по тебе! Почему-то именно по тебе, милый мой сынок. Софочка и ее дети, мои внуки, я не знаю, что с ними. На всякий случай я молюсь за их упокой. Верочка лежит рядом со мной. Она стала уже совсем лысая и уже не открывает глаз. А может, это мне только кажется, что она тут, в подвале, лежит: иногда я оглянусь, а ее нет, тогда я пугаюсь и молюсь, чтобы Господь вернул мне или зрение, или разум, или то и другое вместе. Когда мне возвращаю мою жену, я медленно подхожу к ней и подолгу смотрю на ее лицо. Оно обожжено. Ожог затянулся молодой, уродливой красной кожей. Ресниц на воспаленных веках нет. Вместо губ длинная щель. Иногда она облизывает края щели сухим синим языком. Я не могу на это смотреть. Отворачиваюсь и плачу.

От вечных слез у меня вместо глаз стали две мокрые ямы. Я вижу все хуже. Спросишь меня, что я вижу впереди? Завтра? А ничего. Я там, сынок, не вижу ничего.

Они мне прислали денег на дорогу. Буряты, что завалились ко мне в подвал когда-то, давным-давно.

Что значит давно? Что значит вчера? Этого мне не понять и никому не понять. Иногда давным-давно значит вообще не вчера и даже не завтра. Времени нет, я же вам говорю. Я не Нострадамий, но я его родной брат. Он был бы рад мне, я знаю.

Буряты, что ночевали у меня вчера или давным-давно, внезапно появились в виде маленькой бумажки, почтового перевода, там стояли цифры, они обозначали деньги. Я не удивился: я приучил себя ничему не удивляться. Рассмотрел цифры, прочитал надпись на обороте извещения и все понял. Они приглашали меня; так своеобразно, оригинально они благодарили меня, нищего, за гостеприимство.

Я пошел на вокзал, смиренно взял билет и поехал в плацкартном, грязном и холодном вагоне в Улан-Удэ.

И пока ехал, а ехать надо было четверо суток, вспоминал, как я работал проводником. А теперь я еду пассажиром, и что? Где разница? Нет разницы. Между людьми нет разницы, и нет разницы между их чувствами; различаются лишь дела, земные дела придуманы Богом для удобства, чтобы всегда можно было указать пальцем: вот этот печет хлеб, а этот крадет деньги, а этот строит дома, а этот убивает детей. Все распределено. Преступник тоже думает, что он делает дело. Он говорит себе так: преступление — это мое дело, и больше ничье. Вы все не можете, а я могу.

Пока я ехал, я много чего передумал. Приходил проводник, спрашивал, что мне нужно, спрашивал, не дует ли в окно, не принести ли горячего чая, и я смотрел ему в лицо, как в зеркало. Я узнавал себя. А он смотрел мне в глаза и меня не узнавал.

За окном вагона летели ветки и стволы, серебро берез и колючки сосен, тянулись провода, вспыхивали фонари. Ночью мы стояли на вокзалах больших городов, и я смотрел на старые каменные дворцы, они помнили, как этой же дорогой везли последнего царя: вот Екатеринбург, вот Тюмень, вот Омск. Синяя ночь обнимала молчаливый состав, остро посверкивал снег, на снегу в свете фонарей виднелись следы людей, зверей и машин. Все живое оставляет след. Но какой? Его глубина Богу не важна. Он видит любые следы. Даже те, что поутру развеивает ветер метельными вихрями.

Мне несли горячий чай с сахаром, и я пил его, громко хлюпая губами; мне несли свежую булочку, но булочка — это уже было дорого, я считал каждую дорожную копейку, и я всю дорогу размачивал в чае и жевал сухари, припасенные для долгого пути в матерчатом мешочке, жевал сухари и чмокал просто как настоящий заключенный, внезапно выпущенный на свободу по амнистии. Сухари царапали мои беззубые челюсти, я терпел боль и улыбался. Думая о прошлом, я иногда плакал. И внутри себя, и настоящими слезами. Они текли у меня по лицу и скатывались в усы. Где это, в каких это древних письменах сказано: кто никогда не ел своего хлеба со слезами, тот не жил на свете? Я знал, но забыл в каких.

Проехали Красноярск, я полюбовался на дымящийся на морозе, живой и бешеный, зеленый Енисей, он катился с грохотом и торжеством, стремительно, безумно, между скал, усыпанных снегом, как крупной солью; проехали Иркутск, я видел изумрудную Ангару, она зеленой змеей ползла меж мощных снегов, и видел старые и новые, как везде и всюду, дома, в них жили люди, не веря, что когда-нибудь умрут; проехали Слюдянку, огибая Байкал, и я смотрел на мертвые могучие снега, в их железной оправе лежал огромный самоцвет озера, самородок-изумруд, на берегу высились валуны, я перепутал их со спящими быками, а дальше колыхалась зелено-синяя вода, она попеременно становилась темной и прозрачной, и когда она становилась прозрачной, она вспыхивала изнутри: это ее освещали маленькие желтые рыбки, я понял, они светились, и их тела были тоже прозрачны, сквозь них можно было глядеть на мир и видеть его не злым, а золотым.

Почему рыбки светились изнутри? Как они назывались? Все на свете имеет имя. Попутчики мне сказали: извините, вы бредите, какие рыбки? А один попутчик тихо сказал: он говорит про рыбок-голомянок, они голые, без чешуи, и прозрачные, они состоят из жира и костей, когда глядишь на такую рыбку, видно ее бедный скелет и видно ее сердце, как оно бьется.

И я все вспомнил. И я все понял. Мы все, у кого внутри развита чakra анахата, такие вот, без чешуи. Без защиты. Мы бескожие, и видно, как бьются наши сердца. Издалека видать. Видно все, что у нас внутри, как ни скрывайся. Люди пользуются этим. Люди беззастенчиво обманывают нас. Издеваются над нами, смеются. Убива-

ют нас: они нам завидуют, тому, что мы, прозрачные, ничего не боимся. Они хотели бы, чтобы таких, как мы, совсем не было на свете. Потому что мы говорим подлецу, что он подлец, говорим хитрецу, что он хитрец. Мы любим того, кто ненавидит нас, а это ему обиднее всего.

Поэтому если одна вера идет войной на другую, это всего лишь зависть: одна религия завидует другой, что та, другая, возвысилась над борьбой и войной. Лучшая война — это лететь над схваткой. Тебя, сидящего в позе лотоса, могут убить, но тебя никогда не убьют, потому что тебя никогда не догонят. Не достигнут. Ты выше досягаемости.

Поезд чухал, трепыхался, стучал и пыхтел, мы проехали дымные черные пригороды, и вот впереди показались дома столицы Бурятии, славного города Улан-Удэ. Я глядел во все глаза. Будда тоже путешествовал, он ходил по дорогам мира! Иисус тоже ходил! И Магомет ходил, да, ходил! А то и трясся в арбе, в утлой повозке. На перроне стояли встречающие меня. Вот он, толстый Будда с золотой серьгой в ухе! Вот она, старая девочка, маленькая собачка до старости щенок, и так же седые волосики в косички заплетены, торчат из-под полосатой вязаной шапки! А вот и он, дылда в черном пальто и красном шарфе, усы поседели, глаза еще больше сощурились, ну Сталин и Сталин живой, только не приземистый, а рослый! Я вышел на перрон с пионерским рюкзаком за плечами. Я съел все сухари. Буряты обступили меня и стали тискать. Минут десять они обнимали и тормозили меня. Потом повели, и я шел за ними послушно; я чувствовал себя тибетским яком, ведомым собаками на пастбище.

Сначала меня поили и кормили в подвале, похожем на мой. Все подвалы мира, где люди жуют нищую еду, верят в разных богов и создают искусство, похожи друг на друга. Старая девочка настряпала бурятские позы, это такие кисеты из теста с мясом внутри, варенные на пару. Прекрасно! Вкуснота! Я ел и наслаждался. Мы пили китайскую змеиную водку, да, скажу я вам, это крепко и противно, но хорошо забирает. Там, внутри, в бутылке, и правда плавала дохлая маленькая змейка. Ее яд придал водке жесткость и остроту. Я почувствовал себя сильным батыром и даже расправил сутулые плечи. Потом все оделись, подхватили вещички, я тоже, и снова пошли по холодным улицам. Куда? Вот остановка, и вот автобус, и мы садимся и едем. Когда в замерзшем, с белым мхом инея, автобусном окне я увидел китайские крыши с завитушками, я догадался. Мы приехали в святое место.

«Выходи, Андрей, Иволгинский дацан, приехали», — сказал усатый Сталин и крепче обмотал вокруг шеи кровавый шарф. Мы прошли по тропе через красивые ворота, приблизились к дацану и вошли. «Сегодня Цаган-Сар, Андрей, тебе повезло, сегодня Сагаалган, наш Новый год, восьмое февраля, ты сегодня сможешь увидеть святого нетленного хамбо-ламу Итигэлова», — сказала старая девочка, по фамилии Могзоева, а как девочку звали, забыл. Жирный веселый Будда снял шапку и обнажил веселую лысину. «Видишь, какой большой монастырь? — весело сказал он. — Здесь много храмов. Целых десять. Но тебе ведь хочется увидеть вечно живущего? Поэтому мы привели тебя сначала сюда. А потом будем есть борцок. В Цаган-Сар всегда едят борцок. И сладости. Ты любишь сладкое?»

Я смотрел на статуи Будд около золоченых стен. Красные колонны, иконы по стенам, вышитые золотыми нитями ковры, в ряд стоят накрытые к пиршеству столы. Я попал на праздник Будды? И сейчас Он сам выйдет ко мне из-за своей нефритовой статуи? Я вскинул глаза, и по зрачкам мне резануло яркое золото. «Золотой Будда Очирдар, — зашептала старая девочка Могзоева, — поклонись ему!» Я, без зазрения совести, встал на колени, по-русски троекратно перекрестился и по-индусски сложил руки на груди, как делал это в жизни тысячу раз, и сделал Очир-

дару намасте. На меня оглядывались. Подкатился настоятель в оранжевом плаще. Усатый Сталин кивнул на меня и тихо шепнул, вроде как извиняясь: «Иностранец!»

На помосте перед золотым Очирдаром горели светильники — так они горели и при Будде Шакьямуни; люди подходили и складывали туда дары, приношения, еду, драгоценности. Кому они их несли? Будде? Людям? А разве Будда и люди — не одно и то же? Разве на самом деле людей нет, и Будды нет, и меня уже нет, хотя я вот тут, в дацане, стою и мыслю? Я был всегда, и меня не было никогда. Все так просто. Я встал с колен. Девочка с седыми косичками поднялась на цыпочки: она хотела поближе заглянуть мне в глаза. «Тебе нравится тут?» — спросила она восторженно. Я не мог говорить от радости, только кивнул.

Все раскосые прихожане, как и я, складывали ладони на груди. Они шли по дацану по кругу, слева направо, по часовой стрелке. По солнцу, догадался я. Люди подходили к статуям Будды: медным, нефритовым, посеребренным, из оникса и яшмы, из металла и мягкого камня, подносили сложенные руки ко лбу, потом ко рту, потом к сердцу и тихо молились. Каждый о своем. Своими словами. Они молились о счастье.

Гудели трубы. Я оглядывался, ища источник звука. За расшитыми золотом покрывалами прятались трубачи; одна труба высунулась из-за покрывала, я испугался, какая она длинная. Монахи, в темно-вишневых и ярко-оранжевых одеяниях, подходили к Очирдару, кланялись ему и пели молебны. Время от времени кто-то ударял в медный гонг, и долгий звук тоскливо плыл по дацану. Потом мы вышли из дацана и куда-то побрели по хрусткому чистому снегу. Из-под земли и снегов вырос новый дворец. Мы вошли туда, усатый Сталин доверительно сказал бритому молодому монаху: «Мы пришли за благословением к драгоценному и неиссякаемому Хамбо-ламе». И добавил что-то по-бурятски. Юный монах поклонился нам и повел нас за собой. Мы вошли в зал с высоким потолком. Под стеклянным колпаком сидел, в торжественных одеждах, человек. Руки на коленях, немного ссутулился. Парчовая шапка, струится яркий шелк одежд. Глаза закрыты. Нос, губы, наморщен лоб; живое лицо. Это лицо тяжело, глубоко раздумывает или спит. Медитирует.

Я подошел поближе и увидел: весь Хамбо-лама, его плечи, руки, колени, усыпан снегом.

Это не снег, а соль, прошибла меня мысль. А может, все же снег и лед?

«Он уже два раза открывал глаза», — восхищенно шепнула седая девочка Могзоева. Шаг, еще шаг, еще шаг к Бессмертному. Я подумал тогда: а у христиан ведь тоже есть нетленные мощи, и они мироточат, и им поклоняются. Но мощи — это кости. Нет, и во плоти люди в склепах лежат! Смерть их не берет! Лежат и ждут всеобщего воскресения? А оно наступит только через всеобщий суд. Через Страшный суд.

То бишь через всемирную войну, так? Когда все, все будут, вопя от ужаса, гореть в огне?

«Подойди ближе», — тихо велел мне жирный Будда. Я шел к ламе Итигэлову, а он будто отдалялся от меня. Я шел и шел и все никак не мог его достичь. Я шел, и это все, что я мог сделать для себя. Я шел, и он светился вдали и был моим лекарством, и моей завистью, и моим прощением, а я все никак не мог до него дойти. Он был моей новостью о бессмертии, а новость эта была не нова, и кто мог поручиться, что это не просто законсервированный в соли и бrome несчастный человек, и он просто легко умер, погрузив себя в состояние самадхи? Я шел, и это была моя эвакуация из ужаснувшегося близкой войной мира, из мира, сотрясенного первыми ее взрывами, эвакуация из круга тьмы в круг света. Лама Итигэлов сидел в бункере, он целый год сидел в своем кедровом коробе, и раз в году его вынимали из короба и помещали под прозрачный колпак, чтобы люди могли прийти к нему,

а люди всё не могли. И я не мог, хотя, видите, шел. Ноги мои заплетались. По обе стороны от меня, со мной вместе шли невидимые военные, незримые солдаты и генералы, катились танки, взрывались снаряды, вздымали ракеты острые клювы. Неужели до сих пор вы ничего не поняли, люди? Неужели вы себя не узнали? И для вас только инструкция, только приказ, и больше ничего? И все то же самое ждет вас всех, идущие, ждет нас всех: взрыв, огонь, тени на стене, бункер, крики, раны, слезы, медленная тошнотворная смерть, без просветления и молитвы? Лама, ты замер. Замерз. Ты тоже выполнил приказ: ты приказал себе не жить, живя. Так могут немногие. Ты — смог. Смогу ли я дойти до тебя?

И тут что-то случилось со мной. С ламой Итигэловым. С дацаном, с его мраморными цветными колоннами. С нежным запахом кедрового дерева, он ласкал мне ноздри. Будто бы время пошло вспять. Что-то случилось и с этим местом, где я бесконечно шел к Хамбо-ламе и все никак не мог до него дойти. Мои буряты исчезли. Может, они были близко, тут, рядом, и просто спрятались. Зачем им было от меня прятаться? Что было вокруг, война или мир? Я не видел стен дацана и его статуй. Живой Будда смеялся за моей спиной, и это был я сам. Мне не надо было оборачиваться, чтобы увидеть себя.

Мне стало немного страшно. Так страшно бывает, когда тепловоз разгонится, и поезд несется, и ты понимаешь: его уже не остановить.

Ноги мои еще шевелились, еще шли. Глаза мертвых смотрели на меня из пахучего, хвойного тумана. Руки мертвых, прозрачные и бессильные, тянулись ко мне. Их, глаз и рук, было слишком много, чтобы мне заглянуть в них, обласкать их. Я внезапно приподнялся над гладкими плитами дацана, завис в воздухе, а ноги шли, ножницы ног шелкали, я перебирал ногами, скручивал ими пряжу минут, сбивал кислое молоко времен. Я шел вперед, а время, смеясь надо мной, шло назад, и вот настал миг, когда время остановилось.

Знаете, это ни с чем не сравнить. Я стал ламой Итигэловым. Я воскрес после ужасной войны, и я видел мой век лицом к лицу, мой непрожитый, страшный. Страшнее его не будет на земле. Огромная дикая война слишком рядом. Громадным плоским ликом глядит на нас Китай. Молодой звериный ислам рьяно рвется вперед, он хочет подчинить себе мир, потому что он молод и жесток, и его Новый халифат, что сделал ставку на смерть во имя Аллаха, будет сражаться до конца. Бешенствует и мечется умирающая Европа. Ее, старую курицу, дружно смеясь над нею, подрумяненной на огне, и над жареным бараном, в великий Курбан-байрам уже едят мусульмане. Щурит надменные глаза Корея: она маленькая, но у нее есть дальний большой враг. Мир накопил немало страшного товара; мы ходим меж торговых рядов и читаем вывески: «ВОЙНА», «УБИЙСТВО», «СМЕРТЬ».

Из мрака дацана появлялись целующие друг друга женщины, обнявшиеся мужчины. Содом и Гоморра сгорели, казненные Богом за разврат, а теперь такой разврат освящают в церквах. Во тьме вился дым из курильниц, а может, просто вечный дешевый табак, а может, пьянящая травка, древний опий, что добывают в горах и дорого продают, чтобы гибли люди. Продают смерть! Все продается и покупается. Времени нет, а люди даже его умудряются купить и продать. Обозначают то, чего нет, стальными кругляшками и длинными цветными бумажками. Хамбо-лама, ты видишь, близко последняя война! Что, ты что-то сказал? Ты шевельнулся? Ты открыл глаза?

Ты хочешь сказать, Хамбо-лама, что эта война, что дрожит и бьется рядом, под рукой, под ладонью, еще не последняя?

Каково это, сидеть век в самадхи? А может, это уже нирвана? Вдохни кедровый дух. Глубоко вдохни. Видишь, я вижу перед тобой в хвойном воздухе, как настоящий святой. Но я ведь не святой. Я обычный человек. Я и прав, и виноват. Я не



могу сделать ни шага вперед. А ты сидишь так спокойно. Так достойно. Ты вечный лотос. Ты лебедь. Ты лысый Будда, только без золотого крестика в большом ухе. Этим ухом ты слышишь, как тонко и длинно поет, стонет тибетская чаша бедной, медной пустой Земли.

...он медленно повернул голову. Ноздри его раздулись. Он открыл глаза, но не совсем, веки его были будто бы прижмурены, они тяжело нависли над глазами, он не мог их поднять и поглядеть открыто, он смотрел тяжело и устало, косил вбок невидимыми зрачками, веки без ресниц слегка дрожали, глазаплыли и уплывали, он, без сомнения, видел, он видел все и видел меня. Хамбо-лама, я услышал тебя! Ты сказал: это не последняя война. Но ведь страшная? Да, страшная. А что мы все тогда тут делаем, здесь и сейчас? Бедные, бессмысленные мы? Зачем мы тогда живем, если все мы скоро умрем?

...он разлеплял губы, и я с ужасом смотрел, как это происходит. Они, губы, у него крепко слиплись, намертво, и вдруг дернулись и поплыли, так же, как глаза, задрожали и силились раскрыться, то ли улыбнуться, то ли разрыдаться, и все никак не могли. Наконец верхняя, чуть синеватая опухшая губа отделилась от нижней, и оттуда вылетело хриплое дыхание; один выдох, а вдоха нет. Все нет и нет. Я не знал, что в самадхи сердце бьется один раз в несколько минут и так же редко происходят вдох и выдох. Вокруг нас никого из живых не было. Летали только бесплотные души; я сперва их боялся, а теперь уже не боялся. Бредил я? Или спал? Или такова была моя единственная настоящая медитация в далеком дацане? Мне это, в сущности, уже безразлично, ведь времени нет, и меня нет, и Хамбо-ламы нет, и войны нет, и мира нет, и ничего нет. Есть только «нет», и внутри этой радости, внутри седой соленой пустоты рассыпаны все звезды и слезы, все яшмы и топазы.

...он вдохнул. Я слышал легкий хрип, когда его легкие расправлялись. Легкие вдыхали соль и мороз. Кедровый, таежный аромат. Я превратился в слух. А может, я превратился в музыку и весь уже звучал — так тихо, неслышно, ведь подлинная музыка беззвучна, ее не слышать, она внутри, а не снаружи. Я слышал, как билось мое сердце, и в такт с его ударами я слышал слова. Их лепили синюшные, замерзшие губы Бессмертного. Ему холодно. Его никто не согреет.

... я слышал эти слова. Я запоминал их. Я знал: они потом придут ко мне. Я их повторю. Я скажу их еще много, много раз. И вам скажу, да, скажу. А зачем мне от вас их таить? Я знаю, что я шкатулка, я хранитель многих тайн, и я не выпускаю их наружу до поры. Но приходит пора, и они сами вылетают из меня, ведь они вольные птицы.

Я знал: я скажу эти слова прежде всего сам себе, и совсем скоро, но не здесь. Здесь их за меня говорит Бессмертный. И я гляжусь в него, как в зеркало. Бессмертного не спрячешь под подушку. Не отвернешь прозрачным стеклом к стене. Это лицо настоящее. Оно по-настоящему опухло. Эти щеки настоящие. Они обвисли, мотаются, бульдожьи брылы. И волосы тоже настоящие; они растут. Он человек, и он Бог. Православные священники сказали бы: нет Бога, кроме Христа! А Баттал усмехнулся бы: врите вы все, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его! А Будда... Что Будда? Он улыбнулся бы над ними всеми. Им всем. Вам всем.

Вот я и улыбался тогда. И улыбаюсь сейчас. А что мне еще остается делать, если я знаю все, что будет?

...все зазвучало и зашелестело, забилося вокруг теплой кровью. Я упал из воздуха на пол дацана, колени мои подломились, и я рухнул, как взорванный дом. И посыпался весь, обратился в руины. Так застыл. Затылком я видел: надо мной склонились мои буряты. Усатый Сталин безжалостно тряс меня за шкуру. А старая девочка нежно погладила меня по голому затылку. Резинка на моем конском хвосте лопнула, и седые волосы рассыпались по плечам. Я ничего не видел, глаза мои косили иплыли, уплывали вбок, как две слепые лодки, и я сказать ничего не мог, потому что мои синие опухшие, как у пьяницы, губы сильно замерзли и не могли шевелиться. Я чувствовал, как мне просовывают руки под мышки, силятся поднять, вот с трудом подняли и куда-то волокут. И ноги мои, пятки мои чертят по каменным плитам узоры, будто меня тащат по снегу, и я пятками процарапываю в нем глубокие следы.

Потом я почувствовал воздух и жадно хватанул его — губами, зубами. С шумом втянул его носом, и нос обожгло морозом. Резкий свет бил мне в слепое лицо, но я не открывал глаз. Боялся: открою глаза, а вокруг не свет, а тьма. Или буду пытаться их открыть и вообще не открою. «Положи его на бок, на бок!» — верещал надо мной тонкий голос. Мужчина? Женщина? Как отличить, если ты не видишь? И зачем различать? Меня положили на снег. Я лежал на снегу на боку, в позе младенца в утробе матери. Живой голос, этого достаточно. И я жив, если слышу его.

И я жив. И лама Итигэлов жив. И все убитые во всех войнах живы. И скелеты под землей живы. И снег жив. И желтые жирные, голые рыбки в синем озере живы. Все живы. Все есть, и всех нет. Жизни нет. Смерти нет. Если она есть, нас нет. Но тише. Тише. Еще рано об этом говорить. Я завтра вам об этом скажу. И себе тоже.

И вот наступило это завтра.

Весь день я лежал на дырявой раскладушке в мастерской усатого Сталина, он обвязал мне горло своим красным шарфом: все думали, я простудился, у меня поднялась температура, и седая девочка поила меня китайским люй-ча, с бараньим жиром и молоком, добавляя в чай траву верблюжий хвост, и кормила с золоченой ложечки тягучим, мрачно-лиловым вареньем из жимолости, у меня в нем, густом и сладком, вязли зубы, глаза и дыхание.

Мои новые буряты повезли меня в горы. Они так и сказали: лама Итигэлов велел повезти тебя в горы. Там ты просветлишься окончательно. Готовься.

Мы тряслись в автобусе, с утра ударил веселый мороз, солнечный синий снег расчерчивали густые и сладкие, лиловые тени, мы молчали, было хорошо молчать, мы молчали и ехали долго, всю жизнь, и наконец мы приехали в горы.

Я оглядывался. Дивное место. Молчание такое, что слышно, как на шапку садятся снежинки. Что-то потрескивало в синем воздухе: искры? Иней? Плоская крыша дальнего монастыря отражала небесный свет. Сугробы были слеплены из света, и далекие вершины тоже. Острые сколы гор рубили мне живое сердце, так хозяйка рубит тляпкой мясо на разделочной доске, чтобы делать вкусные позы. Руки сами потянулись к пуговице воротника. Куртка полетела на снег. За ней шапка. За шапкой свитер. Я раздевался, а мои буряты смотрели на меня вот уж точно как на придурка. И тут вдруг жирный Будда понял. Он поднял палец вверх. «Тише! Он будет медитировать голым! Как древние монахи! А выдержит ли он? Слушай, друг, ты обладаешь внутренним теплом тумо, да?» Я молчал. На снег полетели брюки и рубаха. Я остался в плавках под ясным синим небом. Стоял босой на чистом снегу. Ветер пел. Лед звенел, как свадебный хрусталь. Я медленно сел на снег в позу лотоса, положил руки на колени, выпрямил алмазный столб позвоночника. Надо было закрыть глаза, но я медлил. Я смотрел на живой мир передо мной.

Далеко в горах пчелиными сотами приклеился к скалам старый монастырь. Вилась дорога. На плоской крыше ближнего дацана ветер трепал разноцветные флажки, привязанные к невидимой леске. Яркие флажки бились и колыхались, языки огня. Я смотрел на лоскуты, на жалкие тряпки. Это не тряпки. Это мы. Вот так же мы бьемся, мечемся, привязанные к небу незримой серебряной нитью. И однажды ветер срывает нас, и мы летим.

Буряты отошли от меня. Они стояли поодаль. Усатый Сталин, следуя моему примеру, сел на снег. Он не стал снимать овечий тулуп.

Сидел один живой лотос, голый и беззащитный. Сидел другой живой лотос, обернутый в шкуру зверя. Крестик у меня на груди жег мне кожу и кость. Я закрыл глаза и увидел грядущую гибель мира.

И я приветствовал ее.

Спросите, а где же друг мой Ефим, великий революционер?

И где же друг мой Баттал, великий воин Аллаха?

Немного я о них знаю. Грустно это все. Я позвонил приятелю Баттала, задал вопрос, где же сейчас Баттал, получил ответ: в Сирии — и сразу все понял. Джихад не отпустил Баттала. Баттал думал: это он занимается джихадом, — а вышло так, что это джихад занялся им и полностью подчинил его себе. Может, это так и надо в жизни, всецело подчиняться чему-то, кому-то. Я никогда не понимал мужей-подкаблучников, не понимал и мужей-деспотов, и жен-Салтычих. Покорность! Делу, вере, идее, человеку! Наверное, это счастье, смирение. Я всегда был смиренным. Но если надо было, я, сами видите, бил под дых. И бил насмерть.

Плохо это, я знаю. Я уже винулся в этом перед Господом Иисусом, и перед Серафимушкой, и перед Матушкой, и перед Кришной, вспоминая незабвенную мою кришнаитку Лену, и перед Буддой — все говорили, я на Будду похож, у меня по спине бегут длинные волосы, как у него, и такие же, как у него, большие уши.

А Ефим, спросил я того парня, приятеля Баттала, вы знаете такого Ефима, вы помните его, ведь они с Батталом очень дружили? Да, помню, знаю, сказал мне хриплый, чуть пьяный голос в трубке, плохи его дела, брат, он в больнице, его из Алеппо перевезли в Нижний, на самолете летели с капельницами и уколами, с кислородными, блин, подушками, ему вообще хана, он обгорел весь и ослеп, на оба глаза, и врачи говорят, зрение не восстановить, каюк ему, он в больничке хотел на себя руки наложить, простыню разорвал на кусочки и сплел себе петлю, себе на шею накинуд и чуть не удавился, еле успели вытащить.

Я слушал спокойно. Мое сердце билось ровно и размеренно. Покой, нас всех ждет покой. Ефима тоже. Но жизнь свою придумал не ты. Ее тебе дали. Вручили. Ты не просил, но тебе ее всучили насильно. Против твоей воли. И когда ты осознал, что это только твоя жизнь и больше ничья, тебе больно, горько, и ты вяжешь себе петлю, и ты подбегаешь к окну, чтобы распахнуть его и кинуться вниз.

Иногда тебе удастся уйти. Иногда тебя спасают. Для чего-то важного спасают, чего ты не ждешь и о чем еще не знаешь. А узнаешь лишь тогда, когда это происходит.

Тепленький, под винным парами, парень, плетя языком кренделя, говорил мне о моем друге, и я слишком хорошо представлял, что там происходило, в больнице этой. Все видел.

Третий мой безжалостный Глаз видел все.

...отец его, сгорбившись, плакал над ним, страшно рыдал, закрыв глаза ладонью, а Ефим, с перевязанным горлом, щупал его слепыми руками и хриплым шепотом говорил, он так кричал шепотом: отец! отец?! отец! ты это?! это ты! я чувствую твой за-

пах! так ты что, выжил?! ты что, выжил, ты мне скажи? я тебя, выходит, не убил? ты живой? живой?! — и отец его сквозь рыдания бормотал: да, Фимка, да, я живой, и зачем я только остался жить, вот тебя слепого вижу, и зачем ты поперся, дурень, на ту войну, а потом на другую, и чего вам всем, молодые дураки, дома не сидится, дом вы свой не обихаживаете, не строите, а только все разрушаете и разрушаете, дураки, вы сволочи, вы все ломаете, взрываете, и креста на вас нет, и остановки вам нет, вы оголтело бежите вперед, вам бы только убивать, вам смерти надо, смерти, вы потеряли вкус к жизни, вы что, дураки, жить не хотите, ну да, вам ваша жизнь и не нужна, вы с ней с радостью проститесь, поэтому вы хотите все взорвать, землю взорвать и сжечь, и чтобы люди горели, как дрова, и чтобы все кончилось, чтобы дети больше не рождались, чтобы все сдохли, и дети и старики, вас от всего тошнит, вам ничего не нужно, вы обреченные, вы конченные, но Фимка, дурак, я же тебя люблю, дурак, я же тебя родил, дурак ты совсем, я же тебя вырастил, ты же у меня один, дурачок мой, бедный мой! А ты жить не хочешь! Не хочешь жить! Но видишь, я-то живу! Живу! И буду жить, как бы мне худо ни было! Как бы меня ни выкручивала жизнь, как поганую тряпку! А ты! Эх, ты! Господи! Глаз у тебя нет! Но ты же чувствуешь меня?! Ты слышишь меня? Фимка! Фимка! Ты слышишь меня?! Слышишь?! Меня... Меня...

И опять и опять старый человек, небритый, колкая щетина, мокрое лицо, руки трясутся, слезы текут непрерывно, все текут и текут, склонялся над слепым парнем, лежащим на больничной койке, на панцирной сетке, а у парня вместо лица бугры и шрамы, а у парня вместо рук сожженные коряги, а парень седой, и у него все губы искусаны. И вся уродливая, в красных рубцах, маска на месте лица ногтями исцарапана. И кровь сочится.

Я видел: медсестра спешит к его койке со шприцем в поднятой руке. Ватка, игла. Резкий, хвойный запах спирта. Что за дар, все видеть и все ощущать? Третий мой Глаз, закройся. Я хочу от тебя отдохнуть.

Но все равно видел зрячий сторож, бессонный Третий Глаз, как бездвижно лежит слепой седой парень на больничной койке и как его отец страшно, взхлеб, плачет над ним.

Я нашел эту больницу. Я пришел к нему в палату. Я думал, я не смогу на него посмотреть, на обожженного и слепого, и все-таки я посмотрел. Смотрел, и видел, и говорил с ним. И он говорил со мной.

Он говорил ровно и тягуче, как автомат. Так говорят стальные роботы.

Он вынес из огня женщину, она сама бросилась в огонь. Он вытащил ее из пламени, она вся обгорела. В это время лопнули и вытекли его глаза. Он, сгорающий живо, стоял с женщиной на руках и думал: она труп или нет? А он, он уже труп или нет? Потом он упал. Он сам горел и катался по земле, и его забрасывали одеждой и брезентом, тушили пламя. Кожа у него на лице вздулась. Он пошарил руками, нашел тело женщины, встал перед ней на колени и трясся. Ему теперь нечем было плакать, глаз не было. Она ему сказала, что она его мать. Он ощупывал ее незрячими руками и кричал. Потом умолк. За его спиной бесилось пламя. Красный огонь и черный дым. Это горел его ислам. Их ислам. Ислам Ефима. Ислам Баттала. Их Аллах несгораемый, вечный, горел. Их нефть. И это мы, русские, сбросили бомбы на их восточную нефть. На их богатство, веру, наживу, на их ужас. На их будущее, начиненное жирными пулями. Русские парни, куда вы поперлись? Говорите, это был ваш свободный выбор? Кричите, что каждый человек свободен? Охрипнете кричать! Я свободен, словно мертвый соловей! Я свободен, от себя и от людей! Его мать, какая мать? Бред сумасшедшего. Я сам сумасшедший, согласен, но не до такой же степе-

ни. Его мать, это ж надо такое придумать! Там всюду гудел огонь, он опалил ему мозги. И он ополоумел. Немудрено.

Милый мой Юрочка! Дорогой, единственный мой сынок!

Мы, кто остался в живых, живем теперь внутри ужаса. Мы живем внутри своего собственного преступления: нас никто за руку не схватил, чтобы остановить, нас не свалили наземь хорошим хуком или апперкотом. А хорошо бы. Мы подумали: преступление можно совершить безнаказанно. Вся Земля, подумаешь! Поджечь всю Землю — вот это грандиозный фейерверк! Последний, да, но зато какой впечатляющий!

Кого мы этим всемирным пожаром впечатлили? Какую галактику, звезду? Со звезд не видно, как мы горели; звезды слишком от нас далеки. Какой путь нам сейчас надо пройти? Сыночек, мы, живые, должны сейчас понять: мы будем живы еще какое-то время. Времени, конечно, нет, и мы сейчас потеряли инструменты для его измерения. У нас ни весов, ни сантиметра, ни гирек, ни мензурок, ни логарифмических линеек, ни секундомера, ни стрелок, ни шестеренок, ни гномона, ни песочных часов, ни клепсидры, ничего. Но мы, все живые, понимаем: нет времени, да, но есть мы, и от себя не убежишь. И мы, пока живы, должны идти.

Идти — это не только выходить на улицу из подвала. Может, теперь на нее и не надо уже выходить. Улица — это смерть. Невидимая твоя гибель. Идти можно и внутри себя. Этот внутренний поход, куда он направлен? От преступления к наказанию? Нет, о нет. Кого наказывать? И кто будет наказывать? Какой судья? Какой палач? От ужаса человеческого, от жути человеческой куда мы пойдем? Да разве не к святому? Разве не к Богу мы пойдем?

В молчании я слушаю молчание. Я слушаю тишину. Она всеобщая, замогильная. Я уже умер, но я все равно все слышу. И в тишине я слышу голос той женщины, хромоножки, я так и не узнал ее имени. Я слышу, как ее хриплый пьяный голос сначала шепчет, потом поднимается до крика, до визга: «Да Бога ведь нет... Нет! Нет! Ну, попробуй убеди меня в том, что Он есть! Все было бы по-другому, если бы Он и правда был!»

Я молчу. Мне нечего ей возразить. Я давно не спорю с людьми. Зачем спорить с мертвыми? Это бесполезно. За них можно только молиться.

Преступление — ведь это край. Назад от преступления двигаться нельзя. Это самое дно, и ты лежишь на дне. Во тьме. Ты сам стал тьмой. Ты убил всех и превратился во тьму. Ушел во тьму, утонул в ней. Ты ослеп от тьмы, и ноги твои нашаривают черное дно, и руки твои ползают, пытаются ухватиться за берег. Мокрая глина, камни осыпаются под твоими ладонями. Ты уже утонул. Ты должен вдохнуть воду, чтобы перестать жить. Быть. А ты боишься. Ты еще веришь в то, что ты живой. Все еще веришь.

Вот ты убил, сын мой. Ты совершил преступление. Ты убил одного человека. Снял с него золотые часы. Надел. И пошел по ночной улице. И стал смотреть, как движутся по циферблату стрелки. Время идет, думал ты, и время похоронит то, что я сделал. Все оказалось не так. Наоборот. Ты похоронил свое время и себя в нем. Время перестало быть, и ты прекратился вместе с ним.

Будда учит: людей на самом деле нет, и мира нет, и ничего нет; так зачем крушаться, плакать над гибелью мира? Однако мы, живые, плачем. А слезы священны. Тот, кто может плакать, уже разбудил святое в себе. Это первый шаг к святому. Ты плачешь, и ты уже медитируешь. И ты уже молишься. И тебя, это тебя одного уже обнимает Матушка за плечо своей нежной, лилейной рукой.

Сынок, и меня сейчас Она обнимает, в этом подвале, из него я уже не выйду. Не выберусь под солнце, солнца ведь нет. Все разрушилось, но восстанет ли снова? Истинны все наши боги или ложны? Ведь они нас не спасли.

И, может, правильно это.

Я раньше, до Вселенского Пожара, думал: что лучше в пору Страшного суда, во время, стоящее рядом с Судным днем, — рожать или умирать? Женщина рождает ребенка и кормит грудью, но это все хорошо, когда мир. А когда война, несчастнее всего дети. Ты, взрослый дурак, ты развязал войну, ты в ней сражаешься и убиваешь, так сдохни, глупый воин, помрешь в бою, никто и не вспомнит о тебе. А каждый кричащий от боли младенец? Кричащий от ужаса отрок, его же тело — сплошная рана? Как с ними быть? Один их вид вынимает из тебя душу и режет ее на куски. А если вся земля полна такими вот орущими детьми? Ты их родил! Ты их убил! Прощения тебе нет.

Какой волк, зубастый призрачный хищник, подточил своими жадными, голыми острыми зубами соборный разум целого мира, целостного прежде? Волку важно перегрызть чужое горло и разгрызть кости. Он так терзает добычу. Он хочет жить и есть. Ну хорошо, вот он, волк, нас сожрал. Стоит, облизывается. Жрать больше нечего. Мы все мертвы. Дичь мертва. Ешь не хочу! Да он не хочет есть. Он обожрался. Он стоит и смотрит лениво, маленькие желтые глазки тускнеют и гаснут. Он хочет спать. Он вытягивает вперед лапы и долго, страшно зевает. И его пасть дышит вонью и сытостью.

Он сыт. Ненадолго. На время.

Завтра он проголодается. А еды больше нет.

Есть мертвые камни. Есть обожженные скалы. И больше ничего.

Знаешь, сынок, незадолго до последней войны я был в горах Забайкалья. Там я встретил Будду. Это была незабываемая встреча. Думаю, он меня тоже запомнил. Будды, знаешь, они время от времени приходят на землю; видимо, я удачно подловил его, мне повезло. Я сидел голый на снегу, я так медитировал. Снег тихо искрился, солнце заливало меня желтым молоком. Я не чувствовал холода. Сидел на снегу в одних плавках, подо мной снег слегка подтаял. Я работал с внутренним теплом, тибетские монахи называют его тумо. Тумо ходило во мне вниз-вверх, поджигало все мои чакры. По блестящему, алмазному снегу человек издали медленно шел ко мне. Он шел, едва ступая, я видел, он даже поднимался над снежной тропой, парил в синем воздухе. Сам он весь светился, как кус золота. У него были большие уши, лысая голая голова, из мочек свисали тяжелые серьги, он шел по снегу босиком и тихо улыбался. Он шел ко мне и все больше замедлял шаг. Настал момент, когда он не шел, а застыл, и все-таки, стоя недвижно, он ко мне приближался. Я сам застыл, не шевелил ни пальцем, ни губой, даже ноздри не раздувал: не дышал. Задержал дыхание, выдохнул и не вдыхал больше. Слышал, как бьется сердце. Оно раздулось и тяжело било мне в ребра, как колокол. Я слышал его дальний, под синим небом, тяжкий гул.

Человек, что шел ко мне по снегу, не двигаясь, приблизился. Стоял рядом. Я понял, что это не человек. Я узнал Будду. Слишком гладкое лицо. Слишком блестящие, будто жиром намазанные, скулы. Глаза чуть прищурены, и свет из них бьет, идет сквозь мои ребра навывлет, вылетает из моей спины и летит далеко. Я стою, пронзенный светом, как копьями или стрелами. Мне не больно. Я счастлив. Я знаю, что сейчас надо спросить Будду о самом главном. Но я вежлив. Я не хочу говорить первым. Я молчу и не дышу.

И тогда он поднимает ко мне свое широкое, как бурятская сковорода, пылающее золотом, солнечное лицо. Лицо его совсем рядом с моим лицом, его глаза напротив моих. Я смотрюсь в гладкое зеркало. Я вижу: это мое лицо. Это я сам.

А разве спрашивают самого себя о разных разностях? Ты же сам все про себя знаешь. Ты знаешь, что ты думаешь, что ты сделаешь сегодня и завтра.

Значит, все равно, кто из вас первый разомкнет губы? Ты или он?

И я сказал ему, сынок: «Будет ли нам наказание за великое наше преступление?»

И сам себе я ответил: «Молитва о прощении — вот главное наказание. Ежедневная, ежечасная молитва, ежеминутная, всегдашняя. Ты должен собирать рассыпанное. Молиться за всех, кто потерялся, кто сгнил под забором и канул во

тзму. Ты соберешь под крыло и простишь всех грешников, потому что грешники больше всего страдают, муки их в тысячу раз сильнее мучений праведников. Мир есть страдание, так молись за судьбу мира! Пой о священном! Пой о святом! Над тобой будут смеяться. Это участь всех молельщиков. Судьба всех святых».

«Господь Будда, — сказал я ему, — царевич Гаутама, великий отшельник Шакьямуни, светоносный Сиддхартха, бессмертный Татхагата, вот ты говоришь мне о святом! Но тысячи, миллионы людей над святым смеялись. Хохотали. Ржали как кони! Смеялись над богами, кричали, что все это старинная выдумка, а мир идет вперед, и богов давно пора выбросить на свалку! А другие миллионы людей вставали под замена Бога своего. И дрались, безумно и дико дрались за своего Бога; за то, чтобы Он, их Бог, всех других богов победил, и все страны и народы встали на колени и преклонились перед Ним одним. И каждый кричал: мой Бог силен! И все кричали с разных сторон: нет, мой! нет, мой! нет, мой! Где же тут святое? Если каждый каждому норовит в глотку вцепиться? Человек человеку, получается, и правда волк? Волк самый настоящий? Хищный, дикий? И любой Бог, если его обнять, охватить этими дикими людскими криками, обращается в волка, и за волком бежит человечья стая, и щелкает зубами, и охотится, и преследует чужака, а догнав, на колючем снегу в клочья растерзывает его? Ты все это видишь, великий Будда! Где же тут правда? Где истина?»

Я задал самому себе этот вопрос, и я, Будда, долго молчал.

Сам перед собою молча стоял я, и внутреннее тепло тумо горячим перламутром перетекало во мне. И зеркало снегов напротив меня дрогнуло, и Будда, я, ответил так сам себе:

«Любой преступник страдалец. Любая казнь бессмысленна, если за ней не стоит завтрашний день. Все, кто стоит на обрыве, сейчас рухнут вниз; и за их спинами вздымается громадным цунами великий океан; он захлестнет Тибет, затопит Гималаи, белая пена взметнется и достигнет звезд. Мир может погибнуть не только от пожара, разожженного человеком. Великий космос тоже жесток. Он жесточе человека. Страшнее. Но ты живешь. Здесь и сейчас. И пока ты живешь, помни о святом. О Свете. Свет! Вот ты стоишь в круге Света. Так и стой там! Не выходи из него! Стой там даже тогда, когда все вспыхнет и сторит вокруг тебя. Стой и молись. Стой и люби. Ты не любишь. Ты есть любовь. Ты сам».

Я внезапно повторил эти слова Будды на старинном церковном языке: «Аз есмь любви», — и я не помню, кто так говорил, кажется, какой-то стародавний святой, его хотели убить сарацины, ну, значит, арабы, сжечь хотели или отрубить ему голову, не знаю, а может, сварить в кипящем масле, все равно, и вот его привели к владыке сарацинов, поставили его перед троном, а он смотрит им всем в кроважные рожи и смиренно говорит, как поет: «Я есть любовь». Я сам любовь, вот как! И кто же, если я сам любовь, сможет меня когда-нибудь убить? Уничтожить?

«Значит, любовь бессмертна?» — спросил я Будду.

И знаешь, что он ответил мне, сынок?

Что я сам себе ответил, несчастный, голый сумасшедший человек, сидящий, скрючив ноги, на чужом, дальнем бурятском снегу?

«Смерти нет. Бессмертия нет. Есть только Бог, Он везде».

Золотое зеркало лица Будды качнулось, улыбка накренилась, стала падать и разбилась на тысячу лучей.

Сынок, милый мой мальчик, разбился свет. Разбился мир, его уже не собрать. Но ты веруй. Ты верь в то, что мы встретимся. Ты понимаешь, ведь ты — это я. Значит, мы уже встретились. Я пишу тебе это мысленное письмо, ведь это ты пишешь мне. Это уже неважно, кто кому пишет. Все перетекает друг в друга жидким перламутром, горячим талым жемчугом, великим огнем.

Не бойся, не плачь. Дай я прижму тебя к себе. Ты ведь мой маленький, да? Ты мой ребенок, любимый мой сынок. Дай я спою тебе песенку, старую колыбельную. Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай. Придет серенький волчок, тебя схва-

тит за бочок. И утащит во лесок... под ракитовый кусток... Спи-усни, спи-усни... угомон тебя возьми...

Если ты думаешь, что я сошел с ума, это напрасно. Я в здоровом уме и твердой памяти.

Просто, может, я последний человек на земле. И поэтому я делаю то, что считаю нужным.

Я пою тебе колыбельную, и это сейчас нужнее всего. Нужнее хлеба, воды и жизни.

Как я сюда попал, в Иерусалим, даже сейчас не могу понять. Все сошлось как-то четко и враз, все звезды. Ну да я же такой, сам Серафимушка мне брат, а Матушка Господа мне матушка, и это я без зазнайства говорю, а просто правду говорю. Правду говорить легко и приятно, кто-то сказал, я где-то услышал это выражение.

Родя Волокушин появился, вырос как гриб из-под земли, мотается у меня на пороге: «Андрюха, два уха! Что киснешь тут, дитя подземелья! Я спонсора тебе нашел, он твои картины хочет купить, я ему фотографии показал, он говорит, это духовная живопись! И сам чувак такой, знаешь, духовный! От тебя недалеко ушел! По святым местам шастает, в святых источниках купается! И знаешь, что он мне еще сказал? Что хочет тебе сделать сюрприз! Какой-то, елки зеленые, сюрприз! И вроде сейчас не новый год, а, Андрюха?! Не время вроде для подарков?!»

Пришел этот богатый человек. Спустился ко мне в подвал, хромая. Да, он хромотал, как та моя пьяная, спасенная мною хромоножка. Только этот сильно хромотал, на одну ногу крепко припадал, да еще и волок ее за собой. Я постеснялся его спросить, что с ним; родился он таким или покалечился; мне потом Родька сказал, он в авиакатастрофу попал, самолет падал на деревья, на лес, многие погибли, единицы остались в живых, вот он остался. Самолет развалился на куски. Мужик этот вцепился в ель и сидел на ветке, над тайгой это было, а потом устал, измучился, и свалился на землю, и сломал ногу. Его чудом не съели волки. И чудом нашли спасатели. Все на этой земле кого-то спасают. Один топит другого, убивает, а третий его спасает. Вот вся наша жизнь.

Все наше чудо.

Богатый хромец надменно ткнул пальцем в мои холсты: «Вот этот мне! Этот! И этот!» Чуть не сказал: «Заверните!» И выбрал же, черт, «Безмолвную», «Ангела» и «Матушку», самые дорогие моему сердцу работы. Он стоял с вытянутым указующим перстом, а я спросил свое старое сердце: сердце, ты не будешь скучать по этим холстам? Не будешь тосковать? По портрету кришнаитки Лены, по Матери Господа моего, по золотому ангелу моему хранителю? И чакра анахата так отвечала мне: никогда не тоскуй, никогда не страдай. Все уплывает, уплывет и это. И сам ты уплывешь по водам времени в легкой лодке навстречу любви. Люби и отдавай все свое с легкостью. Я улыбнулся богатому хромому человеку и сказал ему: «Денег не надо».

Он очень удивился. Просто опешил, молча стоял, как столб. «Как это не надо?» — растерянно спросил он. Он, наверное, подумал: я полный придурок. Живу в нищем подвале, глодаю сухую корку, и денег не надо мне? Что-то тут не так. «Так, не надо, и все», — развел я руками. «Нет, вы возьмете деньги! Обязательно! Иначе я уйду и больше не приду!» Кажется, он всерьез разобиделся. Деньги — ведь это их, богатеев, родной язык, они все говорят на языке денег. А я этого языка не знаю. Мы с ним как два иностранца. Стоим друг перед другом и объясняемся жестами. И он передо мной пальцы веером разводит, а я ему кланяюсь, сложив руки на груди. Мы две планеты. И никогда мы не столкнемся в ночном черном небе.

«Ну раз вы денег не берете, — выпятив губу, говорит он мне, — тогда я вам делаю подарок. Вы, — говорит, — духовный человек, и я тоже духовный. Повысьте



свою духовность. Вот вам билет в Иерусалим, на явление Благодатного Огня в храме Гроба Господня, иначе Воскресения. Вы никогда не были в Иерусалиме на Пасху? Вот, значит, побываете». И вынимает из кармана билет на самолет, и мне сует. И я беру, а что мне еще остается делать?

Родька Волокушин помог мне перевязать крест-накрест картины, чтобы удобнее было в машину грузить. Машина у хромого богатея отличная, «Лексус», такой мощный джип. Никогда уж мне на такой машине не покатаюсь! Да и если бы я вдруг непомерно разбогател и купил ее, как мне, старому грибу, сдавать на права? Зрения уже нет совсем. Слепну, и даже яркие краски не спасают. Перестая видеть мелкие детали. Зато Третий Глаз работает вовсю. Вижу много чего. Да не каждому говорю. Молчать тоже надо уметь.

Погрузили мы мои работы, уехали они навсегда, вернулся я в подвал, а там под чайником сверток лежит. Разворачиваю — доллары. Целая пачка толстая. Я их впервые увидел так близко. Волокушин ржет. «Что, испугался?! Ну все, теперь ты до конца жизни обеспечен, старик! Живи и в ус не дуй!» Я протянул пачку денег Родьке. «Может, тебе они нужнее, чем мне?»

Родя повертел пальцем у виска, кинул пачку на мой грязный стол, поближе к горячему чайнику и оплившей свече, и убежал сломя голову. Бежал и хохотал. Надо мной.

Я доллары эти все отдал Софочке и внукам. Себе малость оставил: на пропитание и на курево. И на кофе.

Кофе в моем возрасте пить много нельзя и курить много нельзя: мне сказали, инфаркт будет. Сосуды слабые уже. А я думаю себе: ну, пока меня не пристукнуло, еще посмакую кофейку, еще покурю. Подымлю и почмокаю. Слаб человек, одной ногой в могиле, а все хочет наслаждаться, дрянь такая.

И вот я здесь, в Иерусалиме, и стою в храме Гроба Господня. Сегодня Страстная суббота. А завтра Воскресение Господне. Пасха. Народ в храм набивается, все прибывает. Сюда трудно попасть, вход по особым билетам. У меня такой билет с собой имелся, мне хромец его дал, вместе с самолетным.

Люди входят. Люди втекают. Толпятся, охают, вздыхают. Кто-то забрался на плечи друзей, это эфиопы, а может, арабы, у них лица черные и потные. Мужики сидят на шеях других мужиков, кричат и бьют в бубны. Цирк! Люди встают все плотнее, и все жарче во храме. Мне тоже жарко. Голова кружится. Мне бы пора пить таблетки и с собой их носить; я слишком беспечно к себе отношусь. Пусть будет все, как Бог решит! Ведь Он меня с небес видит. И теперь видит. Мою немощь, мою болезнь и слабость. И силу мою видит.

Странные голоса, толкотня, смутное пение, темные фрески по стенам. А может, это ожившие фигуры тех, кого давно на свете нет? Голоса звучат. Я слышу голоса. Темное, дальнее пение. Идут темные печальные монахи, поют о том, как Иисус спускается в ад. Смелость надо иметь, чтобы сойти в ад! И я себя спрашиваю: а ты смог бы? Ты бы — отважился?

Важный человек в простой рубахе движется сквозь толпу. Толпа расступается. Люди жмутся друг к другу, как дети. Прижимаются друг ко другу локтями, животами. Я слышу, кто-то рядом говорит по-русски: «Это патриарх Иерусалимский, патриарх, глядите! Он в одном полотняном подряснике!» Я понимаю, почему он в одном подряснике. Это чтобы все видели, что у него с собою нет ни спичек, ни зажигалок, ни кремня и огнива, ни тряпки, облитой бензином. Он не может зажечь Огонь. Человек не может зажечь Огонь. Только Бог.

А человек, ссутулившись, смиренно входит в маленькую кувуклию, в каменный тесный гроб, чтобы там, внутри, в кромешной тьме, умереть — перед явлением Света: перед Воскресением.

Меня теснили ближе к кувуклии. Внезапно погас свет. Мы все, паломники, модельщики, оказались в густой и страшной тьме.

Страх, настоящий страх. Это страх перед рождением. И перед гибелью. Мне сказали: если Огонь не сойдет, Землю ждет скорая гибель, и все в храме тоже погибнут. Сердце мое стукнуло раз, другой и перестало стучать. Как у ламы Итигэлова. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Господи, взмолился я, я так грешен перед Тобой! Мой грех может перевесить на чашах Твоих весов. Прошу, прости мне мой грех! Я лукавил перед Тобой, я негодовал и насмехался, я ругал ближнего и обманывал себя. Прости мне, если можешь! Но Ты же все можешь!

Густая тьма пахла имбирем, корицей и кедровой хвоей, немного лимонной цедрой, немного розовым маслом. Она пахла Востоком, Иисус ведь жил на Востоке, он, Бог, в бытность Свою человеком сполна вкусил Восток, его пасхальных ягнят и его пресные лепешки, его танцы живота и его песчаные бури. Он раскусил Восток, как сладость, как спелую смокву. Тьма, и очень страшно. Это ли страх смерти? Да ведь в эти минуты, здесь и сейчас, мы все уже умерли; чего же еще страшиться?

Да, вот так там и будет, по ту сторону жизни, думал я тогда, стоя в толпе, стиснутый людьми, в тепле их дыханий и задыханий, в потустороннем поту их рук, шей и лбов. Мое лицо тоже было все мокро. Плакал ли я? Помню, что молился. Хотел вытереть с лица пот и не мог — руки мои были с обеих сторон зажаты чужими телами. Чужими? Родными! Разве все мы тут не были любимые, бедные дети Божьи?

Тьма. Медленно, раз в минуту, бьется сердце. Я не хочу считать его удары. Вокруг меня, за спиной и впереди молчат и дышат люди. Они ждут. Мы все ждем. У всех шевелятся губы. Все шепчут. Все молятся. Молюсь и я. Что значит моя крохотная молитва перед огромной, во весь храм величиной, во всю Землю величиной, всеобщей молитвой всех людей? Всех, кто верует и любит?

Единое во множественном и множественное в едином. Из таких малых молитв складывается общая, святейшая. Складывается мольба о спасении. Не сегодня! Не завтра! Боже, пожалуйста, отодвинь от нас гибель! Пронеси мимо нас чашу сию!

Во тьме заиграли нежные сполохи. Еле видные молнии ударяли людям в плечи и затылки. Их головы обнимали призрачные нимбы; они слабо светились, вспыхивали и таяли. И снова наваливалась тьма. Я задыхался. Тьма забила мне легкие. Я ловил ртом воздух, как рыба, вытщенная из моря на берег. Люди задышали громче, тревожнее, прерывистее. Я едва не терял разум. Господи, не дай мне сейчас умереть! Я еще хочу увидеть Твой Огонь! Я еще хочу жить! Жить! Господи, во Имя Твое!

Огненные змейки юрко и быстро ползли из-под купола, сползали по стенам. Гасли. Ни шепота. Ни стоны. Все задавили, затоптали внутри себя свое страдание. Сейчас здесь не было никакого людского страдания, никакой скорби, никакого плача. Я будто поднялся над полом, завис на минуту, а потом стал медленно подниматься к куполу. И из-под купола я видел и чувствовал всех. Я слышал, как молятся старухи монашки. Видел, как текут слезы по потному, смуглому лицу араба с серьгой в мочке огромного волосатого уха, и он волосатой мощной рукой оттирает соленую влагу с подбородка, со скулы. Я слышал эти слова, потому что я их сам повторял: Господи, не оставь нас. Господи, не покинь.

Тьма вся пропиталась этими нежными, еле видимыми вспышками, зигзагами света, что был лишь воспоминанием о свете. Может, нам одна лишь тьма и осталась, а света больше не будет никогда. Не станет! И мы во тьме, слепые, протянув вперед руки, побредем по земле, лишенные солнца, лишенные огня и счастья, и будем хвататься

друг за друга, и будем ошупывать мокрые лица друг друга, повторяя: «А помнишь?.. А помнишь?..»

Тьма колыхалась и густела. Уплотнялась. Сквозь нее уже нельзя было пройти, не изранив кожу, не сломав руки и ноги, не разбив упрямый голый лоб. Тьма обняла нас всех. Крепко обняла. И одна лишь молитва осталась на пересохших соленых губах — молитва о чуде, молитва о Свете.

Свет! Милый! Мы больше не будем. Мы не виноваты. Мы исправимся. Мы снова полюбим. Мы больше не убьем. Не обманем. Ты только приди. Явись! И мы, люди Твои, станем другие! Совсем другие! Милый Свет, ты же видишь, на самом деле мы хорошие! Мы просто заблудились во тьме. Мы заблудились и ошиблись, мы не поняли Тебя, мы слишком рано ослепли и не поверили в то, что прозреем. Свет! Родной! Радость! Радость наша! Радость моя! Сойди! Только сойди, счастье, единственное земное наше, бедное счастье, сойди, слышишь!

Под куполом будто открылось круглое окно. И из окна этого вниз упал прозрачный, чуть голубоватый столб. Внутри столба весело плясали золотые искры.

В этот миг распахнулась дверь кувуклии.

И, крепко держа в обеих руках толстые пучки белых длинных свечей, из черной двери каменного гроба вышел патриарх. Он высоко поднял над собой Огонь.

Это горел Благодатный Огонь.

«Агиос Фос! Агиос Фос!» — закричали кругом люди по-гречески, и по-латыни закричали, и по-арабски, и по-эфиопски, и по-английски, и по-сербски, и по-грузински, и по-русски, да, я услышал рядом с собой хриплое, ликующее: «Благодатный Огонь, ура, сошел, Господи, спаси люди Твоя!» Из окошек кувуклии высывались пучки пылающих свечей, и их подхватывали люди и быстро передавали из рук в руки; свет, что падал из отверстия под куполом храма, все ярчел, столб света наливался ярким, торжествующим золотом, и я, вот чудеса, оказался прямо в этом столбе света — в круге Света, рядом с гробовой кувуклией, рядом с белобородым патриархом с неистово сияющими глазами, с поднятыми над головой руками, и в каждой руке мощно, победно горит свет, рвется из рук, и тьмы больше нет. Где тьма? Нет ее!

И вот уже по всему храму горит Огонь, люди передают его из рук в руки, возжигают от Огня свои загодя припасенные свечи, мажут огнем себя по лицу, по рукам, окунают в Огонь лбы, брови и волосы, а он не жжется, он не обжигает, не сжигает, он сейчас жизнь, а не смерть! «Еще зажегся... слава богу... спасены...» — слышал я шепот рядом и не мог оглянуться. Я смотрел на Огонь. Зрачки мои стали Огнем, ладони мои и плечи мои стали Огнем. Я с радостью сгорел бы в этом Огне, полностью превратился в Него, остался Им навсегда. И это была бы лучшая участь.

И все, кто стоял во храме и сжимал в руках, в кулаках пылающие свечи, молились об этом: мы станем Тобой! Живым Светом! Мы готовы умереть, мы больше не боимся смерти, если за ее порогом Ты, Живой Огонь! Мы поняли, Ты изначален, все началось Тобой и в Тебя же вернется. Огонь, Ты и есть Христос Бог, это Ты Его дыхание, Его глаза и Его объятие! Каждый из нас может обожиться, становясь Тобой, Агиос Фос. Не отвергай нас! Обними нас! Благослови нас!

Святой Свет — против Гибельного Пламени.

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это я смутно вспомнил какие-то бредовые, старинные слова — то ли из церковной книги, что мы пытались читать вместе с пьяной хромоножкой, то ли с какой церковной службы, на которой я стоял когда-то давно, а батюшка шел во храме по кругу, тяжело ступая по каменным плитам, и махал перед носом у меня пахучим, дымным кадилом. Да, где твое жало, проклятая смерть? Свет заливал храм. По лицу патриарха Иерусалимского текли слезы и вспыхивали огнями. Все водили в воздухе пучками свечей, махали ими, пили и целовали

Огонь, и у меня в руке невесть откуда взялся такой же пук тонких белых, длинных свечей, какие и все держали, и кто-то поднес к моим свечкам пламя и возжег их, и они занялись, как маленький костер, вспыхнули весело и бесповоротно и горели бешено, вольно, пламя взметнулось слишком высоко, пыхнуло, раскрылось ярким веером, ударило мне в лицо, я раскрыл губы, как для поцелуя, и вдохнул Огонь, и не почувствовал ожога, а только чистое, светлое, огромное счастье. Люди, хотел я крикнуть, глотая огонь, окуная в него щеки, губы, плачущие от радости глаза, люди, вот так целуйте и любите друг друга, как целуете вы сейчас этот Огонь! Вы, каждый, друг для друга — Агиос Фос! Так что же вы притворяетесь, что вы все злые, гадкие, хитрые, склочные? Вы изначально безгрешны. Вы — Свет! Не тьма!

Я окунул в Огонь еще раз лицо, лоб и щеки, и высоко поднял его над головой, и смеялся, не стыдился скалить в смехе беззубые свои, старые челюсти. Все пылало. Все ликовало. Все стало внезапным и ярким счастьем. И теперь его было у людей не отнять. Не отобрать так просто. Все вцепились в него, в свое пылающее счастье, и высоко, еще выше, выше поднимали его, чтобы все его увидели — и те, кого нет здесь, и те, кто далеко, и те, кто умерли уже и лежат под землей во тьме. Я встал на цыпочки, чтобы поднять мой Огонь еще выше. И тут что-то случилось с огнем, с храмом, с миром и со мной.

Я стал видеть сверху сначала купол храма, горящего торжествующим огнем; потом крыши и купола огромного города Иерусалима, грозовые весенние тучи над ним, потом земля странно, громадно выгнулась, и я видел этот мощный выгиб земли, кромку густо-синего, мрачного моря, ржавые шкуры лесов, и старое сыпучее золото пустынь, и бронзу грозных, кучно стоящих гор, и земля то сдвигала свои плоские плиты, то раздвигала, кренилась набок, и тогда я падал вместе с ней и не знал, за что ухватиться, чтобы выжить, спастись; я видел смещение и шевеление огромной, дикой суши, человек ее только снаружи изгрыз, как мышь, а внутри она была все такой же мощной, и сильной, и великой, и страшной, как от сотворения мира. Колыхание пространств сотрясало воздух, и воздух вспыхивал и гас, воздух, играя, становился то светом, то тьмой, солнце падало в черный прогал, звезды ныряли в ясную синеву, все мешалось и проникало друг в друга; я видел дышащий космос, я, маленький человек, и страшно мне было. И крикнуть я не мог, мне горло сдавило молчанием, последней молитвой; я мог лишь раскинуть руки и плыть, плыть в жидких пылающих слоях неба, над руинами земли.

Передо мной летели люди, и надо мной летели люди, и за мной. Они все держали в руках ярко горящие свечи. Вязанки свечей пылали, и лица людей горели ярче пламени. Между людьми летели кони, они весело ржали. Летели свиньи и козы, индюшки и цесарки, летели павлины и распускали радужные хвосты. Рушились царства, и летели, срывались в пропасть камни и апсиды дворцов, хворост хижин, срубы распадались на бревна, и черные бревна летели в пустоте, вспыхивали и горели, горели в черном неохватном небе. Летели дети, они орали от страха, летели выпавшие из печей горящие головни, и летели трупы, сожженные в печах для многолюдных казней, и летели задушенные, синие люди, кто задохнулся газом в убийственных машинах-душегубках, и летели разрубленные пополам, обезглавленные, сожженные на кострах; и пока они летели, раны их срастались, искалеченные члены на глазах заживали, обгорелая кожа, вся в рубцах и шрамах, менялась на новую, гладкую и свежую, и прозревали слепые глаза, и тянулись вперед сломанные, изувеченные руки. Они летели, звери и люди, камни и звезды, и все они искали в бездонном небе Того, Кто будет их всех судить последним Судом — или, может, прослезится при виде их, протянет им руки для объятия, а губы для поцелуя, обнимет, прижмет их к сердцу и обласкает, — а они уж и не верят в это, они уж забыли, что такое прощение и милость!

Вот это картинку я видел в храме Гроба Господня, всем картинам картину!  
Мне такой никогда не написать.  
Это можно только увидеть. Ну, немного рассказать об этом.  
Не все, в общем-то, можно рисовать. Кое-что рисовать и нельзя.

«Милости хочу, а не жертвы!» — как в бреду, шептал я сам себе, а может, шептал это моему Богу, Он сегодня опять воскрес, возродился, Он послал мне и всем нам Благодатный Огонь, и за это одно, за сияние это, за могучее горение этого Огня я готов был пойти за Ним в огонь и в воду, трудиться и не изнемогать, готов был забыть все, даже незабываемое, и начать все сначала, и любить, всецело, всем существом и всей душой любить, даже если меня будут топтать и растопчут в грязь, в лепешку за мою любовь, смешают мои кости и кровь с землей и прахом.

Я летел в небесах с ними со всеми, с моими людьми, с моей земной несчастной живностью, с моей землей, с моими руинами и иконами, и я молился так: Господи, я видел сушу Твою и море Твое, землю Твою и небо Твое, это Твоя Европа, это Твоя Азия, Африка Твоя и Америка, океаны Твои тихие и громкие, это Твои сироты, материки, каменные Твои плиты, что под дыханием Твоим сдвигаются с мест и плывут в никуда! Ты стоишь на материке, как на золотой льдине. Земля даст трещину, а Ты поднимешься над пастью ада и опять полетишь! Ты есть Свет, Тебя не поймать в мышеловку. За Тебя людям отрезают головы. За Тебя расстреливают и сжигают. Почему нам надо, так неистово надо верить в Тебя?!

И сам себе я ответил, задыхаясь, летя в светящейся бездне: потому, что все мы, каждый, к Тебе, в руки Твои вернемся!

И здесь, в этом древнем старом старике Иерусалиме, где тысячи тысяч людей рубились и любились, где крестonosцы побивали сарацинов, а сарацины крестonosцев, где мечи обжигали воздух и рассекали живые, твердые и тугие тела, как нож масло, где гудели по всему городу дикие пожары и, стоя на коленях, плакали, молились и хрипло орали одичалые люди, а людей бросали в костры, как доски, как бревна, здесь, в нежном Иерусалиме, где много сверкающих под луной громадных яблок, дынь и апельсинов, в ночи спят мечети и минареты, золотые купола, алые, красные, медные гигантские гранаты, полосатые тыквы и терпкие желтые лимоны, бронза смокв, яшма темной райской листвы, здесь, где веками люди дрались и убивали, один другого, за свою единственную веру, мы стояли в храме Гроба Господня, глядя друг на друга, мы, последние христиане, и мы понимали: еще прольется кровь, еще убьют нас за нашу веру, и мы убьем в ответ, и на пепелище кто-то из нас, кто победит, начертает крест, а может, полумесяц. Мы, в дни крестовых походов, бились за Гроб Господень, а теперь нам за что биться? Народы с Востока бегут в Европу, в Париже стреляет во французов мальчик из Дамаска, русский Василий становится арабом Батталом и едет в Новый халифат, чтобы резать, как баранам, глотки пленным англичанам. Храм! Гроб! Огонь Божий! Ты видишь, Боже, никуда мы от Тебя не убежали, как ни старались!

И тут я вроде как мгновенно выпал из круговращения, из клубящихся диких ветров. Оказался опять на дне сверкающего огнями храма. Оглянулся. Огни горели. Золотые космы огней вились во мраке, как на ветру. Рядом со мной, по левую руку от меня, чуть сзади, стояла маленькая женщина. Голова ее и лицо были укутаны в плотный черный платок. Я сперва испугался ее. У нее не было носа. У нее не было век и бровей. У нее не было губ, вместо губ шевелилась безгубая страшная щель, прорезавшая бритвенным лезвием плоть.

У нее не было лица.

Я не сразу понял, что у нее сожжено лицо. Обожжено.

Глаза на том, что высывалось из-под черного монашеского платка вместо лица, на поверхности огромного ожога, смотрели черно и скорбно. Век не было, они тоже были сожжены. Ее глаза глядели, как у совы: кругло, мрачно, не моргая. Видно было, что хирург попытался слепить ей из ее же кожи губы, пытался натянуть на слишком круглые глаза веки; у него не получилось.

Женщина глядела на меня черными, круглыми, как озера, бездонными глазами, и я стал тонуть в этих глазах. И еще больше испугался. Пук благодатных свечей горел в моей высоко поднятой, как у грозного ангела, руке. Я опустил руку и поводит косматым огнем около лица. Потом поднес огонь к лицу женщины. Она не отшатнулась. Но я увидел, как безгубый рот раздвинулся в уродливой страшной усмешке.

И я отдернул руку с огнем.

Что я делаю! Я устыдился. Огонь, я вижу его как жизнь, а она видит его как смерть. Но она стоит неподвижно. Стоит и смотрит на меня. Мне надо ей что-то сказать. О чем с ней говорить? У нее вместо лица сплошной рубец. Кожа выросла на лице, но зажила ли душа? Что она пережила? Зачем она здесь?

Она ничего не говорит, только молчит и смотрит. Может, она глухая, немая?

Я осторожно поднял горящий пук свечей над нею и над собой. Теперь огонь озарял нас двоих. Круглые совиные глаза прямо глядели в мои глаза. Уродливая монахиня с обожженным до костей лицом смотрела на меня сурово, почти осуждающе. Я для нее был здоровый жлоб, весело живущий в мире здоровых, сытых и счастливых. Она же не знала, что я беден и слаб, и что я валяюсь на дне Божьего котла, и совсем скоро меня сварит и съест прожорливое время. Черные, как нефть, глаза. Фигуры не видно под суровой черной тканью. Если так жестоко обожжено лицо, значит, сожжено и тело. Сожженная живьем стояла передо мной во храме, и я не знал, чем ее утешить. Самим собой?

Завтра, только завтра еще ждала Пасха, сегодня целоваться было рано, но я, далеко отставив руку с огнем, все равно приблизил лицо к лицу уродки, такими, наверное, в древности глядели лица прокаженных, отверженных, что при дорогах сидели и милостыньку просили, и троекратно ее поцеловал. Под моими губами трещала и разлезалась горячая кожа в корке жестких рубцов. Вспаханные шрамами щеки краснели. Значит, в них еще текла, играла кровь.

Один поцелуй в щеку, другой поцелуй в щеку. На третий раз женщина резко повернула голову, и под моими губами оказался ее страшный рот без губ. И я поцеловал этот страшный рот — хотел крепко, а поцеловал нежно, еле дыша, еле касаясь земной черной щели живыми губами. Это я землю, землю поцеловал.

И я не умер от отвращения, и сознания от гадливости не потерял.

Чудо Огня, небесная Псалтырь! Я целовал ее, взорванную, разрытую землю, живую святую книгу. Человек живет всех на свете книг, он и бессловесный стоит и глядит, как Бог, и под этим взглядом ты живешь и умираешь. Я читал эту женщину, листал ее сожженные страницы. Буквы пожрал огонь, но вместо слов дышали, двигались сизые, золотые тени. На каждом из нас, на нашем лице, на груди и плечах, на ладонях и стопах, записаны великие молитвы. Мы, живя на земле, не знаем их, не повторяем на ночь. Но, стоя во храме перед лицом Огня, мы внезапно все их, до словечка, вспоминаем. И быстро, спотыкаясь, вздохнув, шепчем! И спешим выговорить, выбормотать, выпустить во тьму! Я бы тогда ребра свои, как клетку, разбил, разорвал. И выпустил огненное сердце на волю. Лети! Пой!

Я искал губами чужие губы, а их не было. Горячее дыхание вылетело из-под земли и опануло меня, мое склоненное лицо. Я выпрямился. Уродка по-прежнему

му круглыми неподвижными глазами смотрела на меня. Потом она попыталась закрыть глаза. На радужку напозли ошметки обгорелой кожи. С полузакрытыми глазами стояла она передо мной, маленькая, худенькая, как птица. И мне захотелось взять ее на руки и унести отсюда. На волю. На воздух. Под солнце.

Я поднял руку и пальцем осторожно коснулся ее безгубого, изрытого шрамами рта.

Радость и счастье пылали на лицах. Иконным золотом светились щеки и лбы. Все стали детьми. Или ангелами. Люди передавали друг другу Огонь, окунали лица в Благой Свет. Умывались им. Всюду вспыхивали крики: «Кирие элейсон! Боже благи! Тэр аствац! Синьоре абби пьета ди! Господи помилуй!» Все радовались и ликовали, а передо мной стояла несчастная уродка, сгоревшая однажды заживо, стояла во храме, и храм ничем не мог помочь ей, и Господь не мог.

И она смотрела на меня, будто бы я был ее Бог, Господь, сошедший к ней то ли с небес, то ли с фрески, из-под купола, то ли вышедший из клубков огня, но она руки не поднимала, не тянула ко мне, и молчало ее неподвижное бугристое лицо, и молчали совиные глаза, лишенные век.

А я смотрел на нее так, как будто я был ее блудный сын, а она моя старая мать.

О чем она думала, эта маленькая, худая, величиной с птичку, закутанная в черную шерсть, иностранная уродка? Я не думаю, что она была русская. А она не знала, какого народа я. У нас обоих там, в этом храме, не было национальностей. И, может, это было верно. Перед Богом все равны. У Бога сто имен, и Он все равно Истина.

О чем думала она, на меня глядя? Как, куда текли ее мысли? А может, она не думала ни о чем? И я тоже отключил ум: я это умел. Без мыслей, без чувств, только глубоко и правильно дыша, мы стояли друг перед другом. Нас обнимал горячий воздух, в нас бил, как в бубен, безумный от радости свет, и языки огня плясали перед нашими лицами и за нашими спинами. Так мы стали ангелами, и у нас за спиной горели и бились слепящие огненные крылья. Мы не удивлялись им. Мы, два ангела, глядели друг на друга, и храм весь гудел, и пел и кричал, и времени не стало, небеса свились в огненный свиток, и мы оба знали в нем каждую живую букву.

И я по-прежнему высоко держал руку с пуком пылающих свечей.

Воск стекал мне на пальцы, но я не ощущал ожога.

Кто-то рядом с нами, задыхаясь от радости, громко восклицал на незнакомом языке одно слово, все время повторял и повторял его. Слово било меня в лоб, так бьет кувалда в медный гонг. Потом тот же голос заволокло крикнул по-русски в огненную тьму обезумевшей от счастья церкви: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Поодаль люди пели хором; они пели от радости. Радость обнимала всех, и ради этой радости надо было лететь за тридевять земель. «Спасибо, Серафимушка, спасибо, Матушка», — шептал я, сам не зная что, называя имена всех, кого любил и кто любил меня. Из-за любви я приехал сюда. Кто я? Будда, Кришна, Иисус, Иегова? Внутри еврейской земли стоит православный храм, и неужели и он сгорит в грядущем огне?

Женщина, не отрывая от меня глаз, разлепила то, что прежде было ее губами. Она хотела что-то сказать.

Силилась вытолкнуть слово. Не смогла.

Ее страшное лицо люто искривилось, пошло волнами. По нему медленно, трудно расходились круги страдания, будто в него, как в горячее озеро, бросили камень.

А потом оно опять застыло. Застыли рубцы и шрамы. Ожоги сковало льдом.

Молчание накрыло это лицо прозрачным зимним пологом.

В начале было Слово? О нет. Нет. В начале было горячее дыхание. И поцелуй. И слезы.

И глаза, что, не моргая, глядят в самую сердцевину тебя, в твою первую и последнюю тайну.

И тогда я, крепко держа над головою Свет, сам наклонился к уродке.

И тихо, внятно сказал, так отдельно и понятно говорят глухим: «Я тебя никогда не забуду».

Может, она, иноземка, меня не поняла. Скорей всего, не поняла. Плевать.

Я всего лишь обычный русский юридический, так мне всегда говорил, хохоча, Родька Волокушин, ну, я и сам это знаю давно, и сам себя таким считаю, и что в этом зазорного? Между прочим, такие люди, как я, их много на Руси. И раньше много было. Они ходили по дорогам, пророчили, проповедовали, выбрасывали всякие коленца, выделявали штучки. Их боялись, их гнали батогами, над ними издевались, на них показывали пальцами и кричали: вон, вон он идет, голый дурак! — перед ними вставали на колени и, плача, благодарили их за учебу и прозорливость. Нет, я не прозорливый; куда мне! Слишком часто я слышал от людей то, что я дурень. Сумасшедший, идиот, придурок, умалишенный. А знаете мою последнюю новость? Моя давняя армянка, та, из моей юности, из моей армии, нашла меня, прислала мне письмо, у меня на земле, оказывается, есть еще один сын, и его зовут Андрей, как и меня; моя веселая армянка забрюхатела тогда, в той брошенной ледяной избе с разбитыми зеркалами, выносила, родила и назвала ребенка в честь меня. Еще один Андрей-воробей! Гоняй, гоняй жирных ленивых голубей! На фотографии сынок мой новоявленный сильно похож на меня. Копия меня, никакой крови на анализ брать не надо, чистая работа. Вот Юрочку выпустят из тюрьмы, и мои сыны подругаются. А может, плюнут друг на друга; это уж как получится. Иногда на меня накатит, и я вдруг вспоминаю ту горячую, как головня из печи, отвязную девчонку из поезда Горький—Адлер, моего черного косматого, тощего ангелочка. Где она теперь? Иногда мне кажется, я вижу ее в городской толпе. Но зрение мое ослабло, и я могу обознаться. Да и зачем я буду окликать ее? Все, что было, все уплыло. Я сказал ей когда-то, там, под стук колес: я тебя везде узнаю. Вранье. Человек на лицо и тело с годами меняется неузнаваемо, а еще сильнее меняется его нежная теплая душа: черствеет, леденеет. А знаете, чего больше всего я хочу? Ни за что не догадаетесь. Я хочу однажды собрать котомку, вскинуть на плечо, выйти из подвала, даже не закрывать его ни на какой ключ, пусть тот, кому надо, вещичками моими попользуется, и двинуться в путь. По дорогам. По градам и весям. Буду идти и идти, и птицы будут петь надо мной. Буду встречать людей, и добрых и злых. Злым буду говорить о добре. Добрым буду улыбаться, и садиться рядом с ними, и есть и пить вместе с ними; а потом просить их: добрые люди, дайте мне, Христа ради, маленький шматочек вашей доброй, дивной души! От вас не убудет, дайте! И они будут отщипывать от своей горячей, вкусной, тепленькой душеньки самый теплый и вкусный кусочек, и протягивать мне, и улыбаться мне. А я буду складывать чужую милостыню, чужой хлеб, чужие грязные монеты, чужие дареные самоцветы в котомку, а может, во все не самоцветы никакие, а невзрачные камешки, как тот, что мне когда-то кинул Серафимушка около обители своей. Буква «М», мир! Буква «В», время! Буква «Л», люди! А может, любовь! Да, любовь. Любовь в век, когда все передрались? Эка чем удивили! Дрались всегда. В век, когда все смеются друг над другом и держат за пазухой камень, чтобы бросить в другого? И плюют другому в лицо? Любовь — вот насмешил старый дурак!



Ничего, ничего. Терпите. Я ту же стяну резинку на своем конском седом хвосте. Я буду смотреть на вас и сам смеяться над вами, неразумными, беззубые десны обнажая, а вы терпите. Молчите! Я сам умею молчать. Молчанием можно сказать гораздо больше, чем словами. Вот я вам тут все словами говорил, и что? Вы теперь все про меня знаете; да это вам только кажется, что знаете. А на самом деле я даже сам себя не знаю. И никогда не узнаю. Я, старый, беззубый, большеухий, как Будда, босой, как сам Иисус, буду ходить по пыльным и грязным дорогам и собирать в котомку души живые, мертвые уже надоели, и всех мертвых я оживить не смогу, мне бы всех живых воедино собрать, о лучшей участи и не мечтаю.

Звон доносится с дальнего храма. Звон обнимает меня. Я сижу у святого озера, идут круги по воде, я вынимаю из котомки горбушку хлеба и бутылку с водой, ем и пью. Гляжу на заходящее солнце. Над чем звонят? Над жизнью? Над чьей-то смертью? Надо мной тоже будут звонить, когда я умру. А может, не будут; я не царь, я бродяга, над бродягами не звонят никогда. Меня вчера убили, а сегодня я воскрес. Воистину? А что есть истина? Я думал, что я знаю ее. Нет. Не знаю. Да и вы не знаете. Никто не знает. Звонят в колокола, и глухие слышат. Они слышат все. А слепые все видят. Отпить из бутылки, еще глоток! О, да у меня там не вода, а водка. Глоток, и ты сыт и пьян, и нос в табаке. Еще глоток, и все узнаешь сразу. Все, что с нами будет. Любите слепых, они видят все. Любите глухих, они все слышат. Любите горьких пьяниц и бедных хромоножек на площадях ночных безумных городов — они пророчат о невозвратном.

---

---

Вера ЗУБАРЕВА

ТЕНЬ ГОРОДА,  
ИЛИ  
ПОЭМА О НАШЕМ  
ВРЕМЕНИ

1.

Снова в городе отключили день.  
В тетради — темень, всё вповалку,  
Слово на́ слове... Мир обалдел.  
Ему бы сделать редакторскую правку.  
Телевизор включает в розетку хвост,  
Возвращается к жизни привидение-время  
И шарит по ящикам, перетряхивая мозг  
И циферблатами глаз наблюдая за всеми.  
Только по ним и распознаешь  
Расположение клюва в дремучем пространстве.  
Но толку что? Оно — филин, ты — еж.  
Еще никто не увернулся, не спасся.  
Снова ухает.  
Колебания масс.  
В воздухе носятся  
Вирусы бессонниц.  
Тревожно ворочаются  
Личинки дремоты  
В кавернах пней,  
В болотных перинах.  
По ним, пугая осоловевших лягушек,  
Хлюпают мысли барсуков и ежей.

---

Вера Кимовна Зубарева — Ph. D. Автор литературоведческих монографий, книг стихов и прозы. Первая книга стихов вышла с предисловием Беллы Ахмадулиной. Публикации в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Дети Ра», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Нева», «Новый мир», «Новый журнал» и др. Главный редактор журнала «Гостинная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных международных литературных премий. Преподает русскую литературу в Пенсильванском университете..

**2.**

Тетрадь под надзором. Сны в опале.  
Они теперь только в самиздате,  
В тайной расщелине у Лукоморья.  
За них дают пожизненную бессонницу.  
Население спит с открытыми веками  
На случай обыска или проверки.  
Самым примерным жалуют га-шиш  
Сладкой премии гоголя-нобеля.

**3.**

...Проблеск луны, пустынного берега,  
Море кто-то волнует черпаком,  
Качается хитон его облачный над зыбью,  
Плещется рыб серебряный поток...  
...Кажется, мы потерялись в пространстве.  
Или во времени. Или в том и другом.  
Трудно сказать наверняка, пока  
Пространство и время сосуществуют,  
Как тело и душа. Пространство — тело.  
Время — душа. Оно беспокойно,  
Оно разъедает жилы пространства,  
Заставляет его пульсировать, болеть,  
Сохнуть, обрушиваться, истекать потопами.  
Без него пространство окоченеет,  
Покроется коррозией, перестанет быть.  
Быть или не быть — вопрос пространства.  
Это оно, безутешный Гамлет,  
Ловит знаки привидения-времени,  
Верит в его допотопные рассказы.  
Время катится по нему, полыхает,  
Как шаровая молния по полю жизни.  
Кто перешел его — тот погиб.

**4.**

Кто мы? Лучше спросить у дуба,  
Ему открыто знание знаний —  
Как плести паутину, смолить трещины,  
Разводить пчел... В его венах  
Текут муравьи, а под шляпками желудей  
Живут невидимые счетоводы.  
Они считают время по формуле:  
Путь пространства, деленный на скорость,  
С которой оно распадается на элементы.

Дуб уходит корнями в безвидность.  
В черной дыре ее спрессовано время —  
Без стрелок, без тиканья, добытийное.  
На него нацелено изваяние филина,  
Отлитое из облака — белого, плотного.  
И только кисточки его ушей  
Колышутся в такт вибрациям ночи.

**5.**

Откуда мы? Говорят, из микробов.  
И в них же вернемся, распавшись на множество  
Быстрых невидимых поедателей материи.  
Они прожигают воздух, как сигареты,  
А на месте дыр образуются штопки  
Седой паутины, латающей пространство.  
Ею опутаны все просветы  
В нашем лесу. Иногда на заре  
В ней мигают изумрудные мухи,  
Как броши в жабо обтрепанных елей,  
Задумчиво качаются мумии комаров.  
Лес полон тайн непролазных, косматых.  
Жижу его распирают бактерии,  
Пучат тяжелое брюхо болот  
Дети вечного брожения и распада.

**6.**

В полночь, когда замирает все в дуплах,  
Коре, подземельях, запруженных водоемах,  
Филин выходит на лунную охоту —  
Каждую ночь он охотится на сны.  
Они бросаются врассыпную, как мыши,  
Чтоб слиться с теменью, превратиться в тени.  
Клюв его стрелок остро отточен,  
Два циферблата его глаз  
Крутят стрелки в зеркальном направлении,  
И все живое прижимается к земле.  
Колышутся рыбы на блюде водоемов,  
Вязнут птицы в болотах воздуха,  
Звери зажмуриваются, и ночной страх  
Их погружает в топи оцепенения.  
Звери боятся превращений пространства,  
Звери читают на языке тьмы.  
На нем написаны все инстинкты,  
И все стихии разговаривают на нем.

7.

Лес — на подступах к городским улицам,  
Стиснуто горло домов и площадей,  
Кляпами заткнуты колокольни,  
Мычат купола в подушку облаков,  
Лежат небоскребы с поломанными хребтами,  
По ним разгуливают стада свиней —  
Любителей сладких даров Цирцеи.  
И только черный дом из пепла  
Высится, словно зловещий обелиск.  
Всякий раз, как отключают день,  
В нем резвится черное пламя,  
Мнет бумажные фигурки узников,  
И они изгибаются, корежатся, трещат.  
Если бы звери умели смеяться,  
Они бы ощерились в диком хохоте,  
Они бы катались в бурьяне до изнеможения,  
Глядя на этот театр теней.

8.

В этом лесу мы самые отсталые,  
Самые слабые и никчемные,  
С недоразвитыми верхними конечностями,  
Объекты глумления насекомых,  
Пасынки природы, ловкой и хищной,  
Наделившей шерстью и крепкими челюстями  
Полноценных детищ о четырех ногах.  
Как нам стать настоящими животными,  
Не хуже других? А то вечно в хвосте  
Плетется племя наше бесхвостое!

9.

Вчера весь мир встревоженно чирикал,  
Гугукал, квакал. Что-то происходит,  
Но мы не в силах понять, что именно.  
И это обидно и стыдно, в особенности  
Когда и червяк смышлено кивает  
На речи товарищей. Как же быть?  
Бобры начинают строить плотины,  
Кукушки подбрасывают  
Яйца в чужие гнезда.  
Мы же бродим по лесу в отчаянии  
И спотыкаемся о квазимоды стволов.  
Мы самые презренные,  
Недоразвитые и неловкие  
В этом лесу. И зачем мы — люди?

---

---

Эрик ШМИТКЕ

# КОГДА Я ОТВЕРНУЛСЯ (АНЖЕЛА И АНДЖЕЛО)

## Рассказ

### 1.

Мы с любимой снова бродим по Люнебургу. Она подарила мне этот город. Она умеет делать такие подарки.

...Я ждал ее на вокзале в Гамбурге. Приехал почти на час раньше, побоялся пробок. И, по советской привычке, сразу поперся на вокзал, чтобы *уже быть на месте*. Занять местечко заранее и ждать, это в крови — знание, что тому, кто приходит *ко времени*, уже ничего не достается.

В Германии на вокзалах, как правило, нет залов ожидания. В лучшем случае несколько скамеек на три-четыре сиденья, чтобы можно было присесть на пару минут по мелкой необходимости. На Hamburg Hbf нет и этого. Только внизу, на платформах, где, непрерывно сменяя друг друга, прибывают и отправляются поезда, те же несколько скамеек для недолгого ожидания. Но на платформах всегда вонючий сквозняк и железный грохот на пределе переносимости. Хватает свободных мест в бесчисленных заведениях фаст-фуда. Но там не присядешь, нужно что-нибудь заказать. Целый час жевать жареную сосиску, запивая ее пережженным кофе, я бы не протянул. А взять вторую — просто бы не сдюжил.

Медленным шагом, внимательно рассматривая витрины, я двигался от одной забегаловки к другой — целых восемь минут... В книжной лавке перебирал газеты, покурил возле того входа на вокзал, который смотрит на *чистую* сторону. Отсюда, перейдя дорогу, попадаешь в кварталы шикарных торговых центров, банков и — чуть дальше — в центр, на ратушную площадь, к Эльбе с лебедями и туристами.

У этого входа всегда малоллюдно. У противоположного, где я покурил в следующий раз, куда оживленнее. Тут всегда тесная беспокойная толпа. Здесь царство вокзальных подонков. Здесь грязь и вонь. Вообще-то это главный вход. Выйдя чрез него, несомый толпой, быстро попадаешь на заваленную мусором, бомжами и проститутками Steindamm, где среди прилепившихся друг к другу громкоголосых африкано-азиатских лавчонок и забегаловок редко встретишь европейское лицо.

Потом в самом здании вокзала долго выбирал цветы для любимой. Так долго, что даже немецкая продавщица стала косить на меня взглядом... Короче, я был зол.

На себя, конечно. Мог бы посидеть в машине, почитать или послушать музыку. А теперь возвращаться на парковку... так времени хватит только, чтобы дойти до машины, развернуться и двинуть обратно. Да и то — быстрым шагом.

---

Эрик Шмитке родился в 1957 году в Сибири, с 1965-го по 1980 год жил в Казахстане, в Целинограде (сейчас Астана), где окончил филфак местного пединститута. С 1980-го по 2015 год — Ленинград—Санкт-Петербург—Сосновый Бор. Сейчас — Бавария.

Когда до прибытия поезда из Аугсбурга, куда любимая возила свою ученицу на баварский конкурс молодых пианистов (наконец-то минутная стрелка все же доползла!), оставалась еще добрая четверть часа, я спустился на платформу.

С плотным шипением подкатил серебристый ICE. Я перевернул букет белых хризантем цветами кверху. Злость мгновенно рассосалась в радости. Зная неистребимую неспособность любимой быть в толпе, я и не шарил глазами по людскому потоку, хлынувшему из узких вагонов. Просто отошел в сторонку и ждал, когда увижу на почти опустевшем перроне мое хрупкое божество. Она будет стоять рядом со своим зеленым чемоданчиком. Не глядя по сторонам, не высматривая. Зная, что я уже сорвался с места, почти вскачь несусь к ней. Разве только — вытянула на максимум — для меня — ручку чемодана.

...Но ее не было!

Ее вообще нигде не было, я оббегал весь вокзал. Вот тут я психанул. Я злился на нее. И за то, что, как идиот, болтался целый час по этому долбаному вокзалу, тоже. С извращенным наслаждением я обозвал любимую самым последним словом, которое могло бы ей подойти: «...! У тебя же есть телефон! Твой чертов „Handy“». Я решил, что сам ей звонить не буду. Потом, через пару часов, уже из отеля, позвонил:

— Ты где?

— Я в Люнебурге, — своим тихим голосом ответила она. — Приезжай скорее. Ты сейчас обязательно должен здесь быть.

И я поехал.

Она ждала на вокзале. Нетерпеливо ухватила меня за локоть:

— Пойдем скорее!

Мы забрали ее чемоданчик из камеры хранения и пошли в город. Как только перешли мост, в начале первой же городской улочки, я понял, почему любимая вышла из поезда здесь.

Так бывает в большом старинном парке. Где напрочь забываешь, что все вокруг создано людьми, так естественно эти дорожки, фонтаны, скамейки вписаны в жизнь природы. И даже шум проезжающих за оградой — совсем рядом — автомобилей, проходя сквозь воздух парка, слышен, но совершенно не слышим. Душа ощущает лишь тихий шорох листвы, птичьи голоса и завораживающий звук падающей воды в фонтане. Там — самый громкий звук.

В Люнебурге, в этих неспешно росших веками улицах, не замечаешь толпы туристов, разноязыкую речь, все то, что так раздражает даже в Венеции... Что приходится преодолевать в Петергофе или в Кёльнском соборе. В Люнебурге слышишь лишь тихий шорох времени и видишь завораживающие истории, которые каждый дом, мимо которого проходишь, рассказывает тебе одному. Потому что ты внутри этой истории...

— Я сидела в поезде у окна, — рассказала потом, уже в отеле, немного успокоившись, любимая, — Слушала концерт для скрипки, Баха, a-moll, Andante, вторую часть. Ну ты же понимаешь, что я просто должна была здесь выйти... Когда вдруг увидела эти шпили над деревьями. А потом, когда остановились уже у платформы, объявили (я даже не поняла, когда сняла наушники, понимаешь?) — Люнебург. И что наш поезд будет ждать десять минут какой-то опаздывающий. Понимаешь?.. Здесь он учился, Бах, когда ему четырнадцать лет было. В двух школах сразу. Два года. Здесь в монастыре Святого Михаила он уроки брал у Георга Бёма. Понимаешь! Это же — *знак!*

— Понимаю, конечно, — ровным голосом ответил я. Я хорошо знаю ее *знаки*... И она не ошибается.

Хотя каждый раз непременно ворчу про себя, что в ее поведении нет никакой логики. Когда любимая вдруг остановилась посреди улицы и с горьким детским

сожалением сказала: «Ну, это же не то сейчас... Пока ты ехал, уже вечер! Надо, чтобы ты *это* увидел, когда ярко светит солнце. Мы остаемся на ночь! Пойдем в отель», я занудел:

— Отель я снял в Гамбурге. Поехали. Ну, давай завтра специально сюда вернемся...

— Нет. Я же еще ничего не увидела. — Она почти весь день бродила тут! — Завтра с самого утра, как только солнце поднимется, сразу пойдем...

— Да откуда ты знаешь, что завтра будет солнце? Вдруг будет дождливый день.

— А вот и отель, — точно не услышав ни одного моего слова, показала она на поворотню с надписью «Vremener Hof» между тесно стоящими домами и, не оглядываясь, пошла. Я, грохоча по булыжнику ее чемоданом, двинул за ней в низкую глубокую каменную арку, мимо еще открытых старинных кованых ворот.

И в этом отеле мы сразу получили свободный номер. В пятницу. В забитом туристами Люнебурге. В самом центре.

На следующий день мы вышли из отеля с самого утра, а вернулись за вещами, когда уже начало смеркаться. С тех пор каждый год в июле мы с любимой приезжаем сюда на несколько дней. Как сейчас.

...Ночью мы ссорились. Почти до утра. Завтрак проспали. Проснувшись, долго и бурно мирились. Когда голод все же вытаскил нас из постели, было уже около трех пополудни. Глухое время, чтобы хорошо поесть. Работают только Bäckerei да легкие кафешки. Рестораны и кафе с горячим меню откроются после пяти. Чтобы не перебить аппетит и — заодно — обмануть голод, идем бродить по любимым местам.

Сегодня любимая хочет аутентичную местную кухню. Поэтому маршрут от гостиницы сначала вверх мимо Святого Николая к старой Ратушной площади, потом, забирая влево, вниз к набережной. И там — в «Das Kleine Cafe», где подают чудесную кровяную колбасу.

Медленно бредем, взявшись за руки, выписывая какие-то круги и зигзаги, сворачивая во все боковые улочки; то и дело останавливаемся перед тем или иным домом, чтобы тихо рассмотреть наивные чудеса купеческой архитектуры. В Люнебурге можно побывать тысячу раз, но каждый раз путь в десять минут занимает здесь часы, тем более когда нужно растянуть время.

Медленно выходим с Katzenstraße на оживленную An der Münze. Сначала тихо, потом все громче, музыка и пение. Что-то классическое, знакомое. Дуэт. Сопрано и тенор. Понятно, суббота — у немцев это принято — представление для публики, в выходной семьями вышедшей прогуляться.

Я смотрю на любимую. Она уже вытянула шею навстречу музыке, прикрыла глаза.

— Будем художественную самодеятельность слушать, — злю ее.

— Да ну тебя! — злится она. И быстро шагает, не оглядываясь на меня. Исчезает за углом Waagestraße. Я за ней вприпрыжку.

Выходим на старую площадь вместе. Навесы из середины Marktplatz уже убраны, но по периметру палатки со съестным торгуют вовсю. В центре площади большой белый микроавтобус, из которого тянутся шнуры. Микроавтобус как задник сцены. Перед ним певцы. Поют под минусовку. Слушателей довольно много. И действительно, поют хорошо. Любимая решительно протискивается сквозь толпу. Я за ней. Теперь могу хорошо разглядеть певцов.

Он — оливково-смуглый, толстенький, кругленький, с большой лысиной, обрамленной длинными, до плеч, вьющимися черными с проседью волосами. В черном бархатном костюме, из которого довольно далеко выпирает брюшко, туго обтянутое белой рубашкой, на шее бархатный же широкий бант. Поет с закрытыми глазами, держит микрофон на длинном шнуре двумя руками.



Она тоже в черном бархатном платье. Стоит спокойно перед микрофоном на стойке, смотрит прямо. Прямые белые волосы. Чистая, ровная, чуть тронутая косметикой кожа худощавого костистого лица, лучистые зеленые глаза. Годы и бархат платья делают фигуру женственно округлой, сексуальной...

Закончили арию. Раздаются плотные аплодисменты. Он подает ей руку ладонью вверх, она вкладывает в его ладонь свою. Кланяются, точно на сцене знаменитого театра, торжественно и значительно.

Когда аплодисменты стихают, он говорит по-немецки, с заметным акцентом, но правильно:

— И заканчивая наше сегодняшнее выступление, мы от всего сердца дарим вам нашу любимую «Застольную» из «Травиаты» божественного Джузеппе Верди.

Он, включив музыку, поворачивается к ней. Она, тоже, вынув микрофон из стойки, поворачивается к нему. Они смотрят только друг на друга. И она начинает:

Tra voi, tra voi saprei dividere  
Il tempo mio giocondo...

Толпа замирает зачарованно. Я смотрю на любимую. Любимая вскидывает голову, разворачивает плечи, возмущена:

— Халтурят? Почему она начинает номер? Почему с середины? Но...

Tutto e follia nel mondo  
Cioe che non e piacer.

...Любимая закрывает глаза, слушает, шевеля губами...

Певцы мощно, сливаясь голосами заканчивают:

Oh, il gentil pensier! tutti accettiamo  
Usciamo dunque  
Ohime!

Они замолкают. Зрители тоже несколько мгновений молчат. Потом — аплодисменты, дольше, плотнее, чем прежде. Артисты снова кланяются. Любимая хлопает в ладоши изо всех сил, в глазах радость.

— Анжела и Анджело, — заявляю я ей.

Она сначала не понимает. Я повторяю еще значительно, точно тайну открываю:

— Анжела и Анджело.

Она смотрит на меня, как на идиота. Кивает головой на белый микроавтобус. На борту которого в обрамлении летучих нот надпись большими буквами: «ANGELA & ANGELO: Musica senza confini».

## 2.

19 ноября 1993 года меня уволили из милиции. Вернее, уволили на пару дней позже, но за *должностное преступление*, которое я совершил в тот день. Пробыл я милиционером почти два года. Когда в НИИ, где я к тому времени уже почти десять лет подвизался в младших научных сотрудниках, напрочь перестали платить зарплату, приятель устроил меня в линейный отдел. Узнав, что в армии я служил в комендантской роте, мне сразу присвоили звание сержанта. Я был рад.

...Утром на разводе нам раздали ориентировку на гражданина Италии господин Вератти. Этот товарищ, как нам рассказал капитан Шестопалов, был членом какой-то благотворительной делегации, которая приехала в Питер с гуманитарной помощью и все такое. И вот уже неделя как он пропал.

— Всем проявлять особую бдительность. Международный скандал нам не нужен, — серьезно заявил Шестопалов.

В другой день я бы, наверное, рассмеялся. С фотографии на ориентировке смотрела реально бомжовская запитая рожа, с которой трудно было совместить «международный скандал». И рожа эта — один в один — была похожа на похмельную физиономию нашего капитана.

После развода кто-то из мужиков показал газету, которую накануне подобрал в электричке. Там как раз про этого *члена иностранной делегации* на первой странице: «Пропал итальянский бомж-бизнесмен». Оказывается, итальянский алкоголик, состоявший под присмотром благотворительной миссии, напросился волонтером в делегацию, которая повезла гуманитарную помощь в Россию. Но, *как стало редакции известно из достоверных источников*, этот алкаш решил еще и сделать бизнес. Он привез с собой в Россию чемодан барахла, которое набрал бесплатно в той же миссии, чтобы здесь продать аборигенам.

С этим самым чемоданом я его и увидел. Вернее, сначала именно — чемодан.

— Глянь-ка только! — обернулся ко мне Власов, мой напарник, когда мы вошли в тамбур.

Этот чемодан сразу бросался в глаза. В сером, пошарпаном вагоне, где несколько оставшихся не заколоченными фанерой окон с трудом пропускали свет цвета жидкой грязи, гигантских размеров пластмассовый сундук блестел яркими радужными красками. А вот хозяина чемодана сразу было и не заметить. Он ничем не отличался от остальных пассажиров: помятый, замызганный... Разве что только огромным фиолетовым бланшем, который густо расплылся у него сразу под обоими глазами.

— Так это же наш клиент, — воскликнул Власов. — Пошли, палку срубим...

— Подожди, — придержал я его за рукав. — До Рамбова минут десять, никуда не денется.

Мне стало интересно.

Как только вагон тронулся, итальянец раскрыл свой чемодан, вытащил ком ярких тряпок, прижал локтем к боку и пошел по проходу. Остановился возле тетки, вытянул оранжевые трусики и стал трясти у той перед лицом, что-то горячо говоря. Она сидела, как статуя. Итальянец вытащил лифчик, потом какие-то штанишки леопардовой расцветки... Не дождавшись реакции, обернулся к противоположной скамье. Суровый мужик в камуфляжном ватнике, увидев перед своим носом это фирменное великолепие, стал медленно подниматься.

— Пошли, — сказал я. — А не то клиента нести сейчас придется.

Увидев нас, коробейник заулыбался во весь рот, обнаружив отсутствие переднего зуба, ухватил меня двумя пальцами за лацкан и быстро-быстро залопотал, тыча пальцем в мужика. Я ударил его по руке, схватил за шиворот и потащил в конец вагона. От него воняло давно не мытым телом и перегаром. Итальянец заверещал еще громче. Понять можно было только одно слово — *bandito*. Это идиотское мультяшное слово привело меня в бешенство. Я перетянул его дубинкой вдоль спины, и он заткнулся. Народ в вагоне дружно не смотрел в нашу сторону. Только одна типично ленинградская старушка поднялась со своего места и, глядя чистыми глазками из-под фетрового берета, сказала ледяным тоном:

— Не смейте бить человека!

Я швырнул человека на скамейку, с которой она встала:

— Вот, забирайте, пусть с вами сидит, караульте его. Он — преступник в розыске. А я рядом постою.

Старушка испугалась, я это увидел, но светлые глаза под беретиком твердо смотрели на меня. Она гневно повторила:

— Он — человек, — и опустила на скамейку.

Там сидела еще одна такая же — в беретике, но помоложе. Она подвинулась к окну, итальянец оказался между ними. Он плакал, но барахло свое крепко держал под мышкой.

Ко мне подскочил Власов:

— Чего ты... так? Давай я его покараулю, а ты дальше иди...

— Иди сам, — ответил я ему так, что он просто молча поставил радужный чемодан возле меня и пошел в следующий вагон.

Полудохлый полдень немного высветил окно электрички. И мутная грязь на треснувшем почти до половины окне стала еще заметнее. В день рождения любимой, когда сосущая тоска, которую я как-то за тринадцать лет научился затыкать в глубине души, вырвалась-таки... Если бы не в наряд, не надо было бы сдерживать свою ненависть к себе и ко всему миру, валялся бы дома и выл, завидуя тем, кому Бог дал счастье заглушать боль водкой.

...Обе интеллигентные дамы, точно и не чувствуя эту бомжовскую вонь, пытались разговаривать с итальянцем. Они говорили ему сначала про Петербург и Растрелли с Трезини. Потом, не дождавшись реакции (итальянец только лупил на них глаза и шмыгал носом), про Микеланджело, Боттичелли... Добрались даже до Гарибальди. Но только услышав имя Верди, итальянец оживился и радостно залопотал:

— Oh! Verdi! Но cantato in teatro, nel teatro!

Белая вспышка гнева ослепила меня. Мне было наплевать на этих прозрачных ленинградских старушек, мне давно на все было наплевать. Когда любимая ушла навсегда, я слушал ее пластинки. Ставил одну за другой на проигрыватель, пил водку, мучительно понимая, что не могу опьянеть, и слушал. Прослушав, ломал неподатливый винил через колено. Последней была «Травиата». Кулаки сжались, я уже было сделал шаг к этому вонючему бомжу...

И в этот миг дверь тамбура, на которую я опирался спиной, резко распахнулась, и я всем весом рухнул назад. Меня подхватила Анжела. И удержала.

— Извините, Петр, — испуганно произнесла она, когда я, справившись с равновесием, резко вырвал свой рукав из ее кулачка. — Я не посмотрела... — и продолжила, когда я отодвинулся, пропуская ее в вагон: — Вагоны полупустые, мест сидячих свободных много... Я не подумала... Ящик этот.

Я не слушал, что она лопочет мне в спину. От нее снова несло резким запахом дешевого одеколona. Снова напилась накануне.

...Анжела была алкоголичка. Бомжихой ее назвать было еще нельзя, она жила в общежитии бывшего ПТУ, куда комендант селил сейчас за копейки всякую сволочь. Еще она работала. Анжела всякий раз подчеркивала это, что она не такая, как эти. Подчеркивала резко, на грани смертельной обиды. Подчеркивала в каждой мелочи.

Когда мы с ней разговорились впервые, Анжела вставляла в разговор слово работа в самых разных вариантах, куда надо и не надо. А однажды, когда я подобрал ее пьяную возле платформы и, совершенно не держащуюся на ногах, потащил ее в створку вокзала, напрямик — через заросли акации, Анжела, точно вмиг протрезвев, накинулась на меня с кулаками. Она не кричала, шипела: *Я не даю кому попало по кустам! У меня есть СВОЯ постель!..* И тут же беспомощно повисла на мне.

Она мучительно стыдилась своего алкоголизма. Потому и обливалась одеколоном на следующий день после пьянки. Хотя, если не пила несколько дней, от нее пахло туалетным мылом и свежестырированной одеждой. И ее прямые волосы, уже довольно жидковатые, выкрашены были до самых корней всегда. Было ей лет тридцать-тридцать пять, наверное... Возраст алкоголички трудно определить. Костлявое лицо с высокими скулами, острый нос, запавшие бесцветные глаза, морщины вокруг глаз и у носа, нечистая, землистого оттенка кожа — можно дать и все пятьдесят. И тело — кожа да кости, плоская грудь и болтающиеся джинсы там, где должен быть зад. Но я, хоть и не спрашивал, конечно, чувствовал в ней ровесницу. Или это так влиял на меня ее голос. Красивый грудной голос...

Анжела продавала по электричкам мороженое и лимонад. От Ораниенбаума до Питера и обратно. Мы с ней пересекались по несколько раз на дню. Сначала просто проходили мимо друг друга, потом стали здороваться. Но впервые поговорили месяца через два. Она стояла со своим ящиком на Балтийском вокзале в тени газетного киоска, ждала, когда подадут электричку. Я с удивлением увидел, что в ушах у нее наушники, в руках плеер, вещь по тому времени довольно редкая и дорогая... Анжела стояла, закрыв глаза, губы ее беззвучно шевелились.

Я встал рядом, закурил. Она открыла глаза, посмотрела на меня и раздраженно отвернулась. Потом, в вагоне, я подошел к ней и сказал:

— Извини, что помешал.

Она посмотрела на меня с прежним раздражением:

— Ничего.

И потащила свой ящик дальше.

Это было еще в первой половине дня. А незадолго до конца смены, когда мне оставался последний на этот день маршрут, я снова увидел ее там же, за киоском, в наушниках. Я поздно ее заметил, чтобы повернуть в другую сторону. Наши взгляды встретились. И Анжела вынула наушники из ушей, сунула плеер в сумку. Я разозлился на нее. И на себя, что обращаю на всю эту ерунду какое-то внимание.

А она сказала мне:

— Привет.

— Привет, — ответил я и остановился возле нее.

Мы познакомились. Она отказалась от предложенной сигареты (подчеркнуто: «Я не курю»). И с тех пор, удивляя меня, она называла меня только Петром. Хотя я по привычке назвался Петей.

На маршруте я успевал перекинуться с ней только парой слов, но когда выпадало время между маршрутами и случалось, что Анжела тоже была на вокзале, сидели с ней на скамейку и разговаривали. С Анжелой было о чем поговорить. И я понял, как мне этого не хватало — просто по-человечески поговорить. Дома не с кем, а на работе — не о чем. С ней было о чем. О книгах, о живописи, о природе... Только о классической музыке мы с ней не говорили. Хотя она в самом начале по ходу разговора сделала несколько очень точных, оригинальных замечаний о Шуберте и Брамсе, вряд ли почерпнутых из учебного курса. Но тут же, точно почувствовав, как я напрягся, заговорила о другом.

Да о чем бы ни говорили, хоть про самые простые, бытовые вещи, ее интеллигентная речь, интонации, акценты так по душе были мне... Анжела была оперная певица. И родители ее были музыканты. Она окончила консерваторию в Саратове и по распределению поехала в Саранский оперный театр. Как она оказалась в Санкт-Петербурге, почему так сложилась ее жизнь здесь, Анжела не рассказывала. И я был благодарен ей за это. Мне не хотелось услышать от нее еще одну придуманную жалобливую историю, какие так любят сочинять бомжи, алкаши и проститутки.

...Она поставила свой ящик в проходе вагона и негромко, как только она это умела, но так, что каждое ее слово было отчетливо слышно даже в противоположном конце вагона, точно не дребезжал разбитый вагон, не стучали на стыках колеса, не висел внутри плотный гомон пассажиров, начала свой заученный текст:

— Мороженое! В брикетах и вафельных стаканчиках. Сливочное и ягодное. Шоколадное. Классический настоящий ленинградский пломбир. Брикетки и рожки в оригинальной упаковке по европейской технологии. Шоколадные, ванильные, фруктовые глазированные сырки. Охлажденные напитки. Минеральная вода. Лимонады завода имени Степана Разина и Польша. Пепси. Кока-кола. Спрайт. Швепс...

Летом ее товар расходился быстро. Сейчас желающих освежиться было мало. Лица, поднявшиеся навстречу ее голосу, быстро гасли одно за другим. Только мордастый мужик в шляпе махал рукой в середине вагона, подзывая Анжелу. Она подошла к нему. Он взял пестрый брикет, протянул купюру. Анжела принялась отсчитывать сдачу. И тут мужик вдруг громко, с укоризной в голосе, обращаясь ни к кому и ко всем, сказал:

— Дает же Бог непопадая кому такой голос! Ей бы в опере петь, а она по вагонам таскается, лимонад продает...

И тут Анжела вскинулась. Выронила мелочь. Выпрямилась. Глаза ее горели. Дрожащими губами бросила мужику в лицо:

— Я в опере пела. Я сольные партии пела!

Мужик громко рассмеялся. В разных концах вагона тоже засмеялись, кто так же громко, кто потише. Пассажиры в предвкушении нечаянного развлечения повернули головы в сторону начинающегося *скандала*. Мужик вспыхнул и даже привстал:

— Бутылки ты возле оперы собирала...

Анжела резко выпрямилась, бледное лицо ее совсем побелело, губы гневно сжались. Мелочь раскатилась по лужам на полу. Я ясно видел, что Анжела сейчас ударит его. Но она вдруг запела:

Tra voi, tra voi saprei dividere  
Il tempo mio giocondo;  
Tutto e follia nel mondo  
Cioe che non e piacer...

В вагоне стало точно светлее. Очарованные этим светом серые помятые люди замерли, забыв обо всем, чем были полны или опустошены за мгновение до этого. Столько человеческих лиц сразу я давно уже не видел. Я смотрел на Анжелу, как будто вернулся в счастье. Она действительно пела великолепно. Любимая научила меня чувствовать и понимать классический вокал. И она бы оценила, как поет Анжела в этом убогом вагоне.

А у Анжелы по лицу катились слезы. Не допев строфу, губы ее задрожали, и я с испугом понял, что сейчас она замолчит.

И вдруг арию подхватил глубокий, хорошо поставленный тенор:

Godiam la tazza, la tazza e il cantico  
La notte abbella e il riso;  
In questo paradiso  
Ne scopra il nuovo di'.

Взгляд Анжелы устремился в конец вагона, откуда зазвучал этот голос, туда же развернулись все лица. И голос Анжелы вновь окреп, зазвучал еще полнее, чувственнее. Она, забыв про свой ящик, медленно двинулась навстречу неожиданному партнеру:

La vita e nel tripudio...

И он — этот самый итальянский полупьяный бомж с бланшем под глазом — так же медленно шел ей навстречу. Он протянул Анжеле руку ладонью вверх, она вложила в его ладонь свою. И дуэт твердо, уверенно, чувственно закончил арию:

Godiam la tazza e il cantico  
La notte abbellà e il riso;  
In questo paradiso  
Ne scopra il nuovo di'.  
Che e cioè?  
Non gradireste ora le danze?  
Oh, il gentil pensier! tutti accettiamo  
Usciamo dunque  
Ohime!

Сначала в вагоне стояла изумленная тишина. Потом кто-то робко, негромко захлопал. И на артистов обрушился шквал благодарных аплодисментов. Поднялся шум, крики «браво!» смешались с искренним, от всего сердца идущим русским матом... А эти двое кланялись, точно на сцене самого большого театра, и даже не улыбались. Они только смотрели друг на друга. И медленно, не разнимая рук, шли по тесному проходу к выходу из вагона.

Когда они проходили мимо меня, я отвернулся.

...Вернулся Власов, сообщить, что через машиниста передал «в контору», что мы задержали итальянца. Я сказал ему, что напишу в рапорте, что только по моей вине задержанный сбежал. Благодарный Власов помог мне оттащить в линейный пункт ящик Анжелы и радужный чемодан Анджело. Так его звали, было напечатано в газете.

**НЕ ГЛУПО**

Сразу невесело становится,  
Когда тебе не улыбается  
Продавщица или парикмахер.  
Хочу, чтоб мне радовались,  
Как солнцу.  
И даже когда кровь берет из пальца,  
Пусть улыбается мне медсестра.  
Не глупо об этом мечтать.

Я точно знаю,  
Что рождена для счастья.

**НЕ УСПЕЛА**

«Манкость есть в ваших стихах, —  
Сказал поэт Владимир Корнилов, —  
Больше Хлебникова читайте», — добавил.  
И я все лето читала Хлебникова.  
Через год не стало Владимира Корнилова.  
Новые стихи показать ему не успела.

\* \* \*

Ю. Ч.

Мне ни за что не выучить  
Твой язык.  
И не прочитать твои романы,  
В которых  
Много осени,  
Одиноких людей  
И слова *свобода*.

---

Лилия Газизова — поэт, переводчик, эссеист, ответственный секретарь журнала «Интер-поэзия». Окончила Казанский медицинский институт и Московский литературный институт имени А. Горького (1996). Автор тринадцати сборников поэзии, изданных в России и Европе. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Нева», «Дружба народов», «Октябрь», «Арион», «Интерпоэзия» и др. Стихи переведены на двенадцать европейских языков. Лауреат нескольких литературных премий. Организатор международных поэтических фестивалей имени Н. Лобачевского и В. Хлебникова «Ладомир» в Казани.

Ты называешь меня  
Женщиной с бэкграундом.  
Интересно,  
Под каким именем  
Ты выведешь меня  
В своем романе...

Туда попадут  
Мои разные улыбки,  
Перчатки всех расцветок  
И еще много чего,  
О чем я не догадываюсь,  
А ты не говоришь.

Запомни, эта книга должна  
Обязательно иметь  
Плохой конец.  
Тогда она будет  
Хорошо продаваться.

### **ПРАВДА И ЛОЖЬ**

Правде ложь предпочитаю.  
Ведь она говорится словами  
Красивыми и теплыми.

Ложь — это живые цветы.  
Ложь быстро вянет.  
Правда — сухой стебелек,  
Что от лжи остается.

Правда бедным нужна.  
Бедным телом или душой.  
У меня же красивые щиколотки.

### **МИРУ МЫ**

Для гармонии миру  
Не хватало тебя и меня...  
Моих сомнений в нас  
И твоей жаркой уверенности в нас,  
В наши любовные планы.

Мир задышался без наших встреч,  
Разговоров, обид, объятий,  
Без объятий, обид, разговоров...



Миру не все равно!  
Мы нужны миру — я и ты!  
Что бы плохого о нем ни говорили...

### **ДЕЛЬФИН**

Ты любишь  
Заплывать далеко-далеко.  
Ты любишь  
Становиться недоступным для всех.  
Только мне  
Подаешь еле уловимые сигналы бедствия.  
Тогда я  
Становлюсь дельфином  
И, забыв, обо всем,  
Плыву к тебе  
И выношу тебя на берег.  
И ты долго-долго смотришь на меня,  
Точно запомнить хочешь,  
Чтобы снова уплыть далеко-далеко...

### **НЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ**

Хочешь, скажу,  
Что будет со мной и снами  
Лет через десять?

В июлях и в августях  
Мы будем оmyвать свои ноги в Каме,  
А зимой, в жгучий мороз,  
Отогреваться в кофейнях,  
Преимущественно в тех,  
Что возле метро Маяковского...

Мы не перестанем курить  
И смотреть вдвоем  
Сентиментальные фильмы...

Очевидно, что и кофе  
Не перестанет «убегать»,  
Потому что будем отвлекаться  
Друг на друга...

Твои-мои дети повьрастают,  
И мы станем чаще смотреть  
Друг другу в глаза...

**НЕ БИТЬ!**

*Доверчивых надо бить!*  
Замахнуться сильней  
И ткнуть в живот больно.  
Правда, не била я людей.  
И не буду.  
Рука не поднималась.  
И не поднимется.  
Но я знаю точно:  
*Доверчивых надо бить!*

Александр ЖДАНОВ

## ПРОСТИ, БРАТ

Я родился и провел детство на Украине, в очень уютном городе Полтаве. Там воздух мягкий и вкусный, с ароматом цветения вишни, диких абрикосов и «райских яблок». Высокие пирамидальные тополя и раскидистые акации аккуратно побелены и бесконечными рядами уходят в черные колхозные пашни. В те времена еще можно было увидеть села с белыми хатами-мазанками, покрытыми соломенными крышами, и услышать там вечерние песни, текущие из садов в сады. На огромных зеленых холмах монастыри и церкви охраняли бескрайние долины рек, неизменно текущих в Днепр.

Дом, в котором я родился, стоит в старом городе, среди маленьких скверов, больших парков, каштановых аллей и пешеходных улиц. Там сейчас живет мой двоюродный брат. Мы видимся редко, в основном друг другу пишем.

Еще школьником я переехал в Москву, и привязанность к родным местам потихоньку стерлась. Каждый приезд на Украину был радостным и ностальгически теплым, но я все больше чувствовал себя гостем. Раньше все говорили на русском, украинский был только в деревне. Отъезжая от города на двадцать километров, ты попадаешь в совершенно другую страну, там жили иные люди, они общались на не вполне понятном, но очень певучем и красивом языке. Загорелые, крепкие, как боксерская груша, колхозники были удивительно простодушными, добрыми и застенчивыми.

### Начало

Все изменилось в жизни после киевского Майдана. Революция сметала то доброе, что было между русскими и украинцами. Общая история и родство не могли спасти нас от агонии взаимного отторжения.

Мы с братом общались, стараясь не затрагивать политические темы, они болезненно разрушали нашу близость и радушие. Крым, Одесса, русские на Донбассе — все эти темы нас отдаляли друг от друга навсегда и так стремительно, что скоро мы перестали общаться совсем.

Через шесть месяцев молчания мне неожиданно написала жена брата:

*<...@ukr> 31 дек. 2014 в 18:55*

Саша, здравствуй, это Наташа. Я не могу найти Славу уже два месяца. Я не знаю, что делать. Он уехал на Донбасс. Наши не знают, где он. Донецкие говорят, у них тоже его нет. Помоги. Я с ума сойду.

<...@ru> 31 дек. 2014 в 19:07

Здравствуй. Расскажи, где он был и когда ты говорила с ним последний раз.

<...@ukr> 31 дек. 2014 в 19:10

Его призвали. Летом он был под Мариуполем, потом где-то на Саур-Могиле, там его ранили, он лежал в госпитале, потом побыл дома и поехал под Иловайск, там они попали в котел. Их вывез вовремя командир, но уже тут командира судили, а их переформировали и отправили опять. Через две недели он позвонил из Марьинки под Донецком. Потом звонил еще два раза, последний раз третьего ноября, связь была очень плохая, я ничего не поняла, слышала только: «Позво-ни...», несколько раз. И все. Никто не знает ничего. Там же рядом этот Аэропорт проклятый. С него уже столько привезли убитых, соседке зятя оттуда привезли. Может, знакомые есть? Помоги.

<...@ru> 31 дек. 2014 в 19:23

Понял. Буду узнавать. Зачем он второй раз поехал, не навоевался?

<...@ukr> 31 дек. 2014 в 19:31

Ой, не знаю. Идеальный стал. Я уже молчу. Другие лишь бы сбежать оттуда, а ему же надо шо-то. Побыл дома две недели, потом собрался и уехал.

Непонятно, что делать — Славка мне брат, и все мое детство связано с ним. Но он выбрал свой путь, нашел себе войну, и там, само собой, с ним случилось что-то нехорошее. Мне очень жалко страдающих людей, но что я могу? Человек сознательно пошел воевать. И потом, на Донбассе я никогда не был, знакомых у меня там нет, мои друзья никак не связаны с событиями на Украине, все, что я слышал и видел, только репортажи оттуда.

Я колебался: брата я вряд ли найду, и ехать туда — это дикая авантюра. С другой стороны, я чувствовал, что мне будет стыдно перед самим собой, если я останусь «на диване у телевизора» переживать происходящее там. Информация о событиях на Донбассе противоречивая, и в ней много пропаганды. Весь год я смотрел выпуски новостей и тяжело переживал происходящее на Украине. Я решил ехать и увидеть все своими глазами.

## Вход

Начал обзванивать знакомых. Выяснилось, что мой товарищ часто ездит в Ростов-на-Дону. Там он общался с Романом, который воевал в ополчении, был тяжело ранен. Я созвонился с этим человеком, он выказал готовность помочь, я собрался и поехал. В Ростове меня встретили с южным гостеприимством и казацкой деловитостью: накормили, напоили, довезли до границы с Донецкой Народной Республикой, обеспечили сопровождение и сказали: «С Богом!»

Россия со мной простилась и опустила полосатый шлагбаум за спиной. Дорога перестала быть расчищенной и скрылась под слоем льда. Долгие снегопады и отсутствие дорожных служб превратили некоторые районы ДНР в территорию экстремального перемещения в пространстве. Очень холодно, дикий ветер, деревья обрублены обстрелами, ледяная дорога покрыта воронками величиной с машину.

Мой новый товарищ, «сепаратист» Серега, с военным позывным «Кот», встретил меня на границе. Высокий, худющий, жилистый, немногословный человек всю жизнь проработал шахтером, был мастером участка, получил инвалидность после аварии в забое. Серега вез от границы продукты в приход отца Олега. Ба-

тюшка при храме организовал столовую для неимущих односельчан, кормили около ста человек в день.

Огромное село: едешь-едешь, и ни конца, ни края. Наконец-то доехали до храма. Крыша посечена осколками, измятая маковка с крестом стоит на земле. Ограда вся в дырах от взрывов. Откуда-то раздавались песнопения, отец Олег вышел из-за храма с прихожанами, несущими хоругви и иконы. Еще круг крестного хода, и все зашли в храм, после пошли обедать.

За столом помолились и сели кушать. Отец Олег посадил нас рядом и рассказал, как прошло лето:

— Они ж, бесы, нам разбомбили водокачку, а жара стоит, рятуй Боже, вода кончилась, а село большое, колодцы выпили через день. Ну, шо делать, собрал народ и распределил время у колодцев, шоб не дрались. А возле села в балке бьет крыныця, мы сделали дамбочку, запрудили ручеек и стали ходить за водой. Так эти черти пытались попасть минами в тот источник, то ли развлекались, то ли пьяные. Спасла все село крыныця, сделаем на ней часовню после. Урожай сгорел без воды, собрали только картошку. Обстреливать стали со стороны Никишино после этого бедного «боинга». Эти ж малазийцы, Царствия им Божия, полетели на нас, как птицы, падали на дорогу и проламывали крыши домов, на проводах висели, в школу два упали, помилуй Боже, три жителя с ума сошли.

### Территория бездны

Я попросил «сепаратиста» Серегу помочь мне найти брата. Он сказал, что есть три варианта: «...лежит в морге неопознанный, пленный или в полях прикопан своими. Тех, которые в полях, вообще неизвестно, как искать, если попал в Донецкий аэропорт и погиб, то там таких сотни, их не увозят или не могут найти в развалинах. Короче, надо ехать искать среди пленных или в моргах. Подумаем... Поехали домой, там Таня ждет с ужином».

Вечером к Сереге обратились за помощью:

— «Кот», дорогой, помоги, машины с гуманитаркой на посту у «Чеха» стоят. Он же твой?

Иногда случались спорные ситуации между различными группами ополченцев по поводу прохождения техники и грузов через подконтрольные им блокпосты. Сереге позвонила женщина, которая отвечала за обеспечение гуманитарной помощью детских домов, больниц и тюрем, тоже оказавшихся в обездоленном положении.

— Утром с машинами разберемся. У тебя ж пленные на базе есть. Возьми человека с собой, он ищет брата среди них.

Утром мы встретились на посту у «Чеха». Так я познакомился с «Ялтой»: молодая, рослая, красивая женщина с низким севшим голосом и волшебной улыбкой. Зеленый камуфляж не мог скрыть прекрасную фигуру, которая заставляла замолкать и взволнованно оборачиваться всех мужчин. Ее очень уважали за прямоту и бескорыстность. Раньше она была Шухминой Настей, учителем русской литературы в Луганске, дома мама и сын, муж погиб под поселком Счастье.

Благодаря доброжелательным действиям Сереги инцидент с машинами для «Ялты» был разрешен. Блокпост «Чеха» находился в зоне обстрела со стороны Никишино, но расположение за горкой прикрывало его от снарядов артиллерии. Нехитрое оборудование для быта: кунг-бытовка, армейская палатка, флаги — со Спасом и Новороссии. В «оружейке» топится печь-буржуйка с закопченным чайником, нарезано сальцо, спит пятнистый серый кот, потерявший где-то хвост. Нас радуш-

но приняли, угостили водкой, мы выпили, обсудили недоразумение, посмеялись и распрощались.

Меня взяла к себе «Ялта», и мы поехали вслед за ее спасенными машинами. Ехали через многочисленные блокпосты, старые шахты с гигантскими курганами, через поля вдоль посадок изувеченных войной тополей, через ободранные горняцкие поселки, построенные в эпоху развитого социализма. Обветшание тотальное. Снегом прикрыло окопы, блиндажи, воронки и могилы. Вокруг остатки украинских лагерей: окопчики, изодранные пленочные навесы, мусор, ржавые железяки и пулеметные гнезда из мешков с углем, высыпающимся в лохмотья простреленных дыр. Фронт и теперь недалеко, где-то глухо бахает, как в новогоднюю ночь хлопушки в соседних дворах.

— Почему твой позывной «Ялта»? — спросил я.

— У нас с мужем лодка «Ялта» стоит в Балаклаве, мы с ним обошли под парусом все Черное море по кругу. Прости, сейчас будет километра два плохих, снайпер часто работает, наши минометчики все пытаются ее накрыть. Но пока никак.

— Ее?! — спросил я.

— Позывной «Чурай», в Интернете выкладывала фотографии с мужем, они вместе воюют. Красивая девка, гадина. Два водителя моих здесь погибли, везли продукты в детдом.

Приехали на базу к «Ялте»: это серые бетонные цеха бывших ремонтных мастерских на краю опустевшего поселка. Ворота на территорию открыли люди с автоматами и в камуфляже. На базе жили два десятка пленных украинцев. Они разбирали завалы после обстрелов, помогали ровнять и сваривать искореженные газовые трубы, чинили водопровод, школу, больницу.

— Где наши «укропчики»? — обратилась «Ялта» к одному из встречающих нас ополченцев.

— Токо пришли с работы, едят.

— Пусть поедят, и на разгрузку, машинам надо обратно.

Мы зашли в бетонный бокс, пахло соляжкой и печной копотью. Было прохладно и тускло. В углу на сколоченных нарах сидели люди и молча ели что-то из мисок. Крепкий седой мужчина в возрасте отложил свою миску, подошел к нам и обратился к «Ялте»:

— Доброго здоровячка. У нас Захару дужэ плохо, мий кум. Трэба врача.

— Утром приедет к нашим, я просила в комендатуре, и его посмотрит. Иваныч, поговори с человеком, он среди ваших брата ищет, с ним можно откровенно.

— Слушаю вас, — тихо обратился ко мне Иваныч. У него были очень добрые и усталые глаза.

— Вы поешьте, потом поговорим, хорошо? — сказал я и вышел из бокса на улицу. Я проникся сразу к этому человеку, не могу и не хочу верить, что он убивал. Не могу воспринимать эту дикость.

На базе бегали собаки: они виляли хвостами, кланялись и возбужденно тявкали. Двор — каша из угольного снега и промасленной черной земли. Я сел на перевернутую старую стиральную машину, лежавшую возле кучи другого хлама. Пленные неспешно вышли на разгрузку машин. Собаки, поскуливая и зевая, крутились возле меня. Подошел Иваныч, спросил закурить, у меня не было.

— Иваныч, у меня брат из ваших, пропал. Последний звонок в начале ноября изпод аэропорта. Я из Москвы, я не следователь. Мне брата надо найти, поговори со своими, а я тебе помогу, чем смогу.

— Добре. Утром. Шо в Москве?

— Тихо.

— Хвала Богу, где-то тихо. Прошу звонять, я пойду.

На базе из ополченцев оставался на ночь только дежурный патруль. Мы поехали с «Ялтой» и тремя ополченцами на ночевку в поселок. На улице была темень, лаяли собаки, иногда где-то далеко громыхала артиллерия. Фонарь горел только над покрашенным золотой краской памятником Ленину. Из плеч торчала арматура, вождь мирового пролетариата на этой войне совсем лишился головы. Вечерняя жизнь поселка собиралась под этим монументом. Когда мы подъехали, о чем-то оживленно говорили две бабушки и очень нетрезвый дядя. Увидев «Ялту», они пошли к ней навстречу и «взяли ее в плен». Что, когда, почему? Вопросы были о гуманитарной помощи. Бабушки были напористые и бодрые, дядя рассеянно поддакивал. «Ялта» говорит с ними из последних сил, кивая головой, вяло улыбаясь и пытаясь проститься.

Быт ополченцев нехитрый, в опустевшей хате они прибрались, как смогли, и организовали маленькое общежитие. Засыпали в печку угля, вскипятили чайник. На ужин был сладкий чай, сухой белый хлеб с салом и порезанным на дольки яблоком. «Ялта» занимала отдельную маленькую комнату, остальные расположились на матрасах, наваленных в общей «зале» под выцветшими иконами и портретами безымянных хозяев хаты, уехавших от войны.

Утром мы позавтракали так же, как поужинали, и вернулись на базу. «Ялта» распределила пленных по работам, пять человек оставались на складе фасовать приехавшую «гуманитарку». Конфеты, сделанные на фабрике украинского президента, Иваныч раскладывал в подарочные пакеты для детского праздника.

— Доброе утро, Иваныч, поговорил?

— Добрэ, добрэ, — произнес он глухо и тихо, не поднимая головы и продолжая свою работу. — Хлопци ничего нэ скажуть, скоро обмен, поедем до дому. Хлопци боятся.

— Не знаю, где искать. Ты откуда, Иваныч?

— Я з Почаева. Тоби волонтеры нужны, воны бувають везде. Багато знают. А може, в морги надо.

— Я могу тебе помочь?

— Захар помэр утром.

## Донецк

Мы прощались с «Ялтой».

— Настя, прошу тебя, узнай по своим: Слава Истомин, на плече парашюты, сорок лет, может, кто-то знает. Если доберусь до дома, организую вам помощь.

— Я постараюсь, езжайте с Богом.

Тело Захара затащили в кузов военного грузовика, и мы с водителем повезли его в донецкий морг. Водитель, ополченец с позывным «Салют», всю дорогу что-то рассказывал. Про родную Горловку, про техникум, жену, тестя, начало обстрелов, как снаряд попал в квартиру под ним, там погибла вся семья. «Меня в аэропорту подстрелили, веришь, песню ору! Меня пацаны потащили, а я в шоке песню ору, они кричат: „Заткнись!“, а я ору. Потом оказалось, что в живых только мы остались, я и двое, которые меня тащили, остальных накрыло минами через пять минут».

В Донецке мы оказались в «плохой» день: рано утром группа диверсантов въехала в город на мусоровозах, в контейнерах находились минометы. До сих пор мусоровозы не осматривали на блокпостах, и этот остроумный и бесчеловечный план сработал.

Диверсанты изнутри обстреляли несколько районов города. «Качественнее» всего им удалась стрельба в микрорайоне Боссе, там погибло пятнадцать человек в троллейбусе, трамвае, на остановке и в кафе, пострадали дома и магазины. Террористов искали всем городом, на перекрестках появились мобильные пикеты ополченцев, проверяющих документы и машины. К полудню часть вражеских машин была найдена. Глухая канонада доносилась из воюющего пригорода, там шел интенсивный бой. Жилые поселки вокруг аэропорта на километры стоят пустыми и разрушенными, ветер гуляет в некогда богатых домах. Районы города, которые в зоне досягаемости артиллерийских обстрелов живут с заколоченными фанерой витринами и окнами, сгоревшими магазинами и обложенными мешками с песком заправочными станциями.

Через пикеты ополченцев мы пробирались к донецкому моргу. Он оказался недалеко от места утреннего теракта, и мы невольно стали свидетелями последствий атаки диверсантов. Изувеченная техника в крови, полностью выбитые стекла в огромных домах, сгоревшие машины, журналисты, снимающие репортаж, и военный корреспондент-англичанин, беседующий с очевидцами и сотрудниками ОБСЕ, которые что-то измеряют рулетками.

В морге мы выгрузили Захара, «Салют» уехал. Ополченец «Купидон» был прикомандирован к моргу, он разбирался с поступающими военными. Я объяснил, что ищу украинского солдата средних лет с татуировкой парашюта и крыльев на руке.

— Жди, — сказал «Купидон» и объяснил, что сейчас везут из Боссе гражданских. — Приходи после двух, пока никак: твоего искать надо, перерывать целую кучу. Водки себе возьми.

Он был прав, водка пригодилась, и перерывать целую кучу пришлось. Опыта такого в моей жизни раньше не было, опыт жуткий. Там находились тела разной сохранности, в зависимости от того, сколько они пролежали на месте гибели. Некоторых нельзя было опознать вовсе, уже даже не тело. Были неопознанные солдаты и украинские, и ополченцы, и гражданские. Хлопцы всех возрастов и комплекции, были и очень молоденькие, и грузные.

— Почему их не забирают? — спросил я.

— Тем они уже не нужны, только волонтеры приезжают. Наших, если опознали, хоронят или отвозят домой, а остальных через время на военное кладбище и там с почестями. Недавно «Кот» своих двух забирал, они под Саур-Могилой хоронят.

Я вышел из морга на воздух пьяный и одуревший, я не был готов ко всему увиденному. Вышел и «Купидон», закурил. Три дня я ездил по моргам Донецка, Горловки, Енакиева, Шахтерска, Макеевки и Луганска, брата не нашел.

### Дальше

Где-то мне дали телефон украинского волонтера Красного Креста Зои Тарасовны Богудар. Она занималась формированием списков для обмена пленными, перевозила на родину мертвых солдат украинских и донецких, эвакуировала детей из зон обстрела. Зоя Тарасовна посоветовала связаться с отцом Владимиром из Горловки, который постоянно ездил через линию фронта. Он поможет мне приехать к ней в Краматорск искать брата в их списках и моргах.

Ситуация на фронте разделила Донецкую епархию пополам, и священникам приходилось постоянно пересекать линию противостояния для служения в дальних приходах. Со временем это становилось все сложнее, украинские военные недолюбливали «путинских попов», как они выражались. Отец Владимир научил меня



науке пересечения линии фронта, искусству беседы с бдительными гайдамаками, покормил и благословил «на дорожку».

Небольшая автостанция в Донецке, откуда отъезжают междугородные маршрутки, вчера была обстреляна артиллерией. Несколько растерзанных палаток, раскоряченный тополь и сгоревший остов такси как памятка войны среди мирно ожидающих отправления автобусов и пассажиров.

Бабушки разложили на коробках скромные товары своей торговли: остывшие пироги с картошкой, буряк, чеснок, кусочки сала, завернутые в целлофан, тертый хрен и прочие домашние консервации в баночках. Рядом бегали неприкаянные собаки, заискивающе глядя на людей, намекая на возможность покупки дивных пирожков и получение своей доли в виде тестового хвостика за прекрасную подсказку.

Автобус тронулся, проезжаем поселки и города, которые срастаются между собой, образуя бесконечную вереницу населенных пунктов. Периодически автобус останавливается на блокпостах, заходит ополченец, проверяет документы либо указывает безопасный объезд вокруг зоны ночного обстрела.

Два года назад здесь проходил чемпионат Европы по футболу, были построены прекрасные дороги, развязки, мосты и аэропорты. Все пошло прахом, перепаханно артиллерией и расстреляно танками, они ездили поперек металлических дорожных отбойников и заграждений, дорожных знаков и остановок, как бы не замечая их в своем стремлении все поломать и разрушить.

Автобус прибыл на границу. Последний блокпост Донецкой Республики укреплен и обустроен очень тщательно. Бетонные блоки, мешки с углем вокруг пулеметных гнезд, окопы, блиндажи, жилые кунги, армейские палатки и, конечно же, флаги. Проверяющий документы ополченец полистал мой российский паспорт, внимательно меня рассмотрел и спросил, точно ли мне туда надо? Потом поднял брови, отдал паспорт и тихо произнес: «Ну, ну... Удачи».

### Приехали

Почему-то я был спокоен. Видимо, реальность происходящего так абсурдна и нелепа, что ты не можешь в нее поверить. Как будто ты попал в фантастическое кино, где в конце сценаристы красиво разрулят сюжет и все будет хорошо. Но на деле сценаристы отвлеклись и забыли эту пьесу, а действующие лица, как оборотни, превращаются в диких зверей. Моя соседка в автобусе — бабушка, которая ехала переоформлять пенсию, — рассказывала, как летом из такого же автобуса, в Амвросиевке, вывели пассажиров для проверки. У двух парней в сумке нашлись георгиевские ленточки, солдаты отвели ребят в лесопосадку и расстреляли, а после фотографировались над ними, позируя с оружием и обнимаясь с сослуживцами.

Мы проехали нейтральную зону и остановились на украинском блокпосту. Пассажиры начали заметно волноваться и переглядываться. Солдат попросил всех выйти из автобуса для проверки документов и вещей. Все молча и покорно выстроились вдоль автобуса со своими сумками. Началась неторопливая процедура проверки граждан и содержимого их багажа. Отдельный интерес представляли мужчины: их осматривали на предмет наличия характерных следов боевых действий — мозоли от стрелкового оружия на пальцах и ладонях, автоматного ремня на плечах и так далее. Я был совсем замечательным поводом для экспертизы: мужчина средних лет, российский паспорт, место рождения Полтава, въехал на Украину че-

рез неподконтрольную Киеву территорию и неизвестно, что там делал. Молодой солдат, проверявший меня, сразу понял, что со мной случай особый, и отвел меня к командиру со словами, обращенными к водителю автобуса:

— Езжай, этого не жди.

В большой армейской палатке докрасна раскалилась печка-буржуйка, было тускло и тихо.

— Семеныч! — прошептал солдат в пустоту.

Ответа не было.

— Семеныч! — еще раз попытался он.

— Шо? — глухо буркнул кто-то из-под одеяла, которое заворочалось в углу.

— Россиянин какой-то, шо с ним делать? — спросил солдатик.

— В «Шинок», до вечера, — проговорил тихо Семеныч и перевернулся с боку на бок.

— Выкладывай сюда все, — сказал мне солдатик, я достал все из карманов и рюкзака.

— Пошли, — сказал мой конвоир и взял со стола ключик со шнурком.

«Шинком» называли пункт временного содержания для непонятных лиц, располагался он в израненной кирпичной будке смотрителя, возле разбитого железнодорожного переезда. Там уже содержались какие-то личности, и они очень хотели пообщаться с солдатом, но дверь хлопнула за мною, и все сидельцы остались в темноте и без ответа.

Было темно, прохладно, пахло туалетом и плесенью. В темноте я услышал два голоса. Один, печальный, тяжело вздохнул; другой, раздраженный, громко выругался. Я прислонился к стене, покрытой крупными сухими хлопьями облезающей краски. Ко мне подошел обладатель раздраженного голоса и спросил:

— Шо там?

Я ответил:

— Надо ждать.

— Шо ждать, шо ждать, скоко можно ждать?! — разразился гневом голос, и какое-то время сыпал густой бранью, расхаживая по нашей камере. Время тянулось, ничего не происходило. Мои сокамерники пытались меня разговорить и что-либо выведать о моем прошлом и нашем с ними будущем. Я молчал. Настроения общаться не было, я сполз по стене, сел на корточки и затаился.

Ноги затекали, приходилось их разминать и растирать. Очень долго ничего не происходило, время меняет в заточении обычный свой порядок и надолго пропадает. За дверью послышались два голоса, потом бряцанье замка, и дверь открылась. Не заходя в «Шинок», открывший дверь солдат заглянул и назвал мою фамилию, я откликнулся и вышел к нему. Здесь же стоял еще один. Солдат запер за мною дверь.

— Э, а мы! — заорал раздраженный голос из «Шинка», и дальше последовала очередь нецензурной лексики.

На улице стемнело, было свежо и прекрасно. Ноги не очень слушались, спина задубела, я поковылял по тропинке к блокпосту, как на ходулях, слегка согнувшись. В палатке, где спал Семеныч днем, было много народу, накурено, натоплено и шумно. Слева от входа лежал на носилках человек с забинтованной головой, укрытый армейским бушлатом. За столом под лампочкой сидели солдаты, что-то горячо обсуждали, спорили громко и грубо. На столе были бутылки, еда и переполненные окурками консервные банки. Я вышел на свет лампочки из полумрака. Присутствующие обернулись и уставились на меня с недобрый прищуром. Сидящий на кровати Семеныча заговорил.

— Откуда и куда едешь? — спросил он спокойно и четко, держа в руках мой паспорт.

— Ищу брата, он воевал в подразделении «Миргород». Последний раз он говорил с женой из-под аэропорта в ноябре. В донецких моргах я его не нашел, еду в Краматорск, к Зое Богудар.

— Где границу пересек?

— В Ростове, как называется место, не помню.

— Не помню, — раздраженно сказал мой собеседник. — Там два взвода моих хлопцев осталось в поле. С кем из «колорадов» общался в Донецке?

— Я приехал к батюшке Владимиру в Горловку, он помогал, — произнес я версией, заготовленную отцом Владимиром.

— Это какой, старый и маленький?

— Это который в Константиновку ездит? — подключился к разговору еще один боец.

— В возрасте, роста маленького: он, наверное, — сказал я.

— Что «наверное», что «наверное», ты шо, не помнишь, тебя спрашивают — отвечай, а то ты сейчас быстро у меня все вспомнишь, москаль! — вдруг заорал на меня третий.

— Жека, хорош, дай поговорить, — вмешался первый. — Где живешь?

— В Москве.

— Короче, красавец, мне с тобой некогда разбираться, пусть тебя СБУ пробирует. Мы сейчас сменяемся, поедешь с нами, в Краматорске сдам тебя «особистам». Хромой! — крикнул он, в палатку сунул голову боец, проверявший меня утром. — Собери его шмотье. На, паспорт его туда же кинь. В кузов его, с нами поедет. Приглядывай за ним. О, пусть пацанов грузить поможет.

Разобрались солдатики со мной оперативно и продолжили ротацию со своими сменщиками с разливания водки по кружкам. Я пошел с Хромым к другой палатке, в ней лежали два мертвых солдата, мы их погрузили в кузов «Урала» и пошли в теплушку дожидаться отъезда. Я скукожился в углу и постарался прикорнуть. Было накурено дико, солдаты пили и гоготали, рассказывали друг другу истории о военной удали и недостойности противной стороны. Я ужасно устал, день в «Шинке» высал меня, и я попытался затеряться, посидеть и поспать в тепле на окраине этого мира.

Спал я пять минут или пять часов, не знаю. Картинки, гуляющие от реальности до сновидений, от бреда и ужаса до счастья, что этот бред и ужас был сном... Прекрасная голубая гладь, штиль, паруса висят, ветра нет. Идет гроза с гор. Где-то тихо бухнуло. Вспышка и грохот. Повсюду громко, взрывы, оглушительные взрывы. Рядом стало долбить что-то, потом вспышка, еще, еще. А-а-а-а, больно, больно, больно.

Почему-то ледяной воздух, я упал в грязную кашу, замерзли пальцы, болят пальцы. Огонь рядом. Сильно горит. Я пополз от огня, встал и пошел чуть быстрее, побежал. Взрыв. Я упал и оглох, в голове дико стучал пульс, почему-то Утесов пел: «...разгорелся наш утюг...»

### Счастливчик

Белое перед глазами. Халат, склонившийся надо мной. Пуговица. Золотой крестик на цепочке качается, разрез женских грудей, пленительной воронкой уходящий в халат. Трогаю.

— О, цэй жить будэ! — произнес женский голос в небесах и засмеялся, потом тишина.

Просыпаюсь, горит тело, больно... Через два дня было так же плохо, но я уже мог различать явь. Медленно я привыкал к новой реальности. Госпиталь. Больше

ничего не понимаю. Женщина очень добрая, колет что-то, когда я ору сильно. Плохо пахнет. Женщина сказала:

— Обезболивающих мало, не ори.

Слюна льется на подушку, когда тяжело глотать, на боку плохо, на спине больше не могу. Лежу на животе, все хорошо, но стреляет по спине.... Невыносимо.

Через неделю спала температура, я начал чего-то соображать, Где я? Почему так плохо пахнет?

— Ксюша, Ксюша! — стонали все.

Оказалось, что я под Краматорском, в районной больнице. Как я здесь оказался, никто не знает, привезли из зоны АТО, и все. Кого привезли со мной, тоже никто не знает. Мои документы, телефон и мои вещи сгнули. Рядом со мной лежал парень с забинтованным лицом, только рот был виден из-под бинтов. Через два дня он умер, и его унесли, на его койку положили старика с переломанной ногой из села неподалеку. Дедушка был очень разговорчивый и рассказывал без конца совершенно ненужные мне подробности своей жизни. Временами мне хотелось чем-то хлопнуть по его говорящей голове. Не имея такой возможности, я прятался под одеяло и вспоминал мультики, кино и стихи. Большим утешением и отрадой была медсестра Ксюша. Ей было под сорок. Имея выдающиеся формы тела, не совсем помещавшиеся в больничный халат, она радовала мужчин своим появлением в палате. Веселые разговоры и слегка пошлые шутки в свой адрес она воспринимала с благосклонным кокетством и считала их частью терапевтического арсенала медсестер.

Я попросил Ксюшу разыскать Зою Тарасовну Богудар и сообщить обо мне.

— Тарасовну?! — воскликнула Ксюша. — Так вона тильки вчора приїжджала, привозила раниених!

Выяснилось, что Тарасовну знает пол-Украины: она, как Доктор Лиза, прославилась своей неугомонной и бескорыстной помощью всем нуждающимся. Слава богу, я нашелся, Ксюша сообщила Тарасовне, она — отцу Владимиру в Горловку, а он — моим близким в Москву.

Главврач сказал, что ранение мое было болезненным, но не опасным для жизни. Лежать мне осталось неделю, потом тихонько, короткими перебежками надо разгуливаться. Я был настроен весело, ходил в больничном коридоре, придерживаясь стены, чуть сутулясь и прихрамывая. Я шел мимо операционной с запахами нашатырного спирта и мази Вишневского, мимо туалетов с запахом табачного дыма и хлорки, мимо кухни с запахами горохового супа. В конце длинного тусклого коридора я подходил к окошку с приоткрытой форточкой, смотрел на почти весеннюю погоду, вдыхал ее свежесть и разворачивался обратно.

Когда оставалось два дня до выписки, ко мне пришел Василий Данилыч Шлык из Службы безопасности Украины и беседовал со мной три часа. Он подробно описал мою биографию, перечислил родственников, живущих на Украине, детально рассказал об обстоятельствах пребывания на территории, «временно контролируемой сепаратистами», а также об обстоятельствах ранения и потери документов. Исключая некоторых знакомых на Донбассе, в своей «объяснительной» я поведал следователю все честно и подробно, поскольку не чувствовал за собой никаких прегрешений перед Украиной. Василий Данилыч сказал, что мне необходимо явиться к нему после выписки из больницы, а он уже сегодня отдаст мои данные на проверку. Прощаясь, он улыбался, обещал помочь со справкой об утере паспорта и называл меня «счастливчиком».

Я наивно полагал, что во время военных действий можно легко и просто доказать свою непричастность к противной стороне. Все оказалось сложнее. Появившись

в кабинете у следователя Шлыка, я узнал, что наводчиком для обстрела артиллерией «сепаратистов» блокпоста являюсь я, и мне придется признаться в этом либо по-хорошему, либо по-плохому. Мои доводы, что у меня при себе ничего не было и весь день я просидел в «Шинке», следователь не слышал. Той ночью оба блокпоста друг друга уничтожили, жертв было много, я один из немногих уцелевших, и все указывает на мое участие в качестве наводчика.

— Александр, посуди сам. На этом участке постреливали понемногу, а ты появился, и тут же из пушек обстреляли. Ну?! — строил логическую цепочку следователь.

— Я приехал на этот блокпост утром, меня задержали и посадили под замок. Вечером меня должны были отвезти в Краматорск и передать в СБУ. Пока шла смена подразделений, начался обстрел. Я спал.

— За шо передать в СБУ?

— Для проверки, кто я такой.

— О, хлопцам, значит, ты тоже показался подозрительным. Царство им Божие. Александр, не ломайся, у меня дел по горло с вашими... — по-доброму уговаривал меня Шлык.

— Я ни при чем, ехал искать брата, хочу связаться с российским посольством, — пробормотал я.

— Какое посольство?! Подонок, там хлопцев поубивало, ты расскажешь мне, с какой ты части, и где стоите, и кто командир. Сволочь, кто в Харькове тебя должен встретить?! — проорал багровый следователь. Он орал долго. Я молчал, говорить было мне нечего. — Завтра тебя будут бить, готовься! — закончил свой допрос Шлык и приказал увести меня в подвал.

В подвале было сухо, чисто и тихо. Меня завели в небольшое помещение без окна, свет проникал из коридора через зарешеченную фрамугу над дверью. В камере уже сидел один квартирант, молодой парень в камуфляжной форме и в берцах без шнурков. Я прилег на пол в углу и закрыл глаза. Сокамерник заговорил со мной:

— Слышь, тебя как зовут? Эй, спишь? Ты у какого следователя? Эй, слышь!

Я не подавал признаков бодрствования, дико болела спина, все, чего мне хотелось, это оказаться в палате у Ксюши и любоваться лежа, как она надо мной подвешивает капельницу. Подальше от этого бреда! Но, кажется, Василий Данилыч очень меня полюбил и просто так расстаться со мной не захочет.

На следующий день не били, повторился такой же безрезультатный допрос. Есть не давали, попить можно было в туалете из-под крана, когда дежурный сжалится и ответит в уборную. Мало-помалу пришлось общаться с моим сокамерником, звали его Костя. Он обвинялся в дезертирстве, и скоро его собирались судить. Он командовал небольшим подразделением и, будучи сугубо мирным человеком, старался уводить своих солдат от крупных боевых столкновений. С командиром «сепаратистов» с позывным «Сапер», отряд которого стоял напротив, он договорился не стрелять без большой нужды.

— Ты понимаешь, там такие же хлопцы. У меня в роте народ гражданский, им эта война до лампочки. Они домой звонят, чуть не плачут. Никому она не нужна, кроме шоколадников в Киеве.

Как-то ночью «Сапер» вызвал Костю на разговор в лощинку между их блокпостами и сообщил, что подтянулась артиллерия.

— Спасибо, брат. Прощай. — И я отвел тихо своих...

Утром артиллерия ДНР уничтожила блокпост противника, расчищая дорогу для наступления. Через день украинские войска отбили обратно эту территорию. Людей своих Костя спас, но командование назвало его действия предательским отступлением. Я рассказал про брата. Он сказал, что подразделение «Миргород» стояло

южнее их, но потом их отправили куда-то за Енакиево, он прекрасно знал их командира Вовку с позывным «Подол».

Через три дня дали поесть, Костю увели, и он больше не вернулся, а ко мне подсадили двоих: один гражданский, другой с перебинтованной ладонью в камуфляже. На допрос меня не вызывали. Признаться, я потерял счет времени. Отмечал, что меняются дежурные в карауле, но как долго это длится, уже не понимал. Безвозвратно увели военного, подсадили на следующий день двух азербайджанцев, что-то не то они везли через границу. Я не понимал, что меня ждет, перестал об этом думать, просто слушал бесконечные истории этой войны и ходил по камере, как рекомендовал доктор, «короткими перебежками».

Было утро, караул сменился. В коридоре лязгали замочки, шаркали каблуки и гулко бухтело эхо разговоров охраны. Наша дверь отворилась, и караульный пригласил меня на выход, отвели в кабинет следователя. В окно било яркое солнце, я сидел на стуле в центре комнаты, охранник стоял у дверей, следователя не было. Вошел какой-то солидный господин с девушкой.

— Ваш? — спросил господин, указывая на меня.

— Мой, ура! Слава богу, нашелся, — ответила незнакомая девушка.

Я следил за этим абсурдом молча, боясь помешать процессу присвоения моей персоны девушкой.

— Забирайте своего «счастливчика».

Я где-то расписался, получил справку об утере паспорта на бланке с трезубцем, пожелал удачи своему освободителю и направился к выходу. Прекрасная незнакомка взяла меня под руку и, сияя от счастья, повела по коридору на свободу!

### Тарасовна

Зоя Тарасовна Богудар оказалась молодой женщиной маленького роста, сухонького телосложения, с темно-рыжими короткими волосами, ослепительно голубыми глазами и веснушками по всему лицу. Она была в джинсах с дырявыми коленками, в черной майке с огромным красным языком эмблемы «Роллинг стоунз», в кедах и длинном замшевом пальто с капюшоном. Она говорила с необычайной скоростью и много, высоким голосом с очень детской интонацией.

— Сперва кушать, кушать, кушать, вы же хотите кушать, сейчас покушаем... — говорила она и вела меня под руку.

Я ошалел от прекрасной перемены обстоятельств моей жизни и не сказал еще ни слова, боясь проснуться и спугнуть эту фею.

Мы оказались в маленьком кафе «Водолей» в центре города, где по-королевски трапезничали жареной картошкой и пивом. Это было прекрасно, это самое вкусное, о чем я мог мечтать, но не смел. От двух глотков я слегка захмелел и долго-долго слушал Зою. Оказалось, что это ее бригада разыскала меня среди каши, в которую превратился блокпост. Оказывается, взрывом меня кинуло в какой-то окоп, сверху упал столб с торчащей арматурой, и рядом взорвались боеприпасы, выжил я чудом. Помимо меня, уцелели один новобранец и два запертых в «Шинок» счастливых контрабандиста. Потом Зоя уезжала в Луганск, потом вывозила детей из Дебальцева, потом узнала, что ко мне приходили из СБУ и я пропал. В Киеве ей пришлось поговорить на мой счет с большими начальниками следователя Шлыка, и ему с болью в сердце пришлось меня отпустить.

Зоя рассказала, что родилась она в Крыму, в семье офицера. Училась в Питере на археолога, ее муж — архитектор из Архангельска, воюет за ополченцев под Луган-

ском. Брат живет в Киеве, учился на юриста, с лета воюет в подразделении «Днепр» за Украину. И муж, и брат были ранены по разу, оба ненавидят друг друга. В Питере сдается квартира, и на эти деньги она живет. Ее фонду многие помогают и на Украине, и на Донбассе. Привозят вещи и продукты для беженцев, помогают лекарствами и транспортом. Она пожертвовала мне немного денег на приобретение средств личной гигиены и нового белья, отвела в пустое общежитие Горного техникума и дала два часа на приведение себя в порядок. Еда, теплый душ, почищенные зубы и чистая маечка — это блаженство! Я рухнул на кровать и отключился.

Стук в дверь и крик «Пора ехать, подъем, подъем, пора!» меня разбудили, мы пошли к Зое в офис. Сводчатый низкий подвал старого дома, на двери табличка с красным крестом. Почти все пространство подвала было забито вещами, коробками, мешками и стеллажами с упаковками чего-то. Между всем этим благотворительным богатством существовали проходы в виде армейских окопов. Дорожки вели к столам с компьютерами и горами бумаг и папок.

— Не хватает рук, помощники то есть, то убежали, ничего не успеваем, — сказала Зоя, оправдываясь. — Найди себе стул и подсаживайся к моему столу.

Она раскопала три большие подшивки бумаг, разгребла немного стол и сказала, что это картотека отрывочных данных по раненым, убитым и пленным, там есть либо фамилии солдат, либо описание трупа. Сведения эти случайные, собираются нерегулярно и только сотрудниками ее фонда; имеются ли подобные записи в других волонтерских организациях, она не знает. Я изучал эти папки долго, фотографии обезображенных трупов, отдельных фрагментов тел, татуировок, фамилии или позывные мертвых и пленных, записанные с чьих-то слов. Брата среди этих списков не было.

Зое сообщили знакомые офицеры из штаба, что сейчас подразделение «Миргород» стоит под Никишино, это южнее Дебальцева. Командир подразделения «Подош» погиб две недели назад. Обстановка там плохая, стягивается техника, и будет «заваруха».

— Надо подумать. Слушай, пошли тусить. Здесь есть местный бомонд из журналистов и краматорской «золотой молодежи», отметим твое освобождение! Пошли! — устало произнесла Зоя Тарасовна, потом потянулась, театрально ободрилась и достала из-под стола коньяк в картонной коробке — подарок от «сепаратистов». Когда год назад в администрацию вломился народ, нашли там целый склад элитного алкоголя, недопитого прежним мэром. Ну! Вперед!

### Пятая колонна

Мы опять отправились в чудо-кафе «Водолей». По дороге Зоя рассказывала о последней довоенной археологической экспедиции в Керчь, древний Понтикапей. Они ездили туда с мужем, братом и его девушкой, работали на раскопках, а вечером пили вино с вяленой камбалой, купались голышом в море и были счастливы. Потом они в Коктебеле жили на даче московских друзей, которых, как выяснилось, я хорошо знаю. На Ай-Петри они провели неделю в лагере у расслабленных «по жизни» крымских романтиков и художников. Автостопом добрались до Бахчисарая и сняли домик у старой татарской бабушки возле горного монастыря. Наше последнее мирное лето...

Мы вышли на площадь перед кафе: много людей, шум, гам, украинские флаги. Здесь же Зоя увидела своих знакомых телевизионщиков с камерами, мы пошли к ним.

— Привет, пропаганда! — бодро приветствовала Зоя.  
— О-о-о! Привет, Тараска! — молодой парень с камерой и в жилете «Пресса» обнял Зою.  
— Шо вы?  
— Мерзнем. Ждем митинга против мобилизации или за нее.  
— Класс! Пошли в кафе, согреемся по глоточку, — потерлась плечом в плечо с оператором Зоя.  
— Саша, — протянул я парню руку.  
— Влад, — ответил тот и пожал мою руку. — Для друзей, а в титрах Владислав Дмитриевич Байда, — и, ответно толкнув Зою плечом, предложил никуда не ходить, а согреться прямо из горлышка, прямо здесь и немедленно. Зоя, шмыгая красным носом, сказала: «Давай!»

Мы разговорились, и вдруг выяснилось, что Влад завтра едет снимать репортаж в Дебальцево и Углегорск. Я взмолился взять меня с собой, он радостно согласился, и мы отметили совпадение географической цели пригублением трофейного зелья революции.

На площади митинговали украинские патриоты, размахивая флагами и выкрикивая хором речевки. В основном это были молодые парни и девушки, бодро и весело проводившие время. Не могу не отметить руководящей роли их старших товарищей — видимо, педагогов. Особенно старательно «вожатые» раздували пламя активности у подмерзших юнцов, когда к их группе приближалась камера Влада. Как человек, достаточно поживший при советской власти, я за версту вижу нехитрые приемы управления народным единством. В свое время нас снимали с уроков в школе, чтобы мы всенародно постояли вдоль Ленинского проспекта и единодушно поприветствовали Леонида Ильича, проезжающего с гостем из аэропорта.

За происходящим наблюдало некоторое количество накачанных мужчин в камуфляжной одежде с нашивками «Правый сектор» и работники милиции, стоявшие неподалеку. Не могу сказать, что все это мероприятие имело грандиозный размах, на мини-майdan это не тянуло, но выглядело вполне пестро и шумно.

Параллельно с этой акцией стихийно митинговали женщины, не желающие продолжения войны на Донбассе и мобилизации их мужчин. Женщины, в основном возраста старше «бальзаковского», и бабушки, одеты обычно для рабочих городков. Они держались вместе, но вели себя совсем неорганизованно и пылко. Их целью был городской военкомат и его руководитель. Когда офицер нерешительно вышел к ним, началась словесная перепалка о судьбе мужчин и Отечества. Офицер, конечно же, не мог противостоять ни физически, ни идеологически женщинам, у которых собираются отобрать и, возможно, убить самое дорогое. Незнательные женщины наотрез отказывались понимать великий смысл войны против таких же, как они, шахтеров из соседнего города. Военкому пришлось туго, эти женщины видели не только официальные репортажи из Киева, но и бомбардировщики из Киева над Краматорском.

Офицер удалился, и митингующие женщины, отходя от военкомата, неминуемо приближались к толпе с желто-голубыми флагами. В столкновение это не переросло, однако гигантский полемический костер запылал по всей площади. Я внимательно слушал всех говоривших и убедился, что никто из них не нуждается в том, чтобы его услышали. Они все просто говорят, все абсолютно убеждены в своей правоте, и никто не слышит никого. Они испытывают друг к другу только издевательское и хамское пренебрежение. «Патриоты» нападали и обзывали женщин грязными ругательствами и обвешивали их ужасными ярлыками, те отбивались нелогичными, но очень эмоциональными аргументами. После долгой бата-



лии случился перелом в битве оскорблений, одну из женщин язвительно и брезгливо назвали «пятой колонной», она опешила от такого и поинтересовалась: «А шо это?». Ее противник не смог с ходу объяснить сути обидного заявления и смутился, копясь в багаже своих слов. Дамы воспользовались этим роковым замешательством и перешли в контрнаступление, мстя за поруганную репутацию. Сбившись с победной ноты, «патриот» попятился и был атакован со всех сторон антивоенной коалицией.

В толпе несложно было увидеть совершенно одинаковых, я бы сказал, клонированных мужчин. Они крепкие, выше среднего роста, у них темное пальто и кепка с мехом или начесом. Мужчины находились в самой гуще событий, но не вмешивались: они молчали и очень внимательно слушали и следили за всеми. Один из таких «незаметных» оказался мой «дружище», следовательно Службы безопасности Украины Шлык. Мы чуть не столкнулись с ним в толпе, он меня не видел, я спрятался за камеру Влада. Не желая омрачать день своего освобождения новой встречей с правосудием, я предпочел удалиться. Поиски истины на площади продолжались до вечера, потом все опустошенно разошлось по домам, исчерпав силы во взаимной ненависти и бессмысленных проклятиях.

### Юлия Сергеевна

Утром мы простились с Зоей Богудар и разъехались: она — в Донецк, обменивать пленных, а мы с Владом Байдой — в Дебальцево, искать подразделение «Миргород». Влад готовил репортажи из Зоны антитеррористической операции для какого-то телеканала в Киеве. Человеком он был интеллигентным, очень приятным в общении и лишенным раздражительной энергетики. Вчерашний вечер помнится плохо, после съемок митинга в Краматорске мы уехали к друзьям Влада и Зои. С ними мы продолжили купажировать свою кровь случайными напитками, и довольно скоро я перестал отвечать на вопросы, уснул и был оставлен всеми в покое. Голова болела в затылке, спина простреливала во всех направлениях, ноги гудели от непривычно активной ходьбы по городу весь вчерашний день.

Влад ехал за рулем старенькой машины молча и, видимо, так же, как и я, ощущал всем организмом последствия вчерашней неразборчивости в питии. Наши болезненные чувства периодически встряхивались на ледяных кочках и дорожных рытвинах. Благодаря большой надписи «Пресса» на обоих бортах машины нас не досматривали солдаты на пикетах, они смотрели журналистские документы Влада и на слово верили, что я его ассистент. Без особых приключений мы добрались до Дебальцева. На блокпосту у большого перекрестка нас остановили и начали осматривать серьезно. Увидели мою справку и долго вертели ее в руках. Я объяснил офицеру, который молча, не моргая, смотрел на меня из-под каски, что я ищу своего брата в батальоне «Миргород». По-видимому, я имел вид истинно страдающего человека, и солдаты не заподозрили подвоха в таком неэнергичном теле, а решили, что меня мучают братские чувства. Нам объяснили, где Никишино, куда мне необходимо было попасть, и где Углегорск, в котором Влада ждали для съемок. Разъезжаться надо было здесь.

— Так не пойдет, — сказал Влад, — мы сначала поедem, снимем мой сюжет, а потом поищем твоих полтавчан. Тем более что ты со своей справкой в зоне боевых действий не очень нравишься людям с оружием. Вместе приехали, вместе уедем.

— Спасибо, брат, — вымолвил я. Ветер обдувал мою голову, и от этого боль в ней становилась не монотонной, а похожей на морской прибой.

От блокпоста до Углегорска несколько километров, еще один пост, проверка, въехали в город. Влад позвонил солдату с позывным «Майдан»: тот командовал взводом разведчиков, и сюжет нужно было снять про них.

— Жди в кафе «Юлия», там тебя заберут, — сообщил Владу собеседник.

Мы нашли кафе, вернее, его сохранившуюся половину. Зашли: ни посетителей, ни персонала, невыносимо громко орет песня: «Не сыпь мне соль на раны!» Похоже, что барная стойка была в несчастливой половине кафе, а сейчас обслуживание ведется через окошко для приема грязной посуды: по крайней мере, над этим окошком висел листик с надписью «Тут». Я заглянул и крикнул:

— Есть кто-нибудь?

— А шо такое? — послышался оттуда женский голос.

— Хозяйка, покушать можно у вас?

— Вчерашний рассольник, — продолжила женщина, не показываясь нам.

— Отлично! Две порции.

— Сто долларов!

Мы с Владом переглянулись и в первый раз за этот день улыбнулись.

— Годится! — крикнул я в темноту. — И триста грамм водки.

В окошке появилась женщина средних лет, вид у нее был озабоченный и усталый.

— Садитесь, мальчишки, сейчас разогрею.

Мы сели у единственного окна, остальные проемы были заколочены фанерой, деревянный стол был покрыт обугленными следами от окурков, почему-то пепельницами здесь не принято было пользоваться. Вышла хозяйка, принесла рассольник и водку в двух чайных кружках.

— Двести с вас! — заявила она с таким видом, что лучше нам не спорить.

— Американских долларов? — осторожно спросил Влад.

— Украинских гривен!

Влад расплатился, она ушла, рассольник был несъедобный, но мы его съели. Водочка поправила наше самочувствие, и мы в приятном легком отупении уставились в окно, где начался дождик. Скоро на большой скорости подъехала армейская машина, с визгом затормозила, и в кафе ворвался молодой солдат.

— Вы снимать кино приехали? — спросил он нас.

— Мы, — ответил Влад.

— Юлия Сергеевна, налей стаканчик! — закричал солдат в сторону окошка и сел рядом с нами.

— Сто долларов!

— Ща я гранату кину в твое дуло! Давай, нет времени.

— Ща, разбежалась! — ответила Юля, не меняя интонации.

— Колечко от гранаты оставлю себе на память! Юлюня-я!

Показалась хозяйка с чашкой, поставила ее перед солдатом и уставилась на него с подчеркнuto возмущенным выражением лица и одновременно с кокетливой улыбкой. Он обнял ее за бедра и прижал к себе.

— Умница, и боеприпасы не пришлось тратить.

— Деньги! — сказала Юля и демонстративно протянула ладошку «лодочкой».

— Я заметил одного кабанчика, привезу тебе свининки вечером. Будешь ждать?

— Много вас тут таких! — сказала Юля, освободилась из объятий и пошла в сторону кухни под душераздирающие звуки орущего радио: «Вот! Новый поворот!...»

— Здесь раньше нормально было. Ей летом один из наших кинул гранату в бар. Написал... Хорошо, не убил никого. Так, пацаны, я Леха «Карнавал», сейчас едем к нам, «Майдана» цепануло ночью, там разберемся, шо как.

### «Чурайка»

Мы поехали за Лехой, вернее сказать, понесли за его боевым джипом с уставленным в кузове пулеметом. Из городка вела широкая асфальтированная дорога с троллейбусным маршрутом, стояли фонари и рекламные щиты. Баннеры на щитах обтрепались и висели лохмотьями, они несли на себе выцветшую бодрость и ободранный оптимизм рекламы, оставшейся напоминанием о довоенной жизни и прежней безмятежности. Мы подъехали к исполинскому сооружению — башне на территории шахты. Рядом распластался террикон — гигантский курган из отработанной породы. Контора шахты олицетворяла собой помпезное отношение к угледобывающей отрасли в эпоху строительства коммунизма. Как полуразрушенный древнегреческий храм парит над Афинами, так и обшарпанная контора шахты «Углегорская» царила среди гор угля и породы, паровозов и вагонов, железнодорожных переездов и барачков. Контора шахты была не только прекрасным памятником сталинского ампира, но и фортификационным сооружением: со всех сторон прикрытая от обстрелов артиллерии, она позволяла чувствовать себя в безопасности ее обитателям.

Сейчас в царственных хоробах квартировал взвод разведчиков под командованием капитана украинской армии «Майдана». Он был легко ранен в ночной перестрелке и сейчас прохаживался по своему замку с забинтованной рукой, в майке и тапочках, ожидая нашего приезда. Рабочей рукой он доставал семечки из кармана, лузгал и плевал по сторонам. Он встретил нас приветливо, но с той отстраненностью и сосредоточенностью на себе, с которой общается элитарное сословие воевод с гражданским простонародьем — понимая, что наличие невоенных людей неизбежно, как существование мух или травы. Влад установил камеру, выставил более или менее сносный свет и начал записывать интервью. Во время записи «Майдан» рассказывал про себя, свою философию, свою войну и свою будущую победу над врагами. Он попросил остановить камеру: приехали с передовой его солдаты, и он вышел к ним. Оказалось, что одного из них тяжело ранили, его отвезли в госпиталь, еще двое с мелкими ранами и царапинами. Но главное, они не нашли их снайпера «Чурай», она уже сутки не выходила на связь.

— Подъем! Вам отдыхать, остальные по коням! Операторы, едете с нами, снимете, как мы «колорадов» будем кошмарить, дайте им жилеты — пока светло, надо «Чурайку» искать. Бегом, бегом! — кричал «Майдан», натягивая на себя обмундирование.

— Оставайся, — шепотом сказал мне Влад.

— Вместе приехали, вместе уедем, — шепотом ответил я.

Все забурлило, откуда-то вынырнули солдаты, отдохавшие до сей поры, забряцало железо, топот по коридору и хлопанье дверей, загудели на улице машины. Все сели, и четыре машины поехали от шахты куда-то вниз, под горку, по разбитой кривой дорожке, через маленькие деревни, мостики, бараки и поля, мимо терриконов, поросших кустарником, водокачек и закрытых шахт. Приехали в маленькое село, к дому, где квартировали украинские солдаты. Они вышли из дома, приехавшие вышли из машин, обсудили обстановку на данный момент, кто и где стреляет.

— Там шось бахало утром, слышь, «Майдан», ты позвони «Соседу», он сегодня снаряды получил, будет работать. Ты ж смотри, не попади под него, а то вам ... — лениво сказал один из местных солдат, закончив нецензурным термином, и попросил сигаретку. Машины остались здесь, дальше надо было идти пешком.

Леха «Карнавал» выдал нам один автомат на двоих, но Влад тащил свой кофр с киношными штучками и камерой, автомат достался мне.

— Стрелял когда-нибудь? — спросил Леха.

— Двадцать пять лет назад, в советской армии, — ответил я без всякого восторга.

Пошли перелесками, потом ложбинками и спустились в овраг, дошли до ручья, а дальше наша вереница запетляла между кустов и заболоченностей вдоль прудика. Снега было мало, под сухой травой хлюпали вода и черная грязь, налипавшая на ботинки и забрызгивавшая сзади идущего. Небольшой привал пришелся очень кстати: я вспотел от ходьбы, дико болели ноги и спина. Солдаты обсудили план поисковой операции, разбились на три группы и пошли в намеченные квадраты искать «Чурайку».

Мы с Владом были отданы Лехе и пошли в наименее обстреливаемом направлении. По дороге Леха нас инструктировал:

— Смотрите под ноги: здесь могут быть растяжки, бошки пригибайте, если начнется пальба — падай и отползай.

Вдруг где-то в километре от нас затарахтели автоматные очереди, потом дальше начал бахать миномет и послышались тихий свист и последующие взрывы. Мы залегли на склоне овражка, Леха с тремя солдатами выползли повыше, смотрели, что происходит, и переговаривались.

— Блин,.... их накрыли, смотри, точно туда бьют....

— Минометы в Новоорловке, от ..., шо делать?

— Щас туда не сунешься, утихнет — пойдем.

Стрельба и взрывы продолжались. Начались артиллерийские залпы из-за спины, пронесся свист над головой, и снаряды разорвались на большом поле, где-то метрах в пятистах от нас.

— Бли-ин, это «Сосед» лупасит! Так, пацаны, найдете дорогу до машин? — обратился к нам Леха. — Мы будем ждать, пока потише станет, и пойдем туда: похоже, труба там «Майдану».

— Может, тащить придется? Мы подождем, — сказал Влад и посмотрел на меня вопросительно, я кивнул головой в поддержку.

— Хорошо, пробирайтесь до тех деревьев, там ждите и не высовывайтесь, если за вами к шести не придем, то выбирайтесь, — поставил задачу Леха и, пригнувшись, пошел с товарищами через сухой кустарник в сторону выстрелов.

Мы с Владом направились в сторону деревьев, указанных нам. Взрывы то затихали, то становились интенсивнее, автоматные очереди трещали, как швейные машинки в цеху. Группа деревьев, к которой мы направлялись, возвышалась над кустарником и находилась между двумя полями с необранной сухой кукурузой. Вокруг все было покрыто воронками, кусты переломаны, ветки деревьев сбиты в желтых зарослях, на поле проплешины с черными дырами. Здесь было потише и значительно безопаснее. Мы выбрали место под деревом, укромное и незаметное со стороны дороги, по которой шла длинная колонна военной техники.

Влад наклонился, чтобы прилечь на сухую траву, и, вскрикнув, отпрыгнул. В траве лежал убитый солдат в камуфляжном плаще с нашитыми тряпичными лоскутами серо-коричневого и охристого цветов.

— Кажется, это «Чурай», которую они ищут, — сказал Влад.

Рядом лежала винтовка с оптическим прицелом, мы приподняли маскировочную вуаль, прикрывавшую лицо. Сомнений не осталось, это была молодая девушка. Лицо ее немного исказилось, как неизбежно меняется плоть в момент отхода жизни, и ее красивые карие глаза продолжали смотреть в траву, но теперь навек ослепли.

Взрывы утихли, отдельные короткие очереди автомата иногда слышались. Мы потащили тело девушки в обратный путь. Потом встретили одного раненого бойца, выползающего с места перестрелки, он погладил девушку по голове и сказал:

— Героям слава. Хлопцы, тащите ее, я сам потихоньку, там винегрет, надо ночью с машиной ехать... так не вытащить, дорогу найдете?

### «Край»

Мы добрались к машинам уже по темноте, местные солдаты вызвали подмогу и технику, двое поспешили навстречу раненому. Подробно расспрашивали нас о бое, но много рассказать мы не могли. Нам дали водки и хлеба с салом, налили жидкого супчика. Всю ночь ездили машины в район боя и обратно, там иногда раздавались выстрелы, ночные всполохи взрывов, потом все стихло. Леха «Карнавал» погиб, «Майдан» пока найден не был. Кроме нас, живых осталось пять человек, остальных попытались вывезти, но оставили это до утра. В таких случаях просят противника не стрелять и вывозят тела «двухсотых», по военной классификации потерь. Мертвых повезли в морг, раненых в госпиталь. Мы с Владом добрались до своей машины, погрузились и уехали, ни с кем не прощаясь. Проезжая мимо кафе «Юлия», видели горящий свет, доехали до блокпоста, на заправке стали в сторонку и легли немного поспать в машине.

Проснулись мы от грохота. На заправке стояла большая очередь из машин, хлопнули двери, суетились люди. В той стороне, откуда мы приехали, гремели взрывы, в нескольких местах поднимался густой дым. Из Угледорска ехали машины с нагруженными багажниками, некоторые с полными прицепами. Туда на большой скорости неслись армейские грузовики, прошло пять танков с диким ревом, лязганьем гусениц и клубами черного выхлопа. Мы смотрели на происходящее ошарашенно, еще не проснувшимися глазами, озираясь и ежась спросонья.

Влад завел машину и сказал:

— По-моему, надо долить до полного бака.

Мы заправились и поехали в сторону Никишина, подальше от войны. Навстречу нам так же ехали груженные легковушки, автобусы и армейская техника. На въезде в село стояло много автоматчиков и два танка с надписью «Люся» и «Миргород». Мы сказали, что ищем командира подразделения, нас обыскали, проверили документы и сказали ждать здесь, он скоро будет. Солдаты курили и были угрюмы, по их разговорам стало понятно, что события происходят тревожные.

Мы грелись в машине, при обыске обнаружили термос с холодным кофе, спрятавшийся под сиденьем, и пакет с раздавленной ватрушкой. Неожиданная находка нас так порадовала, что мы весьма взбодрились и прекрасно позавтракали. Земля затряслась задолго до того, как мы увидели приближающийся к нам танк, на его борту было написано «Край». На танке приехало человек семь, они прыгнули и приветствовали стоящих рядом с нашей машиной солдат. Я вышел и сказал, что приехал поговорить с командиром. Один из солдат спросил, чего мы хотели.

— Я ищу брата, он воевал в этом батальоне осенью, зовут Слава Истомин.

— Понятно. Как говорится, шо дальше? Осенних уже нэма, они в котлах, или в аэропорту закопаны. Командира недавно убили. Тебе Палыч нужен, он может помнить. Где Палыч? — спросил солдат.

— Командир, Палыч в Дебальцево вечером поехал, до бабы своей, — ответили ему.

— Ой не вовремя вы, хлопцы, похоже, наш котел скоро захлопнут и сварят тут борщ. Как говорится, шо дальше? Тикалы б вы краще. Всё, не до вас. Так, слухай сюда!.. — и командир начал объяснять присутствующим военным общую ситуацию и их действия.

Из слов его мы поняли, что ночью началось одновременное наступление войск Донецкой и Луганской Республик. Территория, на которой мы находимся,

стремительно превращается в очередной котел, и если обе эти армии соединятся, то попадут в плен или будут уничтожены тысячи украинских военных.

— Я не могу дозвониться до штаба, спят или драпанули уже наши полководцы, — продолжал командир.

Подъехал старый внедорожник с наваренными металлическими сетками и листами по бортам, разукрашенный маскировочной рябью зелено-желтыми красками.

— Палыч, ну хорош по курятникам пастись! Шо там творится? — заорал рослый солдат басом.

— Не завидуй, очень надо было, — засмеялся довольный Палыч, потом сказал деловито:

— Короче, командир, там уже всё, техника не выскочит. Дорога вся простреливается, четыре «Урала» как шли колонной, так и горят, как свечи в ряд. Для гражданских дадут коридоры, так шо решай. А я ехал мимо штаба, там уже ветер гуляет.

— От же ж пады! В Иловайске тако ж було, ладно, поговорим с ними в Киеве. Хлопцы, через полчаса собраться всем здесь с вещами. Я решу, шо робыть.

Толпа забубнила, обсуждая услышанное, закурили, кто-то направился за вещами. Я подошел к Палычу, он был крепкий мужик, коротко стриженный, рыжий, вперемишку с сединой, веснушки на его широком лице перемешивались с природным румянцем и нагулянным загаром.

— Добрый день, — поздоровался я.

— Очень добрый, аж колики от смеха душат, слушаю, — ответил Палыч.

— Вы не помните Славу Истомина, я его брат.

— Славку! Конечно, помню. А ты брат какой, московский?

— Московский.

— Понял, он тебя крыл матом добрэ! И тебя, и Крым, и вашего...

— Где он, вы не знаете? — спросил я.

Палыч замолчал, достал сигарету, закурил.

— Я не знаю, мы были на аэропорте, долго были, нас не могли сменить. Уже стали как Робинзоны. Нас немного отодвинули, но мы уперлись. Складывали пацанов внизу горками: ни увезти, ни похоронить. Меня ранили и еще контузило, потом при ротации отвезли в Харьков, но я ничего не помню. Потом я слышал, что он оставался там до упора, пока уже нас не выдавили. Не знаю, где он, может, по их моргам надо искать.

— Я искал.

— Ой, тут стоко намолотило народу, а в полях лежит! Дома ждут, а мы развлекаемся! Не знаю больше ничего, прости. Вы, хлопцы, дуйте отсюда, а то и вас искать потом будут, — сказал Палыч, бросил недокуренную сигарету в черную грязь и пошел в толпу сослуживцев.

— Что делать? — спросил я у Влада.

— Валить, если еще не поздно! Мы на машине не проскочим уже.

— Давай послушаем, что они предпримут: я так понял, метаться уже бесполезно.

— Да-а-а, — тоскливо протянул Влад.

Солдаты собрались и окружили командира, он влез на танк, чтобы все слышали.

— Хлопцы. Все всё знают, мы в котле, он скоро закроется. Как говорится, шо дальше? Кто в этом виноват, будем разбираться после, я, если выберусь, лично поеду отрывать орехи генералам нашим! Артиллеристы из восьмьдесят седьмой остаются здесь. Будут работать до оследнего по их наступлению, я говорил с «Ляхом». Нам здесь сидеть бессмысленно. Как говорится, шо дальше? Углегорск наши не удержат. Я выдвигаюсь с танками в Дебальцево, напоследок погарцуем. Дальше!.. Кого дома ждут и ему помирать рано, прорывайтесь — пешком, без техники,

технику сожгут. Никакая сволочь не скажет, что вы предатели. Как говорится, шо дальше? Прорывайтесь и попробуйте выжить. Поклонитесь мамкам! Поставьте свечку в Петровской церкви за нас. Прощайте!

Все молчали, потом заговорили разом. Сумбурное волнение овладело батальоном, общий гомон и замешательство. Командир полез в свой танк, машина с надписью «Край» взвыла, густой едкий выхлоп вырвался из-под брони и пополз по асфальту в огорода. Солдаты расселись на машине, и она рывком двинулась вперед, потом сползла с дороги и свернула в поле. За первым танком пошли остальные, оставляя за собой развороченную грязь, черный туман и затихающий гул.

### Голубейчики

Мы ехали с Владом по единственной дороге, ведущей из котла. На въезде в Дебальцево образовалась пробка из желающих покинуть эту территорию. Впереди рвались снаряды, поднимался дым и стоял дикий грохот. Многие машины пытались развернуться, буксовали на раскисших обочинах и мешали остальным. Паника и затор на дороге, бешеные люди, попавшие в западню, и военная техника, бесцеремонно едущая что по полям, что среди гражданских легковушек. Час или два мы пытались выехать из затора, потихоньку мы добрались до небольшого съезда с дороги в поселок. Пробирались по грязным колдобинам, заплывшим лужами окраинам города. Взрывы слышались повсюду. Прямо перед нами горел дом, мы свернули, потом еще раз и выехали на асфальтированную дорогу. Перед разрушенным клубом догорал танк, башня с надписью «Край» лежала метрах в десяти от него, вокруг дымилась сухая трава, и огромный сломанный тополь лежал на площади, перекрывая ее всю. По дороге бежала женщина с детской коляской, рядом с ней, виляя и останавливаясь, ехала девочка на велосипеде.

— Садитесь, быстро, — крикнул Влад и остановился рядом с ними.

— Ой, спасибо, ой! — закричала женщина. — Садись, доча, садись! Брось ты этот велосипед!

— Нет! — плакала девочка. — Это подарок папы! Нет! Это папа подарил! — кричала она в истерике.

Мы выскочили с Владом, открыли багажник и сунули туда коляску, она торчала наружу, велосипед закинули на багажник. Всех посадили, девочка плакала в испуге, младенец издавал кряхтение.

— Куда ехать? Где тише? — нервно спросил Влад.

— Прямо, надо к больнице ехать, пока прямо, спасибо, спасибо, — всхлипывала женщина.

Кругом стоял грохот, на улице лежали убитые, горели дома. Мы ехали по главной дороге, объезжая воронки, горящую технику и сломанные деревья, чтобы выскочить из центра и спрятаться на окраине. За поворотом поперек дороги стоял танк «Люся» с длинным дулом, смотрящим в сторону жилых домов. Оглушающий выстрел, наша машина подпрыгнула от воздушного удара, раздался взрыв, и пятиэтажку окутало дымом. Башня медленно поворачивалась к нам.

— Он что, с ума сошел!

— Влад, сворачивай, Влад! — заорал я в шоке.

Мы нырнули в переулок, сзади прогремел выстрел, девочка кричала в ужасе, женщина рыдала.

— Боже помилуй! Боже помилуй! Сюда, сюда поворачивай. Тут дурдом, в него, в него!

Мы подъехали к высокому кирпичному забору, в нем отсутствовали несколько секций, они завалились набок, открывая густой заросший сад. Мы бросили машину и вбежали в не чищенный никем сад. Влад прорубал нам дорогу через дебри, за ним пробиралась женщина с ребенком, потом девочка и в конце я с велосипедом. В сухих листьях, паутине и репейнике, мы выбрались к старым обветшалым домикам, в которых располагались отделения больницы. На небольшой площадке между постройками дымилась свежая воронка от артиллерийского снаряда, в зарешеченных окнах, выходящих на площадку, были разбиты стекла.

— Голубейчики! — сказала тихо девочка и показала пальцем на голубятню в маленьком больничном сквере.

Будка с голубями стояла на четырех столбах и находилась над земляным искусственным холмиком, в котором была дверь. Над головой провизжал снаряд и взорвался сразу за больницей. Мы подбежали к холмику, на двери была надпись «Бомбоубежище. Психоневрологический диспансер», но оббитая металлом дверь была заперта. Ломиться, стучаться и колотить ногами в эту дверь не пришлось: к нам, тяжело дыша, бежала сотрудница и кричала:

— Бегу, бегу! Открываю!

Она открыла дверь, и мы пошли по ступеням вниз, в холодный мрак спасительного грота.

Больница была обесточена и не отапливалась, с лета больные и персонал разошлись по домам. Единственным верным часовым на страже имущества оставалась тетя Люда. Она жила рядом с больницей и проработала в ней сорок лет. Еще летом, когда сюда пришел фронт, ей приходилось неделями жить в этом убежище. Здесь было заготовлено все для скромного существования. Сегодня, когда начался обстрел, тетя Люда поспешила сюда и тем самым спасла нас. Она зажгла свечку и сказала:

— Дверь не закрывайте, еще соседки могут прибежать.

Над головами громыхало, и иногда где-то совсем близко, но в убежище звук обстрела стал слабым и разбавленным. Наш младшенький заворочался, закричал всерьез и собрался на всех накричать, но мамкина грудь его привлекла, и он присосался к теплой «радости младенца».

### **Влад**

Почти непрерывный обстрел длился два дня. Когда становилось потише, мы с Владом бегали за водой. Вокруг были страшные разрушения и пожары, голубятня снесена, и наше убежище покрылось белым пухом невинных жертв войны. Я собрал тела «голубейчиков» и прикопал их в воронке посреди сквера. В бомбоубежище, как в варежку из сказки, собрались окрестные жители и соседи тети Люды, у одних погибли родственники, у других были уничтожены дома и хозяйства.

Мы с Владом заняли маленькое техническое помещение и спали. События последнего времени вымотали нас.

— Почему люди убивают друг друга?

— Никто никого не любит.

— Но это братоубийство.

— Первый рожденный на земле человек убил своего брата.

— Значит, нас не защищает родная кровь? Но не все же такие!

— Кто не такой, те святые. Большая редкость.



- И что делать?
- Становиться святыми! — сказал Влад и засмеялся.
- Ну, подожди, я серьезно, что происходит? Я родился на Украине, живу в России. Я всю жизнь говорил на русском, но знаю и люблю украинский язык. Здесь мой брат, там я. Что происходит?
- Всю жизнь Украина была польская, но православная. Потом российская, но цари разогнали вольное казачество. Народ помнит все. Неправда становится ядом и отравляет жизнь. Сейчас потомки тех казачков на Майдане чудят.
- Ты оправдываешь происходящее?
- Я терпеть не могу киевских жуликов, провокаторов и вандалов, но почему их поддерживают самоотверженно и искренне? Почему люди хотят террора?
- Виновата Россия! Да? Очень удобно.
- Три причины. Первая: наша элита — импотенты, они хотят, чтобы прилетели европейцы в «голубом вертолете» и сотворили из Украины Швейцарию за неделю. Вторая причина: народ не хочет жить по-российски — царь, вокруг охамевшая боярщина и издевательство над правами простых людей. Причина третья: Крым! Все, кто поддерживал Россию раньше, после Крыма оскорбились и пошли к майданистам. После Крыма к нам вышел Вий со свитой и сказал: «Теперь я буду жить на Владимирской горке!»
- В Крыму — русские люди.
- Согласен, так и есть. И здесь, на Донбассе. Здесь искренне ждут помощи от России, наши не помогут. Но любая неправда через время становится ядом и отравляет жизнь. Украина как была, так и будет окраиной, только выбирает мачеху Европу, а не тещу Азию с великорусской баландой.
- Согласен. Никто не поможет. Пора становиться святыми...
- Пошли, для начала чайку попьем.

На третий день боев за Дебальцево канонада утихла. Обитатели бомбоубежища вышли на улицу. Где-то раздавались одиночные автоматные выстрелы. Машина Влада ремонту не подлежала: по ней проехали на чем-то гусеничном и тяжелом. Мы поблагодарили нашу спасительницу тетю Люду и пошли по изувеченному городу искать дорогу домой. На главной площади уцелевшим жителям раздавали хлеб ополченцы. Я подошел к одному из них и спросил, как отсюда выбраться.

- Через Угледорск, на Горловку и там на Донецк, а в других местах пока стреляют, — сообщил ополченец.
  - Чего делать будем? Мне в Донецк не надо, — улыбаясь, сказал Влад.
  - Звони Тараске!
  - Тараска, мы живы, мы в Дебальцево! — проговорил Влад в умирающий телефон... — Зоя сказала найти ее мужа, позывной «Помор», она едет сюда.
- Мужа Тараски мы нашли с легким ранением в полевом госпитале. Потом приехала Зоя. Она, как всегда, всех выручила и «спасла мир». Пришла пора прощаться.
- Влад, я не знаю, что сказать, я не хочу с тобой расставаться.
  - Сань, нас нельзя разлучить, ты мне помог, я знаю теперь, что у меня есть брат.
- Мы обнялись.
- С Богом.
- Я ехал в Москву, а Влад вместе с Зоей в Киев.

Впечатления от увиденного и пережитого свинцовой каской придавили мое сознание. То, что я видел по телевизору до поездки на Украину, при всем старании журналистов не передавало масштаба разрушений, горя и ужаса. Война стирает

с лица земли жизнь. Я покидал страну, где остаются жить в нечеловеческих условиях люди, ставшие мне родными. Здесь у меня появились друзья. Здесь я потерял брата.

Донецк, Ростов-на-Дону, Внуково, московское метро — и я дома.

Разбирая электронную почту, увидел письмо из Полтавы.

*<...@ukr> 25 фев. 2015 в 14:34*

Саша, здравствуй, это Наташа. Славу я забрала. Ездила за ним в Луганск. Он в коме. Его нашла Шухмина Настя, сказала, от тебя. Я там была, все видела, я в шоке. Здесь люди этого не знают. Спасибо тебе.

*И сказал Господь: что ты сделал? голос брата твоего вопиет ко Мне от земли. Быт. 4:10.*

Прости, брат.

*Написано на основе событий и впечатлений  
от увиденного на Донбассе в январе—марте 2015 года.*

# ДЕНЬГИ В ИСТОРИИ РОССИИ И В ГОРОДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## 1

Среди других многочисленных повседневных реалий, сопровождающих человека всю его сознательную жизнь с детства и вплоть до кончины, деньги занимают одно из первых мест. В привычный обиход маленького человека понятие денег впервые входит вместе с зажатыми в потный кулачок первым монетками, выданными мамой или бабушкой на мороженое, и уходит вместе с ним в иной мир при совершении печального ритуала похорон. При смерти в виде холодных пятак на закрытых веках, а при погребении — в виде мелких монет, которые провожающие бросают в могилу вместе с комьями земли, чтобы покойный мог расплатиться с перевозчиком при переправе через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых. Или, как мы говорим, пользуясь древнейшими эвфемизмами, этот свет от того света.

Деньги в качестве эквивалента стоимости товара, в привычном для нас понимании этого слова, то есть как чеканные металлические монеты, появились в VII веке до нашей эры. Стремительное распространение денег по всему миру напрямую связано с удобством их хранения, транспортировки и обмена. При небольшом фактическом весе они обладали незначительным объемом и высокой стоимостью. Постепенно деньги полностью заменили товарообмен, тысячелетиями существовавший до этого.

В Киевскую Русь первые монеты были завезены арабскими купцами в VIII веке нашей эры. Они назывались дирхемами и чеканились в Арабском халифате. Затем на Руси появляются западноевропейские денарии, а в конце X века начинается чеканка собственных монет из золота и серебра. Они хорошо известны как златники и сребреники. На них изображался великий князь киевский и знак Рюрикovichей — трезубец с соответствующей надписью. Так, например, на монетах князя Владимира было написано: «Владимир на столе, а се его серебро», то есть: «Владимир на престоле, а это его деньги». Обычай изображения на монетах власт-

---

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому... От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

вующих государей сохранится на многие столетия, и мы еще встретимся с ним в ходе нашего повествования.

Первый русский рубль появился в XIII веке и представлял собой удлинённый брусок серебра весом приблизительно в 200 грамм. При необходимости его рубили на части соответствующего достоинства: полтины, четвертаки и так далее. Затем отрубленные куски вытягивали в проволоку и из ее расплюснутых кусочков чеканили монеты. На мелких монетах изображался всадник с мечом, а на монетах крупного веса — всадник с копьем. К словам «рубить» и «копье» восходит этимология русских «рублей» и «копеек».

В 1704 году Петр I издает указ об изготовлении серебряной рублевой монеты. В истории российских денег этот указ имел поистине революционное значение. Достаточно напомнить, что серебряные рубли Петр использовал в качестве наградных знаков и собственноручно вручал их особо отличившимся воинам. Орденовая система в то время в России еще не сформировалась. Правда, первый российский орден Андрея Первозванного был учрежден Петром I в 1698 году, но его официальный статус сложился только к 1720 году. Да и орден первоначально был не металлический, а матерчатый, нашивался на кафтан, и награждались им лица дворянского происхождения и особо приближенные к царю. В этих условиях наградным рублям придавалось исключительно высокое значение. Так, чтобы награжденные рекруты не могли использовать рубли в торговых расчетах, в их верхней части пробивалось отверстие для шнурка, и рубль вешался на шею. Рубли с отверстием в обмен на товар принимать запрещалось.

Обычай награждения рублем сохранился в России надолго. Известно, какой высокий смысл вкладывал Александр Васильевич Суворов в свою первую награду, полученную им, если верить фольклору, при весьма любопытных обстоятельствах. Да и сама награда была не совсем обычной. Однажды молодой Суворов стоял в карауле в Петергофе. В это время на прогулку вышла императрица Елизавета Петровна. Когда она поравнялась с Суворовым, тот мгновенно вытянулся в струнку и так ловко отдал честь государыне, что та остановилась и, удивленная выправкой молодого солдата, протянула ему серебряный рубль. И была еще более удивлена тем, что услышала в ответ: «Не возьму, государыня. Закон запрещает солдату брать деньги, стоя на часах». — «Ну, что ж, возьми, когда сменишься», — промолвила Елизавета и положила монету у ног часового. Впоследствии Суворов не раз признавался, что «никакая другая награда не порадовала его так, как эта, полученная за отличное знание солдатской службы».

Неудивительно, что деньги, игравшие такую значительную роль в повседневной жизни государства, нашли живое отражение в городском фольклоре.

Но прежде чем мы обратимся к фольклору, необходимо сделать одну существенную оговорку. Несмотря на то, что фольклорный текст мог появиться намного позднее изложенных в нем событий, нам важен не столько момент появления самого текста, сколько хронологическая мета тех самых событий. В фольклоре это чаще всего происходит в связи с позднейшим осмыслением или переосмыслением тех или иных исторических событий. По возможности, придерживаясь этого важного принципа, мы и продолжим наше повествование.

## 2

Первым упоминанием денег в петербургском городском фольклоре, повторимся, согласно хронологии описанных в нем событий, можно считать поговорку:

«Без рубля бороды не отрастишь». Она родилась в Петербурге после того, как Петр I ввел штраф за ношение бороды. Указ, появившийся сразу после возвращения царя из-за границы, где он находился во главе знаменитого «великого посольства», назывался: «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии». Первыми жертвами указа стали наиболее приближенные к царю знатные бояре, бороды которых Петр стриг самолично.

Жестокий цинизм этого указа для XVIII века заключался еще и в том, что для мужчин того времени, особенно для ее сельской части, борода считалась вторым признаком пола. Взрослый парень, появившийся на деревне после поездки в город с голым лицом, подвергался несмываемому позору. В арсенале городского фольклора сохранилась поговорка, свидетельствующая о реакции на требование брить бороды: «Режь наши головы, не тронь наши бороды». Вот почему денежный штраф, который были вынуждены платить мужики, считался явным издевательством.

Отказ от стрижки бород облагался пошлиной, взамен которой выдавался так называемый «Бородовой знак» в виде жестяного жетона. С чиновников, дворян, купцов и посадских людей взималось по 60 рублей в год, со слуг, ямщиков и людей «всяких других чинов» — по 30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлиной не облагались, но с каждого, въехавшего в город, взималась одна копейка «с бороды». В этом случае жетон назывался «Бородовой копейкой».

О том, что деньги играли важную роль в жизнедеятельности государства, можно судить по известной в фольклоре «переписке» Петра I с первым губернатором Петербурга Александром Даниловичем Меншиковым по поводу строительства кораблей в петербургском Адмиралтействе.

Значение, которое придавал Петр строительству военно-морского флота, хорошо известно. Он не оставлял его без внимания даже во время частых отлучек из Петербурга. В фольклорной энциклопедии петербургской жизни первой четверти XVIII века сохранился характерный обмен «посланиями» между царем и Меншиковым:

*Петр I — Меншикову:*

Высылаем сто рублей  
На постройку кораблев.  
Напишите нам ответ,  
Получили или нет.

*Меншиков — Петру I:*

Получили сто рублей  
На постройку кораблев.  
Девяносто три рубли  
Пропили и прое...  
Остается семь рублей  
На постройку кораблев.  
Напишите нам ответ,  
Строить дальше али нет.

*Петр I — Меншикову:*

Воля царская моя:  
Я не знаю ни х...

С кем пиlí, кого е...,  
Мне, чтоб были корабли.

Набирающая все большее и большее значение тема денег, если верить фольклору, присутствует в отношениях Петра и его любимца Меншикова постоянно. Рассказывают, что однажды Петр, разгневанный на Алексашку, обвиненного во взяточничестве, заставил его заплатить 200 тысяч рублей штрафа, то вдруг из дворца Меншикова, как по мановению волшебной палочки, исчезло все богатое убранство. Разгневанный государь потребовал объяснений. «Я принужден был, — отвечал Меншиков, — продать свои гобелены и штофы, чтобы хотя несколько удовлетворить казенные взыскания». — «Прощай, — сказал Петр с гневом, — в первый твой приемный день, если найду здесь такую же бедность, не соответствующую твоему званию, то заставлю тебя заплатить еще двести тысяч рублей». Царь действительно зашел вскоре к Меншикову и нашел все по-прежнему. Говорят, он долго любовался богатой мебелью и ушел, не говоря ни слова о прошедшем.

В 1716 году Петр издает указ, согласно которому на левом берегу Невы между впадающими в нее речками Мурзинкой и Славянкой были поселены рыбаки из северных губерний России. В обязанности переселенцев входило обеспечение столичных жителей рыбой. Первоначально слобода так и называлась Рыбной. До сих пор овраг в современном Рыбацком местные жители называют «Щучьей гаванью». По преданиям, сюда по весне заходила невяская рыба, поймать которую уже не составляло никакого труда. Должно быть, благодаря этой особенности и проезд на берегу Славянки имел старинное название «Заверняяка».

Рыбацкий промысел оказался прибыльным. Село богатело и процветало. Зажиточные крестьяне, вызывавшие зависть городских обитателей, в старом Петербурге имели вполне определенное прозвище: «рыбацкий куркуль». Вместе с тем их нелегкий труд вызывал и восторженные оценки: «Рыбацкий куркуль — вместо корюшки омуль», на что степенные потомки северных поморов примирительно и беззлобно советовали: «А ты поймай угря в Рыбацком да продай за рупь в кабацком». Впрочем, как работали, так и гуляли. Идиома «Рыбацкое-кабацкое» известна еще с XVIII века. В 1829 году Рыбная слобода была переименована в Рыбацкую слободу.

К концу XIX века окончательно сложился современный вариант названия старинной слободы — Рыбацкое. Аромат моря и рыбы мифология Рыбацкого сохраняется до сих пор. В 1980-х годах началась массовая застройка Рыбацкого современными жилыми домами. Вынужденный переезд в столь удаленный от центра города район породил в народе соответствующий микротопоним: Рыбацкое-дурацкое», а получение в этом «дурацком Рыбацком» квартиры иронически называлось «Рыбацким счастьем».

### 3

В 1724 году по распоряжению Петра I из Москвы в Петербург переводится Монетный двор. До постройки существующего ныне специального здания Монетного двора мастерские по чеканке металлических денег, или, как сказано в указе, «казармы для распространения монетного дела», располагались в помещениях Трубецкого и Нарышкина бастионов Петропавловской крепости. Там же, еще при жизни Петра, изготавливается первая монета достоинством в один рубль. На ее оборотной стороне изображено солнце. В фольклоре этот рубль известен под названием «Солнечник».

В 1798 году для Монетного двора началось строительство специального здания по проекту архитектора Антонио Порто.

Но вернемся к последовательности нашего повествования. В 1754 году по специальному указу императрицы Елизаветы Петровны на Сестрорецком оружейном заводе, основанном в 1720 году Петром I на северном берегу Финского залива в 36 километрах от Петербурга, началась чеканка медных монет из «негодных и нештатных орудий, кроме достопамятных». Город был назван Сестрорецком по реке Сестре, на берегах которой он раскинулся. Первоначально завод представлял собой своеобразный производственный комплекс из двух десятков самостоятельных так называемых «оружейных фабрик». Сестрорецкие оружейники прославились виртуозным мастерством и высочайшей квалификацией. Они не раз завоевывали высокие награды на различных выставках. В России их не без гордости называли «сестрорецкие левши».

Оружейные мастерские, приспособленные для чеканки монет, стали называть «Монетной экспедицией». Медные деньги выпускали на заводе только до 1766 года. Но через четыре года к их производству снова вернулись. Правда, это был довольно странный заказ. Заводу поручили чеканку рублей в два с половиной фунтов весом. Была выпущена пробная партия, но дальше этого дело не пошло. Килограммовые медные деньги хождения не получили. Выпущенная партия стала нумизматической редкостью. Среди коллекционеров эта увесистая денежка называется «Сестрорецкой монетой». По буквам «С» и «М», выбитым чеканщиками в хвостовой части двуглавого орла, изображенного на рубле.

История с сестрорецкими монетами еще раз напомнила о неудобствах, связанных с повседневным использованием монет в товарно-денежных отношениях. Известна история получения казенных денег Михаилом Васильевичем Ломоносовым в качестве гонорара за написанную им торжественную оду по случаю какого-то юбилея. Деньги в количестве двух тысяч рублей были выданы медными рублями, которые пришлось доставить к дому Ломоносова на двух повозках. Впору было задуматься о бумажном эквиваленте металлических денег.

Первая мысль о бумажных деньгах возникла еще при Елизавете Петровне по инициативе генерал-берг-директора Миниха. Однако Сенат императрице отказал, сославшись на то, что «бумажные деньги — есть дело необычное на Руси, и их введение может возбудить превратные толки». Напомним, что к тому времени в Европе банковские билеты уже существовали более ста лет. Только в мае 1762 года Петр III издал указ о введении в России ассигнаций. Но буквально через полтора месяца Петр III был свергнут, на престол взошла Екатерина II, и его указ остался невыполненным.

Между тем интригующая тема денег из фольклора не уходила. Так, рассказывают, что знаменитая итальянская певица Габриели, приглашенная в Петербург на гастроли, запросила у Екатерины II за два месяца своих выступлений в столице 5 тысяч дукатов. «Я своим фельдмаршалам плачу меньше», — попробовала возразить императрица. «Отлично, ваше императорское величество, — отпарировала певица, — пусть ваши фельдмаршалы и поют». Императрица сдалась.

Среди тех, чьи услуги приходилось оплачивать полновесным рублем, были не только уже упомянутые нами «фельдмаршалы» и «ломоносовы», но и другие любимцы городского фольклора. Далеким не последним в этом ряду был скандально знаменитый поэт Иван Барков, чьи эротические, а то и просто непристойные стихи во множестве расходились в списках. Иван Семенович Барков родился в семье обыкновенного священника. В детстве был способным ребенком, и родители отдали его на обучение в университет. По воспоминаниям однокашников, Барков

учился успешно, обладал острым умом и хорошей памятью, но постоянно пьянствовал и скандалил, за что в конце концов и был изгнан из университета.

Однако знания, полученные во время учебы, даром не пропали. Работая в академической типографии, Барков совершенствуется в латыни и становится в конце концов неплохим переводчиком, которому Академия наук не раз поручала переводы сатир Горация и басен Федре. Правда, при этом каждый раз рисковала, опасаясь, что выданные поэту авансы могут бесследно исчезнуть, а заказанные сатиры так и останутся непереуведенными. Легенды об этом ходили по Петербургу в таком же множестве, как и его скабрзные поэмы. Согласно одному преданию, академия поручила Баркову какой-то ответственный перевод и выслала ему довольно дорогой экземпляр оригинала. Спустя время, после многочисленных напоминаний, Барков просил передать академикам, что книга переводится. Еще через некоторое время на беспокойный запрос он вновь заявил, что книга переводится... «из кабака в кабак». Что сначала он «заложил ее в одном месте, потом перевел в другое и постоянно озабочивается, чтобы она не залеживалась в одном месте подолгу, а переводилась по возможности чаще из одного питейного заведения в другое».

Барков искренне верил в свой поэтический талант и без зазрения совести пользовался этим обстоятельством в своих целях. Согласно одному анекдоту, однажды он пришел к Сумарокову. «Сумароков — великий человек! Сумароков — первый русский стихотворец!» — сказал он ему. Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился допьяна, а выходя, сказал Сумарокову: «Александр Петрович, я тебе солгал: первый-то русский стихотворец — это я, второй — Ломоносов, а ты только третий». Сумароков пришел в бешенство и погнался за наглецом, но того уже и след простыл.

Согласно преданиям, именно этот великий похабник и замечательный поэт придумал знаменитую по своей лаконичности надпись к памятнику Петру I на Сенатской площади: «Петру Первому Екатерина Вторая». Будто бы за это императрица выдала ему сто целковых, что по тем временам было целым состоянием. Рассказывают, что через несколько дней друзья великого гуляки и пьяницы решили узнать, куда он собирается вложить столь немалые деньги. В ответ Барков торжественно продекламировал экспромт:

Девяносто три рубли  
Мы на водку употребли.  
Остальные семь рублей  
Впотребли мы на б...

Об этой истории сохранилась и другая легенда. Будто бы в конкурсе на надпись к памятнику, объявленном Екатериной, действительно победил Барков. Но учитывая специфические особенности его личности, результаты конкурса решили не предавать огласке. Однако надпись использовали. Когда, к своему немалому удивлению, Барков увидел на пьедестале так хорошо знакомый родной текст, то тут же сбежал за кистью и вслед за словами «Петру Первому Екатерина Вторая» приписал: «обещала, но не дала», напомнив таким откровенно двусмысленным образом об обещанном якобы гонораре. Похоже, он никогда себе не изменял.

Как утверждает фольклор, Барков покончил жизнь самоубийством. Говорят, при нем нашли записку: «Жил грешно и умер смешно». Согласно другой легенде, он умер от побоев в публичном доме, успев произнести с горькой иронией ту же самую фразу.



В начале XIX века героем городского фольклора стал известный богач Александр Львович Нарышкин. Нарышкин слыл в Петербурге гостеприимным и щедрым хозяином. Его дом был открыт для всех, и по традиции давних времен все званные и незванные были его желанными гостями. В его доме на Большой Морской, который в Петербурге прозвали «Новыми Афинами», и на даче на Петергофской дороге собирались «все лучшие умы и таланты того времени». Между тем он постоянно был по уши в долгах. Об этом злословил весь Петербург. Рассказывали, что однажды, во время Отечественной войны 1812 года, некто при Нарышкине похвалил храбрость его сына, который, заняв во время боя какую-то позицию, отстоял ее у неприятеля. «Это уж наша фамильная черта, — отозвался остроумный Нарышкин, — что зайдем, того не отдадим».

На одном из приемов, устроенных Александром Львовичем на своей даче, присутствовал Александр I. «Во что же обошелся этот великолепный праздник?» — спросил император. «В тридцать шесть тысяч рублей, ваше величество», — заметил Нарышкин. «Всего-то?» — уточнил император. «Я заплатил тридцать шесть тысяч рублей только за гербовую бумагу подписанных мною векселей», — поправился Нарышкин. Спустя какое-то время император послал Нарышкину книгу, в которую были вплетены сто тысяч ассигнациями. Находчивый Нарышкин просил передать императору свою глубокую признательность и при этом добавил, что «сочинение очень интересное и желательно бы получить продолжение». Говорили, что Александр I вторично прислал книгу с вплетенными в нее ста тысячами, но приказал устно передать, что издание окончено.

Известна легенда о том, как умирал Нарышкин. Его последними словами были: «Первый раз я отдал долг... Природе».

Хорошо знали в Петербурге и большого любителя роскоши настоятеля Троице-Сергиевой пустыни Гедеона, про которого открыто говорили: «Гедеон нажил миллион».

Справедливости ради надо сказать, что деньги в России тратились далеко не только на разгульную жизнь в кабаках и публичных домах. Часто они шли на благотворительность, которая поощрялась государством. В середине XVIII века в Петербурге широкое распространение получили карточные игры. Они были одинаково любимы как при дворе, так и в домах петербургской знати. В пору повального увлечения азартными карточными играми возникло поверье, согласно которому удача посещает только тех игроков, что играют вблизи жилища палача. Петербургские шулеры воспользовались этим и присмотрели два притона в доходных домах на углу Тюремного переулка и Офицерской улицы. Ныне это переулок Матвеева и улица Декабристов. Из окон притонов был хорошо виден Литовский замок — тюрьма, где, как утверждали обыватели, жил городской палач. М. И. Пыляев в книге очерков «Старое житье» рассказывает, как однажды тайный советник екатерининских времен, известный гуляка и картежник Политковский, которого в столице прозвали «Петербургским Монте-Кристо», проиграл казенные деньги. В игорный дом на углу Офицерской нагрянула полиция. С большим трудом удалось замять скандал, который грозил закрытием игорного притона. С тех пор салонные зубоскалы стали называть узкий Тюремный переулок «Le passage des Thermopyles», где картежники стояли насмерть и готовы были скорее погибнуть, как древние спартанцы в Фермопильском ущелье, нежели лишиться игорного дома вблизи жилища палача. В буквальном переводе «Le passage des Thermopyles» означает «Фермопильский проход».

Между тем собственного производства карт в России долгое время не было. Карты завозили из-за границы. Их количество достигало таких величин, что однажды

навелось правительство на мысль использовать ввозные пошлины на карты в благотворительных целях для «исправления нравов». Все ввозимые карты стали метить специальным клеймом, которое, как правило, ставилось на червонном тузе. Все деньги, полученные от продажи клейменных карт, направлялись на содержание воспитательных домов. При этом играть разрешалось только клейменными картами. В Петербурге в конце XVIII века даже возник некий эвфемизм, который в пословичной форме заменял необходимость прилюдно заявлять о своей страсти. Играть в карты называлось: «Трудиться для пользы Императорского воспитательного дома».

Только в 1817 году в Петербурге появилась своя карточная фабрика. Она находилась на Шлиссельбургском тракте (ныне проспект Обуховской Обороны, 110). Фабрика принадлежала воспитательному дому, попечительницей которого была императрица Мария Федоровна. Ныне это Комбинат цветной печати, в музее которого и сегодня можно увидеть прекрасные образцы игральных карт того времени. О карточном прошлом этой фабрики напоминает фольклор. Дома, построенные владельцами фабрики для рабочих, в народе назывались «карточными домиками».

Существовали и другие способы вложения денег. В 1850 году советник коммерции Н. С. Тарасов основал в Петербурге известную в свое время Анастасиинскую богадельню. Предки Тарасова — костромские плотники и резчики — жили на Охте с XVIII века. В богадельне, представлявшей собой двухэтажный дом с садом, проживали около 50 престарелых уроженцев Охты. Удивительна легенда о богадельне Тарасовых. Когда-то дед Тарасовых женился на единственной дочери богатого купца Анастасии и получил в приданое миллион рублей. Но через месяц после свадьбы Анастасия вдруг умирает. Гордый купец возвратил миллион отцу покойной жены, заявив, что не считает возможным пользоваться этими деньгами, так как был женат всего один месяц. Но отец умершей оказался таким же гордым человеком и тоже отказался от этого миллиона, заявив в свою очередь, что наследником его дочери может считаться только ее муж. Так они перекидывали этот злосчастный миллион несколько раз. Наконец Тарасов воскликнул: «Раз так, деньги пойдут не мне, не тебе, а Богу». И основал богоугодное заведение.

Известны в петербургской городской мифологии и фольклорные названия церквей, сохранивших имена благотворителей, на пожертвования которых они были построены. «Громовской» называлась не сохранившаяся до нашего времени часовня при церкви Святого Фирса и Святого Саввы Псковского при богадельне и школах Ф. И. Садовникова и С. И. Герасимова на Каменноостровском проспекте, 66, построенная на деньги, пожертвованные купцом Громовым. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Троице-Сергиевой пустыни, построенная на деньги князя М. В. Кочубея, была известна в народе как «Кочубеевская». «Болгарским» называли в народе Троицкий собор на Измайловском проспекте, возведенный будто бы на деньги, собранные по всем городам и деревням Болгарии в память об освобождении болгар Россией от турецкого ига.

«Суворовской складчиной» называли организованный по всей России сбор денег на строительство музея Александра Васильевича Суворова.

Ходили легенды в Петербурге и о сказочном богатстве графского рода Шереметевых. «Если взять горсть гороха и рассыпать его по карте, то не окажется горошины, которая не попала на имение Шереметева», — говорили о богатстве Шереметевых в России. Шереметевы славились своей благотворительной деятельностью. Рассказывали, что один из предков Шереметевых на вопрос царя Ивана Грозного, где он скрыл свои сокровища, ответил: «Царь, я передал их Богу через руки нищих». Щедрость Шереметевых была так велика, что в Петербурге сложилась поговорка: «Жить на шереметевский счет». В поговорку вошел и сам дворец Шереметевых.

Когда хотели сказать об огромных домах в большом городе, восклицали: «Целая шереметевская вотчина!» Рассказывали, что однажды к графу Б. П. Шереметеву в его дворец на Фонтанке неожиданно явилась императрица Елизавета Петровна. Ее свита состояла из пятнадцати человек. Но это не повергло хозяев дворца ни в панику, ни в смущение. К обеду, который тут же был предложен императрице, ничего не пришлось добавлять.

В городском фольклоре легко обнаружить и другие примеры благородного, чуть ли не рыцарского отношения к деньгам. В 1875 году представитель купеческой семьи Василий Максимович Федоров продолжил семейное дело, начатое его отцом, и открыл в Петербурге несколько трактиров. Федоровские трактиры стояли на Невском проспекте, 1, в Кузнечном переулке, 12, в Лештуковом переулке, 1 и других районах города. Среди них были широко известные в столице буфеты в торговых залах Елисеевского магазина на Невском проспекте и при магазине фруктов и вина на Малой Садовой улице, 8. В воспоминаниях современников буфет на Малой Садовой почти всегда называется рестораном. Этот легендарный буфет славился на весь Петербург «стойкой», где за десять копеек можно было получить рюмку водки и бутерброд с бужениной. Причем посетители, расплачиваясь, сами называли количество съеденных бутербродов. Один буфетчик не мог уследить за всеми и получал столько, сколько называл сам посетитель. Сохранилась легенда о том, что кое-кто из недоплативших за бутерброды по стесненным обстоятельствам, когда выходил из кризисного положения, посылал на имя Федорова деньги с благодарственным письмом.

Порой деньгам придавалось сакральное значение. Их боготворили наравне с божественными иконами. На участке № 24 Шлиссельбургского тракта (ныне проспект Обуховской Обороны) при церкви Божией Матери «Всех скорбящих радость», которую в народе называли «Скорбященской», в 1790-х годах была построена часовня иконы Тихвинской Божией Матери. Широко известной в народе эта икона стала после случившейся в Петербурге в июле 1888 года необыкновенной по силе и продолжительности грозы. Икона чуть не погибла, пережила второе рождение и стала с тех пор глубоко чтимой прихожанами. Вот как, согласно одной из петербургских легенд, это произошло. Во время грозы мощная молния ударила прямо в часовню, и она загорелась. Пожар мгновенно охватил все здание часовни. Из нее начали спешно выносить церковную утварь. Когда огонь удалось унять, прихожане с изумлением увидели, что киот иконы «Всех скорбящих радость» разбит, а к самой иконе прилипли неизвестно откуда взявшиеся одиннадцать полушек. С тех пор икона считается чудотворной. В народе ее прозвали «Богородица с грошиками» или «Богородица Всех скорбящих с грошиками».

В многовековом противостоянии двух столиц деньги легко превращались в художественную метафору и мерило ценностей. Известны поговорки: «Москва создана веками, Питер — миллионами» и «Питер строился рублями, Москва — веками». Оценочная функция возложена на деньги и в послереволюционной поговорке об утраченной монархии: «Был Николай дурачок — была булка пяточок».

Широко использовались деньги и в рекламных целях. В фольклоре сохранился выкрик пристанного матроса на перевозе у Летнего сада к Домику Петра I к образу Спасителя, который якобы помогал нерадивым ученикам сдавать экзамены и к которому возили родители своих лентяев: «К Спасителю за две копейки!» Известна и реклама дешевых папирос петербургской табачной фабрики «Товарищества Лаферм»: «Папиросы „Трезвон“, три копейки вагон!»

Но мы забежали вперед. Вернемся во вторую половину XVIII столетия. Только через шесть лет после восшествия на престол, в декабре 1768 года Екатерина II своим манифестом возвестила об учреждении двух банков в Москве и Петербурге,

объявив тем самым о начале эры бумажных денег в России, «дабы отвратить тягость медной монеты, затрудняющий ее оборот и перевоз». Банки регулировали выпуск ассигнаций и обменивали их на медные, серебряные и золотые монеты. Позднее, в 1849 году, ассигнации были отменены. На их место пришли бумажные деньги, которые как эквивалент стоимости остались в широком обращении. Они были удобны в пользовании и к ним быстро привыкли.

Первоначально бумага для ассигнаций изготовлялась на Красносельской, а затем на Царкосельской мануфактуре, а печатали деньги в Сенатской типографии. Но качество как самой бумаги, так и печати было столь неудовлетворительным, что очень скоро это вызвало появление многочисленных подделок. Все это заставило Александра I принять решение об устройстве специального заведения для изготовления бумажных денежных знаков на современном оборудовании и по современным технологиям. Создание такого предприятия поручили председателю Комитета по делам строений и гидравлических работ инженер-генералу Августину Августиновичу Бетанкуру.

Полное имя Бетанкура: Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина. Он родился в Испании, но в связи с беспорядками в стране уехал сначала во Францию, а в 1808 году — в Россию. Здесь он был принят на государственную службу в чине генерал-майора. Архитектор, строитель, инженер-механик, Бетанкур принимал участие в строительстве Исаакиевского собора и в возведении Александровской колонны. По его проекту был учрежден Институт корпуса инженеров путей сообщения. В Петербурге Бетанкур занимал должность председателя Комитета о городских строениях и директора Главного управления путей сообщения. Он по праву считается организатором транспортной системы Российской империи.

В 2009 году перед корпусом Петербургского университета инженеров путей сообщения на углу Московского проспекта и набережной Фонтанки бронзовый памятник Бетанкуру. Автор проекта памятника скульптор Владимир Горевои.

Строительство Экспедиции заготовления государственных бумаг, как стали называть это предприятие, велось на левом берегу Фонтанки в 1816—1818 годах. В 1860-х годах фабрика была перестроена и приобрела вид самостоятельного производственного городка с казармами для охраны, домами для рабочих, бумажным производством, литографией, типографией, административным корпусом и другими сооружениями. Кроме ассигнаций и вексельных бумаг, экспедиция выпускала почтовые марки и художественные репродукции, открытки и книги. В комитете по народным изданиям при экспедиции работали такие видные деятели русской культуры, как И. Е. Репин, А. Н. Бенуа, И. А. Билибин, Б. М. Кустодиев, Л. О. Пастернак и многие другие. Такая просветительская деятельность, казалось бы, далекого от просвещения предприятия не могла не вызывать чувства почтения и признательности. В Петербурге XIX века даже сложилась этакая шутовская формула добродушного ворчания при просьбе дать денег взаймы: «У меня не Экспедиция заготовления бумаг», которую при желании можно было понимать как угодно. С одной стороны — я не денежный мешок, чтобы ссужать других, с другой — я имею большее отношение к культуре и меньшее к деньгам.

После Октябрьской революции 1917 года экспедиция была переименована в фабрику «Гознак». В настоящее время на фабрике «отливают» специальную бумагу, которую затем отправляют в Москву и Пермь, где на ней печатают деньги.

Денежные купюры не обошел своим пристальным вниманием и городской фольклор. Сторублевые бумажные знаки, на лицевой стороне которых был изображен портрет Екатерины II, в просторечии назывались «Катя», «Катенька», «Катька», «Катюха». Широко распространенное название денег «бабки» так же идет от изображе-

ния на ассигнациях XVIII—XIX веков «бабушки» бумажных денег в России Екатерины II. Просторечный вариант этого «родственного статуса» одного из самых популярных русских монархов — Екатерины II — «бабки» — широко известен не только в уголовном мире. Вспомним, как Александр I при восшествии на престол в ночь гибели взбалмошного Павла I будто бы пообещал окружившим его приближенным: «Теперь все будет, как при бабке». Справедливости ради надо сказать, что известные фразеологические конструкции «срубить бабки», «наварить бабулек», «зашибить бабки» или «заколачивать бабки» в смысле «зарабатывать деньги» прямого отношения к императрице не имеют. Здесь «бабки», если верить этимологическим словарям русского языка, это надкопытные кости жвачных животных, используемые для игры «в бабки». Выигрывал тот, кто мог одним умелым броском сбить установленную на договорном расстоянии бабку. Впрочем, известно, что соединение смыслов или перенос смысла с одного понятия на другое является широко распространенной особенностью всякого живого, развивающегося языка, в том числе и фольклорного. Кстати, этимология слова «бабло», недавно вошедшего в повседневный оборот в качестве жаргонного синонима слова «деньги», по созвучию восходит к тем же «бабкам».

Принцип образования фольклорных наименований денежных знаков в фольклоре вошел в обычай. Так, пятисотрублевые бумажные купюры с портретом Петра I в народе известны как «Петеньки». Коллекционеры хорошо знают и «Николаевскую десятку» — золотую десятирублевую монету с изображением профиля Николая I, выпущенную в обращение в ходе денежной реформы 1898 года, предпринятую по инициативе С. Ю. Витте.

С именем Николая I связана история еще одной, давно уже ставшей редкой коллекционной монетой — так называемым «Константиновским рублем». Но все по порядку.

20 ноября 1825 года в Таганроге скончался император Александр I. Согласно закону о престолонаследии, принятому и обнародованному его отцом императором Павлом I, трон должен был занять второй по старшинству его сын Константин Павлович. Однако за пять лет до описываемых нами событий Константин Павлович развелся со своей первой женой, великой княгиней Анной Федоровной и женился на польской графине Жанетте Грудзинской, возведенной после этого императором Александром I в княжеское достоинство под фамилией Лович.

Впрочем, это был далеко не первый скандал, связанный с именем великого князя Константина Павловича. В Петербурге он слыл человеком с непредсказуемым и необузданным характером. С юности за ним тянулся шлейф «гнусных историй», одна из которых связана с именем жены придворного ювелира, благосклонности которой тщетно добивался великий князь. Женщина решительно отвергала все его ухаживания, и тогда Константин с помощью друзей организовал ее похищение. Несчастную женщину привезли в Мраморный дворец и «подвергли групповому изнасилованию», в результате чего она умерла. Дело удалось замять. Кого отправили в отставку, кто сам уехал за границу. А за Константином в Петербурге закрепилось прозвище Покровитель Разврата.

Скандалный морганатический, то есть неравнородный, брак не позволял Константину оставаться наследником русского престола. Вот почему еще в январе 1822 года, более чем за три года до кончины Александра I, он отрекся от царского трона в пользу своего брата Николая Павловича. Однако акт отречения обнародован не был и все это время держался в строжайшей тайне. Таким образом, с 20 ноября 1825 года до 14 декабря того же года, то есть со дня смерти Александра I до официального восшествия на престол Николая I и обнародования отречения от престо-

ла Константина Павловича, в России был период междуцарствия. Он сопровождался нервной перепиской между Петербургом и Варшавой, где в то время находился Константин, и тревожным ожиданием результатов выяснения семейно-династических отношений между двумя братьями.

Повторимся, ни официальных уведомлений, ни каких-либо указаний на этот счет издано не было. Общество находилось в полном неведении. Вот почему, едва в Петербурге узнали о смерти Александра I, как в витринах магазинов появились портреты нового императора Константина I, а на Монетном дворе приступили к чеканке монеты с изображением Константина. За короткий период междуцарствия было выпущено шесть пробных монет. Они ожидали высочайшего утверждения. Понятно, что с окончанием междуцарствия вопрос о новом металлическом денежном знаке отпал сам собой. В тираж монеты не запустили. Сегодня эти исторические шесть пробных монет являются уникальной нумизматической редкостью, известной под названием «Константиновский рубль».

Но и это еще не все. В течение нескольких дней все официальные учреждения обеих столиц под присягой признали Константина императором. К присяге была приведена армия. На верность Константину присягнули все высшие государственные чиновники, все Романовы и сам Николай Павлович. О своем верноподданничестве он сообщил Константину в личном письме, тут же отправленном в Варшаву. И только 13 декабря, когда Константин вторично подтвердил свое отречение, Николай провозгласил себя императором. Таким образом, формально с 27 ноября по 13 декабря императором и самодержцем всероссийским был Константин I, хотя, согласно официальной историографии, он никогда не царствовал, а начало правления Николая I задним числом было отодвинуто к дате смерти Александра I.

#### 4

В XVIII веке население Петербурга в основном росло за счет принудительных мер правительства, которое насильно сгоняло на строительство города плотников, каменщиков, землекопов, мастеровых и даже торговых людей. Кроме того, богатая петербургская знать переселяла в столицу своих крепостных, составлявших их многочисленную городскую челядь.

В XIX веке, особенно во второй его половине, положение изменилось. С отменой крепостного права Петербург стал центром притяжения тысяч крестьян, порвавших с землей и в большинстве своем искавших постоянного заработка, в меньшинстве — случайного обогащения, легкой свободной жизни, неожиданного поворота судьбы. Население столицы начало стремительно расти. Город, едва насчитывавший в 1861 году полмиллиона жителей, к 1900 году занял четвертое место в мире по численности населения, уступая лишь Лондону, Парижу и Константинополю. Перепись 1900 года среди полутора миллиона жителей столицы зарегистрировала 718 410 крестьян, прибывших из 53 губерний необъятной России.

Причины миграции сельского населения в разных регионах страны были различными. Но несмотря на то, что фольклор утверждает, будто «от каждого порога на Питер дорога», легко заметить, что наибольшей миграционной активностью отличались близлежащие к Петербургу губернии: Ярославская, Тверская, Новгородская, и особенно — Псковская и Витебская, по территориям которых в середине XIX века пролегла первая в России железнодорожная колея. Вот почему псковские и витебские крестьяне чаще всего становились кузнецами и текстильщиками, портными и сапожниками, работниками табачных фабрик и прачками, то есть петер-

буржцами в первом поколении, петроградцами во втором и третьем, ленинградцами и вновь петербуржцами в последующих. К этому времени в богатом арсенале петербургской фразеологии относится и появление одной из самых исторически точных петербургских поговорок: «Псковский да витебский народ самый питерский».

Необратимые процессы капиталистического развития пореформенного Петербурга тонко почувствовала всегда совестливая и ответственная за происходящее в мире русская литература. Пушкинский Петербург катастрофически превращался в Петербург Достоевского — город, представлявший собой социальный тупик, в котором сходятся все дороги и из которого не ведет ни одна. Опьяненные иллюзией свободы и призраком обогащения провинциальные русские растиньяки бросились на завоевание русского Парижа в честолюбивой надежде стать вершителями судеб и властителями умов. В столицу приезжали на заработки, на службу, «на ловлю счастья и чинов», на учебу. В особняках знати жило множество слуг, выписанных вельможами из своих сельских имений. Слуг было так много, что даже у Пушкина, который, как известно, вечно нуждался в деньгах и умер, не оплатив гигантские долги, их насчитывалось пятнадцать. Что же говорить о графе Строганове, у которого служило едва ли не 600 человек.

Вся эта огромная масса пришлого населения, замороженная фантастическими снами и святочными рассказами, верила в «свой» Петербург, когда бросала насыщенные места и устремлялась в столицу. Но холодный, расчетливый, недостижимо вельможный Петербург все ставил на свои места. Он славился стремительными обогащениями и катастрофическими падениями; одних любил, к другим был равнодушен, одних безоговорочно принимал, других отталкивал как инородные тела. В городском фольклоре это фиксировалось безошибочно точными пословичными формулами успеха, а чаще всего неуспеха: «Кого Питер полюбит — калач купит, кого не полюбит — последнюю рубаху слупит»; «Питер бока повытер»; «Матушка Нева испромыла нам бока»; «Питер — карман вытер» и так далее и так далее.

Сословный и чопорный Петербург быстро разрушал иллюзии искателей счастья. Отрезвевшие псковичи и ярославцы, помятые жизнью и потерявшие бедностью и унижением, если не возвращались на «круги своя», то превращались в извозчиков и лакеев, мелких чиновников и ремесленников, на всю жизнь усвоив житейскую истину о хорошем городе Питере, который «бока вытер». В Вологодской губернии над парнями, которые уехали в Петербург в надежде разбогатеть, а вернулись в свою деревню без денег, смеялись: «Напитерился». В той же Вологодской губернии родилась поговорка: «Питер кому город, а кому ворог».

Тема денег в петербургской мифологии становится едва ли не ведущей. Чаще всего это взгляд на Петербург не изнутри, а извне: «В Петербурге денег много, только даром не дают»; «В Питере денег кадка, да опущена лопатка, кадка-то узка, а лопатка-то слизка»; «В Питере деньги у потоки не висят». В смысле: денег даром не дают, с неба они не падают. Поговорка записана в Пудожском уезде, где потока — это водотечник, нижний свес кровли, желоб.

Деньги становились элементом и мерилем социального устройства общества. По деньгам встречали и провожали. Известный юрист и общественный деятель А. Ф. Кони вспоминает анекдот о продавцах ситников и калачей в галереях Гостиного двора. На укоризненное недовольство по поводу найденной в начинке тряпки торговцы качали головами: «А тебе за три копейки с бархатом, что ли?»

Репутация Петербурга как города, где можно славно повеселиться, распространилась по всей России. В 1916 году справочная книга «Весь Петроград» сообщала названия, адреса и фамилии владельцев более полутора тысяч трактиров. Было чем

вскружить головы заезжим провинциалам. В Ярославской губернии распевали частушки:

В Петербурге жизнь хороша,  
Только денег нет ни гроша.  
Заведется пяточок,  
И бежишь с ним в кабачок.

В деревнях, раскинувшихся по берегам Пинеги в Архангельской губернии, озорные частушки о жизни в столичном городе Петербурге с малолетства распевали даже дети:

Утка, утка, полетай,  
Поди дома работай.  
— Ей-ей — не могу,  
Потянули за ногу.  
Как в Питере вино  
По три денежки ведро.  
Хошь — пей, хошь — лей,  
Хошь окачивайся,  
Да живи и поворачивайся.

А в Тверской, Новгородской, Ярославской и многих других губерниях оставались недолюбленные и недоцелованные молодухи, которым ничего не оставалось, как хорохориться да распевать невеселые частушки:

Мой забава в Питере  
На каменном заводе.  
Пьет вино, курит табак,  
Денежки проводит.

Особым отношением к деньгам отличались рачительные и бережливые петербургские немцы, селившиеся, как правило, национальными колониями, или слободами, в окрестностях столицы. Одна такая немецкая слобода находилась на Выборгской стороне, вблизи Лесного проспекта. По местному сентиментальному преданию, в ней жили две семьи, дети которых — молодой ремесленник Карл и дочь булочника красавица Эмилия — полюбили друг друга. Однако их родители год за годом не давали бедным влюбленным согласия на брак. «Подождем, пока Карл будет зарабатывать достаточно, чтобы начать откладывать зайн кляйнес шатц (свои маленькие сбережения)», — говорили они. И дети покорно ждали своего счастья.

Через десять лет Карл стал зарабатывать вполне достаточно и уже отложил некоторое «шатц». Но родителям этого показалось мало, и они опять сказали: «Найн!» Прошло еще двадцать лет. И снова дети услышали категоричное: «Найн!» И тогда пятидесятилетние Карльхен и Эмилия посмотрели друг на друга, взялись за руки, пошли на Круглый пруд и бросились в него. И когда наутро их тела вытащили баграми, они все еще держали друг друга за руки. И тогда «господин пастор» и «господин учитель» посоветовали прихожанам назвать их именами улицу, чтобы отметить «удивительную любовь и не менее дивное послушание родителям».

Улица Карла и Эмилии просуществовала до 1952 года. В тот год ее переименовали в Тосненскую. Затем и она исчезла с топографической карты Петербурга.



В 1975 году Тосненская улица растворилась в застройке проспектов Раевского и Тихорецкого. Впрочем, могила влюбленных Карла и Эмилии была долгое время хорошо известна жителям Лесного — простой металлический крест в ограде, вблизи Политехнического института. Говорят, что она всегда была украшена свежими букетиками цветов.

В 2007 году в сквере дома № 22 по улице Бутлерова был установлен памятник легендарным влюбленным. Автор монумента — выпускник Академии художеств скульптор Матвей Вайман. Однако простоял памятник недолго. В 2015 году его демонтировали. Будто бы по требованию православной общественности, утверждавшей, что памятник самоубийцам оскорбляет чувства верующих. А жаль. Это был первый памятник влюбленным в истории Петербурга.

Пасторальные идиллии.  
Вечных мифов череда.  
Тени Карла и Эмилии  
У заросшего пруда.  
Стародавние видения  
Не исчерпаны вконец.  
В петербургском исполнении  
Драма любящих сердец.  
Не святые, не герои.  
Не шекспировский размах.  
И казалась нам порою  
Несерьезность в их мольбах.  
Прожужжали наши уши,  
Намозолили глаза.  
Обреченные не слушать,  
Мы не слышим голоса.  
И не верим в век из века  
В назидательный рассказ,  
Что во благо человека  
Наши дети лучше нас.  
И они, как наша карма,  
От которой никуда.  
Тень Эмилии и Карла  
К нам взывает из пруда. \*

Впрочем, были в Петербурге и те, о которых можно было с уверенностью сказать, что в их руки деньги падали с неба. Так, кличкой известного в Петербурге товарища министра просвещения при Александре II Михаила Сергеевича Волконского, нажившего деньги не совсем чистым способом при строительстве Грязе-Царицынской железной дороги, было Грязный Волконский. Нарипательное выражение «Гулять по-княжески» пошло от поведения великого князя Алексея Александровича, который сорил деньгами на женщин, рестораны и казино. Причем и в России, и за рубежом. Алексей Александрович в начале XX века был генерал-адмиралом русского флота, и про него говорили: «Парижские дамы стоят России по одному броненосцу в год». «Петербургскими чудодеями» иронически называли богачей, позволяющих себе различные чудачества в общественных местах. Например, один из них — бога-

\* Автор стихов, отмеченных знаком \*, — Н. А. Синдаловский.

тейший купец Михайло Кусовников — ходил по Петербургу в мужицких лаптях и длиннополом зипуне, с лукошком яиц или бочонком с сельдями. В таком виде он заходил в ювелирные магазины и покупал драгоценности, доставая из карманов огромные пучки денег.

## 5

Одновременно с ростом и развитием денежных отношений в России формировалась банковская система. Ведущая роль в этом процессе принадлежала столичным, то есть петербургским, банкам. Если в первой половине XIX века Невский оставался проспектом особняков, дворцов и модных магазинов, то стремительное развитие капитализма после отмены крепостного права придало Невскому более деловой характер. За короткое время в Петербурге открылись десятки самых различных банков и деловых контор. Большинство из них разместились на Невском проспекте. Достаточно сказать, что до революции в 28 домах из 50, расположенных на участке Невского от Адмиралтейства до Фонтанки, открылись респектабельные банковские конторы и агентства. И если в начале XIX века Невский проспект называли «Проспектом веротерпимости» — за обилие на нем молельных домов самых различных христианских конфессий, то в конце века его стали называть «Улицей банков».

Череду банков на Невском проспекте открывал знаменитый в свое время банк Вавельберга в доме № 7, построенном в 1912 году на одном из самых престижных участков Петербурга, на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы по проекту модного в то время петербургского архитектора М. М. Перетятковича. Здание было заказано купцом 1-й гильдии М. И. Вавельбергом специально для торгового банка. Это величественное сооружение, облицованное мощными блоками темного, грубо обработанного гранита, выполнено в стиле итальянских дворцов эпохи Возрождения. В Петербурге его прозвали «Дворец дождей» или «Денежное палаццо». Сохранилась легенда, как богатый и немногословный банкир принимал дом от строителей. Он долго водил их по многочисленным лестницам, коридорам и переходам и, не найдя к чему придраться, в конце концов остановился у входных дверей. Долго смотрел на бронзовую табличку с надписью: «Толкать от себя». Потом повернулся к строителям и проговорил: «Это не мой принцип. Переделайте на: „Тянуть к себе“».

Разраставшаяся в стране сеть частных, корпоративных, ведомственных и государственных банков требовала со стороны центрального правительства не только пристального внимания, но и постоянного контроля и регулирования. До Петра I управление финансами на Руси осуществлял Казенный приказ. Затем контроль за деятельностью финансовых учреждений был передан Правительственному Сенату. Только в 1802 году манифестом Александра I в России впервые учреждается Министерство финансов. За чуть более чем сто лет истории министерства до февраля 1917 года на посту министров сменилось около 20 человек. Можно предположить, что сменяемость в других министерствах была не меньшей, однако вряд ли все другие министерства могли похвастаться таким вниманием городского фольклора к их руководителям, как Министерство финансов. А это бесспорно говорит об их известности среди населения и степени влияния на повседневную жизнь. Вот только два примера о двух — одном из первых и одном из последних — министрах финансов царского правительства.

Дмитрий Александрович Гурьев был третьим по счету министром финансов. Представитель старинного графского рода, действительный тайный советник, член

Государственного совета, сенатор и управляющий Кабинетом его императорского величества, он стал министром финансов в правительстве Александра I исключительно благодаря поддержке, оказанной ему графом Аракчеевым. Ни в обществе, ни в Государственном совете доверием он не пользовался, хотя и старался принять какие-то меры для стабилизации финансовых дел, расшатанных войной 1812 года. Как утверждают современники, Гурьев «обладал умом неповоротливым, и ему трудно было удержать равновесие». В 1823 году, лишившись поддержки всесильного Аракчеева, он подал в отставку. Пришлось это на время пасхальных праздников, и в Петербурге родилась поговорка: «Христос воскрес, Гурьев исчез».

Между тем имя Дмитрия Александровича прочно вросло в городскую мифологию не только благодаря обидной и, может быть, не вполне справедливой поговорке. Широко известная в гастрономических летописях всего мира «гурьевская каша» — манная каша, приготовляемая в керамическом горшке на сливочных пенках вместе с грецкими орехами, персиками, ананасами и другими фруктами, — достойно носит имя своего изобретателя — министра финансов. Молва утверждает, что она была изобретена Гурьевым в честь победы России над Наполеоном.

В конце XX века понятие «гурьевская каша» заметно утратило свое фольклорное происхождение и выглядело обыкновенным официальным наименованием широко известного кушанья. Зато в уголовном жаргоне это понятие приобрело другое значение, не упоминать о котором было бы неверно. На тюремном языке «гурьевская каша» означает избивание, в результате которого избиваемый теряет человеческий облик и приобретает совершенно бесформенный вид.

Имя графа Гурьева городской фольклор сохранил еще в одном названии. В ведении Дмитрия Александровича, в бытность его министром финансов, находился Императорский фарфоровый завод, на котором тогда было начато изготовление уникального столового сервиза. Сервиз был задуман с размахом. Достаточно сказать, что он продолжал пополняться отдельными предметами вплоть до 1917 года. К этому времени их насчитывалось уже около четырех с половиной тысяч. Значительная часть этого гигантского фарфорового ансамбля за время советской власти была утрачена. Но то, что от него сохранилось — примерно 820 предметов, которые в настоящее время находятся в собрании Большого Петергофского дворца, — впечатляет и сегодня. Официально этот сервиз называется «Русский». На его тарелках были изображены народы, населяющие Россию, и уличные сценки из народной жизни. Но в кругах знатоков и специалистов он до сих пор носит фольклорное имя — «Гурьевский».

Доставалось не только Гурьеву. С 1823-го по 1844 год должность министра финансов исполнял граф Егор Францевич Канкрин, популярность которого в светских кругах была также не очень высокой. Сохранился анекдот о реакции известного остроумца князя А. С. Меншикова на случившуюся однажды тяжелую болезнь Канкрин: «Что нового сегодня о болезни Канкрин, Александр Сергеевич?» — спросили однажды Меншикова. «Плохие новости, — ответил князь, — ему гораздо лучше».

В 1892 году кресло министра финансов занял один из крупнейших государственных и политических деятелей России конца XIX — начала XX века Сергей Юльевич Витте. Витте окончил математический факультет Новороссийского университета, после чего по настоянию родителей пошел служить в Управление Юго-Западной железной дороги. Его головокружительной политической карьере предшествовал совершенно невероятный случай, который свел его с императором Александром III и круто изменил судьбу. Во время подготовки к одному из путешествий императора по железной дороге Витте был единственным, кто открыто и довольно резко вы-

ступал против этой затеи. Железная дорога, по мнению Витте, была не готова к предполагаемой скорости движения. «Государю голову ломать не хочу», — будто бы заявил он. Мнение никому не известного железнодорожного служащего Александр узнал только после крушения императорского поезда в Борках.

В то время должность министра финансов по своему значению приравнялась к должности главы правительства. Враги Витте, которых у него было достаточно, изощрялись:

Премьером стал у россов  
 Богатый инвентарь:  
 Один премьер без носа,  
 Другой премьер — Носарь.

Надо напомнить, что ныне основательно подзабытый председатель Петербургского совета рабочих депутатов Г. С. Хрусталева-Носарь пользовался в то время определенным авторитетом. Его даже называли Вторым Премьером. А у Сергея Юльевича Витте при его богатырской фигуре и могучем росте, по утверждению художника Юрия Анненкова, «нос был скомканный и в профиль был незаметен, как у гоголевского майора Ковалева».

Находясь у власти, Витте провел ряд блестящих финансовых реформ. Он вывел страну из кризиса, обрушившегося на Россию после поражения в Русско-японской войне 1904—1905 годов. В американском городе Портсмуте Витте заключил выгодный для России мирный договор с Японией, за подписание которого Николай II пожаловал ему графский титул. Правда, России пришлось отдать Японии половину Сахалина, за что в высшем свете Витте прозвали Графом Полу-Сахалинским. Бульварная пресса не уставала издеваться над Витте. На углу Невского и Садовой газетчики выкрикивали в толпу свежие новости: «Новая финансово-политическая газета — Виттова пляска! Витте пляшет, Трепов барабанит!» Напомним, что «Пляска святого Вита» — это недуг, характеризующийся беспорядочными движениями, напоминающими танец. В Германии существовало поверье, по которому обрести здоровье можно было, танцуя перед статуей христианского святого Вита. А Турецким Барабаном в Петербурге называли генерал-губернатора Д. Ф. Трепова.

Последней политической акцией Витте был знаменитый Манифест 17 октября 1905 года, даровавший России политические свободы. Витте лично составил текст манифеста. Царь долго сопротивлялся его подписанию, и впоследствии в Петербурге говорили, что Витте буквально «вырвал манифест у царя». Этого ему не простили. Витте подал в отставку, которая немедленно была принята. Говорят, при этом «радостном» известии у супруги императора Александры Федоровны, а по некоторым источникам, и у самого Николая II вырвался вздох облегчения. Известно, что императрица Витте недолюбливала и за глаза называла «Этот вредный человек».

Между прочим, Сергей Юльевич Витте мог бы стать героем городского фольклора и по другому, вовсе не политическому обстоятельству. В его доме, что находился на Каменноостровском проспекте, 5, супруга Витте регулярно устраивала «веселые завтраки и вечера», на которых подавали «крошечные горячие ватрушки с ледяной зернистой икрой внутри». Однажды Витте пошутил по этому поводу: «Гурьев был министром финансов хуже меня, и имя его навсегда осталось в истории не потому, что он был министром, а благодаря гурьевской каше. Почему бы не изобрести какие-нибудь виттевские пирожки?»

6

Февральская революция и последовавший вскоре октябрьский большевистский переворот привели не только к крушению монархии и изменению политического строя в стране, но и к возникновению на территории бывшей Российской империи в результате Гражданской войны различных государственных образований, претендующих на независимость. Практически каждое из этих образований старалось в первую очередь создать свою администрацию в виде правительства и свои символы самостоятельности и автономии в виде геральдических и денежных знаков.

Сделаем небольшое отступление о роли и значении в массовом общественном сознании денежных знаков как неотъемлемой части государственной символики. Известно, что отношение польского поэта Адама Мицкевича к Петербургу было последовательно отрицательным. В этом городе он видел столицу государства, поработившего его родину и унизившего его народ. И хотя Мицкевич хорошо понимал различие между народом и государством, свою неприязнь к Петербургу ему так и не удалось преодолеть. Покидал Россию Мицкевич на корабле. В Кронштадте, опасаясь, что его снимут с судна, прятался на палубе и только в открытом море почувствовал себя в безопасности. Рассказывают, что, обретя чувство свободы, «он начал со злостью швырять в воду оставшиеся у него деньги с изображением ненавистного русского орла».

А теперь вернемся в роковой для России 1917 год. Свержение монархии, изменение политического строя и объявление России республикой означало рождение нового государства, потребовавшего новую символику, в том числе и новые денежные знаки. Понятно, что Временное правительство во главе с Керенским выпустило в обращение новые бумажные деньги, которые вошли в историю городского фольклора как «Керенки».

Естественно, что сторонники монархии, возглавлявшие Белое движение, следовали той же логике и выпускали свои денежные знаки. В 1919 году, при подготовке похода на Петроград, бумажные деньги были выпущены главнокомандующим Северо-Западной белой армии генералом Н. Н. Юденичем. Поход провалился, и деньги Юденичу не понадобились, но в Петрограде они были хорошо известны под именем «Петроградки».

На юге России в обращении находились деньги, выпущенные генералом А. И. Деникиным. Коллекционерам денежных знаков они хорошо знакомы по фольклорным именам: «Катенька» — по портрету Екатерины II, изображенному на них, и «Чайковки» — по имени министра финансов правительства Деникина Н. В. Чайковского, чья подпись стояла на бумажных знаках.

Имя Николая Васильевича Чайковского сохранилось в истории, в том числе и благодаря широко распространенной ленинградской легенде об улице Чайковского, названной будто бы в его честь.

Политическая биография Чайковского начиналась в середине 1860-х годов, когда он вступил в основанную М. А. Натансоном революционную организацию студентов-медиков. Как ни странно, в названии кружка сохранилось не имя его основателя, а имя Чайковского. В советских энциклопедиях члены этого кружка называются «чайковцами». В 1904 году Чайковский вступает в партию эсеров.

После октября 1917 года Чайковский становится яростным противником советской власти. Он входит во Всероссийский комитет спасения родины и революции, который готовил восстание против большевиков. В 1918 году он участвует в «Союзе возрождения», а после высадки союзного десанта в Архангельске возглавляет Верховное управление Северной области. Послужной список Николая Чайковского

весьма последователен. В 1920 году он становится членом южнорусского правительства при генерале Деникине.

Между тем в Петербурге родилась легенда о том, что улица Чайковского носит не имя композитора Петра Ильича Чайковского, а имя его однофамильца — народника Николая Васильевича Чайковского. Легенда приобрела такую широкую популярность, что редколлегия справочника «Весь Ленинград» за 1926 год пришлось рядом с топонимом «Улица Чайковского» в скобках дать разъяснение: «комп.», чтобы доверчивый обыватель не спутал великого композитора с бывшим народником, а позже — откровенным врагом советской власти Н. В. Чайковским.

Поводом для возникновения столь одиозной легенды, вероятно, послужило постановление Петроградского губисполкома 1923 года, согласно которому одновременно были упразднены названия четырех параллельно идущих улиц: Захарьевской, Фурштатской, Шпалерной и Сергиевской. Первым трем присвоили имена революционеров первого поколения: Ивана Каляева, Петра Лаврова и Ивана Воинова. Бывшей же Сергиевской было дано имя композитора Петра Ильича Чайковского, который учился вблизи этой улицы, на Фонтанке, в Училище правоведения, и одно время жил на этой же улице. Однако многим казалось более логичным и уместным, если бы в ряду имен революционеров стояло и четвертое имя не композитора, а революционера, пусть даже и бывшего.

Все поставило на свои места время. В 1990-х годах трем улицам были возвращены их исторические названия, и только бывшая Сергиевская продолжает носить имя великого композитора.

Но мы опять отвлеклись. Вернемся к хронологической последовательности нашего повествования. В Гражданской войне победили большевики, после чего началась история советских денег. На первых сторублевых советских ассигнациях был изображен портрет В. И. Ленина. В народе эти купюры называли «Дядя», видимо, в память о царских «Бабках». И только потом их стали называть «Ленинками».

В 1923 году в обращении появился десятирублевый золотой червонец с изображением крестьянина-сеятеля с лукошком на фоне фабричного города. В фольклоре эта монета получила название «Золотой сеятель».

В 1970-х годах, в пору тотального дефицита промышленных товаров и продуктов питания, в стране появилось необычное порождение советской власти — сертификаты, которыми можно было рассчитываться за товары, приобретенные в валютных магазинах системы «Березка». Это были специализированные закрытые магазины по продаже промышленных и продовольственных товаров на сертификаты. В Ленинграде их было несколько. Один такой магазин находился в известном уже нам бывшем доме банкира Вавельберга на Невском проспекте, 7. Доступ обыкновенным гражданам в этот магазин, богатый ассортимент товаров в котором мог повергнуть в шок любого, кто там случайно оказывался, был закрыт. Понятно, что вокруг магазина процветали спекуляция и фарцовка. В основном на этом поприще подвизались молодые, предприимчивые, энергичные ребята, которых в городе называли «подберезовиками». Здесь же сновали сотрудники органов безопасности в штатском. Законопослушным гражданам лучше было здесь не появляться. В просторечии магазин был известен под именем «Береза». С началом перестройки это уродливое порождение социализма исчезло, оставив по себе память в городском фольклоре:

Мальчик на Невском доллар нашел,  
Поднял его и в «Березку» пошел.

Долго папаша ходил в комитет.  
Доллар отдали, а мальчика нет.

Сертификаты выдавались в обмен на валюту, заработанную советскими гражданами в зарубежных командировках. В народе они ценились достаточно высоко и, видимо, потому получили название «березовые деньги», в отличие от «деревянных рублей», как именовали в городском фольклоре советские деньги за их невысокую ценность.

Еще с одним явлением, с которым так и не справилась советская власть, было отношение к водке — любимому напитку питерской интеллигенции и пролетариата. Не помогали ни спецмашины медвытрезвителей, которые в народе называли «хмелеуборочными», ни неоднократные повышения цен на спиртное. Ответ на все это был один:

Водка стала пять и восемь,  
Все равно мы пить не бросим.  
Передайте Ильичу:  
Нам и десять по плечу.  
Ну, а если будет больше,  
То мы сделаем, как в Польше.  
Будет дальше дорожать —  
Снова будем Зимний братъ.

Обращение к Леониду Ильичу Брежневу и намек на революционные события в Польше пока еще носили мирный характер. Однако ленинградцы, если верить фольклору, трезво и со знанием дела оценивали свои возможности: «Если будет двадцать пять — снова Зимний будем братъ».

Злоупотребление алкоголем неизбежно вело к увеличению преступности — темы, которую никак не мог обойти своим вниманием городской фольклор. Тем более что к этому подталкивала двусмысленность, заложенная в названии Наличной улицы. Этот топоним существует с середины XVIII века. Название определялось тем, что улица со стороны моря и в самом деле была первой, то есть лицевой. Но в городской мифологии улица известна характерной лексической игрой. В народе ее до сих пор называют «Безнал» или «Наличка». Известна в фольклоре и местная пословица: «На улицу Наличную не ходи с наличными». По вечерам здесь и в самом деле небезопасно.

Если верить фольклору, небезопасно было не только на улице и не только в темное время суток. Вот отрывок из песни о ленинградском трамвае, записанной в Белоруссии:

Когда войдешь в трамвай,  
Ты рот не разевай  
И по карманам шарить не давай,  
Не давай.  
Монету доставай,  
Вперед передавай,  
Ведь это ленинградский наш трамвай,  
Наш трамвай.  
А если вдруг сосед  
Зажилил твой билет,

Ты вора вором тоже не считай,  
 Не считай.  
 По новой доставай,  
 Вперед передавай,  
 Ведь это ленинградский наш трамвай.

В городе продолжали рождаться самые невероятные легенды о денежных кладах, зарытых в особняках бежавшей из революционного Петрограда знати. Одна из самых фантастических легенд связана с именем небезызвестной балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. В феврале 1917 года Кшесинская покинула революционный Петроград, а в апреле того же года в пустующий особняк на Петербургской стороне въехали новые хозяева. В нем разместился Центральный комитет партии большевиков и так называемая Военная организация РСДРП, или «Военка», как ее называли в народе. Тогда же, согласно легендам, во дворе особняка были зарыты огромные деньги, будто бы полученные большевиками от германского генерального штаба для организации революционного переворота в России. Через 80 лет эта фантастическая легенда трансформировалась в предание о том, будто бы этот клад к «немецким деньгам» большевиков не имеет никакого отношения. Будто бы сама Матильда Кшесинская перед бегством из Петрограда зарыла свои сокровища.

Легенды о кладах на пустом месте не рождаются. Их корни, как правило, уходят в глубины реальных событий. Так, во время одной из крупнейших большевистских акций в Тифлисе было захвачено 250 тысяч рублей. Однако использовать эти деньги на революционные цели не было никакой возможности. Все номера купюр загодя были переписаны и известны полиции. Тогда большевики решили подделать номера денежных знаков. Операция была проделана художниками так искусно, что забракованы были только две купюры, первые цифры в номерах которых были несколько сдвинуты. И тогда, согласно легенде, кому-то из экспроприаторов пришла в голову мысль сохранить эти купюры для истории. Их запаяли в бутылку и упрятали в землю. Ныне эти купюры будто бы хранятся в Музее политической истории России, развернутом в помещениях особняка Кшесинской.

Между тем ни построенный в Советском Союзе социализм, ни скорое приближение обещанного коммунизма не сокращали, а только увеличивали разрыв между богатыми партийными и государственными чиновниками и остальным населением. Об этом свидетельствует ленинградский городской фольклор.

В 1873 году в сквере перед Александринским театром по проекту скульптора М. О. Микешина был воздвигнут памятник Екатерине II. Статуя императрицы, установленная на высоком фигурном, круглом в плане пьедестале, исполненном архитектором Д. И. Гриммом, давно уже стала одним из любимых объектов городского фольклора. Наименее обидные его прозвища: «Печатка» или «Катька», а место встреч и свиданий молодежи в сквере перед Александринским театром называется «У Катьки». Мифология бронзового монумента богата и разнообразна. Еще в XIX веке начались разговоры о том, что место для установки памятника выбрано вовсе не случайно. Что так и должна стоять лицемерная распутница — спиной к искусству и лицом к публичному дому, который, по одной версии, находился на месте Елисеевского магазина, по другой — на Малой Садовой улице. Записные столичные зубоскалы и остроумцы ни на минуту не оставляли памятник без внимания:

Где стоит такая дама,  
 Позади которой драма,



Слева — просвещение,  
Справа — развлечение,  
А спереди не всякому доступно?

Этакая пикантная игра, в которой и правила всем понятны, и ответ заранее известен. Позади памятника — театр драмы, слева — Публичная библиотека, справа — Сад отдыха, а спереди — Елисейевский магазин, цены на товары в котором доступны далеко не всякому.

Далеко не всякому были доступны и многие другие услуги. В 1960—1970-е годы в старинном доме, перестроенном в 1910 году архитектором Ван дер Гюхтом для нужд банкирского дома «Юнкер и К<sup>о</sup>» на Невском, 12 существовало широко известное в советском Ленинграде по народному названию «Смерть мужьям» трикотажное женское ателье высшего разряда.. Цены на услуги в этом ателье были столь разорительны не только для законных супругов, но и для богатых любовников, что в Ленинграде об этом ателье мод сложилась пословица: «Смерть мужьям, тюрьма любовникам». Причем если «смерть мужьям» фольклор предполагал в переносном, метафорическом смысле, то судьба любовников была более чем конкретной. При этом допускалось, что тюрьмы можно было все-таки избежать. На этот случай был готов другой вариант поговорки: «Смерть мужьям, петля любовникам».

## 7

Если верить толковым словарям русского языка, то цена — это денежное выражение стоимости товара или услуг. В этом качестве мы и рассматривали деньги на протяжении всего нашего повествования. Однако те же словари дают и другое определение цены, согласно которому цена — это степень ценности, значимости чего-либо. В этом смысле деньги приобретают иной, метафорический смысл, а то, что в словарях обозначено местоимением «что-либо», вообще цены не имеет. Оно бесценно.

Золото листьев на зелени трав,  
Будто за что-то уплаченный штраф,  
Будто за летнего счастья полет  
Выставят нам дополнительный счет.  
Шорох травы — словно шелест купюр.  
Как расплатиться за радости бурь?  
Как оценить? Да и есть ли она —  
Краткому мигу какая цена?  
Золотом листьев, как золотом лет,  
Платим мы дань за счастливый билет.  
Только бы верить, что стоимость трат  
Снова окупится зеленью трав. \*

В этом иносказательном качестве деньги продолжают жить в городском фольклоре до сих пор. Они и сегодня остаются символами, но символами памяти, надежд, чаяний и ожиданий.

В послевоенном Петербурге сложилась народная традиция вокруг Мемориального комплекса Пискаревского кладбища — одной из главных петербургских святынь. После регистрации брака молодые пары приезжают сюда, чтобы возложить

цветы в память погибших и умерших в годы блокады ленинградцев. Уходя с кладбища, посетители бросают монетки в бассейн при входе, в знак неперменного возвращения в эти места памяти и скорби.

В 1990-х годах появилась традиция дотрагиваться до рук и припадать к сапогам шемякинского памятника Петру I в Петропавловской крепости. У Петра как у некоего городского божества просят исполнения желаний.

Целый ряд традиций складывается вокруг памятника Чижик-пыжику на Фонтанке. Большинство из них связаны с пожеланием счастья и благополучия. Для того чтобы в жизни повезло, надо, наполнив рюмку вином, привязать ее к веревке, шнуркам или брючному ремню и, перегнувшись через перила набережной, дотянуться до этой питерской птички и чокнуться с нею. По другому обычаю для того, чтобы желание исполнилось, надо бросить к подножию птички монетку. И если она не упадет в воду и удержится на пьедестале, то все сбудется.

Этот невинный питерский обычай подхватили и гости из чужедальних стран. В Фонтанку полетели лиры, центы, пфенниги, песо и другая иноземная мелочь. Как утверждают очевидцы, для некоторых местных аборигенов это превратилось в одну из статей дохода. Они лихо ныряют в мутные воды Фонтанки и извлекают оттуда груды валютной выручки. Эта традиция сбора денег имеет давнюю историю. Говорят, она завезена в Петербург известным путешественником Миклухо-Маклаем, который «наблюдал ее среди диких племен южных островов».

Туристы и гости Петербурга свято чтут и другой обычай. Покидая наш город, они бросают монеты в чаши городских и пригородных фонтанов. Это не только дань традициям, но и дань уважения к петербургскому фольклору как неотъемлемой части городской культуры.

Мы храним прекрасные моменты  
 В памяти до Божьего суда  
 И бросаем медные монеты,  
 Чтоб вернуться в будущем сюда.  
 Память о языческих приметах,  
 Опасаясь внутреннего бунта,  
 Всё готова превратить в предметы  
 Веры, поклонения и культа.  
 Верим обещаньям и посулам.  
 Свято верим избранным дорогам.  
 Верим даже в то, что не по силам  
 Никому, за исключением Бога.  
 И живем во власти этой веры,  
 Не предпринимая ничего,  
 Напрягая собственные вены  
 В ожиданье чуда от Него.  
 И уходим вместе с верой этой,  
 И уносим ожиданий крест,  
 Прихватив последние монеты,  
 Чтобы заплатить за переезд. \*

## «Я ЕЩЕ ОПИШУ ЭТО ВСЁ, НО ПЕРВОЕ ЧУВСТВО — ЧУВСТВО ПОТрясения И СЧАСТЬЯ!»

Василий Калужнин и его наследие  
в дневниках 1985—1991 годов<sup>1</sup>

*История романа моего отца Семена Борисовича Ласкина (1930–2005) «Вечности заложник», сперва опубликованного «Невой»<sup>2</sup>, а затем вышедшего отдельным изданием<sup>3</sup>, безусловно интересна. Хотя бы потому, что вряд ли есть много примеров, когда книги пишутся так. Словно бы наобум. При этом все на удивление получилось. Во-первых, подтвердилась догадка о забытом художнике. К тому же — что уж совсем невероятно! — его картины не пропали, а дождался своего часа у приютившего их благодетеля. Главное, впрочем, то, что в сонме ленинградских гениев, замечательных мастеров тридцатых–шестидесятых годов, появилось имя Василия Павловича Калужнина (1890–1967).*

*В 1985 году отец задумал роман, выбрав в качестве героя неизвестного живописца. Не только не известного почти никому, но неизвестного ему самому. О том, что существовал такой художник — якобы превосходный, — он узнал от своего приятеля, искусствоведа Б. Д. Суриса<sup>4</sup> (запись от 01.01.85). Представляю, как, говоря об этом, Борис Давыдович удивлялся: вот, мол, что за судьба! Где-то, конечно, это хранится, но кто будет заниматься!*

---

Семен Борисович Ласкин (1930–2005) — прозаик, драматург, историк литературы, искусствовед. Окончил Ленинградский первый медицинский институт, работал врачом в больнице им. Ленина и на «Скорой помощи». Автор двадцати книг, в том числе: «Боль других» (М., 1967), «Эта чертова музыка» (М., 1970), «Чужое прошлое» (Л., 1981), «Вечности заложник» (Л., 1991), «Вокруг дуэли» (СПб., 1993), «Роман со странностями» (СПб., 1998); пьес, поставленных во многих театрах страны («Акселераты», «Палоумыч»), сценариев фильмов («Дела сердечные», «На исходе лета»), произведений для детей («Саня Дырочкин — человек семейный», «Саня Дырочкин — человек общественный»). Жил в Ленинграде—Петербурге.

<sup>1</sup> Фрагмент из готовящейся книги: Семен Ласкин. Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1999 годов.

<sup>2</sup> Журнал «Нева», 1991, № 3–4.

<sup>3</sup> С. Ласкин. Вечности заложник. — Л., 1991.

<sup>4</sup> Сурис Б. Д. (1923–1991) — искусствовед, коллекционер, автор работ о Н. Тырсе, Н. Лапшине, Г. Верейском, Д. Митрохине, много лет работал в Русском музее. Отец написал о нем воспоминания: Ласкин С. Моя большая потеря — Борис Сурис // Борис Сурис. Избранные работы. — СПб., 2003.

*Что руководило отцом, когда он решил искать? Детская мечта найти клад? Уж точно не здравый смысл. Он-то как раз подсказывал: не берись! Мало ли что привиделось Сурису в захламленной коммуналке! К тому же и времени прошло много. Если до сих пор ничего не всплыло, то ситуация, скорее всего, безнадежна.*

*Тут к месту вспомнить мой разговор с одним нью-йоркским галерейщиком. Тот, кому не удалось заявить о себе при жизни, говорил он, должен стать достоянием родственников. Ничего большего, чем их спальни и кабинеты, он уже не украсит.*

*Даже не представить, чего бы мы лишились, если бы рассуждали таким образом. У нас ведь как обычно бывает? Художник долго живет без зрителя, но после смерти все появляются. Ахают, сетуют на то, что находились рядом, но не обратили внимания. Иногда интерес возникает слишком поздно. Так произошло в этом случае: поиски начались с фамилии, неточного адреса и общей оценки: «Гений!»*

*Отец об этом рассказал так, что дистанции почти не чувствуется. События в романе происходят если не онлайн, то очень похоже на то, как бы они описывались в дневнике. Кстати, дневник действительно ему помог. Кажется, он держал его у правого локтя и время от времени подглядывал: что происходило дальше? Все ли было так, как помнится?*

*Чуть ли не полромана написано (и прочитано читателем), а Калужнин еще впереди. Вроде как свет в конце туннеля. Автор поговорил с его учениками и друзьями, а картин все нет. Над страницами по-прежнему висит вопрос: а был ли мастер? Не придумали ли его Сурис и те, кто о нем вспоминают?*

*Наконец работы находятся. Сначала немного графики, а потом всё остальное. Сомнения сразу отпадают: вот он, Калужнин. У художника продающегося этапы и периоды рассеяны по свету, а у безвестного собраны в одном месте.*

*Итак, перед нами произведение в популярном литературном жанре «поисков сокровищ». От Лондона и Стивенсона его отличает то, что речь не о золоте и бриллиантах, но о чем-то таком, что долгое время считалось хламом и едва не попало на помойку.*

*Что подвигло отца на многомесячные волнения? На этот вопрос у него был ответ. Вслух такое не произнести, но от дневника не может быть тайн. «Ю. И.<sup>5</sup> вывез все, что подверглось бы полному забвению, сложил в мастерской и словно бы ждал сигнала свыше» (запись от 12.06.85). Да, именно так. Свою задачу он понимает как миссию. Возможно даже, указание.*

*Кто-то, осознав свой долг, переполняется гордыней. Отцу ответственность лишь добавляла переживаний. Он и в книге не скрывает страхов, а в дневнике они приобретают характер панический. Чуть ли не в каждой записи слышен вопрос: удастся ли ему соответствовать «величию замысла» (слова И. Бродского)? Выдет ли все так, как представлялось?*

*Вот откуда это ощущение шаткого равновесия. Ведь разгадка то приближается, то удаляется. То сильнее вера, то наоборот. И все же, несмотря ни на что, роман движется в правильном направлении: от незнания — к знанию, от предчувствия — к открытию.*

*Как бы ни колебался автор-герой, но именно его присутствие определяет вектор. В едва ли не безнадежной истории появляется перспектива. Мы понимаем, что пусть не при жизни, но хотя бы в следующем времени Калужнина ожидают сочувствие и внимание.*

*Те, кто знал отца, подтвердят, что тут нет преувеличения. Он действительно был таким. Нетерпеливым, постоянно находящимся на пороге новых открытий, требовательным к себе. Прибавьте опыт коллекционера, «охотника» за хорошей живописью. Впрочем, одно от другого неотделимо — чтобы закончить роман, следовало довести поиск до конца. Иначе зачем было браться за эту книгу?*

<sup>5</sup> Ю. И. — Анкудинов Ю. И. (1930–2000) — художник, занимался декоративно-прикладным искусством, жил в Мурманске.

Еще надо сказать о том, что «Вечности заложник» создавался на удивление вовремя. Посмотрите на даты смерти тех, кто помогал отцу: Гертта Неменова<sup>6</sup> — 1986-й, Сергей Осипов<sup>7</sup> — 1985-й, Борис Сурис — 1991-й, Яков Шур<sup>8</sup> — 1993-й. Это была последняя возможность что-то узнать из первых рук. Стоило отложить задуманное, и жизнь Калужнина пришлось бы изучать по документам. Она стала бы столь же далекой, как события, описанные в учебнике.

Кроме тех десятилетий, что обсуждаются в романе, для его понимания важно время написания. О, это единственная в своем роде эпоха! Одна очередь за колбасой, а другая — более длинная! — за «Московскими новостями». Новости касались не только сегодняшнего, но и минувшего. Пожалуй, именно они особенно напрягли. Становилось ясно — на каком фундаменте предстоит строить новую жизнь.

Странное это ощущение — то, что публиковалось в журналах, читалось горячо, как газета. Даже «Котлован» или «Архипелаг». Может, только в эпоху Чернышевского и Писарева наши сограждане столько надежд связывали с литературой. Казалось, еще несколько публикаций — и все. Жизнь кардинально поменяется.

Как всякий литератор и коллекционер, отец был человеком увлекающимся. Конечно, перестройка его захватила. Столько всего — новое (или хорошо забытое старое), тайное ставшее явным! Его очень подбадривало, что и он имеет к этому отношение. На небольшом участке забытого ленинградского искусства ищет — и добывается — справедливости.

Если что и устарело в этом романе, то это пафос человека, причастного переменам. С тех пор мы сильно поумнели. Поняли, что вновь открытые имена тут ни при чем. Можно быть поклонником Филонова или Малевича, но думать так же, как пятьдесят лет назад.

Вообще, на сегодняшний вкус в этой книге слишком много пафоса. «Мог ли Фаустов представить, что этот великий плач матери (ахматовский «Реквием». — А. Л.) будет напечатан?» Слышите, как интонация ползет вверх? Это первый признак того, что эту фразу следовало написать по-другому.

Сегодня история ленинградской живописи воспринимается не иначе — отец все понимал правильно! — а более подробно. Прошедшее предстает не только в целом, но в многочисленных связях. Выясняется, что самые далекие явления были небезразличны друг другу.

Упомянем хотя бы о двух сюжетах в дополнение к рассказанному в дневнике. Отталкиваясь от этих записей, можно было пойти в одну сторону — и тогда получился бы «Вечности заложник». Сейчас мы повернем немного иначе — и подумаем о том, что пропущено.

Казалось бы, что связывает «Круг» тридцатых годов, в котором вместе с Калужниным состояли В. Пакулин<sup>9</sup>, А. Русаков<sup>10</sup> и А. Самохвалов<sup>11</sup>, с «Орденом непродávющихся живописцев», созданным А. Арефьевым в начале шестидесятых? А ведь это совсем несправданный вопрос<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> Неменова Г. М. (1905–1986) — художник, участвовала в выставках объединения «Круг художников», жила в Ленинграде.

<sup>7</sup> Осипов С. И. (1915–1985) — художник, жил в Ленинграде.

<sup>8</sup> Шур Я. М. (1902–1993) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде—Петербурге.

<sup>9</sup> Пакулин В. В. (1900–1951) — художник, входил в объединение «Круг художников» (член-учредитель, 1926–1932), жил в Ленинграде.

<sup>10</sup> Русаков А. И. (1898–1962) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>11</sup> Самохвалов А. Н. (1894–1971) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>12</sup> Первыми о связи между «Кругом художников» и «Орденом непродávющихся живописцев» написали Л. Гуревич в статьях об «арефьевцах» в биографическом словаре «Художники Ленинград-

Во-первых, есть непрямая зависимость. По этому поводу можно вспомнить сохранные отцом слова Геннадия Гора: «...люди не всегда современники. Не физическое и не историческое время тут нужно понимать, а эмоционально-психологическое» (запись от 25.02.71). К примеру, только коридор разделял Калужнина с соседями по коммуналке, а казалось, будто это разные измерения. С арфьевцами — дело другое. Тут не только «воздушные», но обычные пути. Те, что преодолевают пешком или на трамвае.

Одно время Калужнин преподавал в СХШ<sup>13</sup> на Таврической, а арфьевцы учились в СХШ при Академии художеств. Так что среда у них была одна. Ну и слухи циркулировали те же. Если появлялся кто-то неординарный, то о нем знали все.

Калужнин был именно особенный. Тут тот же, что у арфьевцев, градус странности и сосредоточенности на главном. Как, доказывая существование «черного свечения», он вращал перед учениками черным платком! Это был настоящий художественный жест. Сигналы на том языке, который понятен лишь посвященным.

Да и принципы во многом схожи. Ежедневно Калужнин покупал одно яблоко (на второе не хватало денег) и писал натюрморт. Затем яблоко съедал вместо обеда. Арфьевцы тоже были не чужды «жизнетворчества». Послушают разговоры на лестнице, поглазят на уличную драку, а потом это рисуют.

Ну а раз так, то почему бы не представить встречу Арфьева и Калужнина? В жизненные сроки такое знакомство уместится, а уж внутренних поводов — сколько угодно. Так и вижу их где-нибудь в Летнем саду. Говорят бурно, перебивают друг друга. Обсуждают, к примеру, красоту. Что она такое — нечто само собой разумеющееся или труд и преодоление? Скорее все же второе. По крайней мере, каждому из них она просто так не дается.

Откуда они ее добывают? Старший — из петербургского мрака и марева. Слово из копти той самой коптилки, на которой он готовит еду. Младшего вдохновляют житейские ситуации. Тут тоже имеет место преображение. Попадая на холст и бумагу, люди в очереди и толстые тетki в бане обретают величественность и монументальность.

Хотя лист Арфьева висел у отца недалеко от работ Калужнина, но он как-то об этом не думал. Или, может, думал, но отложил на потом. Ведь это сейчас Арфьев почти классик и мечта любого собирателя, а тогда его положение было чуть лучше, чем у героя романа.

Вот еще два разговора, которые вошли в дневник и книгу, но нуждаются в дополнении. Больше не случайно то, что эти встречи оказались рядом. Сперва отец побеседовал с Гертой Неменовой, а на другой день с Яковом Шурум.

От прочих художников Герту Михайловну Неменову отличало то, что в юности ее забросило в Париж, а там — Ларионов, Гончарова, Пикассо... И, главное, ощущение, что ты вместе со всеми творишь мировое искусство. Отсюда и другой контекст. Ее питерские коллеги мыслили в масштабах района или города, а перед ней была вся европейская живопись.

Неменова имела право сказать: «Я не экспрессионист, как немцы Дикс и Гросс<sup>14</sup>». Кстати, слова о том, что у нее «не было святого в Париже», тоже свидетельствуют о высоте помыслов и внутренней независимости (запись от 01.06. 85).

С таких позиций можно позволить раздражение в адрес «круговской» «компромиссности». Слова хоть и обидные, но нельзя сказать, что несправедливые. С одной стороны, в их программе провозглашалось «создание... стиля эпохи», а с другой — использование «новых завоеваний французской живописи»<sup>15</sup>.

---

ского андеграунда» (СПб., 2007) и Е. Андреева в книге «Орден непроданных живописцев» (СПб., 2017).

<sup>13</sup> СХШ — Средняя художественная школа.

<sup>14</sup> Дикс О. (1891—1969) и Гросс Г. (1893—1959) — немецкие художники-экспрессионисты.

<sup>15</sup> Цит. по статье: Мусакова О. К истории художественного объединения «Круг художников» // Объединение «Круг художников»: 1926—1932. — СПб., 2007, с. 8.

Можно высоко ценить круговцев — ни у кого в это время не было такого чувства цвета! — но при этом соглашаться с Неменовой, назвавшей их «либералами» (запись от 01.06.85). Кстати, Шур тоже это признает: «Развивалось левое искусство, а группа выбрала умеренность» (запись от 02.06.85). Умеренность — это не середина на половину, а по-своему цельная концепция. Она предполагает отказ от крайностей ради традиции и гармонии.

Если Неменова до старости сохраняла умение сказать наотмашь, выдающее в ней бывшую авангардистку, то Яков Шур остался верен «круговской» уравновешенности. Это видно хотя бы по их мастерским. У нее отец отмечает самый что ни есть радикальный «ужас», а у него — «идеальную чистоту» (запись от 02.06.85).

С Шуром разговор получился о самом главном. О том, как можно сохраниться. Круговцы не стремились, утверждал художник, к тепличным условиям. Они действовали. Оформляли город к юбилею Октября, писали декларации, устраивали выставки. При этом старались не конфликтовать. Уживаться с неблизкими им мастерами.

Это тот случай, когда мировоззрение стало второй натурой. Или даже первой. Все в Якове Михайловиче соответствовало его позиции — голос тихий, интонация раздумчивая, характеристики по большей части положительные.

Вот такие они разные — Неменова и Шур. Впрочем, с обоими время поступило строго. Одной не помогла авангардистская риторика, другому — уже упомянутые «квадратуры» «Круга». Каждый сохранился, но не так, как предполагал. Просто дух дышит, где хочет. Что во времена известности, что в эпоху забвения.

Конечно, это был бы немалый другой роман, и отец его не написал. Если же вернуться к той книге, что сейчас передо мной, надо вспомнить название предисловия. Оно подтверждает, что слово лишь тогда имеет вес, когда подкреплено делом.

Все же отец был врач по первой профессии. А значит, с юности привык к конкретным действиям. Если литератор часто ограничивается заверениями, то для врача это означало бы потерю квалификации.

Сколько мы знаем примеров, когда человек говорит правильные вещи, а живет совсем иначе. Тут эта проблема была решена изначально. Вот ведь как просто: совершаешь нечто важное для истории культуры, а потом описываешь тот путь, который ради этого прошел.

## Александр ЛАСКИН

**1.1.85.** Сурис сказал о Калужнине — была захлавленная квартира, керосинка, грязь. Одинокий старик, примыкавший к «Кругу». И — потрясение от картин.

Я выступаю в милиции на Чехова, 15. По моей просьбе милиционер идет по адресу — Литейный, 16, кв. 6. Находит человека, который знал Калужнина. Ему 70, он помнит огромное зеркало, но картины его не интересовали.

— А вот мама дружила. И еще одна старушка, жена часовщика.

Помнит, что приходили женщины, покупали картины. Рисовал по заказам.

Работал в Доме офицеров художником в блокаду.

Была сестра в Париже, известная актриса, вернулась в 50-е годы, будто бы жила в Киеве. Вышла замуж за профессора.

Разговаривал с человеком из квартиры 9.

Калужнин — участник 1-ой выставки «Круга».

Дружил с Калининым Владимиром Васильевичем, директором музея в Мухинке. Картины оказались у него. А от Калинина после его смерти попали в музей в Архангельске (Мурманске?).

Звонил Валентине Васильевне Гагариной (Дом офицеров). Пока следов не находит, но есть люди, работающие в Д. О. 40 лет.

Звонил Сергею Ивановичу Осипову. Оказывается, Калужнин работал на Таврической в СХШ (на Шаболовской), преподавал живопись. Теперь у Смольного.

Очень был симпатичный человек, дружил с Калининым, а у Калинина была общая мастерская с Герой, лаборантом спец. живописи (фрески).

Мастерская на Б. Зеленина.

Гера (фамилию забыл, чуваш из Краснодьянска. Его помнит Савинов Глеб Александрович<sup>16</sup>.

Позвонил. Осокин Гера

В 30-е годы была группа художников, 7 человек, «Круг», но «Круг» распался, не разрешили выставку. (Спросить, нет ли афиши у Харламовой<sup>17</sup>).

Люда Куценко<sup>18</sup> раздобыла телефон Осокина.

**28.03.85.** Вчера коротко шел с Граниным<sup>19</sup> из Лавки писателей, рассказывал о Калужнине. Гранин сказал: «Если найти картины, будет повесть, без картин писать бессмысленно». И дал совет: пусть будут пустоты. Там, где не знаете, пусть останется без доммысла. Появится для читателя особый интерес — додумать самому.

Мне кажется, это интересное замечание. Хотя бы пунктир, а пустоту заполнять другими историями круговцев.

**1.6.85.** Вчера был весь вечер у Герты Михайловны Неменовой, маленькой старушки, сухонькой, плосконькой, но с лицом одухотворенным, с умными живыми глазами. Курильщица. Очень живая, говорит почти шепотом, округляя глаза.

Живопись разная. Но одна — шедевр. Это странная вещь «Балерина». Старуха в зеленой пачке, в спущенных чулках, рыжеволосая, с руками прачки, красными, натруженными. Она писала ее в конце 20-х, увезла в Париж, где жила год и три месяца на стипендию от государства. И Ларионов, и Гончарова<sup>20</sup> были в восторге от этой работы.

Натурщицей была Полина Бернштейн<sup>21</sup>.

— Я подошла к ней и спрашиваю: «Нет ли у Вас голубой пачки?»

Она отвечает:

— Зеленая есть. Знаете, я ведь училась танцевать вместе с Лилей Брик.

И она надела.

— Я только попросила ее: «Оставьте чулки». Она с удовольствием позировала, но кажется я разбила ей жизнь. — «Можно придет посмотреть мой знакомый?» — Я разрешила. И он пришел. Невысокий человек в темном пальто. «Похожа?» — спросила я. — «Да, похожа». И он исчез.

<sup>16</sup> Савинов Г. А. (1915–2000) — художник, педагог, жил в Ленинграде—Петербурге.

<sup>17</sup> Харламова М. М. (1917–2008) — скульптор, жила в Ленинграде—Петербурге.

<sup>18</sup> Куценко Л. В. (1930–2011) — художник, жила в Ленинграде—Петербурге.

<sup>19</sup> Гранин Д. А. (1919–2017) — писатель, жил в Петербурге.

<sup>20</sup> Ларионов М. Ф. (1881–1964) и Гончарова Н. С. (1881–1962) — супруги-художники, основоположники русского авангарда.

<sup>21</sup> Бернштейн П. С. (1870–1949) — переводчица с немецкого, открыла русскому читателю творчество С. Цвейга.



Очень мама смеялась, когда увидела. Я не экспрессионист, как немцы Дикс и Гросс — я их увидела только тогда, когда здесь была выставка. Я чувствовала: надо писать не как немцы, а как французы. У немцев есть обязательная литературная концепция, а надо искать концепцию живописную. Я взяла натурщицу и поместила ее в живописную среду.

— «Круг» я презирала. Мне нужно было выставиться и я напросилась к ним, но затем поругалась и вышла. Они были либералами, очень умеренными, у них не было своей живописной идеи. Мне были ближе Татлин и татлинцы, Малевич, а не круговская половинчатость. Правда, и среди них были очень талантливые люди. Вот Емельянов<sup>22</sup>, Осолодков<sup>23</sup> (мы оба называем «Противогаз», это ее удивляет) Либерализм их объединял.

О своих картинах, которые кажутся «от ума», сделанными, Неменова говорит:

— Они любят солнце.

— Я попала на «Осенний салон». Но перед выставкой нашла на Блошином рынке странную раму с медным петухом. И точно размером как «Балерина». В этой раме ее и выставила.

Ларионов взглянул и сказал:

— Это живопись, я Вас поздравляю.

А маршан удивился:

— Это вы написали? — Он увидел, что я плачу — картину повесили в углу и за печкой. Он сказал: «Прессу Вы уже не получили, теперь Вам нужна публика».

Люди подходили к картине, читали «Неменова», но произносили: «Неменоко». «Сумасшедшая, но талантливо». Картина получила резонанс.

Потом я сделала фотографию и разослала маршанам. И придумала цену в полмиллиона — мне было жалко расставаться с ней.

— Ларионов меня познакомил с Пикассо, но при этом очень ревновал меня к Пикассо. Пикассо был меньше меня ростом (Г. М. показывает на мой лоб).

Я ему сказала:

— Я видела в Эрмитаже Ваших «Купальщиц», я даже смеялась.

— Вот видите, какая у нас молодежь! — бесился на это Ларионов — Человек редко смеется, когда остается один.

Пикассо спросил:

— Вы любите Руссо? (очень точно, «Балерина» напоминает Руссо. — С. Л.)

— Да, очень.

— Приходите ко мне, у меня висит над кроватью Руссо.

— Ну и девочка советская! — поражался Ларионов. И запретил:

— Никуда вы не пойдете.

Я заболела. И говорила Ларионову:

— Вы были у Пикассо?

— Нет.

— Идите без меня.

Я плакала.

Ларионов говорил Гончаровой.

— Наша Герточка — дура. Ну что ей Пикассо? — и утешал меня вместе с Натальей Сергеевной. — Мы Ваш бар (я тогда делала) покажем Корбюзье.

О Ларионове: он менял даты картин.

<sup>22</sup> Емельянов Н. Д. (1903–1938) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>23</sup> Осолодков П. А. (1898–1942) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде..

— Иванова-Ленинградская<sup>24</sup> была женой Карева<sup>25</sup>, а затем женой Емельянова. Емельянова арестовали. Он был очень талантлив. Погиб там. Емельянов был лет на шестьдесят младше Ивановой (взгляд ребенка. — С. Л.).

— Свиненко<sup>26</sup> иронизировал надо мной, я не знала какой он живописец.

— «Круговцы» «загибали» мои холсты. Они молились на французов, у меня не было святого в Париже. Все здесь: Малевич, Татлин, Филонов.

Н. училась у Петрова-Водкина, у Карева. Первый был прекрасный педагог.

**2.6.85.** Вчера был у Якова Михайловича Шура в светлой двухкомнатной квартире на Мориса Тореза, 100. Здесь в отличии от Герты Михайловны идеальная чистота, простор. Ни пылинки! А у Н. — ужас, и только в окно у нее, в этакий плафон выступом — открывается замечательная перспектива Б. проспекта Петроградской. Удивительный ракурс!

Здесь в комнате картины самого художника, тихие, уравновешенные, покой в них — стоит вода в Неве, начало весны, таяние, ни ветерка. Это не Фрумак<sup>27</sup> с его буйством.

И сам Шур — тихий, молодой в 83 года, четко-логичный, спокойный. Формат и его самого, и его картин одинаково-небольшой.

На стене цветы Викторией Белаковской<sup>28</sup>, Купервассер<sup>29</sup>, Траугота<sup>30</sup>. Первая, мне кажется, очень хороша. Об этих букетах ее муж Прошкин<sup>31</sup> с возмущением говорил: «Кому это нужно?».

Теперь по сути:

— «Круговцы» — это был один выпуск, закончили одновременно, их почти «выкинули» из Академии. Мы все учились у мастеров. В Штиглица, а потом в Академии нас было человек 40. А первая ячейка «круговцев» — человек 15.

— Это был весенний выпуск: Пахомов<sup>32</sup>, Пакулин, Траугот, Русаков, Вербов<sup>33</sup>, Федоричева<sup>34</sup>. Самохвалов выпустился раньше. Выставка была организована еще в Академии, она же и стала первой выставкой «Круга». Выпустили каталог. Хотели объединяться еще в Академии, но не получилось. А в 25 году стали искать название и тогда из Пскова наш однокашник Алексеев прислал письмо с предложением называть «Круг художников».

<sup>24</sup> Иванова-Ленинградская (Кареева) Н. В. (1883–1952) — художник, входила в объединение «Круг художников», жила в Ленинграде.

<sup>25</sup> Карев А. Е. (1879–1942) — художник, жил в Ленинграде.

<sup>26</sup> Свиненко Н. В. (1900–1942) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>27</sup> Фрумак Р. С. (1905–1978) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>28</sup> Белаковская В. М. (1901–1965) — художник, входила в объединение «Круг художников», жила в Ленинграде.

<sup>29</sup> Русакова — Купервассер Т. И. (1903–1972) — художник, входила в объединение «Круг художников», жила в Ленинграде.

<sup>30</sup> Траугот Г. Н. (1903–1961) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>31</sup> Прошкин В. Н. (1906–1983) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>32</sup> Пахомов А. Ф. (1900–1973) — художник, жил в Ленинграде.

<sup>33</sup> Вербов М. Ф. (1900–1980) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>34</sup> Федоричева М. А. (1892–1971) — художник, входила в объединение «Круг художников», жила в Ленинграде.

— В 1926 году первая выставка в Доме печати. Там же работала группа Филонова. Они ставили «Ревизор», писали декорации. Они исповедовали «сделанные вещи». Филоновцы развивались параллельно с нами, но не враждебно.

— Филонов был замечательный человек. Очень сильный. В Доме печати шли диспуты — Петров-Водкин, Карев, Филонов.

— Карев был живописцем, но очень дружил с Филоновым, а Водкин спорил, это были две разные позиции. Филонов был человек резкий, не признавал ничего, кроме своего метода.

— Мы жили искусством. Это теперь жить легче, а тогда мы очень трудно жили. Но два раза в год мы оформляли город, это давало какие-то средства. Был крупный скандал в связи с оформлением Исаакиевской площади. Закрыли памятник Николаю I кривой спиралью — вроде памятника Татлина 3-му Интернационалу, по спирали написали «демонстрация», а наверху поставили танк. Слово «демонстрация» было розово-охристое, а пушка танка была повернута на немецкое посольство. Там в 33 году был впервые повешен флаг со свастики. Смольный сразу же получил протест — почему пушка направлена на посольство? И тогда Иосиф Гурвич<sup>35</sup> и представитель Смольного стали поворачивать пушку на «Асторию», но и там были иностранцы. Пришлось повернуть пушку на Исакий... На памятник Николаю в другой раз надели ворону, а на фонари повесили маски буржуев. Маски делались из папьемаше в мастерской Коплянского<sup>36</sup>. Я оформлял Исакий. На верхней балюстраде написали: «Религия — опиум для народа». 8 раз пришлось взбегать на Исакий.

Но бумаги не было. Гурвич грозил:

— Посадим.

Тогда художники поехали в райсовет и вывезли всю подшивку газет. Для того, чтобы сделать маски, сняли один из фонарей и по нему делали макеты. Этот фонарь два-три года лежал в мастерской Коплянского.

Работа к Октябрю тянулась два-три месяца. Флаги по городу, на флагах — символика, девушки наши трафаретили, брали из бочек краску и мазали... Наш район был Октябрьский. Работали я, Свиенков, Чугунов<sup>37</sup>, Самохвалов (по его эскизу). Это сейчас все стало казенно. А тогда мы делали приезд Ленина. Каждый что-то предлагал. Панно было 22 метра длиной и 12 высотой. Финляндского вокзала не было видно.

Маляры заготавливали краску в бочках, а мы писали по клеткам. Напротив был портрет Сталина с флагами (это на здании с колоннами). Оформление было эмоциональным, не казенным.

— Хорошее отношение к нашей выставке было очень неожиданным.

— Мы собирались и дома — то у Русаковых, то у Пакулина и Федорченко. Пакулин был лидером, вождем по характеру.

— В журнале «Жизнь искусства» Пунин<sup>38</sup> отметил «Круг» как явление<sup>39</sup>. Дипломная выставка превратилась в выставку группы.

— У современной молодежи нет таких учителей как Водкин, Савинов, — это был великолепный мастер и учитель, — а мы были очень плохие ученики, мы стреми-

<sup>35</sup> Гурвич И. Н. (1895—1978) — живописец, график, с 1932-го по 1934 год — директор Русского музея, жил в Ленинграде.

<sup>36</sup> Каплянский Б. Е. (1903—1985) — скульптор, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>37</sup> Чугунов С. А. (1901—1942) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>38</sup> Пунин Н. Н. (1888—1953) — искусствовед, жил в Ленинграде.

<sup>39</sup> «...Появился ряд новых имен в русском искусстве... — писал Н. Н. Пунин, — они обособлены в вполне выразительную группу» («Жизнь искусства», 1925, № 48, с. 11).

лись все делать по-своему. Я и Петрова-Водкина понимал по-своему, с долей скепсиса. А недавно увидел и был потрясен — это великий художник, гордость России. Надо же, такой человек ходил среди нас! Водкин не меньше Серова, его масштаба. Недаром ему сейчас столько подражают — как, например, Мильников<sup>40</sup>... Да, сейчас у нас хорошие ученики, мы были ученики плохие.

— Филонов говорил: учиться не нужно, можно стать художником сразу, это повернуло к нему многих.

— Калужнина хорошо помню, он откуда-то появился. Был старше нас намного. Это был типичный «художник», в толстовке с бантом, с длинными волосами. Он был по возрасту ближе к нашим преподавателям, и чувствовал себя значительно и опытнее нас.

Из художников называет Вас. Вас. Купцова<sup>41</sup>, Зарянова<sup>42</sup>. Последний работал пожарником в Филармонии.

— Мы готовили выставку в Лондоне. Спорили, отбирали вещи, но не получилось.

— Руководство «Кругом» было коллективное. Каждый предлагал тему, эскиз. По эскизу шло обсуждение. Художник сам приглашал придти к нему во время работы. Наиболее крепкие вещи отбирались для выставки. Выставки проходили в Русском музее — помещение ближе к воротам. Выставки были небольшие, но они посещались.

— В 1932 году организовали ЛОСХ. Зачем? Ведь все знали друг друга в лицо.

На первой или второй выставке был Луначарский, засмотрелся и опоздал на поезд. Из-за него, говорят, задержали состав. Позднее ЦК дало ему выговор. Очень хорошо отзывался о художниках.

— В «Круг» тянуло очень многих. Общество имени Куинджи<sup>43</sup> работало по старинке, они словно не замечали нового. А «Круг» искал и думал. Пакулин был великодушный оратор, говорил без хитростей, прямо. Он был отставлен в 30-е, затем снова возник в блокаду, стал секретарем ЛОСХа. В 49 году Пакулина сняли со всех постов.

Пунин, выступая на выставке Гринберга<sup>44</sup>, сказал Серову<sup>45</sup>:

— Мы пережили блокаду, переживем и вас.

Эта банда и погубила Пунина.

— Тогда мы лучше знали о событиях в живописи. Что делается в Москве? Теперь что-то известно только по тем художникам, которые высказывают как Шилов<sup>46</sup>.

— Емельянов — замечательный художник, он часто бывал у Русакова, дружил с ним.

— «Круг» шел от французов. Ведерников<sup>47</sup> — Марке. А еще Лапшин<sup>48</sup>, Гринберг, Успенский<sup>49</sup>.

<sup>40</sup> Мильников А. А. (1919–2012) — художник, жил в Ленинграде—Петербурге.

<sup>41</sup> Купцов В. В. (1899–1935) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>42</sup> Зарянов Ф. И. (1902–1942) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>43</sup> Творческое объединение, возникшее в 1909 году по инициативе А. И. Куинджи и просуществовавшее до 1930 года. В него входили К. Ф. Богаевский, И. И. Бродский, В. Е. Маковский, А. А. Рылов.

<sup>44</sup> Гринберг В. А. (1986–1942) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>45</sup> Серов В. А. (1910–1968) — художник, президент Академии художеств в 1962–1968 годах, жил в Ленинграде и Москве.

<sup>46</sup> Шилов А. М. (род. 1943) — художник, живет в Москве.

<sup>47</sup> Ведерников А. С. (1898–1975) — художник, входил в объединение «Круг художников», жил в Ленинграде.

<sup>48</sup> Лапшин Н. Ф. (1891–1942) — художник, жил в Ленинграде.

<sup>49</sup> Успенский А. А. (1892–1941) — художник, жил в Ленинграде.

— В Академии были индивидуальные мастерские. Карев, Альтман<sup>50</sup>, Браз<sup>51</sup>, Петров-Водкин, Шухаев. Бенуа<sup>52</sup> ходил по мастерским, записывал, кто ему нравится, отбирал студентов, но вскоре уехал.

— «Стиль эпохи». У нас была группа, которая создавала теорию: Пакулин, Самохвалов, Пахомов (был индивидуалист, не компанейский). Когда заканчивали Академию Эссен<sup>53</sup> (директор) разрешил выставку, для отбора картин были приглашены отсталые академики, тогда мы устроили забастовку, решили не давать работы, а Пахомов повесил. И вот подошел к нему Моисеев, здоровенный мужик, поднял его и вынес из зала. И тогда Пахомову пришлось согласиться с требованиями «Круга».

— Учеба в Академии была платная, для имущих 25 рублей. Но никто не платил. Существовало равенство между художником и мастером.

— Браз Осип Эммануилович приходил к ребятам, его сопровождала жена, все получали по горбушке хлеба с повидлом, он был барин, садился и уплетал пайку. Обо-жал говорить о голландцах и старых мастерах. Иногда он становился к мольберту, и мы ахали, это был великолепный мастер, прошедший через импрессионистов. Это был вроде как «разъясненный импрессионизм».

— «Круг» шел, конечно, от импрессионистов. Наш преподаватель Денисов устроил экскурсию к Щукину и Морозову. Дома у себя они иначе смотрелись, это поража-ло<sup>54</sup>. Развивалось левое искусство, а группа выбрала умеренность. Если «Бубновский валет» шел открыто через Сезанна, то «Круг» через призму импрессионистов. Даже Ермолаева<sup>55</sup> делала копии Сезанна, училась у него.

— «Круг» создал декларацию. Текст обсуждался. Печатали в частной типогра-фии. Директором выставки (1-й) был Алексеев. Деньги с продажи билетов и картин поступали к нему, затем он сам покупал круговцам нужные вещи — ботинки, майки, рубашки. Вход стоил 15 копеек. Ревизионная комиссия отчитывалась в травах.

**19.06.85.** За эти дни ко мне приходили две ученицы Калужнина — Мещанино-ва Антонина Антоновна<sup>56</sup>, засл. раб. культуры РСФСР и художница Елена Крапивина, последней 71 год. Обе — маленькие, Крапивина — восторженная, начитанная, в выс-шей степени интеллигентная. Прозвище у Крапивиной в детстве «Цыпочка», это и сейчас остается...

Знал Калужнина и Гершов<sup>57</sup>, но ничего толкового не помнит. Сегодня все путал, по-стариковски засыпал, тыркался носом. Я был в отчаянии. Вдруг Г. сказал, что К. похож на Мунка, а Мунк на Тулуз-Лотрека. Наиболее интересное, что Калужнин пи-сал много углем. Это и есть его живопись. Гер. его, видимо, не понимал, так как тот работал так, как тогда еще никто не работал. Сам же Гер. в конце 50-х был ужасен. Я сегодня видел несколько портретов, которые ему нравятся по-прежнему.

Говорил об интеллигентности К., но ничего личного не внес.

<sup>50</sup> Альтман Н. И. (1889—1970) — художник, в разные годы жил в Петербурге—Ленинграде и Париже.

<sup>51</sup> Браз О. Э. (1873—1936) — художник, в разные годы жил в Петербурге—Ленинграде, Москве, с 1928 года — в Париже.

<sup>52</sup> Бенуа А. Н. (1970—1960) — художник, искусствовед, жил в Петербурге—Петрограде—Ленинграде, с 1926 года — в Париже.

<sup>53</sup> Эссен Э. Э. (1879—1931) — в 1925—1929 годах ректор Академии художеств в Ленинграде.

<sup>54</sup> Музей нового западного искусства, включавший в себя коллекции С. И. Щукина и И. А. Морозова, существовал с 1923-го по 1948 год и располагался в помещении бывшего особняка И. А. Морозова.

<sup>55</sup> Ермолаева В. М. (1983—1937) — художник, жила в Ленинграде.

<sup>56</sup> Мещанинова А. А. (род. 1919—?) — художник театра, с 1951-го по 1980 год — главный художник театра Северного флота, жила в Мурманске и Ленинграде.

<sup>57</sup> Гершов С. М. (1906—1989) — художник, жил в Ленинграде.

**9.7.85.** Мурманск. Очень легкий перелет с двумя свитерами — и вдруг тропическая жара. Тетка в гостинице жалуется, что не перенесет солнца, готова умереть. Все в легких рубашках, на балконах загорают. И это в тот момент, когда из Питера улетел в стужу, в дождь.

С самолета Кольский очень спокоен. Редкий лес, вблизи вижу в основном ольху или осину, много озер и полное безлюдье. Минут за тридцать до приземления местами возникали снежные холмы; там, видимо, не тает.

Гостиница прилична, но сегодня пребываю в безделье. Привычка что-то писать срывается.

Многое зависит от сегодняшней встречи с Анкудиновыми. Жена была мила, благодушна, расположена. Так ли он? По телефону — напряженная недоверчивость.

Волнуют два момента:

Так ли значителен Калужнин? Сурис двадцать лет назад мог ошибаться.

Удастся ли преодолеть недоверие и обратиться к себе? Наверное, если я слишком буду стараться, то возникнет недоверие.

Возможно, я уже переборщил. Несу коробку конфет, бутылку водки и книгу.

**12.6.85.** Мурманск. Четвертый день уже здесь. Цель — Калужнин. И цель достигнута.

Первые волнения и первые оплошности преодолены. Теперь полный контакт с художником Анкудиновым Юрием Исааковичем, его женой Светланой Александровной<sup>58</sup> и добрым юношей, студентом сыном Мишей. Опять повезло на людей. Ю. И. — человек творческий, порывистый, честный, — именно он и вывез все, что подверглось бы полному забвению, сложил в мастерской и словно бы ждал сигнала свыше. Сигналом оказался я.

Графика Калужнина превзошла все мои ожидания, настолько она хороша. Пейзажи, светящиеся изнутри, портреты, автопортреты, это невероятно по силе и напряжению, вещи излучающие энергию тепла и какой-то испуленной красоты.

Я еще опишу это все, но первое чувство — чувство потрясения и счастья!

Сангины тоже великолепны. Калужнин чувствует женское тело как абсолют. Совершенную красоту. Он молится на эту красоту — и линия, и пластика, и цвет просто затягивают зрителя, как в головокружительный, зовущий к себе, губительный — нет из него выхода, невозможно! — омут.

Масло разное, наверное я не все понимаю. Мешает настойчивое желание Кал. доказать, что он может «как все».

Он берется за разные темы. И война, и создание гидрокомплекса, но делает это так, что «как все» не выходит. Колорист берет верх. И вот женщина на стройке вдруг освещается таким пламенем электросварки, свет становится таким давящим над темой, что невольно видишь картину, суть человеческого духа, а тема остается где-то позади, как неглавное, вынужденное, прикладное.

Но даже в этом вынужденном и запрограммированном времени объеме «тем», рекомендованных для художника, — а К. нужен был минимальный заработок — он находит свое, глубинное, неизбывное, пережитое, оставшееся в сознании на все дальнейшие годы: Эрмитаж, эвакуация картин! Дежурство на крыше! Мрачный свет, вырывающийся из темноты — ах, эта темнота, великое умение и счастье Калужнина, я бы назвал его волшебником черной магии, сколько света он умеет извлекать именно из темноты! — да, да, свет, едва вырывающийся из темноты, едва пробивающийся сквозь немногие оставшиеся заклеенные окна, а чаще — забитые фанерой, и все же свет проникающий сюда неведомо откуда, и ты начинаешь по-

<sup>58</sup> Анкудинова С. А. (род. 1932) многие годы работала в учреждениях культуры Мурманска; Анкудинов М. Ю. (род. 1964) — архитектор, окончил Училище имени Мухиной, живет в Петербурге.

нимать не сразу, — кто в темноте, в напряженном таинственном пространстве осажденного музея не почувствует этого! — что перед тобой согбенные живые люди, они на коленях для какой-то своей трагической молитвы, их спины согнуты, головы опущены, но нет, не молитва это, а нечто иное: люди забивают в ящики, снимают великие полотна, — не мог я себе раньше представить, что горе так можно выразить через цвет!

«Эрмитажных» картин много, два десятка, наверное это создано человеком, бывшим одним из тех, кто теперь живет на этих теперь опрокидываемых полотнах — Веласкеса, Эль Греко, Рембрандта, полотнах никогда не думавших, что и им придется спасаться от фашизма бегством. Да, только им, потому что художник не собирался бежать, он принадлежал духом и сердцем своему городу. Город в блокаду — это еще одна бесспорная удача Калужнина. Вот он, застывший Невский проспект, трамваи, люди, пустота голода. Город словно вобрал в свои легкие воздух и пространство стало шире, и воздух выдохнутый словно заledenел и стал непрозрачным, как непрозрачным бывает застывшее затуманенное стекло.

Туман этот пронзителен, этот туман другой чем у Марке, чем у импрессионистов, потому что импрессионисты были наполнены ощущением счастья от красоты, а К. это счастье оплакивал, он показывал трагедию счастья, именно счастья, ибо вечная красота Ленинграда в дни блокады оказалась обреченной, приговоренной к гибели.

Неужели! Неужели! — кричал художник. — И это способно зачеркнуть, уничтожить война! Неужели!

Он учил детей, нарушая предписания и указания методистов. Он обожал Ленинград до боли и вдруг спрашивал кого-то шепотом: «А если бомба упала на Невский, где Елисеевский магазин». И он уже видел взрыв, разрушение любимого города.

Нет, не должно этого быть! Быть этого не может.

**25.8.85.** Дубулты. Пишу о Калужнине. К сожалению, плана никакого. Куда тяну — не знаю, да к тому же не сделал, что хотел. Не даю материал о художнике для издательства «Искусство». Но иначе не могу, не получается иначе.

Нужно написать Льву Арк. Калужнину<sup>59</sup> письмо. Вопросы: что он знает о детстве В. П.? Где учился? У Конашевича? У Пастернака? У Мешкова? У Машкова? У кого? Что кончал? Гимназию? Кто были родители? Долго ли были в Саратове? Когда в Москву? Когда из Москвы в Ленинград?

**18.12.85.** Главное — выставка Калужнина, которую всю делаю сам — от забивания гвоздей до ношения рам<sup>60</sup>.

**5.3.87.** Кажется, я боюсь новой повести... Не мало ли материала? Пожалуй, мало. Обойдусь ли тем, что есть? Не ведаю.

Я лентяй. Не все, далеко не все собрал, что мог.

Вот вчера были в квартире 4 дома 16 на Литейном у жены часовщика Серафимы Сергеевны. Она жила припеваючи в блокаду, покупала даже мясо, а рядом погибал Калужнин. Он открыл дверь, руки его были в чирьях, она испугалась за своих детей.

<sup>59</sup> Калужнин Л. А. — племянник В. П. Калужнина, жил в Киеве.

<sup>60</sup> Организованная отцом выставка Калужнина в ленинградском Доме писателей открылась в январе 1986 года.

Дом восстановлен. Был капитальный ремонт, все стало ужасно. Тонюсенькие двери, лестница рушится — молодежь танцует на ступеньках, камень сломали, теперь лежит доска — и огромная под ней щель.

И тоже помнит она зеркало и сестру из Парижа, балерину. А балерины-то не было никогда.

(Любил очень детей).

**6.3.87.** Похоронен В. П. на Парголовском кладбище, 13 Лесной, кв. № 510, 10 ряд, № 11, 1967...

После 3-х часов, когда солнце заходит, Калужнин уходил читать газеты на улицу. Прочтет и возвращается.

На кухню не выходил.

Соседи: Лев Борисович Шварц + Мария Федоровна, дочь Николая Радлова<sup>61</sup> Лидия Николаевна (двери между Вас. Пал. и Левитиными). Она была замужем за пасынком Алексея Толстого.

Левитины иногда предлагали кофе Вас. Пал.

Левитина — зав. библиотекой Астрономического факультета...

**8.3.1987.** Дубулты. Как лож охватила искусствознание? Почему был перечкнут Филонов? Шагал? Малевич? Татлин?

Через какие ворота врывались орды реалистов? Конечно, невежество. Но это одна сторона: Сталин — невежество, но лож шла дальше, через угодничество. Интересно бы задать вопрос Ковтуну<sup>62</sup>: кому это было нужно? кто тут выигрывал, если в глобальном смысле? Что могло дать «рисование по линейке»? Солдатчина в искусстве? Или еще одна линия дает сбой, подчиненные принимают команду. Управляемость — вот главное.

Калужнин, мне кажется, был одарен нужной глухотой и слепотой. Он их не слышал, не понимал. А был при всем том исправным человеком — ходил читать газеты на улице.

У Гранина (с. 68) о Лысенко говорит некий ученый: «Позор, когда теорию охраняют не факты, а милиция»<sup>63</sup>. Раз есть охрана, то есть и те, кто любит силу, ревнители. Их много, они начинают и вскоре выигрывают на какое-то время.

К. интуитивно избегал возможных соблазнов. Он учил рисовать портреты Сталина, но сам их не писал. Это его и убивало, и спасало... И в блокаду эта часовщица не накормила бы его, ведь он ее не просил. Но она покупала мясо!

В ЛОСХе поглядеть 1932 год, «дело Калужнина», его изгнание.

Как выглядел мир метаний К.? Какие страсти он в себе подавлял? Любил Уженко, на 35 лет моложе его, не испугался бессилия своего. Но почему не женился раньше? Где силы были для вечного голода, для нищенствования, для жизни в тени?

Калужин, чувствую, самая трудная моя работа. Ума мало. А нужно много знать и много думать.

Знаю мало, а думать не умею, вот беда.

<sup>61</sup> Радлов Н. Э. (1989—1942) — художник, жил в Ленинграде.

<sup>62</sup> Ковтун Е. Ф. (1928—1996) — искусствовед, жил в Ленинграде.

<sup>63</sup> Цитата из книги Д. А. Гранина «Зубр».



Придумалось название: «Вечности заложник». Он был внутренне одинок. Вечность испытала его на терпение. Он был отшельник и заложник одновременно. Его освобождение так и не произошло... Он выбрал работу взаперти, поверил в то, что можно жить так. Поверил, а перед смертью вдруг решил, что сделанное никому не нужно. Из ценностей — не живопись, а один старый шкаф для какой-то Анны Петровны.

Радость успеха, он не познал его. Впрочем, был Терновец<sup>64</sup>, был Никритин<sup>65</sup> — это искренне... Успех, а потом 40 лет неуспеха. Стоит ли?

Значит живопись — это воздух, он не мог не дышать.

**12.07.87.** Советовался с Граниным о Калужнине, как быть — одни люди под подлинными именами, другие — вымышленными. Он сказал: «Неважно. Как напишется — так и надо».

**3.8.87.** ...Продвигаюсь, но крайне медленно — почти стою на месте. Очень хочется писать другое, но пути назад не вижу, да и нельзя... Странное со мной случилось полтора месяца назад, а если календарных, то 35—40 дней: не могу сдвинуться с места. Одно и то же пишу ежедневно, топчусь, но не ухожу никуда. Что делать?! Это столбняк. А м. б. это тот заколдованный Калужнин, через которого одни беды. Моя беда. Если завтра не завершу этот кусочек, — 10 страниц — то не знаю, что смогу предпринять еще... Вот попался!

**8.12.1987.** Появилось ощущение, что Калужнин — это главная моя книга. Но устал я от нее ужасно.

**18.3.88.** Сегодня закончил (дочитал — понял, что вышла) книгу о Калужнине! Ай, да Ласкин! Ай, да сукин сын! Спасибо всем, кто помогал — думаю особенно о родителях, о маме и папе. Спите, родные мои, спокойно...

Господи, сколько же времени я писал? Сколько сомневался, говорил — кадавр, труп! — это Гранину, а он смеялся. И вот кое-что на столе, книга самая большая в моей жизни, самая значительная.

**16.5.88.** Роман очень жду! Как правило, мне мало что удавалось, но теперь мы иначе пишем — открытее, меньше уловок, больше искренности, правды.

**3.1.91.** Читаю первую корректуру романа «Вечности заложник» и думаю — нет ли моей ошибки в сохранении кое-каких имен, особенно — Самохвалова...<sup>66</sup> Всегда возникает дилемма: жизнь — и литература. Хотя литература — это жизнь, но пропущенная через себя.

Предисловие, подготовка текста, комментарии  
**Александра ЛАСКИНА**

<sup>64</sup> Терновец Б. Н. (1984—1941), искусствовед, с 1919 года до своей смерти возглавлял Музей новой западной живописи (впоследствии — Музея нового западного искусства) в Москве, организовал обмен картин с европейскими музеями, благодаря его хлопотам работы К. С. Петрова-Водкина, А. Г. Тышлера и В. П. Калужнина оказались в итальянских коллекциях, жил в Москве.

<sup>65</sup> Никритин С. Б. (1898—1965) — художник, в 1958 году ходатайствовал о восстановлении Калужнина в Союзе художников, жил в Киеве и Москве.

<sup>66</sup> В романе есть несколько эпизодов, в которых узнается художник А. Н. Самохвалов (названный только по имени-отчеству).



---

Поиски и находки

---

Владимир ЧИСНИКОВ

«... Я ПОД ПРИСМОТРОМ  
ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ»  
(Лев Толстой и спецслужбы)

Следует всегда иметь в виду, что один, даже слабый секретный сотрудник, находящийся в обследуемой среде, несоизмеримо дает больше материала для обнаружения государственного преступления, чем общество, в котором официально могут вращаться заведующие розыском.

*Из «Инструкции по организации и ведению внутренней агентуры» (1911 г.)*

29 апреля 1909 года. Ясная Поляна. Солнце клонилось к закату, когда в графском особняке, в просторной столовой за длинным столом собралась многочисленная семья и гости Льва Николаевича Толстого. На так называемом хозяйском месте, откуда можно было видеть всех присутствующих, сидела жена писателя Софья Андреевна. По правую сторону от нее, в желтом венском кресле находился

---

Владимир Николаевич Чисников родился в 1948 году в городе Шахтерске Донецкой области, кандидат юридических наук (1984), доцент, полковник милиции в отставке, ныне главный научный сотрудник ГНИИ МВД Украины, член Международной ассоциации историков права, Международной полицейской ассоциации (Украинская секция), член зарубежной секции редакционного совета журнала «Оперативник (сыщик)» (Москва). Проживает в г. Бровары Киевской области. Автор, соавтор, составитель и редактор более 700 публикаций и печатных изданий по историко-правовой проблематике, один из ведущих специалистов по истории профессионального сыска. Более тридцати лет занимается исследованием темы «Лев Толстой под надзором тайной полиции». Участник Международных Толстовских чтений и Международных Толстовских конгрессов. Печатался в журналах «В мире спецслужб» (Киев), «Новом журнале», «Неве» (Санкт-Петербург), «Законность», «Шпион», «Оперативник (сыщик)» (Москва) и др.

Лев Николаевич, а рядом с ним — старшая дочь, Татьяна Львовна. Такой порядок за столом в семье Толстых сохранялся на протяжении многих лет.

...После первого блюда заговорили о проходящем в Петербурге судебном процессе над бывшим директором Департамента полиции А. А. Лопухиным, который подтвердил издателю журнала «Былое» В. Л. Бурцеву, что член ЦК партии социалистов-революционеров Евно Азеф действительно является агентом тайной полиции.

— Я понять не могу, — удивился Лев Николаевич, — зачем его судят? Неужели то, о чем он рассказал, — государственное преступление? Ехал в вагоне с Бурцевым, и Бурцев рассказал ему, что подозревает Азефа в шпионстве, и спросил, правда ли, что Азеф — шпион. Потом потребовали от него подтверждения, даже пришли к нему двое с угрозой. Лопухин рассказал.

Спустя несколько дней, узнав, что Лопухин приговорен к пяти годам каторжных работ, Толстой с возмущением заметил:

— Лопухин раскрыл, какую правительству совершает гадость (сыск, агенты, провокаторы), а вместо того, чтобы замолчать, замять, его судят.

Об Азефе, по воспоминаниям доктора Д. П. Маковицкого, в семье Толстых речь заходила и раньше. В феврале 1909 года газеты сообщили о том, что среди рядовых членов партии эсеров начались самоубийства, вызванные предательством Азефа. Обсуждая это событие, знакомая Толстого Мария Александровна Шмидт, ужаснувшись, воскликнула:

— Как можно быть шпионом?

Никто из присутствующих не решился ответить на ее вопрос, и только Лев Николаевич задумчиво произнес:

— Это нам, простым людям, непонятно...

В «деле Азефа» Толстого особенно поражала *безнравственность* правительства, использующего в борьбе с революционным движением шпионов (агентов-провокаторов), засылая их в ряды революционеров.

Следует сказать, что В. Л. Бурцев, которого современники называли «охотником за провокаторами», в одном из своих писем, отправленном из Парижа в августе 1910 года, убеждал Льва Николаевича «поднять голос против... преступлений... которые совершает русское правительство... сея всюду предательства и провокаторства». Толстой парижскому корреспонденту не ответил, так как В. Г. Чертков посоветовал ему с Бурцевым дела не иметь, тот ответ писателя сразу же напечатает.

Напомним, что машина политического сыска царской России состояла из трех основных, хорошо отлаженных между собой механизмов: внутренней агентуры (секретные сотрудники), наружного наблюдения (филеры) и перлюстрации корреспонденции («черные кабинеты»). Последние два служили вспомогательными средствами. Главным же источником, обеспечивающим осведомленность царской охранки о революционном движении, была, как указывалось в жандармской инструкции, «внутренняя совершенно секретная и постоянная агентура».

Среди объектов, требующих пристального внимания тайной полиции, фигурировал и Лев Николаевич Толстой. «Я, кажется, сильно на примете у синих (жандармов. — В. Ч.). За свои статьи...» — записал он 17 сентября 1855 года в своем дневнике. Спустя год писатель сообщал в письме своей знакомой В. В. Арсеньевой из Петербурга: «Оказывается, что я под присмотром тайной полиции...» И хотя в сохранившихся полицейских документах нет сведений о слежке за Толстым в эти годы, тем не менее можно с уверенностью утверждать, что «недреманное око» сначала III отделения Собственной его императорского величества канцелярии, а затем сразу трех полицейских ведомств — Тульского губернского жандармского управления, Московского охранного отделения и Департамента полиции — держало его

«под колпаком» на протяжении полувека, и особенно пристально — последнее тридцатилетие.

Один из современников писателя отмечал, что «дом графа Толстого (в Москве. — В. Ч.) был постоянно окружен сыщиками, которые заходили так далеко в своей наглости, что даже заглядывали в комнаты через окна». Подтверждением тому является случай, рассказанный литератором Д. В. Григоровичем. Будучи однажды в Москве, он навестил Толстого и обратил внимание, что с улицы можно видеть, как тот пишет за столом.

— Почему вы, Лев Николаевич, не закрываете окно шторой? — спросил он писателя.

— А чтобы полицейским было видно, кто у меня бывает, ведь они за мной следят, а в щелку подглядывать тяжело. Надо же облегчить их труд, — ответил Толстой со свойственным ему юмором.

В Департамент полиции постоянно поступала агентурная информация не только о самом Толстом и его семье, но и о его связях, знакомых, последователях. Были здесь и сводки наружного наблюдения, и агентурные записки секретных сотрудников, и выписки из перлюстрированных писем. В секретных полицейских делах сосредоточивалось все, что появлялось в печати о Толстом как в России, так и за границей.

В рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве хранятся многие дела Департамента полиции с материалами слежки за Толстым. Среди них обращает на себя внимание двухтомное дело № 349 «О писателе графе Льве Николаевиче Толстом» с секретными документами за 1892–1905 годы. О том, что Департамент полиции придавал этому делу особое значение, можно судить по имеющимся на его обложке пометкам: первоначальная надпись «Хранить 15 лет» была перечеркнута, а вместо нее появилась новая — «Хранить всегда».

Любопытное наблюдение: в России не было политического деятеля, в отношении которого карательные органы самодержавия завели столько дел, сколько на Толстого. Секретные дела есть не только в архивах Департамента полиции, Совета министров, Святейшего Синода, различных министерств, но и во многих местных государственных учреждениях империи: канцеляриях губернаторов, жандармских управлениях, охранных отделениях, комитетах по делам печати и т. д. По подсчетам исследователей, только в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге хранится 1180 дел, связанных с именем писателя.

Небезынтересен и такой исторический парадокс: эти политические дела заведены на праправнука одного из основателей политического сыска в России! Ведь родоначальник Толстых — Петр Андреевич — возглавлял созданную Петром I Тайную канцелярию.

Следует отметить и еще одно обстоятельство, не имеющее прецедента в истории русского освободительного движения. Толстой всю жизнь прожил в России и на протяжении нескольких десятилетий открыто высказывал свое отрицательное отношение не только к царскому правительству, но и ко всему государственному строю в целом. Несмотря на это, он не только не привлекался к судебной ответственности, но даже ни разу не был арестован!

Царские жандармы использовали против Толстого все силы и средства, имеющиеся в их тайном арсенале, в том числе и секретных сотрудников. Следуя основному принципу своей деятельности — знать «всё и вся», тайная полиция периодически засылала своих агентов под видом посетителей, «искателей истины», просителей, не только в московский дом писателя, но и в Ясную Поляну.

Лев Николаевич на склоне лет как-то заметил, что «никогда в жизни шпионов не встречал». Позволим не согласиться с его высказыванием. Впервые ему довелось общаться с агентом III отделения, не догадываясь о его сотрудничестве с тай-

ной полицией, в... Казанском университете. В 1845 году студент первого курса Толстой был оставлен на второй год по настоянию профессора Н. Иванова, характеризовавшего молодого графа как «совершенно безуспешного к истории». В наши дни выяснилось, что этот «прозорливый» профессор педагогическую деятельность небезуспешно совмещал со службой в тайной политической полиции.

**«...Сыщик для мелких воришек...»**

Впервые III отделение заподозрило тридцатитрехлетнего Толстого в «неблагонадежности» осенью 1861 года. Именно в это время в Ясной Поляне появились исключенные из Московского университета студенты, которых писатель пригласил в качестве учителей для крестьянских детей в организованных им школах. Среди них был Алексей Соколов, состоявший под надзором полиции за участие в издании и распространении запрещенных антирелигиозных сочинений. Тульские жандармы установили за ним негласное наблюдение. Естественно, тайная слежка стала вестись и за графом Толстым.

Почти одновременно за Львом Николаевичем был учрежден тайный надзор и со стороны московской полиции. Частный пристав московской части Шляхтин, получив агентурные сведения, что граф Толстой, проживая в Москве, имел постоянные встречи с неблагонадежными студентами, поручил бывшему крестьянину из дворовых Михаилу Шипову следить за писателем как в Москве, так и в Ясной Поляне.

По заданию полиции в феврале 1862 года Шипов под фамилией Зимин прибыл в Тулу «следить за действиями графа Льва Николаевича Толстого и узнать отношение его к студентам университета, жившим у него под разными предлогами». О том, как Шипов—Зимин выполнил данное ему секретное поручение, мы узнаем из донесения тульского жандармского полковника А. М. Муратова:

*Весьма секретно*

от штаб-офицера  
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ,  
находящего  
в Тульской губернии

№ 102

Июня 1-го дня 1862 г.

Тула

О Галицком почетном гражданине

Зимине и его товарище Гирос.

Галицкий почетный гражданин Михайло Иванович Зимин прибыл в гор. Тулу 17-го минувшего февраля с тамбовским мещанином Гирос, распустил слухи, что он агент Правительства и что ему поручены весьма секретные дела.

По требованию полиции г. Зимин представил свидетельство, выданное ему приставом московской полиции, городской части, г. Шляхтиным, от 15 февраля 1862 г. за № 101, сроком на два месяца; у г. Гирос был паспорт, выданный ему из Тамбовской градской думы. Г. Зимин все время пребывания своего в Туле вел разгульную, нетрезвую жизнь, посещая гостиницы низшего разряда и наконец, дошел до такой крайности, что у товарища своего г. Гирос заложил часы, без его позволения, и через этот поступок они поссорились и разошлись.

Между тем, Зимин болтливостью своей обнаружил секретное поручение, данное ему будто бы Правительством следить за действиями графа Льва Толстого и за лицами, живущими у него в имении в с. «Ясная Поляна».

Узнав об этом, я пригласил к себе г. Гирос, который подтвердил все относящееся до г. Зимина и прибавил, что г. Зимин обещал ему дать 6 рублей сер/ебром/, если он откроет что-нибудь о графе Толстом; но все это время г. Гирос ездил только в с. «Ясную Поляну» два раза, не открыв ровно ничего.

Об этом обстоятельстве я лично сообщил г. начальнику губернии, который вполне разделяет мое мнение, что г. Зимин (если ему и было дано какое-нибудь поручение) болтливостью своей много повредил к указанию истины и действию лиц, живущих в имении графа Толстого, за которыми ему, быть может, поручено было следить.

Г. Гирос живет еще в Туле, а Зимин выехал в Москву 22 мая, не заявив никому о своем отъезде.

О чем долгом считаю почтительнейше донести Вашему превосходительству.

Подписал полковник *Муратов*.

Управляющему III Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Свиты Его Величества, Господину Генерал-Майору и Кавалеру Потапову.

Получив донесение Муратова, управляющий III отделением генерал-майор Потапов написал на нем резолюцию: «Хорош агент! Но я удивляюсь, как можно было его выбрать, — это простой сыщик для мелких воришек, которого я лично знаю».

Между тем Шипов, чувствуя надвигающуюся грозу, еще в мае уехал в Петербург, куда, по его сведениям, отправился Толстой. 14 мая 1862 года Лев Николаевич действительно выехал из Ясной Поляны, но не в Петербург, а в Самарскую губернию, для лечения кумысом. Не обнаружив в столице своего подопечного, Шипов отправился на Фонтанку, где размещалось четырехэтажное здание III отделения. На приеме у Потапова он пытался узнать адрес графа Толстого. Однако генерал сообщил незадачливому сыщику о полученном из Тулы донесении и предупредил, что ему «будет нехорошо».

Предсказание Потапова вскоре оправдалось. Не успел Шипов приехать в Москву, как его тут же арестовали. Чтобы каким-то образом себя реабилитировать и оправдать растрату 315 казенных рублей, выданных ему на агентурные цели, Шипов на допросах начал давать такие «открытия» в отношении Толстого, насколько позволяла его буйная фантазия. Об этом, например, свидетельствует нижеследующий документ:

1862 г. июня 12 дня в городском частном доме чиновнику г. Московского военного генерал-губернатора, подполковнику Шеншину, временно обязанный дворовой человек князя Долгорукого Михаил Иванович Шипов на спрашивании показал:

Объявивши желание следить секретно за действиями графа Льва Николаевича Толстого и узнать отношение его к студентам университета, жившим у него под разными предлогами, — я, в феврале месяце сего года, командирован был Вашим Высокоблагородием для сего в г. Тулу. Граф Толстой в то время жил Крапивинского уезда в сельце «Ясная Поляна» от Тулы 13 верст. Проживя в Туле три месяца и бывая часто в «Ясных Полянах» я узнал, что при графе находится более 20 студентов разных университетов и без всяких видов, большая

часть из сих студентов проживают в Волостных Правлениях участка графа Толстого и занимают должности учителей крестьянских мальчиков, а также писателей в Волостных Правлениях, по воскресным же дням все они собираются к графу; цель этих посещений или собраний студентов у графа мною еще не узнана. На четвертой неделе минувшего Великого Поста, когда я находился в Туле, к графу Толстому привезены были из Москвы литографические камни со шрифтом и какие-то краски; на этих камнях, как мною было узнано через одного из бывших у графа учителей, предположено было печатать какие-то запрещенные сочинения, но эти предположения не состоялись, потому что «Ясная Поляна», где предполагалось прежде печатать, близки к городу; все эти камни и инструменты для печатания перевезены потом в другое имение графа — Курскую губернию. Печаталось ли что-либо в «Ясных Полянах», я не знаю. В деле печатания принимают участие мировой посредник Белевского уезда князь Евгений или Павел Александрович Черкасский, к которому граф очень часто ездит. Наконец я узнал, что граф Толстой выехал из «Ясных Полян» в С.-Петербург, почему я и отправился туда за ним для наблюдения, но, пробыв в С.-Петербурге одну неделю, я от управляющего III отделением Собственного Его Величества Канцелярии, генерала Потапова, узнал о жалобе на меня Тульского начальника, а потому и, не имея у себя никакого паспорта, я решил оставить графа и возвратиться в Москву, куда и прибыл 9-го числа сего месяца. Во время нахождения моего в Туле я узнал, от одного из близких к графу, что печатание на привезенных к графу литографических камнях начнется у них в Курской губернии с августа месяца сего года, что же касается до полученных мною от вашего Высокоблагородия денег *триста пятнадцати рублей*, то в расход из них 115 руб., мною отчет Вам был дан перед отъездом моим в Тулу, а остальные за тем деньги я израсходовал на прогоны и содержание себя в течении трех месяцев, что объясняю по всей справедливости и объяснить более ничего не имею. К сему показанию временно обязанный князя Долгорукова дворовой человек Михаил Иванович Шипов руку приложил.

Показания отбирал подполковник *Шенишин*.

Спустя десять дней Шипов на допросе сообщил, что в Ясной Поляне, в доме у графа, имеются потайные двери и лестницы, и даже телеграф, по которому он поддерживает связь со своими единомышленниками. Для пущей важности Шипов предупредил московскую полицию, что в августе «Толстой намеревается отпечатать подпольный манифест по случаю тысячелетия России и этот документ уже находился у него на просмотре и отправлен за границу».

Показания Шипова были доложены московскому генерал-губернатору Тучкову, и тот счел необходимым ознакомить с ними генерала Потапова, препроводив в Петербург все имеющиеся материалы вместе с Шиповым. Несмотря на предупреждение Тучкова, что «Шипов есть такого рода личность, на которую полагаться совершенно нельзя», шеф жандармов В. А. Долгоруков с согласия императора Александра II решил произвести у Толстого обыск, направив в Тулу жандармского полковника М. А. Дурново.

На рассвете 6 июля к графскому имению в Ясной Поляне подкатили, звеня колокольчиками, три почтовых тройки, на которых восседали жандармы во главе с Дурново. Два дня они искали тайную типографию и запрещенную литературу. Обыск производился по всем правилам сысского искусства: перерыли в доме все вещи, просмотрели все бумаги, обшарили школы, где учились крестьянские дети, взломали ломом полы на конюшне. Пытались даже выловить рыбацкой сетью в пруду типо-

графский станок, но вместо него им попадались только невинные караси да раки. Обыску подверглось не только яснополянское имение Толстого, но и сельские школы, открытые им в ближайших селах, а также родовое имение в с. Никольское Чернского уезда. О результатах обыска Дурново доложил своему шефу в обстоятельном рапорте, указывая, в частности, что при осмотре дома Толстого «не оказалось ни потайных дверей, ни потайных лестниц, литографированных камней и телеграфа тоже не оказалось».

Узнав об обыске, Лев Николаевич был глубоко возмущен жандармским произволом. «Какое огромное счастье, что меня не было дома, — писал он впоследствии своей родственнице А. А. Толстой. — Если бы я был, то верно бы уже судился, как убийца». 22 августа писатель написал жалобу царю, который, зная о результатах обыска, проявил «милость»: распорядился, «чтобы помянутая мера (то есть обыск. — В. Ч.) не имела собственно для графа Толстого никаких последствий».

О существовании жандармского дела в отношении Толстого и о тайной слежке за ним Лев Николаевич узнал спустя... сорок четыре года! Литератор П. Сергеенко рассказывал, что однажды летом 1906 года, сидя за обеденным столом на террасе яснополянского дома, кто-то из гостей заговорил о секретном «толстовском деле», опубликованном в журнале «Всемирный вестник». Оказалось, что Лев Николаевич с этими материалами не знаком и интересуется ими. Тогда гость, достав из кармана вырезку журнальной статьи, начал читать:

— ...Зная, что граф Толстой сам много пишет, и полагая, что может быть он сам был редактором того сочинения, частный пристав приказал следить за ним Михаилу Шипову как в Москве, так и по отъезде в имение его Тульской губернии...

— Какие глупости, — прокомментировал Толстой, продолжая внимательно слушать.

— ...В Великом посту сего года привезены были к нему литографические камни...

— Ничего подобного не было, — снова заметил Лев Николаевич. А когда прочли место, где речь шла о шефе жандармов князе Долгорукове, который предписал произвести дознание по поводу того, что «дом графа Толстого охраняется в ночное время значительным караулом, а из кабинета и канцелярии устроены потайные двери и лестницы», Лев Николаевич не выдержал и стал хохотать:

— Даже не верится, что все это было, — сказал он, — я знал самого Долгорукова. Предобрейший был человек, но весьма ограниченный.

Чуть погодя Лев Николаевич добавил:

— Нельзя себе представить более чуждого политике, чем я был в те времена. Эта обширность «Дела» — 53 номера (страницы. — В. Ч.), участие в нем министров, царя мне подтверждают, какое количество глупостей делает теперь правительство...

### **Секретная миссия студента Симона**

В начале лета 1886 года в деревне Ясная Поляна в избе одного из дворовых графа Толстого появился новый постоялец — студент из Петербурга Федор Симон. Вместе с ним приехала его невеста Зиночка, молодая энергичная барышня. Знакомый Симона А. С. Буткевич в своих воспоминаниях так описывал его внешность: «Красивое, женское лицо с большими, ясными, карими глазами, лишенными растительности, и вся его стройная фигура могла служить прекрасной натурой для изображения воплотившегося ангела Михаила в легенде Толстого „Чем люди живы“. Такой же мягкий и женственный в разговоре, он был воплощенной мягкостью».

Почему именно в это время появился тайный агент полиции и почему он прибыл не из Тулы или Москвы, а из самого Петербурга?



Чтобы ответить на этот вопрос, следует заглянуть в анналы Московского охранного отделения. Архивные материалы свидетельствуют, что в сентябре 1882 года за Толстым был учрежден негласный полицейский надзор «вследствие его сношений с сектантами-пашковцами». Циркуляр Департамента полиции за № 1202 предписывал: в случае приезда графа Толстого в Москву учредить наблюдение за ним, чтобы он не распространял здесь своего учения, а в случае нарушения им «изложенного выше запрещения немедленно о том донести».

На основании этого циркуляра пристав 1-го участка Хамовнической части Москвы Давыдов уже 4 октября 1882 года сообщал в охранку, что Толстой приобрел «во вверенном ему участке собственный дом, куда и прибыл на жительство». К рапорту пристав прилагал первую поднадзорную ведомость. Спустя четыре года, а точнее, 1 марта 1886 года секретным приказом № 33 негласный надзор полиции с Толстого был снят.

В апреле 1886 года Департаментом полиции «из совершенно негласных источников» были получены сведения, что в доме графа Толстого, проживающего в Москве, якобы имеется типография, где он печатает свои запрещенные сочинения. Действительно, в этот период Россия была наводнена запрещенными гектографическими произведениями Льва Толстого. Директор Департамента полиции П. Н. Дурново незамедлительно направил московскому обер-полицмейстеру А. А. Козлову секретное предписание, в котором требовал проверить «самым секретным образом, в какой мере изложенное известие заслуживает вероятия». Генерал Козлов сообщил ему, что заявления о тайной типографии в доме графа Толстого поступали несколько раз, «но путем негласного наблюдения и секретных разведок известия эти не подтвердились».

Не успел главный полицейский Москвы отправить ответ, как получил новое указание из Петербурга.

«Милостивый Государь Александр Александрович! — писал Дурново. — В Департаменте полиции получены сведения, что среди лиц, сочувствующих учению графа Толстого, возникло предположение отлитографировать в течение *предстоящего лета* в значительном количестве экземпляров тенденциозные произведения этого автора, как-то: „Евангелие“, „Исповедь“, „В чем моя вера“, „Что нам делать?“, „Церковь и государство“, „Письмо к Энгельгардту“. Издание это предназначается к распространению в среде слушательниц высших учебных заведений, среди которых уже проводится подписка на оное. Считаю долгом сообщить о сем Вашему Превосходительству для принятия зависящих мер. Имею честь покорнейше просить не оставить меня своим уведомлением о последующем» (курсив мой. — В. Ч.)

В ответном послании генерал Козлов уведомил начальство о «принятии им надлежащих мер к обнаружению лиц, желавших заняться подобным изданием», хотя попутно не без некоторой иронии заметил, что вышеизложенные сочинения Толстого «настолько распространены между учащейся молодежью, что едва представляется надобность в новом издании их».

Ответ московского обер-полицмейстера, видимо, не удовлетворил Департамент полиции, поэтому спустя несколько недель в Ясной Поляне и появились «гости» из самого Санкт-Петербурга. Студенту Федору Симону, секретному сотруднику столичной охранки, предстояло узнать, не находится ли эта тайная типография в имении графа Толстого.

Перед отправкой в Ясную Поляну своего агента столичные охранники разработали для него простую и вполне правдоподобную легенду: он студент, под влиянием учения Толстого решил «омужичиться», вместе с невестой прибыл жить в деревню, чтобы познать крестьянский труд. Предполагалось «подойти» к Толстому

с помощью его сына-гимназиста Ильи, находящегося в это время в Ясной Поляне. Поэтому перед Симоном стояла задача: познакомиться сначала с молодым графом, а потом уже через него — с самим Толстым. Для знакомства с сыном писателя заранее была предусмотрена оперативная комбинация, о которой мы узнаем из рассказа самого Ильи Львовича Толстого.

«Как-то летом, — пишет он в своих воспоминаниях, — гуляя по саду, мы натолкнулись на молодого человека, сидящего у канавы и спокойно курящего папирску. Наши собаки кинулись к нему и залаяли. Мы исподтишка потравили собак, а сами убежали в другую сторону. Через несколько дней этот же молодой человек встретился с нами опять на дороге недалеко от дома. Увидев нас, он приветливо поздоровался и вступил с нами в разговор. Оказалось, что он поселился в деревне, в избе одного из наших дворовых, и живет здесь на даче со своей невестой...

— Заходите попить чайку, — обратился он ко мне, — мне скучно, посидим, поболтаем, я вам кое-что расскажу, и, кстати, вы поможете мне в одном деле. Я на днях собираюсь жениться, а у меня нет шафера. Я надеюсь, что вы не откажете сделать мне это удовольствие».

Предложение молодому графу показалось заманчивым, и он после недолгого колебания согласился. Через несколько дней Симон настолько сумел очаровать его, что они стали закадычными друзьями. Не проходило дня, чтобы Илья Львович не заезжал в гости к Симону, засиживаясь у него иногда допоздна. В день свадьбы он, очень гордившийся ролью шафера, отпросился у родителей на целый день и вместе с молодыми отправился в церковь. После венчания они обедали у Симона, и молодой граф пил за здоровье молодых сладкую наливку, не забывая кричать «Горько!».

Увлечение Ильи Львовича новыми знакомыми не прошло незамеченным для Софьи Андреевны. Она все настойчивее стала сдерживать сына от посещений молодоженов.

— Не смогу я пускать сына к человеку, которого вовсе не знаю, — отчитывала она Илью. — Всякий порядочный человек, принимающий у себя мальчика, должен по правилам приличия прежде всего познакомиться с его родителями.

Графиня, конечно, не догадывалась, что именно этого и добивался Симон. Когда Илья Львович передал ему просьбу матери, того не пришлось долго упрашивать. На следующий день они посетили имение, где Симон представился Софье Андреевне. Затем его познакомили с Львом Николаевичем, и Симон стал часто навещаться в графский дом. К нему привыкли и принимали, по словам Ильи Львовича, «просто и ласково, как своего человека».

С Львом Николаевичем Толстым у Симона сложились самые дружеские отношения. Вместе с ним он косил траву, рубил дрова, пахал землю, помогая крестьянам. Посещая имение Толстого, Симон общался с друзьями и единомышленниками Льва Николаевича, которые приезжали навестить писателя. Был среди них и художник Н. Н. Ге, посетивший в начале августа Ясную Поляну и проживший там более месяца. Лев Николаевич видел в Симоне последователя своего учения и относился к нему с особой нежностью и любовью.

Знакомый Симона и последователь Толстого И. Б. Файнерман, вспоминая этот период, пишет: «Прошло три месяца. Симон втянулся в работу, ходил с крестьянами в поле, косил, пахал с ними, рубил лес, ездил в город на базар с сеном, с дровами, с картошкой.

— Простецкий мальч, — говорили о нем крестьяне.

— Только уж щуплый больно. Того гляди, вот-вот переломится.

— И что ему за охота? — подхватывали другие. — Учится в институте, баринном бы вышел, лесничим бы жил, а то тоже мужиковать вздумал! Где ему!..

...У Льва Николаевича бывал он часто и первое время совсем не читал его книг.

— Он сам для меня книга, — говорил он мне. — Поверьте, я ехал с другими мыслями, думал пробыть короткий срок и вернуться; но близость к этому человеку меня просто преображает. Меня тянет и тянет жить здесь всегда. Я об этом уже сказал своей Мусе (читай: Зине. — В. Ч.) и написал родным. Я рву с прошлым и делаюсь мужиком...»

По всей вероятности, такое решение Симон принял в начале сентября. В том, что в Ясной Поляне нет и никогда не было тайной типографии, он давно убедился. Однако общение с Толстым открыло ему глаза на многие вещи, заставив переосмыслить всю свою прежнюю жизнь. Искренне увлекшись «толстовством», Симон после долгих душевных терзаний объявил родным и близкому окружению, что бросает институт и навсегда остается жить в деревне.

Для жены Симона признание супруга было неожиданным. Поначалу она пыталась убедить мужа отказаться от принятого решения, но когда уговоры не помогли, разыграла сцену с отравлением, и Симон сдался. Заняв денег у Толстого, он в середине октября вместе с женой уехал в Петербург. Спустя несколько дней Лев Николаевич сообщал в письме художнику Н. Н. Ге: «Симон уехал, его жена увлекла... Какой чудный человек. Весь светится и горит. Тоже за него жутко, когда помотришь с мирской точки зрения, а перенесешься в его душу, то так радостно и твердо».

Из Петербурга Симон посылал в Ясную Поляну письма, а Толстой в свою очередь передавал через друзей «Симону милому» поцелуи. Осенью 1887 года Лев Николаевич получил письмо, в котором Симон признавался, что является... тайным агентом полиции и был командирован в Ясную Поляну следить за ее жильцами и посетителями.

В своих воспоминаниях И. Б. Файнерман так описывает это событие: «Прошла зима, пролетело еще лето, и вот на пути из Смоленской общины я заезжаю ко Льву Николаевичу. Он грустный-грустный и держит письмо в руках.

— Вы помните, вероятно, того студента, что жил здесь и работал? — сказал Лев Николаевич. — Потеряли мы его! Пишет ужасное письмо, где рассказывает все, всю свою страшную тайну. Он — шпион. Да и был шпионом, когда жил здесь. Ему поручили следить за нами и все доносить. Он жену любил, нужны были деньги, и она благословила его на эту должность. Но, живучи здесь и увидя нас ближе и убедившись, что не о чем доносить, и, будучи тронут новым взглядом на жизнь, он искренне увлекся и на самом деле захотел жить другой жизнью... Но тут опять жена стала на пути. Она увидела, что он службы своей не исполняет, денег лишился и может еще подвергнуться гонению со стороны тех, вот и разыгралась тогда сцена с отравлением. Вся эта история с родителями была придумана. Родители-то, оказывается, были их патроны по сыскной части, и те, действительно, осердясь, перестали им посылать деньги за бездеятельность. Плохо работали. Потом, когда они приехали в Петербург и он опять попал в институт, она примирила его с сыскным начальством и заставила вновь записаться в это черное число. Теперь, — пишет он, — он следит за другими, его обязанности другие, и нам про себя может откровенно все рассказать. Жизнь его надломлена... Душа убита... Вот прочтите. Какой ужас! Какой ужас!..

И он передал мне письмо. Я не мог читать его. Меня душили негодование и скорбь. Лев Николаевич отвернулся.

— Погибшая душа! — вздохнул он. — Думаю написать ему...»

И все же Симон нашел в себе мужество порвать с охранкой. В письме от 25 января 1888 года он сообщал Толстому: «Волей-неволей, попав в центр борьбы страстей, я не мог оставаться покойным зрителем стонущих, что-то живое во мне начинало так же стонать и болеть и я пошел в борьбу... У меня был обыск, меня пре-

следуют по пятам...» Вскоре Симон вынужден вместе с семьей покинуть Петербург и уехать в Бирский уезд Уфимской губернии, где устроился работать помощником лесничего. С нового места жительства он продолжал посылать письма в Ясную Поляну. В августе 1908 года, в день своего 80-летия, Лев Николаевич получил поздравительную открытку с надписью: «Искренне желаю еще много лет чувствовать Ваши удары по нашей совести». Это была последняя весточка от бывшего секретного сотрудника тайной полиции Феде Симона.

В заключение уместно будет сказать что проведенное ранее автором статьи исследование дает все основания утверждать, что Симон был одним из прототипов Протасова в незаконченной драме Л. Н. Толстого «Живой труп». Ведь к нему можно с полной уверенностью отнести слова писателя, задумавшего вывести в «Живом трупе» образ «отличной души человека... запутавшегося, падшего до презрения только от доброты». Именно сочетание высокого и низкого в Феде Симоне роднит его с Федей Протасовым<sup>1</sup>.

### **Секретный сотрудник «Лебедев» сообщает...**

Весной 1882 года Лев Николаевич Толстой по настоянию жены, озабоченной необходимостью дать образование старшим детям, приехал в Москву, где вскоре у коллежского секретаря И. А. Арнаутова купил дом в Долгохамовническом переулке. В нем он прожил почти 20 лет, выезжая лишь на летние месяцы в Ясную Поляну. Сюда, в этот небольшой деревянный особняк в Хамовниках, огороженный дубовым забором с воротами, увенчанными резными буквами «ГТ» (Граф Толстой), приходили не только литераторы и художники, ученые и артисты, но и все, кто хотел увидеть и поговорить со знаменитым русским писателем.

Секретарь Льва Николаевича В. Ф. Булгаков, исследуя историю хамовнического дома Толстых, среди его многочисленных посетителей называет телеграфиста Сергея Зубатова. Советский энциклопедический словарь указывает: «Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917), жандармский полковник, нач(альник) Моск(овско) охранного отделения (с 1896) и Особого отдела департамента полиции (1902–1903), инициатор политики „полицейского социализма“ в России (См. Зубатовщина) и создатель системы политического сыска».

Заметим, что С. В. Зубатов никогда не был жандармским полковником, что продолжают утверждать многие современные солидные издания<sup>2</sup>. Еще в юности он был признан невоеннообязанным из-за плоскостопия, поэтому среди начальников охранных отделений он один имел гражданский чин надворного советника.

Что привело печально знаменитого сыщика в дом Льва Толстого и когда это произошло? В. Ф. Булгаков не дает ответа на эти вопросы, относя Зубатова к числу посетителей, даты визитов которых не установлены. При этом автор высказывает надежду, «что при дальнейшем углубленном изучении материалов многих из этих посетителей удастся датировать более определенно».

Нам представляется, что посещение Зубатовым московского дома писателя следует отнести к концу 1887 года. Именно в это время многие москвичи стали обладателями нелегально отпечатанного на гектографе рассказа Л. Н. Толстого «Николай Палкин», поражавшего своей неприкрытой ненавистью к коронованным особам и к самодержавию в целом. С чувством нескрываемого отвращения Толстой писал

<sup>1</sup> См.: Владимир Чисников. Федя Протасов – агент Охранки?! Загадка пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» // Нева. – 2013. – № 1. – С. 211–225.

<sup>2</sup> См., например: Большая энциклопедия. В 62 т. М.:Терра, 2006. Т. 18. С. 140; Колпакиади А., Север А. Спецслужбы Российской империи: Уникальная энциклопедия. М.: Яуза: Эксмо, 2010. С. 623 и др.

о Петре I, называя его «беснующимся, пьяным, сгнившим от сифилиса зверем», резкую характеристику получили Екатерина II — «мужеубийца, ужасающая своим развратом блудница» — и Николай I, которого народ за его жестокость окрестил «Палкиным». Распространителем «Николая Палкина» был знакомый Толстого, в то время горячий его последователь, молодой преподаватель московской гимназии Михаил Новоселов. Получив недавно написанный писателем рассказ, он переписал его, а затем без согласия Льва Николаевича отгектографировал. Среди друзей Новоселова были студент Московского университета Лев Маресс и тульский телеграфист Митрофан Темерин, с которыми он и поделился новым произведением Толстого. Темерин в свою очередь дал почитать один экземпляр статьи коллеге из московского телеграфа Сергею Зубатову, не подозревая, что его знакомый является секретным сотрудником московской охранки (оперативный псевдоним «Лебедев»).

Естественно, о появлении «крамолы» сразу же стало известно жандармам. При этом Зубатов прибавил для пущей важности кое-что от себя. «Митрофан Темерин, близкий к кружку бывшего студента московского университета Михаила Новоселова, — сообщалось в справке Департамента полиции, — говорил секретному сотруднику Московского охранного отделения Лебедеву, что «означенный кружок отгектографировал брошюру графа Толстого „Николай Палкин“ и воззвание по поводу приговора над крестьянами в Пензе, а также, что граф Толстой говорил, будто бы ему, Темерину, что в Петербурге, среди лиц, близко стоящих ко двору, существует якобы заговор на жизнь государя императора и что это дело будет почище 1-го марта».

Информация секретного сотрудника требовала срочной агентурной разработки. С этого времени Лев Толстой, его близкие и знакомые стали объектами самого пристального внимания со стороны тайной полиции. Филерское наблюдение, установленное за домом Толстого, давало возможность выявлять лиц, приходивших к писателю, но знать, о чем они беседуют, охранке было еще важнее. Спустя некоторое время среди «темных» (так С. А. Толстая называла «толстовцев») в хамовническом доме Толстых появился молодой человек с энергичным интеллигентным лицом, говоривший мягким, вкрадчивым голосом. Красивые каштановые волосы, зачесанные назад, подчеркивали его высокий лоб, и только угреватое лицо портило приятное впечатление. Этим молодым человеком был московский телеграфист Сергей Зубатов.

Знакомый писателя Л. П. Никифоров вспоминал: «Зубатов приходил, конечно, не для того, чтобы поучиться у Толстого или чтобы наслаждаться беседой с ним. Нет, он просто появился, чтобы пронюхать и чем-нибудь поживиться, а это было не трудно, так как толстовцы ничего не скрывали и делились всем, что было у них на душе, и подробно сообщали все, что делали и собирались делать».

Далее Никифоров пишет, что к Новоселову и к его приятелю Льву Николаевичу Марессу начали приходиться какие-то господа с предложением продать двести экземпляров «Николая Палкина» для газеты «Русская мысль». Новоселов им ответил, что он не продает, а может дать только несколько экземпляров. Одновременно с этим Новоселов стал получать какие-то странные письма. Закончилось все тем, что накануне нового 1888 года Новоселов, Маресс и еще несколько их знакомых были арестованы. При обыске у них нашли запрещенную литературу, в том числе и гектографированный рассказ «Николай Палкин». Узнав об аресте Новоселова, Толстой отправился к начальнику Московского ГЖУ И. Л. Слэзкину и заявил ему, что преследования за распространение «крамолы» должны быть прежде всего направлены против него как автора статьи. В ответ жандармский генерал сказал фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Граф! Слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить!»

В ходе расследования жандармы установили, что Зубатов являлся активным участником распространения нелегальных изданий. Именно он снабжал обвиняемого Темерина запрещенными произведениями «Сказка о четырех братьях», «Житие Тихона Задонского» и т. д. Кроме того, он предлагал Темерину заняться гектографированием рукописи «Учение духовных христиан», обещая выдавать ежемесячно 25 рублей на расходы.

На допросах Зубатов вину свою отрицал, указывая, что его «революционная» деятельность происходила согласно инструкциям начальника московской охраны Н. С. Бердяева и Департамента полиции. «Он, Зубатов, — говорится в „Справке об агентурной деятельности и службе С. В. Зубатова“, — вступил в сношения с революционной средой, но с единственной целью, чтобы успешнее раскрыть преступные замыслы врагов существующего государственного строя».

По окончании жандармского дознания министр юстиции предложил подвергнуть Зубатова гласному надзору полиции по месту жительства на два года. Однако Департамент полиции признал целесообразным дело в отношении «Лебедева» прекратить «ввиду оказанных им правительству услуг», что и было сделано. Новоселов и его друзья из-под стражи были освобождены и подвергнуты административному надзору. Зубатов же как секретный сотрудник для охраны был потерян, так как о его предательстве стало известно революционерам. Поэтому в январе 1889 года появился приказ московского обер-полицейстера, согласно которому в штат московской полиции определялся по найму с прикомандированием к охранному отделению «отставной телеграфист 3-го разряда из обер-офицерских детей Сергей Васильевич Зубатов».

По служебной лестнице недоучившийся гимназист подвигался быстро и легко. Вначале занимал должность чиновника особых поручений, затем — помощника начальника, а в 1896 году сменил Бердяева, проигравшего в карты значительную сумму казенных денег. Возглавив московскую охранку, Зубатов осуществил ряд нововведений в систему политического сыска, поставив розыск по западноевропейскому образцу. Он ввел систематическую регистрацию, фотографирование, еще в 1894 году создал «летучий филерский отряд», который охотился за революционерами по всей России. По инициативе Зубатова в 1902 году во многих городах империи была организована целая сеть охранных отделений.

Особого успеха Зубатов достиг в постановке «внутренней», то есть секретной агентуры, усиленно практикуя вербовку провокаторов из среды революционеров. Не случайно в своих выступлениях делегаты II съезда РСДРП называли Москву «гнездом провокаторства».

Мастер агентурных комбинаций, Зубатов был особо щепетилен в вопросах конспирации. Сам побывавший в «шкуре» секретного сотрудника и провалившийся из-за неумелого руководства Бердяева, он на всю жизнь запомнил горький урок, связанный с «крамольной» статьей Льва Толстого, положившей конец его провокаторской деятельности. «Вы, господа, — поучал Зубатов молодых офицеров охраны, — должны смотреть на сотрудника как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный шаг — и вы ее опозорите. Помните: провал сотрудника для вас лишь некоторые неприятности по службе, для него же — это смерть гражданская, а часто и физическая. Никогда и никому не называйте имени вашего сотрудника, даже вашему начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию и помните только по псевдониму».

Служебные обязанности Зубатова нередко заставляли его «соприкасаться» с Толстым и его единомышленниками. Причем наблюдение за ними не ограничивалось только Москвой, а простиралось и за ее пределы, в том числе и Ясную Поляну. Конечно, посещать писателя в качестве «гостя» Зубатов уже не мог. Эту возможность он предоставлял своим подчиненным. В июле 1897 года Департаменту

полицейским из негласных источников стало известно, что Лев Николаевич якобы поехал к духоборам и «его очень торжественно встречали в Одессе». Получив из Петербурга указание, проверить, где именно в настоящее время находится Толстой, Зубатов срочно направил в Ясную Поляну секретного сотрудника, фамилия которого до настоящего времени остается неизвестной. «Граф Л. Н. Толстой, — доносил Зубатов начальству после возвращения агента, — в начале текущего месяца находился в своем имении Ясная Поляна, где был занят отработкой одного из новых своих произведений. В Москву же за последнее время Толстой не приезжал и в настоящий момент на жительство в здешней столице он не значится». Сведения охранки были точны. Именно в то время Лев Николаевич действительно работал над романом «Воскресение».

Иногда Зубатову все же приходилось признавать свое сыскное бессилие. В сентябре 1889 года жандармами было перлюстрировано письмо В. А. Маклакова, в котором он сообщал Толстому, что в адрес писателя получено десять тысяч рублей на благотворительные цели. В Петербурге пожелали установить личность бывшего обладателя такой крупной суммы. С этой просьбой Департамент полиции обратился в Московское охранное отделение. Получив запрос, Зубатов с присущей ему пунктуальностью в тот же день ответил, что «лицо, представившее... в распоряжение графа Льва Николаевича Толстого 10 000 рублей, выяснить до сего времени не представилось возможным».

В секретных делах московской охранки имелись и другие материалы, в которых неоднократно упоминалось имя Толстого. В 1900 году в Москве было арестовано несколько «толстовцев» за распространение запрещенных цензурой произведений писателя. Из допросов жандармы узнали, что нелегальную литературу они получили в Ясной Поляне, куда ездил один из арестованных. При этом он не скрывал от Льва Николаевича, что будет перепечатывать их. Чтобы судить «толстовцев», надо было привлечь к ответственности и всемирно известного писателя, но он был не по зубам Зубатову. «Мы все в отделении слышали не раз, — писал бывший сотрудник московской охранки А. И. Спиридович, проводивший дознание по этому делу, — что существует высочайшее повеление, дабы графа Льва Николаевича Толстого не трогать ни в коем случае». Поэтому арестованные вскоре были освобождены и подвергнуты административному наказанию.

Спустя год по указанию начальника особого отдела Департамента Л. А. Ратаева Зубатов занимался выяснением обстоятельств встречи автора «Войны и мира» в Харькове. В секретном донесении от 18 сентября 1901 года Зубатов, в частности, докладывал, что, по сообщениям филеров, 6 сентября на харьковском вокзале собралось 50—60 человек, ожидавших поезда из Курска, прибывшего в 18 час. 50 мин. В одном из вагонов находился Лев Толстой, ехавший в Крым, которого встречающие приветствовали криками: «Ура!.. Да здравствует Лев Толстой!», размахивая фуражками и бросая их вверх. Лев Толстой при этом раскланивался из вагона публике.

«Эта сцена продолжалась до самого отхода поезда, — пишет далее Зубатов, — после чего толпа разошлась в разные стороны. Некоторые студенты входили в вагон, занимаемый Толстым, и по выходе объяснили что-то публике. Перед приходом поезда собравшаяся публика делала какую-то подписку между собою на листе бумаги, передавая таковой один другому для подписи».

Будучи инициатором политики «полицейского социализма», Зубатов пытался разложить революционное рабочее движение изнутри, создавая легальные рабочие общества, которые предъявляли предпринимателям исключительно экономические требования, игнорируя политическую борьбу и поддерживая царизм. Еще в 1898 году он составил докладную записку на имя московского обер-полицмейстера Д. Ф. Трепова, где впервые изложил свои мысли относительно легализации рабочих союзов.

На основании записки был подготовлен доклад, представленный московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, который его одобрил.

Любопытно, что копия этого доклада вскоре оказалась у Льва Николаевича Толстого. Зять писателя М. С. Сухотин в своем дневнике писал 18 декабря 1901 года: «Я помню, что год или два тому назад, мне Л. Н. Толстой дал прочесть доклад Трепова, сделанный Сергеем Александровичем о рабочем движении. Написан он был известным начальником охраны Зубатовым и неведомым путем попал в руки Л. Н.».

Как известно, зубатовские организации вскоре потерпели крах. Сам Зубатов, возглавлявший в то время особый отдел Департамента полиции, в 1903 году был уволен со службы и сослан под надзор полиции во Владимир. Находясь в отставке, он продолжал жить проблемами политического сыска, не забывая агентуру, служившую ему верой и правдой. Например, бывший охранник ходатайствовал о выдаче «княжеской пенсии» старейшей агентессе московской охранки Анне Серебряковой («Дама Туз», «Мамочка») и содержательнице конспиративной квартиры в Москве Прасковье Ивановой, которую в течение двадцати пяти лет знал не только как «чудную конспиративную квартирную хозяйку, но и прекрасную воспитательницу молодых агентурных сил».

Зубатов также заботился, чтобы богатый агентурный опыт провалившихся секретных сотрудников передавался молодым, начинающим провокаторам. После разоблачения в 1909 году провокаторши Зинаиды Жученко-Гернгросс («Михеев») он советовал ей: «... не устроиться ли вам официально при департаменте в качестве руководительницы и воспитательницы секретной агентуры? Выведите мне, пожалуйста, агентурных внучат».

Было бы наивно думать, что забота о разоблаченных секретных сотрудниках диктовалась только одной лишь благодарностью. Зубатов и руководство Департамента полиции прекрасно понимали, что как ни предусмотрительны и осторожны жандармы в отношении своих агентов, как тщательно ни скрывают они свои приемы и методы — все же секретный сотрудник многое видит и знает. Если от него отвернуться в такой трудный момент, то ему, как говорится, терять нечего: тайны охранки могут стать достоянием гласности. Деньги — лучшее средство заставить его молчать.

Сам Зубатов, надо отдать ему должное, молчать умел, получая за свою долготлетнюю верную службу солидную пенсию — 5 тысяч рублей в год. В 1908 году редактор журнала «Былое» В. Л. Бурцев пытался его «разговорить», предлагая писать мемуары. «Писать заметки или воспоминания по моей службе я не считал и не считаю себя вправе, — отвечал ему Зубатов. — Мало того, агентурный вопрос (шпионский, по терминологии других) для меня святая святых, а его так легко задеть (и при этом кого-нибудь этим избидеть) в своих воспоминаниях. Для меня сношения с агентурой — самое радостное и милое воспоминание. Большое и трудное это дело, но как при этом оно и нежно».

Во Владимире опальный охранник прожил семь лет. К этому времени его восстановили во всех правах, сняли полицейский надзор, разрешили проживать в столицах. В 1910 году он вместе с женой и сыном переехал на постоянное место жительства в Москву, поселившись в доме № 28 по ул. Пятницкой. Желавшие даже могли позвонить ему по телефону 349-38. До конца своих дней Зубатов оставался убежденным монархистом, веря, что «без царя не может быть России». 3 марта 1917 года, получив известие об отречении императора Николая II, он застрелился в своем рабочем кабинете, боясь, видимо, суда рабочих, обещавших еще в 1900 году «повесить его на одном из московских фонарей». Так бесславно покончил с жизнью один из посетителей хамовнического дома Толстого, бывший секретный сотрудник московской охранки Сергей Зубатов.



### «Бывший Тульской Жандармерии Шпион...»

В марте 1896 года в Туле жандармами была арестована врач Мария Александровна Холевинская, обвиняемая в распространении запрещенных произведений Л. Н. Толстого. Одновременно с ее арестом начальник Тульского ГЖУ полковник Миллер возбудил ходатайство перед Департаментом полиции о привлечении к дознанию в качестве обвиняемых графа Льва Толстого как автора найденных преступных рукописей, а также его дочь Татьяну как распространительницу. Однако Департамент полиции своим циркуляром от 1 апреля 1896 года предписывал, что «ввиду особого занимаемого графом Толстым положения в качестве знаменитого отечественного писателя, возбуждение против него преследования... может повлечь за собою крайне нежелательные последствия», а поэтому по согласованию с Министерством юстиции привлечение Толстого и его дочери к дознанию по делу Холевинской «признается в настоящее время нежелательным».

Несмотря на такое указание из Петербурга, полковник Миллер не терял надежды отыскать новый компромат против Толстого. В начале мая в Ясную Поляну был командирован секретный агент Иван Егоров (из запасных фельдфебелей), который шесть раз в течение трех недель приезжал в имение Толстых, а также в деревню Ясенки, где расспрашивал крестьян об их беседах с графом, фиксировал всех посетителей Ясной Поляны. К большому сожалению жандармов, отыскать какую-либо «крамолу» в действиях Толстого сыщику не удалось. Тогда полковник Миллер решил осуществить более сложную агентурную комбинацию.

В конце мая 1896 года в Ясной Поляне появился молодой человек, назвавшийся Прокофием Кирилловым, рабочим из Тулы. Сначала он попросил Льва Николаевича дать ему почитать книги, а спустя несколько дней — и запрещенные цензурой его статьи.

Просьба Кириллова была удовлетворена, и он от дочери писателя Марии Львовны получил «Учение 12 Апостолов», «Гонение на христиан», «Царство Божие...» и другие запрещенные цензурой статьи Толстого.

Из разговоров с новым знакомым Лев Николаевич понял, что тот по своим убеждениям «нигилист и атеист». Их беседы нередко заканчивались жаркими спорами. «Я от всей души говорил ему все, что думаю», — писал впоследствии Толстой.

Жарким июньским днем Кириллов последний раз нанес визит в Ясную Поляну. Зайдя в кабинет писателя, он передал Толстому записку и сказал: «Прочтите, Лев Николаевич, а потом скажите, что вы обо мне думаете».

Толстой, ничего не подозревая, стал читать и был поражен ее содержанием. В записке говорилось, что податель ее является жандармским унтер-офицером, которого начальник Тульского губернского жандармского управления подослал к Толстому с целью выяснить, что делается в Ясной Поляне. Далее Кириллов сообщал, что он понял «гнусность своей роли», и поэтому ему стало «нравственно невыносимо», и он во всем признается Толстому. Со слов С. А. Толстой, раскаявшийся жандарм якобы говорил: «О чем я буду доносить?.. Здесь все живут как святые...»

Композитор С. И. Танеев, гостивший в это время в Ясной Поляне, отметил 6 июня в своем дневнике, что Лев Николаевич за ужином рассказал о человеке, который брал у него книги, а сегодня признался, «что он шпион, посланный жандармским полковником».

О чем именно говорил писатель с Кирилловым, прочтя записку, неизвестно. 8 июня Толстой в своем дневнике об этом событии оставил краткую запись: «Третьего дня был жандарм-шпион, который признался, что он подослан ко мне. Бы-

ло и приятно и гадко». На следующий день в письме к сыну Льву он сообщал, что от этого признания ему «было и жалко, и гадко, и приятно». Софья Андреевна, комментируя слова мужа, писала: «То, что правительство приставило его (Кириллова. — В. Ч.) к должности шпиона, было противно Льву Николаевичу, но, с другой стороны, раскаяние и признание жандарма в том, что он делает дурное дело, доставило Льву Николаевичу радость».

Вскоре Толстой получил от Кириллова письмо, в котором тот сообщал, что губернское начальство, узнав о случившемся, уволило его «со службы шпионов в дисциплинарном порядке» и теперь он средств к жизни не имеет и не знает, что ему делать. Далее он просил писателя помочь ему «в первом шаге на трудовую жизнь», то есть найти работу. Лев Николаевич откликнулся на просьбу бывшего жандарма и переговорил с владельцем московской типографии Ф. Ф. Рисом, который обещал трудоустроить Кириллова и найти жилье для его семьи — жены и ребенка. Однако Кириллова работа в Москве не устраивала, и он, забрав семью, уехал на юг.

Спустя год Толстому пришло письмо из Одессы. «Хлеба доставать я научился, — писал Кириллов, — и, благодаря Вашим добрым советам, превратился из лежебоки и трутня в рабочего». Описывая свои перипетии, он просил Льва Николаевича прислать ему несколько брошюр, так как от «жажды духовной и без умственной пищи» он приходит в «оцепенелое состояние». Письмо было подписано: «Бывший Тульской Жандармерии Шпион — П. Кириллов».

Большое значение факту раскаяния жандарма придавали последователи Толстого, видя в нем торжество толстовских идей и их очищающее влияние на «заблудшихся».

И. М. Трегубов в письме от 2 июля 1896 года писал Льву Николаевичу: «На днях я узнал, как к Вам ходил переодетый жандарм и как он потом покаялся в своем грехе. Это — чудо, и я убедительно прошу Вас записать или рассказать кому другому и попросить его записать все, что произошло с первого появления этого жандарма до последнего его слова и движения... Еще и еще подтверждение того, что Царство Божие близко». Однако просьба Трегубова осталась неисполненной. Хотя есть все основания предполагать, что именно этот случай из жизни Толстого должен был лечь в основу рассказа «Шпион кается», который Лев Николаевич намеревался написать для «Круга чтения». К сожалению, замысел писателя так и остался нереализованным<sup>3</sup>.

### **«Фотограф-любитель» Владимир Кривош**

Ранним утром 7 февраля 1897 года к дебаркадеру столичного Николаевского вокзала прибыл скорый поезд Москва—Санкт-Петербург. Никто из редких встречающих не обратил внимания на вышедших из вагона второго класса четверых пассажиров, среди которых выделялся среднего роста старик с окладистой, совершенно белой бородой, одетый в обыкновенный мужицкий полушубок, подпоясанный кушаком. Круглая войлочная шапка, надвинутая почти на уши, крепко держалась на его голове.

В таком одеянии нетрудно было узнать «яснополянского старца» — Льва Николаевича Толстого, приехавшего попрощаться со своими друзьями и последователями В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым, высылаемыми из столицы царским правительством в административном порядке за их деятельность в защиту духоборов. Вместе с писателем прибыли его жена Софья Андреевна, дочь Татьяна и сотрудник издательства «Посредник» И. И. Горбунов-Посадов.

<sup>3</sup> См.: Владимир Чисников. «Шпион кается». Ненаписанный рассказ Льва Толстого для «Круга чтения» // Нева. — 2014. — № 2. — С. 194—200.

В Петербурге Лев Николаевич находился почти неделю, то есть по 12 февраля. В один из этих дней знакомый В. Г. Черткова словак Владимир Кривош сделал на память несколько любительских фотоснимков. На одном из них Толстой запечатлен во дворе дома Чертковых вместе с друзьями и знакомыми, среди которых были два словака: Альберт Шкарван и Владимир Кривош. То, что фотосъемка производилась Кривошем, установлено достоверно из воспоминаний современников — очевидцев тех событий. Кроме того, на обороте одной из «толстовских» фотографий, хранящейся в Пушкинском Доме, имеется штамп «Фотограф-любитель Кривош». Точная же дата фотографирования до недавнего времени оставалась неизвестной. В различных изданиях, где помещена репродукция этого снимка, как правило, указывается: «февраль» или «7—12 февраля» 1897 года, то есть время пребывания писателя в Петербурге. Проведенное нами исследование дало основание утверждать, что Владимир Кривош фотографировал Льва Николаевича Толстого в кругу друзей и знакомых 8 февраля 1897 года<sup>4</sup>.

Личность автора петербургских фотографий Льва Толстого Владимира Кривоша толстоведам хорошо знакома, хотя в именном указателе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (Юб. изд.) его фамилия не упоминается. Родился В. И. Кривош (1865—1942) в Венгрии, в середине 80-х переехал в Россию, приняв русское подданство, знал 24 языка, служил цензором иностранных газет и журналов петербургского почтамта, во время Первой мировой войны был переводчиком в штабе генерала Брусилова. По подозрению в шпионаже был арестован контрразведкой, однако следствие вину его не доказало. По решению властей был «оставлен в подозрении» и выслан в Сибирь, откуда вернулся только после падения самодержавия. После прихода к власти большевиков работал в Наркомате иностранных дел, ВЧК—ОГПУ. Вторую половину 20-х годов «провел» на Севере (Соловках). Вернувшись, проживал в Москве. Осенью 1941 года был эвакуирован на Урал, где и умер.

А теперь попробуем реконструировать события тех далеких дней начала 1897 года. В двадцатых числах января словак-толстовец Шкарван поселяется в доме Черткова, за которым установлен негласный полицейский надзор. С помощью наружного наблюдения тайной полицией известно, кто посещает опального Черткова, но неизвестно, о чем они говорят. Поэтому для внутреннего наблюдения и появляется в доме Чертковых земляк Шкарвана — тайный агент «охранки», «фотограф-любитель» Владимир Кривош.

Что касается фотографирования, то можно согласиться с утверждением исследователя Л. С. Кишкина, что именно Кривош был инициатором фотосъемки Льва Толстого в окружении друзей и знакомых во дворе Чертковых. Этот снимок, по нашему глубокому убеждению, нужен был прежде всего... «охранке», чтобы по нему сверять «рапортчики» филеров, где указывались приметы наблюдаемых, с одеждою лиц, запечатленных на фотоснимке. Осуществляя фотосъемку, Кривош убивал сразу трех зайцев: делал на память «подарок» толстовцам, «увековечивал» себя (рядом с Л. Толстым!) и предоставлял «охранке» опознавательный материал.

Таким образом, имеющиеся материалы о Владимире Кривоше дают все основания утверждать, что в 1897 году он, кроме работы в «черном кабинете» петербургского почтамта, выступал также в роли секретного сотрудника спецслужб. Его появление в январе—феврале 1897 года в доме Чертковых, фотографирование Л. Н. Толстого в окружении друзей и знакомых было осуществлено с разведывательной целью по заданию Департамента полиции<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> См.: Владимир Чисников. Л. Н. Толстой в Петербурге в феврале 1897 года: поиски и находки // Нева. — 1916. — № 2. — С. 209—212.

<sup>5</sup> Подробнее см.: Владимир Чисников. Владимир Кривош: «оставить в подозрении» // Нева. — 2008. — № 7. — С. 216—224.

**«Доносить на своих товарищей  
считаю ужасным, нехорошим делом!»**

В предпасхальную субботу 17 апреля 1910 года, около двух часов дня, возле графского дома в Ясной Поляне появился очередной посетитель — молодой красивый юноша в гимназической форме.

— Что вам угодно? — спросил его секретарь писателя В. Ф. Булгаков.

— Я хотел бы переговорить с Львом Николаевичем по очень важному вопросу.

— Не могли бы вы сказать, по какому именно? — поинтересовался секретарь.

— Нет, — решительно ответил гимназист, а затем неожиданно для Булгакова спросил: — А как Толстой относится к революционерам?

Валентин Федорович, решив, что перед ним именно один из них, стал объяснять, стараясь не обидеть молодого человека, что Лев Николаевич отрицательно относится не только к правительственной деятельности, но и к революционной тоже. Такой ответ, как показалось Булгакову, вполне удовлетворил гимназиста, и он снова стал настаивать на встрече с Толстым.

Предложив юноше подождать на террасе, Булгаков зашел в дом и сообщил Льву Николаевичу о посетителе. Толстой спустился к ожидавшему гимназисту, и между ними завязалась оживленная беседа...

Каково же было удивление секретаря, когда он увидел возвращающегося писателя в очень возбужденном состоянии.

— Что с вами, Лев Николаевич? — спросил Булгаков.

— Этот юноша признался мне, что он — шпион, состоящий на службе у правительства и доносящий властям о действиях революционных кружков, с которыми близок, — с выражением ужаса на лице сообщил Толстой. — Молодой человек ожидал от меня одобрения своей деятельности, зачем и приехал ко мне.

— И что вы ему ответили?

— Я сказал ему, что доносить на своих товарищей считаю ужасным, нехорошим делом!

О необычном визите гимназиста Толстой записал в дневнике: «Вчера посетитель: шпион, служивший в полиции и стрелявший в революционеров, пришел, ожидая моего сочувствия».

Отголоски этого события нашли отражение и в дневнике домашнего доктора Толстых Д. П. Маковицкого, записавшего в воскресенье, 18 апреля, что Лев Николаевич рассказывал о бывшем у него студенте-поляке, который «был против революции и поступил на службу в полицию, в шпионы». Студент надеялся найти у писателя сочувствие, однако Толстой ответил ему, что он жалеет, что тот «дурным делом занялся».

**«Блондинка» в Ясной Поляне**

Лев Николаевич Толстой не давал покоя царской охранке даже после своей смерти. Не прошло и двух недель после его похорон, как начальник московского охранного отделения полковник П. П. Заварзин получил шифрованную телеграмму от директора Департамента полиции Н. П. Зева. В ней предлагалось немедленно командировать двух опытных, толковых сотрудников в Ясную Поляну с поручением посетить могилу писателя и имение его ближайшего сподвижника В. Г. Черткова и выяснить «характер сборищ, происходящих в Ясной Поляне и у Черт-

кова». Начальник московской охранки посчитал, что для выполнения данного поручения достаточно будет и одного толкового секретного сотрудника — недавно завербованного им агента по кличке «Блондинка».

В тот же день полковник телеграфировал столичному начальству: «Исполнено. Сведения могут быть дней через пять». И хотя для «Блондинки» это было первое серьезное задание, Заварзин был уверен, что агент успешно справится с ним. Характеризуя его начальству, он писал, что «Блондинка» как литератор «безусловно правдив и весьма развит, имя же его пользуется некоторой известностью в литературных кругах Москвы, Киева и Одессы. Эти качества дают ему, при наличии желания с его стороны, полную возможность быть полезным сотрудником отделения».

В понедельник, 22 ноября 1910 года, «Блондинка» утренним московским поездом отправился в Ясную Поляну. Сбор информации он начал уже в пути: беседовал с кондукторами в вагонах, поговорил с жандармским унтер-офицером на станции Козлова Засаека, расспрашивал возницу, добираясь на телеге в Ясную Поляну. «Толковые ответы, к которым можно отнестись с доверием, — писал впоследствии агент в своем донесении, — давал служащий в Тульском казначействе Василий Зябрик, гостивший в эти дни в Ясной Поляне, хозяин избы, где я остановился, — Прохор Зябрик, уравновешенный и положительный мужик, а также очень разговорчивая, а потому ценная, его жена».

Заслуживающие внимания сведения, по словам секретного сотрудника, ему удалось почерпнуть «из живой перекрестной беседы» с яснополянскими бабами и ребятишками, а также крестьянами, собиравшимися в избе Прохора Зябрика.

Посетив могилу Толстого, «Блондинка» побывал в доме, где довольно продолжительно беседовал с лакеем, Т. А. Кузьминской (сестрой С. А. Толстой), а также племянницей писателя, «которая была очень любезна и словоохотлива во время осмотра толстовского дома». Расписываясь в книге посетителей, секретный сотрудник внимательно просмотрел ее, однако в записях за последние дни недели ему «не удалось заметить мало-мальски видных имен».

Имея из Москвы рекомендательное письмо, «Блондинка» посетил домашнего врача Толстых Д. П. Маковицкого, с которым беседовал дважды. Получив от доктора рекомендательное письмо, секретный сотрудник отправился в деревню Телятинки, к Черткову, где ему был оказан «теплый доверительный прием». Кроме Черткова, он беседовал с его сыном, а также бывшим секретарем Толстого В. Ф. Булгаковым, который являлся «проверочной инстанцией услышанного от Черткова и его сына».

Чтобы охватить наблюдением наиболее обширный район, агент объехал почти все деревни, примыкающие к Ясной Поляне, побывал в сельце Ясенки, на хуторе дочери писателя Т. Л. Сухотиной-Толстой и возвратился в Москву.

Через два дня «Блондинка» представил своему шефу обширное, состоящее из трех разделов, агентурное сообщение, где очень подробно излагалась информация по всем интересующим охранку вопросам. «Могу констатировать, — отмечал агент, — что влияние идей Толстого и следы пропаганды чувствуются на каждом шагу, особенно среди деревенской молодежи». Ввиду особой ценности добытых сведений агентурное сообщение «Блондинки» было представлено лично министру внутренних дел П. А. Столыпину.

Кто же скрывался под интригующей кличкой «Блондинка»? После Февральской революции 1917 года, когда стали доступны архивы Департамента полиции, удалось установить его личность. Им оказался журналист, бывший сотрудник газеты «Киевская мысль», а затем «Русского слова» Иван Яковлевич Дриллх.

...Сохранившиеся материалы наблюдательного дела «Блондинки» дают возможность узнать о «падении» известного журналиста И. Я. Дриллиха и тех методах и тактических приемах агентурной работы царской политической полиции, которые применялись для вербовки секретных сотрудников.

Итак, в октябре 1910 года чиновниками московского «черного кабинета» было перлюстрировано письмо, отправленное из Москвы 9 октября в Киев литератору А. К. Закржевскому. Автор письма, в частности, писал своему корреспонденту: «Вы удивитесь, когда узнаете, что произошло со мной за это время. Одессу я, к счастью, окончательно оставил и теперь пишу Вам из Москвы, где я уже вторую неделю. Выбросила меня из Одессы несчастная (счастливая) случайность. За старые грехи у меня теперь очень сложные счета с администрацией (подлежу ссылке в Томскую губернию). Если бы я не улизнул из Одессы вовремя, то теперь бы уже гулял по этапу в сии неприветливые страны. Выручил, однако, случай: как раз в тот момент, когда в Одессе пришли меня арестовать, я был в Петербурге и только потому теперь на свободе. Естественно, что у меня нет ни малейшего желания быть обывателем Томской губернии, а потому я и перешел на нелегальное положение. Думаю продержаться таким образом до тех пор, пока путем страшно сложных хлопот не удастся добиться отмены ссылки. Есть надежда, что это удастся. На первое время сохраняю связи с „Одесским листком“, а там будет видно, что Бог даст. Адресуйте мне так: Москва, 9 почт. отд. до востребования. Владимиру Павловичу Матвееву».

Спустя несколько дней копия этого подозрительного письма лежала на столе директора Департамента полиции Н. П. Зуева, который наложил на нем резолюцию: «Выяснить его». Тотчас же указания установить автора письма были направлены начальникам Московского, Одесского и Санкт-Петербургского охранных отделений. И уже 14 ноября начальник московской охранки жандармский полковник П. П. Заварзин доложил Департаменту полиции, что «по документу на имя Владимира Павлова Матвеева проживал в Москве с 22 августа Иван Яковлев (Морицев) Дриллех, род. в 1879 году, журналист, лютеранин, который был обыскан и арестован».

На допросе в охранке нелегал «Матвеев» показал, что в действительности он Иван Яковлевич Дриллех, бывший сотрудник газеты «Киевская мысль». Скрываться от властей вынужден был из-за своей газетной статьи, которую цензура посчитала «крамольной». Решением Киевской судебной палаты он был присужден к заключению в крепости на один месяц. Однако, на его беду, он оказался австрийским подданным, и как опороченного по суду иностранца, не имеющего связи с отечеством, его по постановлению киевского, волынского и подольского генерал-губернатора подвергли ссылке в Томскую губернию. Чтобы избежать наказания, он вынужден был податься в бега и проживать в Москве по нелегальному паспорту.

Допрашивавший его опытный агентурист Заварзин, выслушав чистосердечную исповедь Дриллиха, поставил перед ним дилемму: или ссылка по этапу в Сибирь, или жизнь в Москве на положении секретного сотрудника. Иван Яковлевич, реально оценивая сложившиеся обстоятельства, прекрасно понимал, что в случае отказа сотрудничать с охранкой его ожидают в будущем не очень радужные перспективы, поэтому без особых колебаний выбрал последний вариант. В целях конспирации новоиспеченному секретному сотруднику — мужчине, жгучему брюнету, был присвоен нежный женский оперативный псевдоним «Блондинка».

Относительно кличек секретных сотрудников, то в жандармской Инструкции по ведению внутреннего наблюдения (1914) указывалось: «По приеме секретного сотрудника, осведомителя или розыскного агента ему принадлежит, в видах кон-

спирации, присвоить определенный псевдоним (кличку), под которой он числится на протяжении всей своей службы в агентуре... Для кличек берутся короткие фамилии, имена и названия, причем воспрещается избирать клички, фамилии офицеров корпуса жандармов, равно начальствующих лиц какого бы то ни было ведомства и рекомендуется не брать кличек исключительно употребляемые имена („Иван“, „Ваня“, „Николай“, „Коля“, „Александр“ и т. п.). Не возбраняется именовать мужчин женскими именами и наоборот» (§ 35).

18 октября 1910 года полковник Заварзин сообщил в столичный департамент, что «арестованный 14 октября Дриллх на основании чисто агентурных соображений из-под стражи освобожден».

Заметим, на сленге оперативников подобный прием привлечения к секретному сотрудничеству называется «вербовка на компре», то есть на компрометирующих материалах. По мнению Департамента полиции, такой прием являлся наименее надежным средством приобретения агентуры. В «Наказе по ведению политического розыска» (1916), в частности, указывалось, что лица, согласившиеся стать секретными сотрудниками под влиянием угроз, «впоследствии, одумавшись, в большинстве случаев изменяют своим обещаниям». Поэтому охранникам рекомендовалось, что успех в приобретении агентуры может быть только «в настойчивости, терпении, сдержанности, такте, осторожности, мягкости, осмотрительности, спокойной решительности, вдумчивости, в умении определять характер собеседника и подметить слабые и чувствительные его стороны, в умении расположить к себе человека и подчинить его своему влиянию, в отсутствии нервности, часто ведущей к форсированию» (раздел II, § 3).

Как показали дальнейшие события, Иван Яковлевич «не одумался» и «не изменил своих обещаний», данных охранке. Выйдя на свободу, он без особого труда устроился работать в популярную московскую либеральную газету «Русское слово», которая располагалась в доме «Товарищества Сытина» на Тверской. Так Дриллх — «Блондинка» становится заведующим петроградским отделом газеты.

Вскоре талантливый и популярный журналист появляется в лучших домах Москвы, где собирались писатели, журналисты, художники, актеры, а также деятели нового вида искусства — кинематографа.

В этот начальный период агентурной деятельности «Блондинки» его шеф, полковник Заварзин, докладывал столичному начальству: «Даваемые Дриллхом сведения по общественному движению и левому крылу конституционно-демократической партии очень ценны, а в будущем это лицо обещает быть еще более полезным, так как ему, как литератору, доступнее многие общественные круги».

...Преемник Заварзина полковник А. П. Мартынов, возглавивший московскую охранку в 1912 году, в своих воспоминаниях посвятил несколько страниц И. Я. Дриллху — одному из лучших своих секретных сотрудников. По его утверждению, Иван Яковлевич был «высокий, красивый брюнет с аккуратно подстриженной бородой». Бывший жандарм характеризовал его человеком очень развитым и интеллигентным, который интересовался не только одной политикой, но и хорошо разбирался во всех вопросах, относящихся к искусству, литературе, театру, прессе. В Москве он знал всех сколько-нибудь выдающихся общественных деятелей. Благодаря ему Мартынов был прекрасно осведомлен не только о внутреннем распорядке в редакции газеты, о сильных и слабых сторонах наиболее видных ее сотрудников, об их взаимоотношениях с издателем И. Д. Сытиным и редактором В. М. Дорошевичем, но и о всем том, что обсуждалось, критиковалось и решалось в коллективе редакции. По утверждению мемуариста, он отлично знал общественное настроение москвичей, поскольку оно находило отражение как в газетных ре-

портажах, так и в материалах, выброшенных в редакторскую корзину. Ему были известны суждения, высказываемые на закрытых заседаниях кадетских деятелей, Военно-промышленного комитета, различных общественных группировок, а также настроения земских и городских деятелей и т. д.

Говоря о Дриллихе, бывший охранник Мартынов отмечал, что Иван Яковлевич был человеком «с определенным уклоном в сторону государственности» и своим положением в качестве секретного сотрудника вовсе не тяготился. Их деловые отношения «носили легкий и... приятный характер». Дриллх был замечательным собеседником, спокойным и воспитанным человеком, большим эрудитом и любителем поговорить не только исключительно на политические темы, поэтому его конспиративные свидания с «Блондинкой», как правило, затягивались. На конспиративную квартиру Иван Яковлевич приносил с собой «прекрасно написанные доклады», в которых предлагал вниманию начальства различные «предупредительные» меры к «обузданию» газетчиков или «негласному влиянию» на печать и т. п. Эти доклады почти без всяких поправок Мартынов отсылал в Департамент полиции.

...Секретный сотрудник «Блондинка» был один из наиболее высокооплачиваемых агентов Московского охранного отделения. Его ежемесячная зарплата составляла 150 рублей — деньги по тем временам немалые<sup>6</sup>.

Однако грянула Февральская революция 1917 года... В день отречения Николая II от власти полковник Мартынов, у которого на связи было восемь особо важных секретных сотрудников, предупредил их о грозящей опасности и приказал исчезнуть из города. Личные дела секретных агентов он изъясил из своего сейфа и уничтожил.

В тот же день Иван Яковлевич пришел к редактору газеты Благову и сказал, что ему для сбора материалов необходимо срочно ехать в Петроград, где происходят все главные революционные события. Следующим утром он уже был в столице, а оттуда поезд умчал его в Финляндию...

Казалось бы, факт сотрудничества «Блондинки» с Московским охранным отделением останется для широкой общественности тайной за семью печатями. Однако Дриллиху не повезло: во время разбора документов Департамента полиции на Гороховой, в Особом отделе было обнаружено его наблюдательное оперативное дело (12 страниц). Оно и поступило в распоряжение Комиссии по обеспечению нового строя, которая занималась расследованием деятельности охранных отделений. Так как обнаружить Дриллиха на территории России не удалось, на титульном листе его дела был поставлен штамп «Не разыскан».

В 1919 году член Комиссии по обеспечению нового строя С. Б. Членов издал книгу «Московская охранка и ее секретные сотрудники», где в качестве приложения был помещен список секретных сотрудников Московского охранного отделения, опубликованных комиссией. Среди 115 сексотов под № 32 указывался **Дриллх Иван Яковлевич** (кличка «Блондинка»). Далее сообщалось, что он сотрудник газет «Киевская мысль» и «Русское слово», состоял на связи у начальника Московского охранного отделения полковника Мартынова. Вращался в прогрессивных кругах, главным образом среди кадетов, давая точные сведения не только об их заседаниях на частных квартирах, но и работе и настроениях в комитете партии. От него поступала информация о собраниях в редакциях газет «Русские ведомости» и «Эрмитаж», об отношении общественных деятелей к правительственной политике, к выборам в Государственную думу.

<sup>6</sup> Для сравнения отметим, что армейский подпоручик после окончания военного училища на первых порах службы в полку получал девяносто рублей, а командир роты, капитан — сто двадцать.



Указывалось также, что Дриллх информировал охранку о проходивших в Москве всероссийских общественных съездах, о деятелях народного образования, о лекциях общества народных университетов (1911–1912), о политических консультациях либералов и социал-демократов на совещаниях, созванных по инициативе фабриканта-прогрессиста А. И. Коновалова, о докладе одного из лидеров кадетской партии С. Н. Прокоповича в союзе городов (1914), о поездке общественных деятелей за границу, о подготовительной работе к кооперативному съезду (1916) и т. д.

В заключение уместно будет сказать, что, как отмечают историки, сопоставление донесений Дриллха периода Первой мировой войны с документами кадетской партии показало, что в угоду заказчикам информации из охранки он намеренно преувеличивал степень оппозиционности кадетов, «нередко сообщая недостоверные и просто фантастические сведения».

---

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

---

Валерий СКОБЛО

## МУКА И ДРУГОЕ

В послереволюционной жизни Горького много неясного...

*Российский гуманитарный энциклопедический словарь. 2001*

Тайна или, по крайней мере, некая таинственность есть во всем. Это ведь как посмотреть. Уж, казалось бы, две пьесы Максима Горького начала 30-х — «Егор Булычев и другие» и «Достигаев и другие»... В ранней моей юности Горький — за полной неизвестностью других, как минимум, не менее достойных советских писателей (Булгаков и Платонов были еще не изданы) — мне безусловно нравился, и все, что было «под рукой», я прочитал. Но даже тогда эти две пьесы показались мне какими-то... слишком «плоскими», что ли.

---

Валерий Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике. Основные публикации последних лет в журналах «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литературная газета», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово\Word», «Урал» и др. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А. А. Ахматовой (2015). Место проживания — Санкт-Петербург.

Так получилось, что этим летом на даче тоненькая книжечка Детлита с этими пьесами попалась мне на глаза, и я снова их перечитал. Мнение мое о них не улучшилось, но они меня всерьез заинтересовали. Вот их краткая канва (не надеюсь, что теперешняя молодежь тратит время на их прочтение).

Время действия — 1917 год, где-то между Февральской и Октябрьской революциями (включая самые первые ее дни). Место действия прямо не указано, но, видимо (как и в следующей, последней пьесе Горького «Васса Железнова», точнее, во втором ее варианте 1935 года), это провинциальный город на Волге. Булычев и Достигаев — российские капиталисты «на сломе эпох», противопоставленные друг другу.

Булычев — умирающий от цирроза печени и в последние дни жизни ощущающий, что «не на той улице я живу! В чужие люди попал, лет тридцать все с чужими... Отец мой плоты гонял. А я вот...»

И Достигаев — предающий всех и вся, прилаживающийся к любой власти, в том числе и к большевикам, но и в 1917 году задумывающийся не иначе как «Промпартию»: «А вот, если ножку им подставить на крутом-то пути... на неведомой дороге?»

Противопоставление это в пьесах представлено, пожалуй, что и с неким перебором, не имеющим прямого отношения к идейному замыслу. Если к тяжелобольному Булычеву (умирающему между временем действия пьес, где-то в сентябре 1917-го) до последних дней его жизни бегают по ночам горничная Глафира, страстно его любящая, то жена Достигаева Елизавета им и здоровым недовольна, и обличает: «Я тебе, Вася, прямо говорю, и не первый раз: с тебя — хватит, а мне — мало!» Но, собственно, не о главных героях, Егоре Булычеве и Василии Достигаеве, пойдет речь.

Перечислим тех персонажей «Булычева...» и «Достигаева...», которые нам понадобятся. Это, помимо уже упомянутых лиц, Ксения — жена Булычева, Александра (Шура) — его побочная дочь, Варвара — дочь от Ксении, Антонина и Алексей — дети Достигаева от первой жены, Нестрашный — бывший городской голова и председатель местного союза Михаила Архангела, Яков Лаптев — крестник Булычева, Донат — его лесник, Калмыкова, Рябинин («товарищ Петр») и некий Бородатый солдат. Пятеро последних — активные участники революционных действий, Лаптев, Калмыкова и Рябинин — очевидно, большевики.

Заметим, что изображены эти большевики, если внимательно приглядеться, несколько странно. Бросается в глаза их некая, мягко говоря, эмоциональная обедненность. Вот диалоги из «Булычева»:

Лаптев. ...А как Булычев?..

Глафира. Плохо ему.

Лаптев. Плохо? Постой, постой! Голодно живут приятели мои, тетя Глаша, не достанешь ли муки, пуда два, а то и мешок?..

.....  
Ксения. ...Отец-то крестный — болеет, а тебе хоть бы что...

Лаптев. Заболеть надо мне, что ли?..

И это при том, что Булычев относится к своему крестнику с искренней симпатией. Да и, пожалуй, ко всем революционерам, как минимум, с живым интересом.

А вот из «Достигаева». Шура, изо всех сил старающаяся помочь большевикам, обращается к одному из их лидеров — Калмыковой:

Шура. ...Мне кажется, что ты и Яшка смотрите на меня как на купеческую дочь, как на временную полезность.

К а л м ы к о в а. Ну... Все — временно! Прощай, я тороплюсь...

Хорошо, большевики — люди занятые, им не до всех этих сантиментов.

Но надо признать, что и «господа» в изображении Горького в отношении нравственной глухоты не лучше «работников»:

В а р в а р а. ...Мамаша, пойдете-ка в кухню, там повар капризничает...

К с е н и я. Он — не в себе, у него сына убили.

В а р в а р а. Ну, это не резон для капризов. Теперь столько убивают...

Заметим, что две смерти «обрамляют» действие этих двух пьес. Смерть сына повара в самом начале «Булычева...» (на которую никто, собственно, и внимания не обратил) и самоубийство Антонины, дочери Достигаева, в самом конце «Достигаева» (про нее мы поговорим позже).

Но вернемся к упомянутой выше Лаптевым муке — «пуда два, а то и мешок». Глафира тоже симпатизирует Лаптеву и вообще большевикам, но... диалог продолжается:

Г л а ф и р а. Что же — воровать у хозяев буду для тебя?

Л а п т е в. Да ведь уже не первый раз! Все равно — и раньше грешила, грех — на мне! Ребятам, ей-богу, кушать охота! Тебе же в доме этом за труд твой принадлежит больше, чем хозяевам.

Г л а ф и р а. Слыхала я эти сказки твои! Завтра утром Донату буду отправлять муку, мешок возьмешь у него...

Как-то это... Все же ленинское «грабь награбленное», сказанное годом позже, несколько масштабнее, по-своему величественнее этого тривиального воровства. Впрочем, можно подумать, что задуманное воровство оправдывается жалостью Лаптева к этим «приятелям», которые «голодно живут» и которым «кушать охота». Как бы не так!

Отправление муки леснику Донату в связи со смертью Булычева откладывается, но эти мешки всплывут в октябре в «Достигаеве». Вот лидер большевиков Рябинин обращается к этому самому Донату, к которому мука все-таки попала:

Р я б и н и н (Донату). ...Значит — решили: часов в шесть утра посылай наших солдат, они заберут муку и отвезут половину — себе, половину на фабрику, прямо в казарму. Бабы сразу увидят, что большевики не только обещают, а и дают. Ясно, леший?..

По нынешним временам это называлось бы подкупом электората, причем, что самое забавное, за ворованные продукты.

Тут надо понимать, что Горький действительно прекрасно знал своих героев: и большевиков, и капиталистов, некоторые из них материально помогали революционерам, причем Горький служил неким передаточным звеном в этой цепочке. Собственно, и сам Горький был членом партии: он вступил в РСДРП в 1905 году (и вышел из нее в 1917-м). Так что навряд ли он что-то придумывал в деталях, а вот по большому счету — это вопрос. Все же в какой-то степени гуманисту Горькому трудно было смириться с тезисом: морально все, что служит победе пролетариата. Тезису, под которым мог бы подписаться за почти полвека до того и сам Нечаев.

Нечто вроде слегка иронического отношения к вроде бы сугубо положительным героям просвечивает и во многих других местах обеих пьес.

Вот диалог Доната и Рябинина по поводу недавнего выступления последнего перед народом:

Д о н а т. ...Тебя, слышно, прогнали сегодня с митинга-то?

Р я б и н и н. Был такой случай. Силен эсер в нашем городе!..

Думаю, сейчас Рябинин упомянул бы в качестве причин своего провала и про «печенюшки Госдепа».

Забавно и даже несколько педалируемое Горьким отношение большевиков к еде. Рябинин в гостях (по революционным вопросам) в доме умершего уже Булычева, нестати встретившейся жене которого Ксении, выражающей некое удивление его появлением в своем доме, представляется так: «Здравствуйте, хозяйка! Я — водопроводчик...». Обсудив вопрос с пресловутой мукой и другие политические темы, Рябинин обращается к Донату, который вовсе не хозяин в доме:

Р я б и н и н. ...Ну, ладно. Что же — чайку-то?

Д о н а т. Сейчас.

Р я б и н и н. И — поесть. Appetit у меня — очень хороший, а поесть — нечего...

Или:

Г л а ф и р а. Выпили бы чаю...

К а л м ы к о в а. Спасибо, Глаша, некогда. Вот — булку возьму. И сахару...

Ну и тот же Рябинин, обговорив тонкий идеологический вопрос:

Р я б и н и н. ...Ну-с, теперь хлебнем чайку... (*Шуре.*) Угощайте!

Ш у р а. Пожалуйста...

Г л а ф и р а. Вот — поешьте сначала. Водки выпьете?

Р я б и н и н. Очень выпью! Редчайшая жидкость. И — даже ветчина? И горчица? Вполне Валтасаров пир!

(Шура взволнованно ходит. Рябинин, взглянув на нее, подмигивает Глафире, та неохотно усмехается.)

Г л а ф и р а. Кушайте. (*Пошла за водкой.*)...

Тот идеологический вопрос, который быстро и решительно решает Рябинин, о прессе — опубликовать ли стихи некоего «блаженного»:

Р я б и н и н (*Лаптеву*). Значит — так: стишки — к чертям собачьим! Сам сообрази: зачем печатать вредную ерунду, если можно ее не печатать?..

Это несколько прямолинейное, но зато идеологически вполне выдержанное отношение к прессе и вообще к искусству и преобладало потом во всей 70-летней истории советской власти. А уж кто там будет определять, насколько стишки ерундовые или вредные, — этот многоумный вопрос ценителю «редчайшей жидкости» вполне резонно в голову не приходил.

Вот Донат, который, видимо, много старше Рябинина, задает ему робкий вопрос о возможности примирения с эсерами и получает от него (до этого называвшего его «лешим») решительный отпор:

Рябинин. ...Тебе, малютка, следовало бы эсером быть, ошибочно ты с нами.  
Донат (*сердито*). Моя ошибка — не твое дело.  
Рябинин. Не мое? Мм...

Это «Мм...» дорогого стоит. Большевики еще полностью не взяли власть в свои руки, а будущие замашки видны. В 30-е годы Рябинин еще запросто припомнит Донату глупые его вопросы. Впрочем, почти наверняка и сам получит свое.

А еще в феврале между Ксенией и Лаптевым состоялся такой диалог, ясно, хотя и несколько наивно, показывавший близкие намерения большевиков:

Ксения. ...Вон, слышь, царя хотят в клетку посадить, как Емельку Пугачева.  
Врут, что ли, грамотей?  
Лаптев. Все возможно, все!..

И как оказалось, в клетку не в клетку, но все вполне оказалось возможным.

В конце «Достигаева...» большевики, среди которых «Яков Лаптев... с револьвером в руке... Бородатый солдат, лет 40, с винтовкой, две гранаты у пояса... в лаптях и молодой рабочий, смазчик вагонов или масленщик, чумазый, выпачканный нефтью, маслом, тоже с винтовкой», являются в дом Достигаевых, чтобы арестовать неких предполагаемых заговорщиков против большевиков. Заговорщиков заложила «на всякий случай» и, верно понимая момент, осторожная жена Достигаева (который очень одобряет ее поступок), Елизавета... та самая... недовольная сексуальными возможностями мужа.

Лаптев, приведший большевиков в дом Достигаева, «говорит что-то Бородатому, тот счастливо ухмыляется, кивает головой». И скоро мы поймем, что Бородатый предвкушает встречу с «главой заговорщиков» Нестрашным и его арест:

Нестрашный. ...Каким судом судить будешь?  
Бородатый. ...Суд у нас будет правильный, не беспокойся. Ты, поди-ка, не помнишь меня?..  
Нестрашный. Конюх... Харя...  
Бородатый. Вот те и харя! И — конюх!..

Что ж... очень поучительно.

Не буду сейчас останавливаться на нескольких исторических неточностях и анахронизмах этих пьес. Так, например, главный «злодей» Нестрашный, обозначенный Горьким как «председатель местного союза Михаила Архангела», никак не мог им быть в октябре 1917 года: деятельность этого союза была прекращена еще в феврале.

Но перед самым этим арестом кончает жизнь самоубийством дочь Достигаева — Антонина. Сама она про причины своего последующего самоубийства говорит Глафире, представляющей в данном случае большевиков, так: «А мне вот некуда идти. Ни с вами, ни против вас... не способна» — и даже намекает на возможный исход, как часто делают потенциальные самоубийцы в надежде, что их «отговорят». Но тщетно — кругом глухие.

Вот Антонина прямо говорит брату Алексею:

Антонина. ...Знаешь, я, кажется, застрелюсь.  
Алексей. Это не ты взяла у меня револьвер?..

И все, дальше он про другое.

Похоже, что и «положительная» Глафира тоже поражена этой нравственной глухотой... или занята более важными революционными делами. Перед самым самоубийством происходит такой диалог:

А н т о н и н а. Ну, прощайте, Глаша!

Г л а ф и р а (*удивлена*). Я ведь не сегодня ухожу.

А н т о н и н а. Скажите Шуре... нет, лучше я напишу ей...

Г л а ф и р а. Сейчас?

А н т о н и н а. После. (*Ушла к себе.*)

(Глафира, нахмуясь, смотрит вслед ей, делает движение к двери, но отмахнулась и пошла в комнату налево...).

Это горьковское примечание «отмахнулась» стоит того, чтобы обратить на него внимание.

Отрицательный персонаж, поп Павлин, про самоубийство Антонины выражается так: «Высокоумие, атеистическая мечтательность — причины таких и подобных фактов.» Но и положительные персонажи трактуют его удивительно. Между Бородатым и Достигаевым происходит такой диалог:

Б о р о д а т ы й. ...Которая застрелилась, — она кто будет вам?

Д о с т и г а е в (*не сразу*). Она?.. Дочь...

Б о р о д а т ы й. До-очь?

Д о с т и г а е в. Да... Вот как... молодежь-то...

Б о р о д а т ы й. Молодежь... решительная! В дураках жить не желает. Дескать, отцы-деды пожили дураками, а мы давайте попробуем иначе...

Создается странное... двойственное впечатление, что и самоубийство Антонины трактуется Бородатым (и Горьким), как пример поведения «решительной молодежи», которая не желает «в дураках жить» как «отцы-деды» и решительно пробует жить «иначе».

Впрочем, повторю, все тут хороши. Елизавета активно пытается использовать смерть падчерицы, чтобы вызвать жалость пришедших с обыском большевиков и кидается к возглавляющему их Лаптеву, знакомому с Антониной. Но не на того напала:

Е л и з а в е т а (*быстро*). Яков Егорович, подумайте, какое несчастье у нас: Антонина застрелилась!... письмо есть для Шуры Бульчевой, не знаете — где она?..

Л а п т е в (*Елизавете*). Позвольте... Это — потом...

Лаптев проводит обыск и аресты и лишь тогда отвечает Елизавете: «Я передам его Шуре, когда найду это удобным...»

Но все же для Лаптева Антонина хоть и знакомая, но время революционное, не до сантиментов, для Елизаветы Антонина — всего лишь падчерица, для Достигаева-то она — родная дочь, но:

Д о с т и г а е в (*лирически*). Ах, Лизок... умница ты моя! Как ты все это... замечательно! Как своевременно все... И про Антонину, и...

Е л и з а в е т а. Не будем говорить о ней...

Д о с т и г а е в. Да. Что скажешь? Неспособная была... (*Наливает вино в стакан.*)...

Арестованные уведены, но до зубов вооруженный Бородатый в лаптях остается, и между ним и Елизаветой происходит диалог, которым и заканчивается пьеса:

Б о р о д а т ы й (*весело*). ...Не-ет, вы уж все посидите тут, а я вас покараюлю.

Е л и з а в е т а. Вы не смеете издеваться!

Б о р о д а т ы й. Чего это? Да я этого и не умею, издеваться-то, и даже не люблю. Это я — шутю, как будучи очень веселый... Вы... не того, не тревожьтесь, сидите смирененько!..

(*Начинается обыск.*)

Занавес.

Это в пьесе арестом, обыском, «шутю, как будучи очень веселый», — торжествующим таким финалом дело заканчивается, а в жизни в начале 30-х все только начиналось. И совсем без шуток и веселья.

Горький ко времени написания своих пьес вполне ощутил, что дверца «золотой клетки», в которой он оказался, навсегда и бесповоротно захлопнулась. Что он там, в ней находясь, думал, неизвестно и, как мне кажется, не очень интересно. Уж для него-то положение, в котором он очутился, было результатом его свободного и не вполне бескорыстного выбора. Все его творчество тех времен не то чтобы бесталанно, но всяко уж вполне конъюнктурно. А уж его «Если враг не сдается...» в приложении к тогдашним советским условиям, когда и враг на все 100 % выдуман, да и этот выдуманный втопан в грязь и ползает в ней на брюхе, — чего и говорить...

Все сказанное еще в большей степени относится к последней пьесе Горького «Васса Железнова» (точнее, к ее второй редакции 1935 года), в какой-то степени примыкающей к этим двум пьесам и иногда (что, с моей точки зрения, сомнительно) даже относимой к единой трилогии. Время действия пьесы — чуть ранее, чем в двух вышеупомянутых. К богатой купчихе Вассе Железновой приезжает из-за границы и останавливается у нее революционерка Рашель (Рахиль), как водится, полуподпольно и, видимо, по подложному паспорту. Приезжает по своим подпольным делам и затем еще, чтобы забрать своего сына Колю, воспитываемого в семье Железновых. Васса сына, естественно, не отдает, но нас сейчас интересует другое. Все, что говорит Рашель в пьесе Вассе, можно свести в единый обличительный поток, по своей наполненности еще более «плоский», чем у революционеров из «Бульчева» и «Достигаева». Итак:

...не много жизни осталось для таких, как вы, для всего вашего класса — хозяев. Растет другой хозяин, грозная сила растет, — она вас раздавит. Раздавит!..

...Плохо живете, но лучшего и не достойны. Эта бессмысленная жизнь вполне заслужена вами... Не только вами лично, сословием вашим, классом... Там, за границей, также скверно живут. Может быть, даже и сквернее, потому что спокойнее и меньше мучают друг друга, чем вы...

...Мир богатых людей разваливается, хотя там они — крепче организованы, чем у нас. Разваливается все, начиная с семьи, а семья там была железной клеткой. У нас — деревянная...

...Может быть, иногда, вы чувствуете усталость от хозяйства, но чувствовать бессмысленность, жестокость его вы — не можете, нет. Я вас знаю... Червь, плесень, ржавчина портят вещи, вещи — портят вас... ...Я неплохо знаю ваш класс и здесь, в России, и за границей, — это безнадежно больной класс! Живете вы автоматически, в плену хозяйств, подчиняясь силе вещей, не вами созданных.

Живете, презирая, ненавидя друг друга и не ставя перед собой вопроса, зачем живете, кому вы нужны?.. Даже лучшие, наиболее умные люди ваши живут только из отвращения к смерти, из страха перед ней...

Горький никак не поясняет ни эту нетривиальную мысль насчет того, что жить спокойнее и не мучая друг друга — это еще сквернее, чем жить мучая, ни столь же глубокую мысль об «автоматической» жизни из одного «страха смерти». Ну, а дальше Рашель повторяет, только в еще более упрощенной форме излюбленную мысль большевиков (и, видимо, самого Горького) из пьес начала 30-х с поразительным прагматическим выводом применительно к собственному сыну:

Есть нечто неизмеримо более высокое, чем наши личные связи и привязанности... У меня есть другое дело, более серьезное... для меня — нет жизни вне этого дела. И пусть я... никогда не увижу Колю... У меня нет возможности воспитывать Колю...

Рашель основательно «заводится» от своих речей, ее отвращение к «миру капитала» зашкаливает, она отказывается от ужина у Вассы... впрочем, ее дом не покидает. Похоже, в этой сцене Горький опять не слышит сам себя:

Не буду я ужинать. Противен мне хлеб ваш... Где я могу отдохнуть?..

Да, именно, что так: «Где я могу отдохнуть?..»

Ну вот, перечитал я эти пьесы Горького и задумался. Была ли вышеописанная душевная глухота даже их положительных героев следствием собственной эмоциональной холодности Горького (вспомним строки его письма времен Кровавого воскресенья о предполагавшейся смертельной болезни его гражданской жены М. Ф. Андреевой: «...опасно больна мой друг М. Ф. — перитонит. Это грозит смертью... Но теперь все личные горести и неудачи — не могут уже иметь значения, ибо — мы живем во дни пробуждения России»), не берусь судить. Не скажу, чтобы я всерьез предположил, что в них заключено некое зашифрованное послание к потомкам об истинной сущности большевиков — это все же сильно вряд ли. Было нечто глубинно роднившее Горького и с Лениным, и с большевиками: вера в «нового человека», нарождающегося в ходе революции и в результате социально-экономических мероприятий непосредственно после нее. Вера эта, разумеется, присуща не только большевикам, восходит к Ницше, да и в другой формулировке — о сверхчеловеке — не только большевиками унаследована. В свете этих идей, конечно, современники в массе своей жалки и не заслуживают особой жалости. Вера эта не рухнула с крахом коммунизма и нацизма как государственных образований. Никакие соображения реального плана о том, что вместо этого «сверх-» всегда рождались «недо-» со всеми кровавыми издержками этого процесса, поколебать эту веру, разумеется, не могут. И все же какая-то загадочность в этих пьесах Горького присутствует. Возможно, что, по выражению Булгакова, «изобразительная сила его таланта» оказалась даже в конце жизни так велика, что преодолела все идеологические задумки и донесла до нас нечто подлинное и, я бы даже добавил, актуальное.



---

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

---

Евгений БЕРКОВИЧ

## НЕОБРАЗОВАНЩИНА, ИЛИ НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ НЕВЕЖЕСТВА

Когда-то Александр Исаевич Солженицын придумал обидный для интеллигенции термин «образованщина». Им обозначались люди, не отвечавшие его представлениям о духовной элите общества. Сейчас впору вводить новый термин — «необразованщина», чтобы описать уровень многих «творческих работников». Раньше ошибки непрофессионализма и невежества при публикации книги или при выпуске фильма на экраны страны были редчайшим исключением: на страже качества интеллектуальной продукции стояли грозные ряды редакторов (литературных, художественных, технических), корректоров, консультантов, внутренних и внешних рецензентов. Непрофессионального, невежественного автора просто не допускали к публикации. Встречались ли тогда ляпы? А как же! Я сам приводил несколько ярких примеров с изданием автобиографии Томаса Манна «Очерк моей жизни» в переводе Анны Семеновны Кулишер. Но это были исключения из правил. Сейчас же становится правилом другое: никого не удивляет, что к публикации книги или выпуску на экраны фильма допускаются неподготовленные, невежественные люди, как я сказал, «необразованщина». Проиллюстрируем сказанное двумя примерами.

### **Пример первый. Просвещение «Просветителя»**

Сравнительно недавно, в 2015 году, к многочисленным биографиям Альберта Эйнштейна добавилась еще одна: в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» вышла книга «Эйнштейн», написанная Максимом Чертановым.

---

Евгений Михайлович Беркович — публицист, историк, издатель. Окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук (Германия). Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств» и ряда других сетевых изданий. Автор книг «Заметки по еврейской истории» (М., 2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (М., 2003), «Революция в физике и судьбы ее героев. Томас Манн и физики XX века» (М., 2017), «Революция в физике и судьбы ее героев. Альберт Эйнштейн в фокусе истории XX века» (М., 2018) и др. Публиковался в журналах «Нева», «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Человек» и многих других изданиях.

Этот очень разносторонний автор работает в непохожих жанрах — пишет плутовской роман, детективы, театральные пьесы, биографии... В серии ЖЗЛ у него вышло семь или более книг, одна из них — «Дарвин» — завоевала в 2013 году престижную премию «Просветитель» за лучшую биографию.

На церемонии награждения, проходившей в Москве 21 ноября 2013 года, выяснилось, что «Максим Чертанов» — псевдоним писательницы Марии Кузнецовой. Выступая на церемонии, она призналась, что из биологии помнит только что-то о тычинках, поэтому ей пришлось обратиться к помощи генетика Александра Маркова. Такой уровень подготовки не помешал Кузнецовой-Чертанову создать биографию Дарвина и завоевать почетное звание «Просветитель», получив к тому же солидную денежную премию. В том же выступлении она объявила, что «*в приступе какогото слабоумия взялась за Эйнштейна*».

Чтобы не путаться в именах и псевдонимах, будем называть автора биографии Эйнштейна в ЖЗЛ «Просветителем». Насколько он подготовлен стать биографом Эйнштейна, можно судить по тому, как описано в книге знаковое событие в истории становления гитлеровской диктатуры, а заодно и в жизни великого физика — исключение автора теории относительности из Академии наук. Об этом событии весны 1933 года много писали историки, биографы великого ученого, литераторы, публицисты... И хотя хронология происшедшего изучена с точностью до дня, все равно исключение Эйнштейна из числа действительных членов академии обросло ворохом домыслов, легенд и мифов, далеких от реальности. Наш «Просветитель» добавил в эту копилку и свой взнос. Эпизод с исключением Эйнштейна из академии он излагает так:

В Прусскую и Берлинскую академии наук [Эйнштейн] написал о своей отставке. Берлинская академия обвинила его в «антигерманской деятельности» <...>. То же сделала и Прусская академия, только жестче: его назвали «агитатором» и заявили, что не сожалеют о его отставке.

Можно подумать, что Эйнштейн играет с несколькими академиями сеанс одновременной игры, веером рассылая свои заявления об отставках. На самом деле, он написал 28 марта 1933 года всего одно заявление в ту единственную академию, где он работал и состоял действительным членом с 1913 года, то есть в Прусскую королевскую академию наук, расположенную, естественно, в Берлине. Сейчас эта академия после радикальных преобразований, связанных с разделением Германии на два государства, а потом с новым объединением страны, называется Берлинско-Бранденбургской. Никакой «Берлинской» академии, в дополнение к Прусской, в 1933 году не было. И переписку Эйнштейн вел с представителями одной академии, а не двух, как показалось автору биографии в ЖЗЛ. По-видимому, «Просветителю» в этот раз не так повезло с консультантом, как при написании «Дарвина», а своих знаний предмета у него явно недостаточно.

В Германии, в отличие от большинства других стран, традиционно существовало несколько самостоятельных научных академий: Прусская (в настоящее время Берлинско-Бранденбургская), Баварская, Гёттингенская и др. Эйнштейн, к слову, был не только членом Прусской академии наук с 1913 года, но и членом-корреспондентом Баварской академии наук с 1927 года. До наступления нацистской эры великого физика охотно принимали в свои члены и другие германские академические сообщества, например, Немецкая академия естествоиспытателей «Леопольдина» в городе Галле. Правда, с приходом нацистов к власти имя Эйнштейна было вычеркнуто из списка членов «Леопольдины» без всякого заявления ученого.

С Прусской академией все было по-другому. История разрыва Альберта Эйнштейна с научной организацией, которой он отдал почти двадцать лет жизни, поучительна не только сама по себе. Она позволяет лучше понять трагедию всех ученых в Третьем рейхе, неожиданно для себя оказавшихся врагами государства и изгоями общества.

Для читателя, знакомого с советской историей, этот эпизод интересен еще и тем, что с ним связывались слухи о возможном лишении Андрея Дмитриевича Сахарова звания академика. Эти слухи усиленно циркулировали в среде физиков и диссидентов в 70-е и 80-е годы прошлого века. О распространенной тогда легенде рассказал Борис Михайлович Болотовский, хорошо знавший академика Сахарова по совместной работе в теоретическом отделе Физического института Академии наук СССР. Согласно этой легенде, события развивались так. По поручению высшего партийного руководства страны президент академии М. В. Келдыш собрал узкий круг ведущих ученых, среди них присутствовали П. Л. Капица и Н. Н. Семенов, и спросил, как бы они отнеслись к постановке на общем собрании Академии наук вопроса об исключении Сахарова.

После долгого молчания Н. Н. Семенов произнес: *«Но ведь прецедента такого не было»*. На это П. Л. Капица возразил: *«Почему не было прецедента? Был такой прецедент. Гитлер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук»*.

Если такой разговор и состоялся когда-то, то оба уважаемых академика, скорее всего, сознательно чуть-чуть отступили от истины, чтобы добиться главной цели: не допустить исключения Сахарова из академии<sup>1</sup>. Ведь и прецеденты исключения советских академиков, объявленных «врагами народа», были, и Гитлер не исключал Эйнштейна, тот сам написал заявление о выходе из академии по собственному желанию.

В порядке просвещения «Просветителя» расскажем вкратце, как это было.

В 1905 году мало кому известный патентный служащий из Берна опубликовал в «Анналах физики» три статьи, принесшие ему впоследствии мировую славу. Даже если бы он за всю свою жизнь написал бы только одну из этих трех работ, его имя навсегда вошло бы в историю науки. Но он в течение нескольких месяцев написал все три и еще парочку в их развитие. Не случайно историки науки называют 1905 год «годом чудес». В тот год Эйнштейн построил специальную теорию относительности, выбросив из физики понятие «мировой эфир», объяснил с помощью гипотезы квантов явление фотоэффекта и, анализируя броуновское движение, доказал существование атомов. Не забудем, что 26-летний Эйнштейн в то время еще не имел научной степени и ни дня не работал ни в какой научной организации.

Но и после этих феноменальных открытий его положение изменилось мало, он еще четыре года продолжал работать в патентном бюро, ни один немецкий университет не пригласил его к себе на работу. Получив все же докторскую степень в 1906 году, он через два года со второй попытки защитил вторую докторскую диссертацию, но звание ординарного профессора Эйнштейну присвоили только в 1911 году в Немецком университете в Праге. Альберту даже пришлось принять австрийское гражданство: Прага входила тогда в состав Австро-Венгрии, а профессор является государственным служащим. Через год он вернулся профессором в свою альма-матер — Цюрихский политехникум (ETH Zürich). В Цюрих и приехали в июле 1913 года Макс Планк и Вальтер Нернст с заманчивым для Эйнштейна предложением переехать в Берлин.

<sup>1</sup> О том, кто и как спасал А. Д. Сахарова от исключения из академии, см. мою статью «Опальный академик и его защитники», «Знамя», 2017, № 4.

Вакантных мест профессора физики в Берлинском университете не было, да и вероятность того, что туда примут еврея, существовала минимальная, поэтому Планк и его коллеги решили действовать иначе. В Прусской академии наук существовала оплачиваемая должность профессора-исследователя. Ее с 1896 года занимал голландский химик Якобус ван'т Хофф (Jacobus Henricus van't Hoff, 1852–1911), первый лауреат Нобелевской премии по химии. После его кончины 1 марта 1911 года это место оставалось свободным. В июне 1913 года Планк предложил Прусской академии принять Эйнштейна в свои члены. Предложение Планка поддержали академики Нернст, Рубенс и Варбург.

В начале июля общее собрание физико-математического отделения Прусской академии наук большинством голосов (один голос против) приняло Альберта Эйнштейна в число академиков. Академия согласилась также, чтобы физик из Цюриха занял место покойного профессора ван'т Хоффа. Оклад академическому профессору устанавливался в двенадцать тысяч марок в год. Меценат Леопольд Коппель (Leopold Koppel, 1854–1933) брал на себя выплату половины оклада в течение двенадцати лет. Кроме того, как члену академии Эйнштейну полагалось еще девятьсот марок в год.

Это были неплохие условия — директор Института химии недавно созданного Общества кайзера Вильгельма Эрнст Бекман (Ernst Otto Beckmann, 1853–1923) получал десять тысяч марок в год, а оклад профессора университета составлял девять тысяч. Оставалось получить согласие самого Эйнштейна и утвердить его назначение на общем собрании академии. Так как в августе и сентябре члены академии разъезжались на каникулы, приходилось спешить. Вот почему вечером в пятницу 11 июля 1913 года Макс Планк и Вальтер Нернст с женами сели в поезд и утром в субботу прибыли в Цюрих, чтобы передать автору теории относительности предложение стать профессором в Берлине. В качестве дополнительного стимула было обещано, что в будущем будет создан институт теоретической физики, директором которого станет Эйнштейн. На размышление ему отвели сутки. В воскресенье супружеские пары из Берлина гуляли по окрестностям Цюриха, а вечером пришли на вокзал, чтобы ночным поездом вернуться домой. С большим облегчением Планк и Нернст увидели среди провожающих Альберта Эйнштейна, махавшего им белым платком, — это был условный знак, что предложение принято.

Заручившись согласием Эйнштейна, Планк уладил с академией все формальности, и 12 ноября 1913 года вышел королевский указ о назначении Эйнштейна профессором Прусской академии наук.

Альберт получил официальное письмо академии в конце ноября и подтвердил, что приступит к выполнению своих новых обязанностей в первые дни апреля. Свое обещание он сдержал: в столицу Эйнштейн прибыл 29 марта 1914 года. Теперь местом постоянной работы физика стал Берлин. Но с 1930 года ученый стал по несколько месяцев в году проводить в Соединенных Штатах Америки, читая лекции в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, вблизи Лос-Анджелеса. Затем последовало приглашение Абрахама Флекснера из Принстона шесть месяцев в году работать в недавно созданном Институте перспективных исследований. На это Эйнштейн получил согласие Прусской академии, согласно новой договоренности он будет полгода работать и получать академический оклад в Берлине, а другие полгода его работу будет оплачивать институт в Принстоне.

Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн как раз находился в Америке в качестве приглашенного профессора в Пасадене. Назначение нового рейхсканцлера Германии не стало для Эйнштейна большой неожиданностью. Чувствовалось, что он был к такому повороту истории готов. Уже через два дня после вступления

Гитлера в новую должность ученый обратился к руководству Прусской академии наук с просьбой выплатить ему полугодовую зарплату сразу, а не к началу апреля, как планировалось ранее. Жизнь очень скоро показала, что такая предусмотрительность ученого оказалась не лишней.

Видно, уже в начале февраля Альберт не верил, что вернется на родину, хотя у него было запланировано там много дел, среди них серьезный доклад в Прусской академии наук. Все эти планы пришлось резко изменить. В частном письме своей близкой знакомой Маргарите Лебах (Margarete Lebach) 27 февраля 1933 года ученый писал: *«Из-за Гитлера я решил не ступить больше на немецкую землю... От доклада в Прусской академии наук я уже отказался»*.

Накануне своего отъезда из Лос-Анджелеса, состоявшегося 12 марта, ученый дал интервью корреспонденту газеты «New York World Telegram» Эвелин Сили (Evelyn Seeley). Его заявление, сделанное в этом интервью, потом перепечатывали газеты всего мира. Эйнштейн нашел простые и убедительные слова, объясняющие его решение, и дал четкую характеристику происходящего в Германии:

Пока у меня есть возможность, я буду находиться только в такой стране, в которой господствует политическая свобода, толерантность и равенство всех граждан перед законом. Политическая свобода означает возможность устного и письменного изложения своих убеждений, толерантность — внимание к убеждениям каждого индивидуума. В настоящее время эти условия в Германии не выполняются. Там как раз преследуются те, кто в международном понимании имеет самые высокие заслуги, в том числе, ведущие деятели искусств. Как любой индивидуум, психически заболеть может каждая общественная организация, особенно когда жизнь в стране становится тяжелой. Другие народы должны помогать выстоять в такой болезни. Я надеюсь, что и в Германии скоро наступят здоровые отношения, и таких великих немцев, как Кант и Гёте, люди будут не только чествовать в дни редких праздников и юбилеев, но основополагающие идеи этих гениев проникнут в общественную жизнь и в сознание каждого гражданина.

В тот же день, 28 марта 1933 года, когда его корабль бросил якорь в бельгийском порту Антверпен, ученый написал свое знаменитое заявление руководству Прусской академии наук: *«Господствующие в Германии в настоящее время порядки вынуждают меня сложить с себя обязанности члена Прусской академии наук. Академия в течение 19 лет давала мне возможность быть свободным от любых профессиональных обязанностей и целиком посвящать себя научной работе. Я знаю, насколько велика должна быть моя благодарность за это. С сожалением выхожу я из вашего круга творческих и прекрасных человеческих отношений, которыми я, будучи вашим членом, столь долгое время наслаждался и постоянно высоко ценил»*

В то время как письмо Эйнштейна об отставке было на пути в Берлин, руководство Прусской академии, состоявшее из четырех непеременимых секретарей, не сидело сложа руки. Правда, один непеременимый секретарь физик Макс Планк, пригласивший в 1913 году молодого Эйнштейна в Берлин и предложивший его кандидатуру в академики, находился в те дни в отпуске в Сицилии. Зато другой непеременимый секретарь юрист Эрнст Хайман (Ernst Heumann, 1870—1946) поторопился выполнить указание министра гитлеровского правительства Руста и составил от имени академии заявление для прессы. В нем подтверждалось, что Эйнштейн участвует в кампании «обличения немецких зверств», ведущейся за границей, и поэтому академия не будет печалиться, если Эйнштейн выйдет из ее со-

става. Заявление появилось в прессе как раз в день бойкота еврейских предприятий — 1 апреля 1933 года.

На состоявшемся 6 апреля в отсутствие Планка общем собрании Прусской академии наук Макс фон Лауэ выступил против того, чтобы заявление для прессы, сделанное Эрнстом Хайманом 1 апреля, исходило от имени всей академии, ведь мнениями ее членов никто не поинтересовался.

Однако другие академики фон Лауэ не поддержали, и заявление для прессы сохранило свою силу. Было ясно, что в любом случае Эйнштейна исключат подавляющим большинством голосов. Практически все ученые склонились перед властью и были готовы полностью поддержать нацистов в их борьбе с неисправимым пацифистом и борцом за демократию. И все же многих смущала возможная потеря уважения иностранных коллег: ведь предстояло исключить из академии всемирно признанного гения. Но пришедшее в тот же день заявление Эйнштейна о добровольной отставке разрядило обстановку. Академия облегченно вздохнула и удовлетворила просьбу опального ученого.

### **Пример второй. Песок на зубах**

В конце 2016 года по телевизионному каналу «Россия-культура» показали новый документальный фильм «Томас Манн. Спуск с Волшебной горы», созданный по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, то есть по правительственному заказу. Мелькнувшая в первых титрах «Студия просветительских фильмов» кольнула напоминанием о знакомом «Просветителе» из первого примера, но я сразу отогнал эту мысль: зачем заранее думать о плохом? Правда, потом к этому сравнению пришлось вернуться. Но давайте по порядку.

Выход на экраны такого фильма меня порадовал. Ведь это здорово, что жизнь и творчество моего любимого писателя еще кого-то интересуют. Не так уж много у нас пишут и говорят о Томасе Манне. Кроме того, появилась надежда увидеть интересные документы и кадры кинохроники. В этом смысле фильм не разочаровал. В 26 минут экранного времени авторы сценария Александр Кростошевский и Виктория Орлова, режиссер Татьяна Малова с консультантом Арсением Дежуровым ухитрились вместить биографию одного из величайших писателей XX века. И старые документы, и кадры старой кинохроники впечатляют.

Например, в одном из фрагментов фильма показан счастливый Томас-отец с детьми. Писатель редко улыбался на фотографиях. А здесь видна нескрываемая радость отцовства. Весьма интересны кадры Томаса Манна с Альбертом Эйнштейном. То, что они встречались, будучи соседями по Принстону, известно. Но я не видел до сих пор, как великий физик награждал великого писателя медалью. Что это за медаль, из фильма узнать не удалось, кадры кинохроники часто не комментируются и идут сами по себе. Придется поискать ответ самому.

Что еще понравилось — публичное обсуждение темы «Томас Манн и евреи», я даже несколько цитат из своих работ услышал. В классической биографии Томаса Манна, написанной выдающимся знатоком его творчества Соломоном Аптом и изданной в 1972 году в серии ЖЗЛ, этой темы нет вовсе. Там само слово «еврей» практически не встречается — на 107 800 слов в книге Апта это слово появляется всего четыре раза, да и то без отношения к теме. А в фильме проблема противоречивого отношения писателя к евреям, по крайней мере, обозначена. Упомянута также и склонность автора «*Смерти в Венеции*» к гомозротике, что, без сомнения, повлияло на его творчество.

А вот вставка в документальные кадры живых актеров, изображающих реальных людей, мне не понравилась. Получилась какая-то окрошка из документального и художественного кино. Как-то сразу чувствуется фальшь — ну, не верю я, что этот усатый старичок за письменным столом и есть автор «Будденброков», если следом показывают кадры с настоящим Томасом Манном, совсем на этого старичка непохожим. Но это дело вкуса, я понимаю, что искусство по своей природе условно, так что авторы были вправе и такую форму выбрать для своего фильма. Обидно только, что наряду с блестящей документальной составляющей фильма выдуманные «художественные» заплаты часто выглядят натужно, неестественно и грешат большим количеством фактических ошибок и логических несоответствий. Похоже, что фантазия сценаристов и режиссера летит свободно и легко, не обращая внимания на фактическую сторону дела, а иногда и на логику событий. Трудно сказать, чем это вызвано — то ли простым незнанием фактов, то ли их недооценкой. Но если знаешь, как было на самом деле, такое насилие над правдой огорчает. Как песок на зубах от плохо промытого салата может испортить вкус свежего блюда, так эти несущественные вроде бы мелочи способны отравить удовольствие от всего фильма. Да и мелочи ли, ведь известно, кто находится в деталях...

Чтобы не быть голословным, рассмотрим несколько показательных примеров (в скобках указано время начала эпизода). Начнем с небольшого замечания даже не об ошибке, а, скорее, о стилистической неточности, вскрывающей незнание авторами некоторых важных фактов биографии писателя.

**Пример первый (16' 44").** Голос диктора говорит, что Томас и Катя отправились в лекционный тур по Европе «весной 1933 года». Не будем придирааться к кадрам с океанским лайнером, сопровождающим этот текст. Поездка из Мюнхена в Амстердам, Брюссель и Париж вовсе не требовала бороздить морские просторы. Я хочу обратить внимание на дату. Томас и Катя Манн покинули Германию 11 февраля 1933 года. Почему важно отметить именно этот день, а не давать слишком широкое указание — «весной». Во-первых, это день годовщины свадьбы Томаса и Кати. Во-вторых, поездка приурочена к 50-летию со дня смерти Рихарда Вагнера 13 февраля 1883 года. Именно к этой дате Манн должен был прочитать доклад «*Величие и страдание Рихарда Вагнера*» в нескольких европейских столицах. Так что не случайно Томас и Катя уехали в первой половине февраля, а не когда-то «весной».

Еще одна неточность проявилась в фильме в путанице научных званий.

**Пример второй (19' 20").** Рассказывается, как после лишения немецкого гражданства в 1936 году у Томаса Манна отобрали статус *почетного профессора* Боннского университета. На самом деле, статус был «почетного доктора», а это разные вещи. Статус почетного профессора Томасу присвоили в его родном Любеке значительно позже. А первое звание «почетного доктора» он получил в 1919 году, сразу после войны и выхода в свет его монографии «*Рассуждения неполитичного*». Боннский университет, настроенный крайне националистически, принял Томаса Манна «за своего» и присвоил ему звание почетного доктора филологии. Так как Томас Манн не окончил классическую гимназию, он не имел права поступить в университет и тем более не мог защитить докторскую диссертацию, поэтому писатель был страшно горд таким титулом. После этого он даже в книге регистрации постояльцев в гостинице важно подписывался: «доктор Томас Манн». Но не «профессор»! Обращаться к Томасу Манну «господин профессор» стали много позже.

А вот пример неточного оборота, связанного с итогами выборов в рейхстаг в 1930 году, когда нацисты добились наибольшего успеха.

**Пример третий (15' 40").** Голос диктора говорит, что в доме Томаса Манна Гитлера считали неудачником и очень удивились, когда 14 сентября 1930 года пар-

тия национал-социалистов *победила* на выборах в рейхстаг. На самом деле это был успех нацистов, но не победа. Победила тогда социал-демократическая партия, она набрала 24,3 % голосов и получила 143 места в рейхстаге. Национал-социалистическая партия была второй — 18,25 % голосов и 107 мест. Так что о победе на выборах говорить было рано.

Следующие два примера показывают фразы из фильма, сказанные «ради красного словца», хотя на деле было не так.

**Пример четвертый (3' 55").** В фильме утверждается, что после выхода в свет романа «Будденброки» в 1901 году 26-летний писатель-дебютант «*проснулся знаменитым*». Это сильно сказано! Первое издание романа в виде двух дорогих томов оказалось невостребованным, многие экземпляры книги оставались на полках магазинов и не находили покупателя. Издатель Самуил Фишер решился тогда на рискованный шаг: не дожидаясь, пока первое издание будет распродано, он выпустил второе — в одном томе и более дешевое. Тут, весьма кстати, и критик Самуил Люблинский написал хвалебную рецензию, и процесс пошел! Роман стали покупать, читать, и слава пришла к молодому писателю. Но так, как в фильме — «*проснулся знаменитым*», — не было. От первого издания романа до «знаменитости» прошло около года, так что если бы автор проснулся знаменитым, то спать ему пришлось бы очень долго, сон напоминал бы летаргический.

**Пример пятый (22' 45").** Еще один красивый оборот-штамп использован в фильме, когда диктор заявляет, что во время войны дома Манна в Любеке и Мюнхене «*были стерты с лица земли*». Это неточность. В Любеке у него уже не было своего дома. А в Мюнхене дом был поврежден, но не разрушен полностью, и в нем жили во время войны и после нее беженцы с Украины. Когда Клаус Манн, офицер армии США, вернулся в 1945 году в Мюнхен и заехал посмотреть свой родной дом на Пошингерштрассе, он неожиданно встретил там новых жильцов. На сохранившейся фотографии, на которой Клаус изображен у крыльца семейной виллы, хорошо видны стены дома и даже балкон второго этажа его собственной комнаты. Для того чтобы окончательно выселить незаконных жильцов, уже после войны остатки дома были полностью снесены. Теперь на этом месте можно было бы строить новый дом. Но Томас Манн отказался вернуться в Германию. О выселении непрошенных жильцов шла речь в переписке писателя с обер-бургомистром Мюнхена. Но это уже другая история, о которой в фильме речи нет. А говорить, что «*стерт с лица земли*» дом, в котором продолжают жить люди, не совсем корректно.

Теперь несколько слов о легкокрылой фантазии авторов фильма, не опирающейся ни на какие факты истории.

**Пример шестой (16' 55").** Есть в фильме сцена, относящаяся к маю 1950 года. В кабинете Томаса Манна в Пасифик-Пэлисейдс (Калифорния, США) звонит телефон, рука артиста, играющего Манна, тянется к трубке. В это время голос диктора за кадром объявляет, что он не станет брать трубку, ждут плохие новости, как тогда, семнадцать лет назад, когда в номере *швейцарской гостиницы* он снял трубку и услышал, что в Германии *пришел к власти Адольф Гитлер*. Рука отдергивается от телефона.

Признаем, что такая попытка «художественно» перейти к теме нацизма в Германии получилась довольно неловкой. Из нее можно сделать вывод, что Томас все семнадцать лет после того рокового звонка в швейцарской гостинице не снимал трубки телефона — ведь плохие новости могли повториться в любой момент. Иначе непонятно, почему опасность услышать плохую новость вдруг напугала писателя именно в мае 1950 года, через такой большой срок после назначения Гитлера рейхсканцлером. То не боялся телефонных звонков, а тут вдруг заробел.



Но это моя личная оценка художественного приема, явно психологически недостоверного. Заметим, что тут есть еще и фактическая ошибка: Томас Манн не покидал Германию в январе 1933 года. Это вам скажет любая «Хроника Томаса Манна», жизнь которого изучена его биографами с точностью до дня. Так, 30 января 1933 года, когда Гитлер был назначен рейхсканцлером, Томас находился на баварском курорте Гармиш-Партенкирхен и ни в какой Швейцарии быть не мог.

«Швейцарская гостиница» и «плохие новости» напоминают другой случай из жизни, рассказанный Катей Манн в ее «*Ненаписанных воспоминаниях*». Дело было 5 марта 1933 года в гостинице «Neues Waldhotel» в Арозе, куда Катя и Томас вместе с дочерью Элизабет прибыли отдохнуть после докладов Манна в трех европейских столицах. В тот день все гости отеля собрались, правда, не у телефона, а у радиоприемника, по которому передавали итоги выборов в рейхстаг. Катя, сидевшая с дочкой, сказала вслух:

— Это же смешно! Какие же это свободные выборы? Оппозицию они большей частью посадили. Что же это такое?

Сидевший рядом господин предостерег:

— Милостивая госпожа, будьте осторожны.

На что Катя ответила:

— Мне не нужно быть осторожной. Мы так и так не можем вернуться.

Сходство с эпизодом фильма напомнило анекдот: «Не пять тысяч рублей, а пятьдесят, не в лотерею, а в преферанс и не выиграл, а проиграл».

Теперь о более важном ляпе, показывающем, что создатели фильма не следят за логикой событий.

**Пример седьмой (9' 05").** В фильме есть сцена, где Томас Манн размышляет о ссоре с братом, которая привела к разрыву на долгие восемь лет. Вспоминает он так: «Было мне тогда сорок. Ну да, почти, как раз *перед Первой мировой*». Из-за чего же возникла ссора? Серьезная размолвка произошла, и это в фильме прямо озвучено, из-за статьи Томаса Манна «*Мысли во время войны*». Дамы и господа — сценаристы, режиссер и консультант, — медленно перечитайте название статьи и вдумайтесь на минутку: *во время войны!* Эта работа вышла в свет в ноябре 1914 года. Писать ее до войны Томас Манн никак не мог, он и не верил до последнего дня, что война произойдет. Так может ли ссора из-за статьи, написанной «во время войны», произойти «перед Первой мировой»?

А следующая неточность показывает кипучую фантазию авторов фильма, которая заменяет им простое знание фактов.

**Пример восьмой (20' 44").** Известна антифашистская деятельность Томаса Манна в Америке, когда он по предложению британского радио стал ежемесячно выступать с короткими, сперва пяти-, а потом восьмиминутными обращениями к немецким слушателям. Об этом в фильме сказано так: более полусотни обращений Манна записали на пленку, *тайно везли через Атлантику* и транслировали на Германию, Австрию и Чехословакию. Жалко, не сказали, на каком транспорте эту пленку перевозили. На самолете? В дирижабле? Или на подводной лодке? Уважаемые коллеги, неужели вы, готовя биографию Томаса Манна в форме документального фильма, не прочитали упомянутый классический труд Соломона Апта, вышедший в свет в серии «Жизнь замечательных людей»? Ведь там технология доставки сообщений писателя его европейским слушателям описана детально. Прочитую:

Поначалу он передавал тексты своих речей в Лондон, где их читал диктор, по телеграфу, но вскоре <...> голос Томаса Манна записывался в Лос-Анджелесе на пленку, которую затем доставляли авиапочтой в Нью-Йорк, после чего звукозапись передавали по телефону в Лондон, откуда она и уходила в эфир.

Где вы увидели здесь *«тайную перевозку через Атлантику»*?

Пожалуй, хватит примеров, хотя этот ряд можно продолжить. Хотел бы только поговорить об одном несоответствии действительности, которое заметно лишь специалистам. Но ведь на то и консультант дается, чтобы такие тонкости отмечать, не так ли?

**Пример девятый, последний.** Многие кадры фильма иллюстрируются «рукописями Томаса Манна». Даже показывается, как он красивой ручкой с золотым пером выводит почти каллиграфический текст, естественно, на немецком языке. Но Томас Манн так никогда не писал. Об этом он сообщал шурина Петеру Прингсхайму, когда тот томился в концлагере в Австралии, а военная цензура никаких писем, написанных не на латинице, не пропускала.

За все четыре года Первой мировой войны Томас Манн написал Петеру Прингсхайму всего три письма. Первое было написано 18 декабря 1915 года, когда Петер провел в заключении уже шестнадцать с половиной месяцев. Извиняясь за свое такое долгое молчание, Манн ссылается на необходимость писать латиницей: *«...как ты видишь, суровое условие для твоего бедного зятя — как извинение, естественно, выглядит немного легкомысленно и неубедительно, но это в самом деле препятствие»*.

О трудности писать на латинице говорится и во втором письме Томаса Манна Петеру Прингсхайму, отправленном почти через год после первого — 10 октября 1916 года. Написав несколько первых фраз по-английски, Манн снова переходит на родной немецкий, замечая, что *«он много тоньше — замечание, которое цензор может вымарать, если оно ему не понравится, но из-за этого не стоит изымать письмо целиком»*.

Снова извиняясь, что не писал почти год, Томас клянется: *«Я заверяю тебя, что я бы это делал чаще, если бы непременно условием не было бы писать на латинице, что для меня является очень жестким условием. Очень быстро немеют пальцы, и мысли становятся совсем вялыми»*.

Для современного читателя, даже владеющего немецким языком, это постоянное противопоставление немецкого и латиницы выглядит странным. Разве не на латинице пишут немцы? Разве в немецком языке не те же самые буквы, за небольшим исключением, что и в английском, французском или латинском алфавитах?

Ответы на эти вопросы зависят от того, какой шрифт имеется в виду — печатный или рукописный, а также от того, о каком времени идет речь. Если говорить о печатных изданиях, то после постепенного вытеснения готических букв латинскими немецкие книги выглядят похоже на другие европейские издания. А вот рукописные шрифты вплоть до сороковых годов двадцатого века разительно отличались от того, как пишут буквы в Англии или во Франции. Сейчас старые немецкие рукописные шрифты не совсем правильно называют «шрифтами Зюттерлина» по имени берлинского графика Людвиг Зюттерлина, предложившего в 1911 году свой вариант написания немецких букв. Но и до него немецких школьников учили писать в тетрадях и прописях буквы, очень далекие от того, чему учат детей в младших классах современной Германии. Томас Манн привык именно к старому немецкому шрифту, все его рукописи и письма, дневниковые записи и заметки в записных книжках написаны, как сейчас говорят, шрифтом Зюттерлина.

Австралийская цензура, естественно, такое написание понимала с трудом, поэтому пропускала только письма, написанные на привычной для нее латинице, ставя перед Томасом Манном почти невыполнимое «*conditio sine qua non*»<sup>2</sup>, как он написал Петеру в октябре 1916 года.

Тот, кто хоть раз видел рукописи и дневники писателя, никогда не спутает эти два способа рукописного письма. Очевидно, что создатели фильма о таких «мелочах» не задумывались. Здесь речь идет не о разных почерках, а фактически о разных письменных языках — не каждый немец прочтет сейчас шрифт Зюттерлина, но и человек, обученный с детства этому способу письма, не сможет легко перестроиться на современную латиницу<sup>3</sup>.

Предотвращение подобных ляпов лежит, конечно, на консультанте, который должен быть в курсе деталей биографии писателя. Нет сомнения, что симпатичный и обаятельный Арсений Дежуров — образованный человек, ведь недаром он преподает зарубежную литературу в педагогическом институте. Но мне почему-то кажется, что Томас Манн — не его «конек», хотя Дежуров и принимал участие в некоторых телевизионных передачах, посвященных нобелевскому лауреату по литературе. Я не нашел ни одной статьи или книги Дежунова о немецком классике. Нет его работ и в серьезных профессиональных журналах типа «Вопросов литературы» или «Иностранной литературы», вообще в «Журнальном зале» русского Интернета у него нет ни одной статьи. Но кадровая политика при использовании госзаказа — напомним, что фильм снят по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям — материя темная, и здесь я умолкаю без комментариев.

Изобретательности авторов фильма в конструировании постановочных сцен можно было бы только позавидовать, если бы в основе их фантазий часто не лежало простое незнание исторических реалий и нежелание приложить какие-то усилия, чтобы их узнать.

\* \* \*

Человек слаб, легкомыслен и тщеславен. Неудивительно, что во все времена встречались авантюристы, готовые взяться за любое дело, сулящее славу и деньги, не утруждая себя необходимостью овладеть нужными навыками. Однако, как правило, всегда находились механизмы интеллектуальной защиты, способные убедить общество в справедливости древней максимы: «Невежество не есть достоинство». В наше время положение изменилось. Общество с легкостью вручает необразованщине лавровые венки «просветителей», одаряет ее представителей высокими премиями и грантами, открывает «зеленый свет» их творениям на пути к массовому читателю и телезрителю... Впору повторить слова Марцелла из «Гамлета»: «*Подгнило что-то в Датском государстве*». Общество без жесткой защиты от интеллектуального непрофессионализма в опасности. Старина Гёте актуален во все времена: «*Нет ничего страшнее деятельного невежества*».

<sup>2</sup> Непременное условие (лат.).

<sup>3</sup> Более подробно см., например, в моей книге: Беркович Евгений. Революция в физике и судьбы ее героев. Томас Манн и физики XX века: Одиссея Петера Прингсхайма. Ленанд, М., 2017.

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## СВЯТЫНИ ЕЛЕОНА

(по запискам русских паломников)

### Часть 9

#### На рубеже тысячелетий

...В 1992 году Русская православная церковь (МП), вслед за РПЦЗ, также причислила Елизавету Федоровну к лику святых. Тогда же в Москве началось восстановление поруганной большевиками Марфо-Мариинской обители милосердия. Здесь вновь помогают страждущим, воспитывают сирот, кормят обездоленных. В храме Покрова Божией Матери, воздвигнутого матушкой, вновь возносится молитва к Богу. «Святую Россию и Православную Церковь врата ада не одолеют», — писала накануне мученической кончины преподобная Елизавета Федоровна.

С этого времени отношение насельниц обеих Елеонских обителей к паломникам из России заметно улучшилось. Так, в 1994 году игумен Никон (Смирнов) (МП), посетивший Святую Землю в составе паломнической группы, пишет: «После молитвы у гроба Божией Матери заезжаем в монастырь св. Марии Магдалины, принадлежащий Зарубежной Церкви. Краткий молебен в храме у мощей св. благоверной княгини Елисаветы и инокини Варвары совершил один из паломников в священном сане. Гробницы с св. мощами — из белого мрамора изящной работы — стоят перед алтарем по ту и другую сторону от амвона»<sup>1</sup>.

В 1995 году в Святой Земле побывала группа паломников из Брестской епархии. Один из белорусских богомольцев, протоиерей Иоанн Грудницкий, вспоминал: «Мы видели камень, на котором, по преданию, стоял апостол Фома, когда Богоматерь, явившись на воздухе, даровала ему свой пояс и он, упав на камень, оставил на нем следы. Мы касались этого камня как раз накануне праздника, установленного в память этого события! Рядом с камнем стояло здание, принадлежащее монастырю Русской Православной Церкви за рубежом. Из таблички на здании мы узнали, что этому дому сегодня исполнилось сто лет. <...> Несмотря на противоречия и сложности в отношениях между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за рубежом, нас в храме тепло встретили монахини этого монастыря. Потом нас проводили на монастырское кладбище, где нашли могилу Симанской, дальней родственницы Патриарха Алексия I»<sup>2</sup>.

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 26.

<sup>2</sup> Грудницкий Иоанн, прот. Паломничество по Святой Земле в конце XX века. Брест, 1995. С. 73—74.

В июне 1997 года, при посещении обители патриархом Алексием II, прибывшим в Святую Землю на торжества 150-летия Русской духовной миссии, настоятельница Анна (Карыпова), из «русских австралийек», встретила Святейшего хлебом-солью. Она же первой из елеонских и гефсиманских монахинь решилась на паломничество в Россию. С 1999 года Гефсиманскую общину возглавляет другая «русская австралийка» — игуменья Елисавета (Шмельц), прибывшая в Иерусалим в середине 1980-х годов — первоначально, как и многие, в отпуск, на богомолье, — и оставшаяся здесь навсегда<sup>3</sup>.

### Святые, объединяющая Церкви<sup>4</sup>

...На подготовку акции, которая проводится (2004 г.) по благословению Патриарха Алексия II и Первоиерарха Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополита Лавра, ушло несколько лет. В январе 2004 года, еще до визита в Россию главы Зарубежной церкви и первой его встречи с Патриархом, Фонд Андрея Первозванного обратился к Синоду РПЦЗ с предложением привезти мощи великой княгини Елизаветы. Синод не только согласился, но предложил увеличить время в России с двух недель до полугода.

Более восьмидесяти лет останки великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары находились в монастыре Св. Марии Магдалины в Иерусалиме. Отступавшая Белая армия вывезла их туда через Сибирь и Китай. Когда тело Елизаветы Федоровны было поднято из шахты под Алапаевском, пальцы ее правой руки оказались сложены для совершения крестного знамения. Именно эта часть мощей была доставлена из Иерусалима в Москву.

В торжественной встрече мощей в аэропорту Домодедово участвовал архиепископ Орехово-Зуевский Алексей, священники московских приходов, настоятельницы женских монастырей столицы. Ларец вынесли из самолета на руках. В нем находится серебряный ковчег, в который вложен деревянный саркофаг с частицами мощей. Он сделан из фрагментов гробов, в которых тела мучениц привезли из Пекина в Палестину.

Прямо по взлетно-посадочной полосе мощи святых крестным ходом были перенесены к специальному автомобилю, который перевез их в храм Христа Спасителя. Здесь ковчег с мощами встречали иерархи Русской православной церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, духовенство Москвы и области, а также тысячи верующих. За всю ночь, проведенную в храме Христа Спасителя, митрополит Ювеналий зачитал послание Патриарха Алексия II, посвященное этому событию.

Патриарх отметил важность того, что «в год празднования 140-летия со дня рождения святой преподобномученицы Елисаветы и 95-летия основанной ею Марфо-Мариинской обители ее святые мощи прибывают в Россию». Он выразил надежду, что это событие — «Божие благословение начавшемуся процессу объединения Русской Православной Церкви».

В храме Христа Спасителя мощи пробудут десять дней, после чего их перенесут в Свято-Данилов монастырь. По дороге крестный ход сделает остановку у основанной княгиней Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке. 6 августа мощи повезут по городам России и стран СНГ: Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

В феврале мощи вернутся в Иерусалим. Когда Марфо-Мариинская обитель будет окончательно восстановлена, монахини монастыря Св. Марии Магдалины в Иерусалиме планируют передать деревянный саркофаг в дар московской обители.

<sup>3</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 189.

<sup>4</sup> Глезарова Юлия. Святые, объединяющая Церкви // НГ-Религии, № 14 (144), 04. 08. 2004. С. 4.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Урушев Дмитрий. Скорбный путь великой княгини // НГ-Религии, № 14 (144), 04.08.2004. С. 5.

Будущая великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в семье Людвига IV, правителя небольшого немецкого герцогства Гессен-Дармштадтского, и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Елизавета, а по-домашнему просто Элла, была вторым ребенком державной четы, а ее сестра Алиса стала впоследствии российской императрицей Александрой Федоровной.

#### Прощание с детством

Семеро детей герцога воспитывались матерью в традициях старой Англии: простая одежда и еда, посильная домашняя работа. Впоследствии Елизавета Федоровна говорила: «В доме меня научили всему». Мать старалась воспитать детей в строгой протестантской вере, вложить в их сердца любовь к ближним, особенно к страждущим.

В 1876 году в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, заболели все дети, кроме Елизаветы. Заболела и умерла в возрасте тридцати пяти лет сама герцогиня Алиса. Так для принцессы закончилась пора детства. В горе девочка стала чаще и усерднее молиться, ибо поняла, что жизнь на земле — это крестный путь. Всеми силами маленькая Элла старалась облегчить скорбь отца, поддержать его и утешить, а младшим сестрам и брату в какой-то мере заменить мать.

В 1884 году принцесса Елизавета стала невестой великого князя Сергея Александровича, сына императора Александра II, брата императора Александра III. Элла познакомилась с будущим супругом еще в детстве, когда Сергей приезжал в Германию со своей матерью, императрицей Марией Александровной, также происходившей из рода герцогов Дармштадта. На свадьбу Елизаветы в Россию прибыла вся ее семья, в том числе и сестра Алиса, которая встретила здесь своего будущего супруга, цесаревича Николая Александровича. Непонятно, чем Сергей Александрович привлек Элли. Он был храбрым офицером, сторонником жесткой дисциплины, на семь лет старше своей избранницы, но, наверное, умел ухаживать, поскольку его шарм отмечали все. Это потом Елизавета узнает, что ее супруг, блестящий щеголь, меценат, тонкий ценитель искусств и великосветский лев, известен бесчисленными любовными победами и полуночными гвардейскими кутежами.

#### В Православие без благословения отца

В октябре 1888 года Сергей Александрович с супругой по поручению императора Александра III побывал в Палестине на освящении храма равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, построенного в память об императрице Марии Александровне. Красота нового храма потрясла Елизавету, и она воскликнула: «Как я хотела бы быть похороненной здесь!» После посещения Святой Земли Елизавета твердо решила перейти в Православие. Но от этого ее удерживал страх причинить боль родным. Наконец, 1 января 1891 года она отправила в Дармштадт письмо, сообщая отцу о своем решении принять православную веру и прося благословения: «Это было бы грехом оставаться так, как я теперь — принадлежать к одной Церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым, никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьезный шаг и что надо быть совершенно уверенною, прежде чем решиться на него... Я так сильно желаю на Пасху

причаститься Святых Тайн вместе с моим мужем». Герцог ответил дочери письмом, в котором говорил, что решение ее причиняет ему боль и он не может дать своего благословения.

Но Елизавета проявила мужество и, несмотря на душевные страдания, не поколебалась в решении перейти в Православие. 12 апреля 1891 года над ней было совершено таинство миропомазания, и протестантка Елизавета стала православной Елизаветой Федоровной. Растроганный император Александр III благословил невестку иконой Спаса Нерукотворного, с которой великая княгиня не расставалась всю жизнь.

### **Последнее поприще великого князя**

В 1891 году император Александр III назначил Сергея Александровича московским генерал-губернатором. Великий князь, человек сильный и талантливый, но не помышлявший о блестящей карьере, был совершенно доволен должностью командира лейб-гвардии Преображенского полка. Поэтому переезд из Петербурга в Москву огорчал Сергея Александровича. Об этом Елизавета так писала цесаревичу Николаю: «Ты легко можешь себе представить, как нас взволновало начало совершенно новой жизни, а потом еще грусть расставания с дорогим полком. В самом деле, очень трогательно видеть, как все офицеры любят Сергея и в каком они отчаянии, что он их покидает».

Когда в 1904 году началась русско-японская война, Елизавета Федоровна занялась организацией помощи фронту. На свои средства она сформировала несколько санитарных поездов, устроила в Москве госпиталь для раненых, который часто посещала, создала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших солдат и офицеров. Лично от себя великая княгиня посылала на фронт Евангелия, иконки и молитвенники.

Однако русские войска терпели одно поражение за другим. Небывалый размах в стране приобрели антиправительственные митинги, террористические акты и забастовки, вылившиеся в революцию 1905 года. Сергей Александрович считал, что необходимо применить жесткие меры по отношению к революционерам. Но в Петербурге с ним не согласились, и он отказался от поста московского генерал-губернатора, сохранив за собою лишь пост командующего Московским военным округом.

Великий князь с женой покинули генерал-губернаторский дом на Тверской улице и переехали в имение Нескучное, но пробыли в нем недолго, ибо там стало небезопасно: революционеры-эсеры приговорили Сергея Александровича к смертной казни. В дом стали присылать угрожающие письма — боевая организация партии эсеров начала охоту за Сергеем Александровичем. Супруги переехали в Кремль в Николаевский дворец, откуда великий князь, отказавшийся от охраны, ежедневно в один и тот же час выезжал для приемов и докладов.

### **Молитва об убийце**

5 февраля 1905 года Сергей Александрович был убит на Сенатской площади Кремля бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Тело великого князя было практически разорвано в клочья, можно было только разглядеть часть мундира, руку и ногу. Голова и все остальное было разметано по снегу. Когда Елизавета Федоровна прибыла к месту взрыва, там уже собралась толпа. Кто-то попытался помешать великой княгине подойти к останкам супруга, но она пробралась к месту трагедии и своими руками собрала на носилки разбросанные взрывом куски тела мужа.

Великий князь Константин Константинович записал в своем дневнике: «Ее (Елизавету) хотели не допустить, но она пробилась к месту, где лежали останки бедного Сергея... Она припала к кисти правой руки, сняла кольца. Лицо ее бы-

ло в крови несчастного. Нашлись обрывок золотой цепочки и уцелевшие на- тельный крест и образки. Она шарил в снегу, где еще долго потом находили косточки, хрящики, части тела, платья, обломки кареты, от кузова которой ни- чего не осталось... Элла сама распорядилась, чтобы принесли носилки, на кото- рые сложили бранные останки и покрыли шинелью какого-то солдата. Все это делалось при ней. Она велела нести носилки в Чудов монастырь».

На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. Каляев сказал: «Я не хотел убивать Вас, я видел его не- сколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но Вы были с ним, и я не ре- шил его тронуть». — «И Вы не сообразили того, что Вы убили меня вместе с ним!» — воскликнула великая княгиня. Потом добавила, что принесла ему про- щение и просит убийцу принять священника и покаяться в содеянном преступле- нии. В руках она держала Евангелие и просила почитать его, но Каляев отказался.

Все же Елизавета Федоровна оставила в камере Евангелие и маленькую икон- ку, надеясь на чудо. Выходя из тюрьмы, она сказала: «Моя попытка оказалась безрезультатною, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он созна- ет свой грех и раскается в нем». После этого великая княгиня просила импера- тора Николая II о помиловании Каляева, но это прошение было отклонено.

#### **«Я восхожу в мир бедных и страдающих»**

С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, держа- ла строгий пост и много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала на- поминать монашескую келью. Вся роскошная мебель была вынесена, стены пере- крашены в белый цвет и увешаны иконами и картинами духовного содержания. Ни на каких светских приемах великая княгиня не появлялась. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть — родственникам, а остальное ре- шила употребить на постройку обители милосердия.

В Москве на Большой Ордынке Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом для устройства обители. В самом большом доме рас- положились трапезная, кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения, во втором — церковь святых Марфы и Марии и больница, рядом — аптека и ам- булатория для проходящих больных, в четвертом доме находилась квартира для протоиерея Митрофана Серебрянского — духовника обители, школа для де- вочек и библиотека. Так возникла знаменитая Марфо-Мариинская обитель.

10 февраля 1909 года великая княгиня сняла траурное платье, облачилась в белое одеяние сестры милосердия и, собрав послушниц своей обители, объяви- ла: «Я одеваю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир — в мир бедных и страдающих». А 9 апреля 1910 года епископ Трифон (Туркестанов) посвятил семнадцать по- слушниц во главе с Елизаветой Федоровной в звание сестер милосердия.

Прекрасный образ великой княгини Елизаветы Федоровны, настоятельницы Марфо-Мариинской обители, запечатлел Иван Бунин в рассказе «Чистый поне- дельник»: «Только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с на- шитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опу- щенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер».

День в Марфо-Мариинской обители начинался в 6 часов утра. После общего утреннего молитвенного правила в больничном храме великая княгиня давала послушания сестрам на предстоящий день. Свободные от послушания оставались в храме, где начиналась литургия. Дневная трапеза проходила под чтение житий святых. В 5 часов вечера в церкви служили вечерню с утренею. Под праздники и воскресные дни совершалось Всенощное бдение. В 9 часов вечера в больнич-



ном храме читалось вечернее правило, после него все сестры, получив благословение настоятельницы, расходились по кельям.

В обители Елизавета Федоровна старалась вести подвижническую жизнь: спала на деревянных досках без матраса, строго соблюдала посты, ела только растительную пищу и, как поговаривали, тайно носила власяницу и вериги. Привыкшая с детства к труду, она все делала сама и лично для себя не требовала никаких услуг от сестер. Она участвовала во всех делах обители как рядовая сестра, всегда подавая пример остальным. Утром вставала на молитву, после чего распределяла послушания сестрам, работала в клинике, принимала посетителей, разбирала прошения и письма.

Вечером был обход больных, заканчивавшийся далеко за полночь. Ночью настоятельница молилась, и ее сон редко продолжался более трех часов. Если же больной нуждался в помощи, она просиживала у его постели до рассвета. В больнице Елизавета Федоровна брала на себя самую ответственную работу: ассистировала при операциях, делала перевязки, утешала больных и всеми силами стремилась облегчить их страдания.

### **Арест на Пасху**

В годы Первой мировой войны трудов у великой княгини прибавилось: необходимо было ухаживать за ранеными в лазаретах. Часть сестер обители были отпущены для работы в полевом госпитале. Первое время Елизавета Федоровна навещала и пленных немцев, но слухи о том, что она якобы является германской шпионкой, заставили от этого ее отказаться.

Весной 1917 года к ней приезжал шведский министр по поручению кайзера Вильгельма, некогда горячо влюбленного в юную принцессу Элли, и предложил ей помощь в выезде за границу. Но Елизавета Федоровна ответила, что решила разделить судьбу страны, которую считает своей новой родиной, и не может оставить сестер обители в это трудное время. После заключения Брест-Литовского мира немецкое правительство добилось согласия советской власти на выезд великой княгини за границу. Германский посол граф Мирбах дважды пытался увидеться с Елизаветой Федоровной, но она не приняла его и категорически отказалась уезжать из России.

В апреле 1918 года, на третий день Пасхи, Марфо-Мариинскую обитель посетил Всероссийский Патриарх Тихон, отслуживший там литургию и молебен. Сразу после отъезда Патриарха к обители подъехала машина с комиссаром и красноармейцами. Елизавете Федоровне приказали ехать с ними и дали полчаса на сборы. Настоятельница успела лишь собрать сестер в церкви святых Марфы и Марии и дать им последнее благословение. Елизавета Федоровна благодарила плачущих сестер за самоотверженность и верность и просила настоятеля не оставлять обители и служить в ней до тех пор, пока это будет возможным. С великою княгиней поехали две сестры милосердия — Варвара Яковлева и Екатерина Янышева.

### **Алапаевская шахта**

Узнав о случившемся, Патриарх Тихон пытался через различные организации, с которыми считалась новая власть, добиться освобождения Елизаветы Федоровны. Но старания его оказались напрасными, ибо все члены императорской семьи были обречены. Великокую княгиню и ее спутниц направили по железной дороге в Пермь. По пути в ссылку она написала письма сестрам своей обители: «Не могу забыть вчерашний день, все дорогие милые лица. Господи, какое страдание в них, о, как сердце болело. Вы мне становитесь каждую минуту дороже. Как я вас оставляю, мои деточки, как вас утешить, как укрепить? Помните, мои родные, все, что я вам говорила. Всегда будьте не только мои дети, но послушные учени-

цы. Сплотитесь и будьте как одна душа, все для Бога, и скажите, как Иоанн Златоуст: Слава Богу за все!»

Последние месяцы своей жизни Елизавета Федоровна провела в заключении в городке Алапаевске вместе с великими князьями Сергеем Михайловичем, Иоанном, Константином и Игорем (сыновьями великого князя Константина Константиновича) и князем Владимиром Палеем, родственником Романовых. Сестер, сопровождавших настоятельницу, привезли в областной совет и предложили им идти на свободу, но обе умоляли вернуть их к Елизавете Федоровне. Варвара Яковлева сказала о готовности дать подписку, что желает разделить судьбу великой княгини. Так она сделала свой выбор и присоединилась к несчастным, ожидавшим решения своей участи.

Глубокой ночью 18 июля Елизавету Федоровну вместе с другими узниками сбросили в шахту старого рудника. Когда комиссары сталкивали великую княгиню в пропасть, она повторяла слова Христа: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Затем большевики забросали шахту ручными гранатами. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. Впоследствии рядом с нею нашли тело Иоанна Константиновича с перевязанной головой. С тяжелейшими переломами и ушибами великая княгиня и здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран.

### Путь в Гефсиманию

31 октября 1918 года белогвардейцы, занявшие Алапаевск, извлекли останки из шахты, положили в деревянные гробы и поставили в городской кладбищенской церкви. На следующий день их перенесли в склеп Свято-Троицкого собора. Но тела покоились здесь недолго. Красная Армия наступала, и необходимо было перевезти их в более безопасное место. Занялся этим игумен Алексеевского скита Серафим, получивший разрешение от адмирала Колчака перевезти останки. Атаман Семенов выделил для этого вагон и дал пропуск. И 14 июля 1919 года восемь гробов направились к Чите. Там гробы пробыли шесть месяцев. Но Красная Армия снова наступала, и останки необходимо было увозить уже за пределы России. 11 марта 1920 года начался этот скорбный путь. Благодаря пропуску Семенова вагон постоянно отцепляли и прицепляли к разным поездам, направляя к китайской границе.

В Харбин для опознания убитых и составления протокола был вызван князь Николай Кудашев, последний императорский посланник в Китае. Впоследствии он вспоминал: «Зная, что великая княгиня всегда выражала желание быть погребенной в Гефсимании в Иерусалиме, я решил исполнить ее волю — послал прах ее и ее верной послушницы в Святую Землю, попросив монаха (Серафима) проводить их до места последнего упокоения и тем самым закончить начатый подвиг».

В апреле 1920 года гробы прибыли в Пекин, где их встречал начальник Русской Духовной миссии архиепископ Иннокентий (Фигуровский). Из Пекина гробы с телами великой княгини и инокини Варвары снова отправились в путь, на этот раз в Тяньцзинь, а затем в Шанхай. Из Шанхая — пароходом в Порт-Саид, куда прибыли в январе 1921 года. Из Порт-Саида гробы в специальном вагоне отправили в Иерусалим, где их встретило русское и греческое духовенство, многочисленные паломники, чьей революция 1917 года застала на Святой Земле. Погребение совершил Иерусалимский патриарх Дамиан вместе с многочисленным духовенством. Гробы поместили в усыпальницу под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, позднее их перенесли в этот же храм.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых мучениц великую княгиню Елизавету и сестру Варвару, установив им празднование в день их кончины 5 (18) июля.

### **ОБИТЕЛЬ<sup>5</sup>**

Обитель скромная Марии Магдалины,  
И русский храм, и множество икон,  
И льется благовест в окрестные долины  
Знакомый с детства колокольный звон...

В приемной пахнет ладаном и маслом;  
В углу иконы в темном серебре,  
И кресел ряд, и шитые подушки,  
И скромный чай на утренней заре...

На стенах в рамках царские портреты,  
И бисером расшитые кресты;  
А под окошком, солнышком согреты –  
Ещё цветут осенние цветы.

Здесь, в кельях, простые сердцем люди,  
Встречают день с молитвой на устах;  
Проходит жизнь в труде и послушаньи,  
В беседах тихих, вздохах и постах...

За церковью — ряды могилоч скромных:  
Сюда уходят люди на покой,  
Здесь тишина и только птичье пенье  
Им говорит о суете мирской...

Вокруг толпятся вековые сосны,  
Вдали в тумане золотой Сион,  
И виден храм Святого Воскресенья  
И в тихий час плывет вечерний звон...

### **Малая Галилея**

Северная часть Елеона носит название Малой Галилеи. В конце 1880-х годов Малую Галилею посетил отечественный писатель Евгений Марков (1835–1903). «Мы выше, и выше забираемся на Малую Галилею, этот северный отрог горы Масличной, той самой тропой, которую 2000 лет тому назад попирали ноги Христа и Его галилейских учеников, — пишет он. — Почти ежедневно Христос ходил по этой дороге из Иерусалима в Вифанию, и из Вифании в Иерусалим... Гефсимания была всегда по пути Его, и ее тенистые сады стали Его приютом... В них приходилось отдыхать после спуска с одной горы, перед подъемом на другую»<sup>6</sup>.

Прямая улица, проложенная по гребню Елеонской горы, ведет от русского Вознесенского монастыря к греческому православному монастырю Viri Galileae (Мужи галилейские), иначе именуемому, как и само место, Малой Галилеей. Так названо это место на Елеонской горе потому, что в евангельские времена здесь существовала гостиница для приходивших на праздники в Иерусалим галилеян. Здесь неред-

<sup>5</sup> Рубинская А. Ф. Стихи. Бейрут, 1963. С. 61.

<sup>6</sup> Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С.72.

ко бывали апостолы Христовы, призванные в большинстве из жителей Галилеи. Именно к этому месту относятся слова ангела, сказанные в Пасхальную ночь женам-мироносицам: «Идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите» (Мрк. 16, 7)<sup>7</sup>.

В связи с этим предание говорит, что именно здесь явился апостолам Господь по Воскресении Своем, когда «они подали Ему часть печеной рыбы и мед» (Лк. 24, 42). В память этого в обширном саду, обнесённом стеной, стоит открытая часовня, ниже уровня земли, с двухсторонней иконой, изображающей учеников, окруживших Воскресшего Учителя. На стене надпись на нескольких языках, повествующая об этом евангельском событии<sup>8</sup>.

Там же стоят два фрагмента колонн, один против другого: это остатки столпов, поставленных в древности на месте Вознесения Господня в память двух ангелов, явившихся апостолам тотчас после Вознесения. Эти столпы были перенесены на Малую Галилею, когда место Вознесения и храм на нем оказались в руках мусульман, не допускавших туда христиан молиться. Тогда службы совершались в построенном тут же храме во имя Явления Воскресшего Господа мужам галилейским, от которого уцелел до нашего времени только престол на колонках, с памятным камнем под ним, на котором выложен крест<sup>9</sup>.

Теперь этот престол стоит в притворе отстроенной на этом месте трехпрестольной церкви, оконченной в 1907 году. Она не отличается ни архитектурой, ни внутренним убранством. Против входа устроен главный придел, а два малых по бокам значительно ниже его, так что к ним ведут по сторонам лестницы. В крипте храма устроена усыпальница иерусалимских патриархов и видных иерархов, в том числе основателя храма и обители архиепископа Иорданского Епифания (сконч. 1908 г.), Патриарха Иерусалимского Тимофея (сконч. 1955 г.) и др. Напротив церкви в ограде ее большое строение; здесь теперь летняя резиденция иерусалимских патриархов.

Красивая аллея ведет от этого храма на юг и приводит к маленькой, прячущейся в зеленой листве церковке. Она стоит на месте, где молилась Пречистая Матерь Божия после Вознесения Сына и где архангел Гавриил возвестил Ей о Её предстоящем отшествии от земли. Трогательное изображение Её молитвы здесь, когда даже деревья Елеонской горы преклоняются вместе с Владычицей, помещается внутри этой церковки. Иконостас отсутствует, под престолом — камень, на котором стояла Пречистая. На полу местами следы древней мозаики<sup>10</sup>. Храм, построенный архиепископом Епифанием Иорданским, освящен в 1889 году. За церковью у алтаря — надгробная плита иеромонаха Серафима (Кузнецова) (1875—1959), трудами которого были доставлены в 1921 году из уральского г. Алапаевска в Иерусалим мощи св. княгини прмц. Елисаветы Феодоровны и пострадавшей с нею инокини Варвары.

В 1923 году здесь побывал покинувший Советскую Россию архимандрит Антонин (Покровский). «На Елеонской горе была горница „Галилейских мужей“. В этой горнице святые апостолы были обрадованы явлением Господа Иисуса Христа по Воскресении Его, — пишет о. Антонин. — В этой горнице явился ангел Господень Пресвятой Деве Марии и возвестил Ей о скором Ее Успении. В настоящее время в этой горнице — храм с престолом, где совершается ежедневно Божественная литургия, а во дни Успенского поста все ночи читается акафист при стечении многочисленных богомольцев»<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М., СПб., 2015. С. 175.

<sup>8</sup> Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 106.

<sup>9</sup> Святая Земля. Париж, 1961. С. 69.

<sup>10</sup> Спутник паломника по святым местам. Париж, 1984. С. 34.

<sup>11</sup> Антонин (Покровский), архиепископ Вашингтонский и Аляскинский. Жизненный путь, личные воспоминания и переписка. Изд. ГЛАС, 2007. С. 95.

В апреле 1947 года Малую Галилею посетила паломница из русского зарубежья Александра Гаврилова. Вот ее рассказ об увиденном: «7 апреля 1947 г. Утро; часть Елеона покрыта густым быстро ползущим, осязаемым туманом; а часть уже сияет в солнце. Город обложен как бы темной тучей — «туман с Яффского моря», но часть тоже начинает светлеть. Спозаранок сходила в Малую Галилею — это тут же, на Елеоне к северу, было излюбленным местом остановок галилеян, прибывающих в Храм и место собрания апостолов. Там церковь интересной формы: часть ее над уровнем земли, а часть — ниже уровня. Много хороших русских икон, хотя храм греческий. В одном месте древняя колонна отмечает какой-то замечательный пункт; место огорожено. Объяснители здесь плохие, да и просто никого не видно. Горница ли это Фомы Неверного? Там написан текст по-русски и по-гречески: „И дали Ему хлеба и рыбу и ел...“. Как будто указывается на явление Воскресшего Спасителя здесь, в Малой Галилее»<sup>12</sup>.

Другая паломница-эмигрантка — Л. Ступенкова, побывавшая здесь в 1953 году, как бы обобщает все сказанное выше: «Елеонская гора была любимым местом посещения и молитвы Пречистой Матери Спасителя. Малая Галилея, расположенная на склоне этой горы, принадлежит грекам и служит резиденцией Патриарха Иерусалимского. Среди садов, кипарисов и сосен там находятся храмы и часовни, посвященные евангельским событиям: первого явления Спасителя по Воскресении, когда взяв печеную рыбу и сотовый мёд, Он вкушал их с учениками; явления архангела Гавриила, с пальмовой ветвью Богоматери возвестившего о Ее скором Успении; с сонмом ангелов здесь Она Сама явилась собравшимся на камне апостолам и Фоме и открыла им тайну Своей постоянной заботы об оставшихся в живых и даровала Свой пояс, упавший на камень и оставивший следы»<sup>13</sup>.

### «Отче наш» — «Pater noster». «Верую» — «Credo»

Неподалеку от часовни Вознесения расположен католический женский монастырь Pater noster. По католическому преданию, в находящейся здесь пещере Спаситель научил Своих учеников Молитве Господней. Ни в одном из евангелий не говорится, где это произошло: «Случилось, что когда Он **в одном месте** молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: *Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого*» (Евангелие от Луки, 11:1–4). Однако, согласно евангелисту Луке, молитва была произнесена Иисусом сразу после посещения Марфы и Марии (Евангелие от Луки, 10:38–42). Масличная гора находится как раз на пути из Вифании, где проживали сестры, в Иерусалим — отсюда и предание, возникновение которого следует отнести к периоду между IV и XII веками.

В 326 году Палестину посетила Елена, мать римского императора Константина. При непосредственном участии Елены было начато строительство трех церквей над пещерами, по христианской традиции имеющими отношение к жизни Иисуса Христа. Две из них — церковь Рождества в Вифлееме и храм Гроба Господня — в измененном виде сохранились до наших дней и являются местом массового паломничества. Об истории пещеры апостолов на Масличной горе известно меньше.

<sup>12</sup> Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945–1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 106.

<sup>13</sup> Ступенкова Л. Пасха в Святой Земле. Мюнхен, 1955. С. 24.

Согласно *Евсевию Кесарийскому*<sup>14</sup> и *Бурдигальскому итинерарию* (333 г.), император Константин Великий по инициативе матери, равноапостольной Елены, приказал воздвигнуть на Елеонской горе базилику необычайной красоты, но не на месте Вознесения, а над пещерой, где Христос беседовал с учениками. По описанию Бурдигальского итинерария, храм был построен «невдалеке» от места Вознесения<sup>15</sup>. Согласно Евсевию, «самую вершину этой горы увенчала она (Елена) священным домом церкви и храмом. Там, в той самой пещере, по свидетельству предания, Спаситель посвящал Своих учеников в неизглаголаные тайны»<sup>16</sup>. «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской (Евангелие от Луки, 21:37); «И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей...» (Евангелие от Марка, 13:3).

В этой базилике в первые века христианства совершались торжественные православные богослужения, длившиеся иногда целую ночь. В Великий четверг в этом храме, называвшемся «Елеона», начиналась Страстная служба: по ходу чтения Евангелия весь народ с духовенством во главе начинал спускаться с горы через Гефсиманию: широкая лестница вела оттуда в 850 ступеней. В Гефсиманском саду в храме на месте Моления Спасителя о чаше прочитывалось Евангелие об этом; затем нисходили к месту предания Иудой с соответственным чтением и далее — до храма Св. Гроба, с пением и возженными свечами, причем сопровождавший народ неудержимо рыдал и бил себя в грудь — вспоминая, как это было на Голгофе в час Распятия...<sup>17</sup>

Церковь простояла до 614 года, когда была разрушена персами. Возможно, уже вскоре на этом месте усилиями Модеста, игумена монастыря Св. Феодосия и будущего Иерусалимского патриарха, была сооружена небольшая церковь. Как бы то ни было, в 1009 году халиф Хаким уничтожил все христианские постройки Иерусалима.

В 1102 году крестоносцы построили здесь молельню, а через пятьдесят лет на средства братьев Свенсен из Дании была возведена церковь, при строительстве которой использовались камни разрушенного древнего храма. Свен Свенсен (Svend Svendsen) был епископом города Виберга (ныне Виборг), религиозного центра Дании, а Эскил (Eskil) — флотоводцем. Эскил простудился во время зимнего купания в Иордане и вскоре умер. Похоронив брата у отстроенной ими церкви, Свен выбрал рядом место и для собственной могилы. Через несколько месяцев скончался и он<sup>18</sup>.

«Игумен земли Русской» Данииил, посетивший Святую Землю в 1104—1106 годах, в своем «Хождении» сообщает «о пещере, где Христос начал учить Своих учеников»: «Тут создана большая церковь и пещера внизу под алтарем. В этой пещере Христос учил Своих учеников петь „Отче наш“. Оттуда саженей девяносто, на самом верху Елеонской горы, совершилось Вознесение Христова»<sup>19</sup>.

В конце XII века паломник Теодерих упоминает некоторые детали: из церкви в пещеру вели тридцать ступенек, а за алтарем находился некий предмет с молитвой «Отче наш» на латыни:

<sup>14</sup> Euseb. Vita Const. III, 41, 43.

<sup>15</sup> Бордоский путник 333 г. // Православный Палестинский Сборник. 1882. Т. 1. Вып. 2(2). С. 31.

<sup>16</sup> Euseb. Vita Const. III, 43.

<sup>17</sup> Рес А. де. Святая Земля // Православный журнал «Вечное», № 344, март 1985. С. 46—47.

<sup>18</sup> Захоронения братьев были найдены в XIX веке. На одной из плит был высечен епископский крест. В 1995 году Свену и Эскилу Свенсенам был установлен памятник от имени народа Дании (скульптор Эрик Хейде). См. Баландин С. Пятое Евангелие: Описание св. мест в Израиле с комментариями и размышлениями. Иерусалим, 1999.

<sup>19</sup> Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 20.

Pater noster, qui es in caelis  
sanctificetur nomen tuum;  
Adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua  
sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.  
Et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  
Et ne nos inducas in tentationem;  
sed libera nos a malo.  
Amen.

(Осколок камня из церкви крестоносцев был найден при раскопках в 1910—1911 годах.)

Русский писатель-паломник А. Н. Муравьев, будучи в Иерусалиме в 1830 году, взошел на Елеонскую гору, где созерцал то место, где Иисус впервые произнес слова «Отче наш», важнейшей христианской молитвы (Мф. 6:9—13). Сюда русский паломник направился от пещеры св. прав. Пелагии: «Несколько шагов ниже еще памятно место, где научил нас молиться Господь, — пишет Муравьев, размышляя далее о спасительном значении этого события: — Не довольствуясь высоким образцом своей жизни, оставленным в подкрепление слабому человечеству, Христос ничего не хотел забыть для пользы земных своих братьев и, прежде нежели воссесть на трон, с которого принимает их молитвы, облегчил Он бессильные порывы смертного к Богу, внушив речи, доступные своему человеколюбию, как отголосок собственных к Отцу молитв. И кто, если вместе не Бог и человек, ведавший терпеть болезнь, мог бы так чисто отделить все суетное от нужд житейских и самым изливанием желаний человеческих прославить имя Вышнего? Кто, кроме нисшедшего к сынам смертных, мог бы дать отцом им своего Отца и, вселив в сердце их доверенность сим кротким названием, утаить от бранных очей все бесконечное расстояние между Творцом и тварью? — „Господи, научи нас молиться“, — сказали апостолы, и помолился Иисус: „Отче наш, да святится имя Твое“. — „Господи! — воскликнем и мы. — Научи нас быть достойными столь божественной молитвы и довольствоваться краткою полнотою ее прошений“»<sup>20</sup>.

Отечественный палестинист В. Н. Хитрово проделал тот же путь, что и А. Н. Муравьев, — от пещеры св. Пелагии к тому месту, где, по преданию, Господь произнес молитву «Отче наш». «Вернувшись к храму Вознесения с полуденной стороны, прежде всего зашли в пещеру святой преподобной Пелагии, которая спасалась здесь в мужском образе, — пишет В. Н. Хитрово. — Близко от пещеры возвышается большой женский латинский монастырь, а подле него двор, обведенный стенами, а на них написана на 33 языках Молитва Господня, и по-русски тоже, и я ее прочитал. Это, говорят, то место, где Господь научил учеников своих молитве: Отче наш. Стенами обвела это место и монастырь построила, а рядом себе гробницу устроила, рассказывали, французская какая-то княгиня»<sup>21</sup>.

В данном случае имеется в виду знатная уроженка Флоренции Элоиза Аурелия де Босси (1809—1889), породнившаяся во втором браке с французским королевским домом и получившая титул княгини де ля Тур д'Овернь. (de la Tour d'Auvergne). Когда княгиня, весьма состоятельная и глубоко верующая женщина, прие-

<sup>20</sup> Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 187.

<sup>21</sup> Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 112.

хала в ноябре 1856 года в Иерусалим, патер М.-А. Ратисбонн, известный в Палестине католический храмоздатель, посоветовал ей купить на Елеонской горе этот участок земли. Во второй половине XIX века отношения европейских держав с Турцией, под контролем которой находился Иерусалим, начинают улучшаться, и, несмотря на многочисленные препятствия, христиане смогли приобретать участки земли в городе. В течение 11 лет, с 1857-го по 1868 год княгиня частями выкупила 6 гектаров земли. В 1868—1870 годах на этом участке велись раскопки (под руководством известного археолога — французского консула в Иерусалиме Клермона-Ганно) в поисках развалин *Елеоны*. После двух лет безуспешных поисков остатков «Елеоны» принцесса решила раскопки прекратить и начать возведение мемориала «Отче наш» («Патер ностер»).

Уже в ходе строительства мемориала принцесса пожелала основать рядом с ним монастырь, послушники которого следили бы за святым местом. В 1870—1872 годах были осуществлены основные постройки: мемориал в виде внутреннего двора средневекового монастыря, посвященный молитве «Отче наш»<sup>22</sup>, и монастырский комплекс, построенный в другом стиле неизвестным архитектором, предположительно Ж. Гиймо, зодчим нескольких иерусалимских построек. Монастырь был освящен латинским Иерусалимским патриархом Викентием Бракко 18 июня 1874 года. Завершает ансамбль колокольня, ставшая одной из архитектурных доминант Елеонской горы (1886 г.).

В 1856—1874 годах, пока монастырь обустроивался и украшался, княгиня де ла Тур д'Овернь жила рядом, в просторном доме, где было много картин, книг, археологических раритетов. В 1872 году ее посетил прибывший с паломниками в Иерусалим великий князь Николай Николаевич Старший. Она завещала похоронить себя в этом монастыре, в построенном саркофаге в конце южной галереи клуатра.

Внутренние стены мемориала и интерьер монастырской церкви украшены белыми керамическими плитами с текстом молитвы «Отче наш» на разных языках. Если в 1872 году Молитва Господня на стенах клуатра была представлена на 36 языках, то в настоящее время — на 142 языках (в том числе на русском). Перед тем как зайти в церковь, следует обратить внимание на металлические таблички слева. На них шрифтом Брайля выгравирована молитва «Отче наш» на четырех языках.

Протоиерей А. Ковальницкий в 1884 году посетил этот монастырь и упомянул о нем в своих паломнических записках: «Продолжая путь на гору, мы достигли зданий, над входом в которые в воротах написано: Pater. Credo. Эта надпись говорит, что здесь находятся два освященных преданием евангельских места: 1) где Господь преподавал ученикам молитву и 2) где апостолы составили Символ веры. Последнее место находится под землей и служило, по всей вероятности, некогда ни более ни менее как цистерной для воды; теперь это место расчищено и обращено в латинскую церковь, — пишет отечественный паломник. — Обозревая ее, мы направились к величественному зданию, называемому Pater noster. Строительница его некая француженка madame de la Tour d'Auvergne. Пустопорожнее место, на котором, по мнению римо-католиков, Господь преподавал апостолам молитву „Отче наш“, обведено прекрасной галереей, на которой теперь написана молитва на тридцати трех языках»<sup>23</sup>.

Как следует из записок прот. А. Ковальницкого, русские богомольцы побывали не только в храме «Отче наш» (Pater noster), но и в пещере «Символ веры» (Cre-

<sup>22</sup> Его проектирование было поручено молодому архитектору Ж. Леконту дю Нуи, причем в качестве образца для подражания заказчицей было указано кладбище Кампосанто в Пизе (Италия).

<sup>23</sup> Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886. С. 101.



до)<sup>24</sup>. Об этой пещере (цистерне) в 1830 году упоминал и А. Н. Муравьев, осматривавший её после посещения освященного преданием места «Отче наш»: «Еще ниже и почти возле видны шесть уцелевших арок дождевого колодца, которого остальные шесть обрушены временем. Под его сводами, как гласит предание, двенадцать апостолов, избегая гонения фарисейского, сложили близ места молитвы Христовой первый Символ веры в основание рождающейся Церкви. Запечатленный впоследствии кровью стольких тысяч, он перешел из уст исповедников (заглушавших им и рев терзающих зверей, и клики амфитеатров, и собственный вопль страждущей плоти) под торжественные своды храмов, коими процветало христианство»<sup>25</sup>.

В том же 1830 году на Елеонской горе побывали французские паломники-востоковеды Мишо и Пужул. Как и Муравьев, они не просто «отметились» на местах, связанных с основами христианского вероучения, но в своих записках изложили мысли, навеянные увиденным.

Проходя по горе Масличной, мы видели грот, где апостолы, укрываясь от гонения фарисеев, написали Символ веры христианской; место, где Спаситель изрек ученикам своим молитву Господню. Какие слова могут чаще повторяться с большим умилением, как не слова молитвы Христовой? какое образцовое произведение могло в такой степени распространиться между столькими различными народами, как Символ веры! Запад и Восток перечитывали молитву Иисуса; во всех концах земли — женщины, дети и старцы, каждое утро и вечер повторяют: Отче наш, иже еси на небеси. Эти божественные слова слышатся везде, где только есть голос человеческий; они раздаются и в пустынях необитаемых как ветер дубравы, как шум горного потока. Отыщите ли вы хоть один уголок земли, где бы голоса смертных не повторяли слов: Верую во Единого Бога, Отца Всемогущего! и не должно ли назвать чудом из чудес, что простое учение, заключающееся в этом символ двенадцати бедных рыбаков так тесно слилось с обществами людей, так врезалось в сердца и понятия всех наций, как соль в водах неизмеримого океана?<sup>26</sup>

Прошли десятилетия, и вот какую картину застал здесь отечественный паломник Виктор Каминский в 1851 году: здесь «указывают вертеп, где ученики Христовы изложили апостольский символ, когда расходились для проповеди в разные стороны. По описаниям, здесь стоял некогда храм, украшенный осьмнадцатью столбами, и еще в недавнее время, сказал мой спутник, видны были шесть аркад этого здания, но неизвестно, куда все это девалось»<sup>27</sup>.

Игумен Антоний (Бочков) сообщал в начале 1850-х годов: «Опустились к месту, где, по преданиям, было первое собрание свв. апостолов, теперь глубокой ров с разрушенными стенами»<sup>28</sup>.

В конце 1880-х годов обитель «Отче наш» посетила группа русских паломников, в числе которых был Петр А-истов. Помолвившись в Гефсиманской и Елеонской православных обителях, пешеходцы затем «обозревали католический монастырь, построенный у места молитвы Господней, осматривали церковь монастыря и хо-

<sup>24</sup> Символ веры — молитва, содержащая основные положения христианского вероучения («Верую во единого Бога, Творца неба и земли...» и т. д.). Древнейший его текст был, по преданию, составлен самими апостолами.

<sup>25</sup> Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 187—188.

<sup>26</sup> А. Т. Очерки Иерусалима и святых окрестностей. Из переписки о Востоке Мишо и Пужула. СПб., 1837. С. 65—67.

<sup>27</sup> Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 199.

<sup>28</sup> Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, кн. 4., ч. II. С. 77.

дили по галерее его, где видели написанную на мраморных досках на 32 языках молитву „Отче наш“, — пишет Петр А-истов. — Обойдя галерею, мы приблизились к надгробному памятнику, месту погребения какой-то французской графини — основательницы этого монастыря. Отсюда прошли мы в пещеру преп. Пелагии, где осматривали гробницу ее. Это была последняя достопримечательность, которую мы обозревали на Елеонской горе, после чего мы возвратились во двор русских построек, близ церкви Вознесения, где стояли наши ослыта и мальчики проводники»<sup>29</sup>.

В эти же годы кармелитский монастырь посетил писатель Евгений Марков. Его описание этого монастыря более подробное, нежели заметки Петра А-истова. «В руках католиков находится место, где, по христианскому преданию, Спаситель учил апостолов молитве Господней и посылал их во все стороны мира разносить учение Свое, — пишет Е. Марков. — Место это в глубокой пещере, на самой вершине горы, и в нее сходят теперь лестницами и коридорами до маленькой подземной церкви, посвященной этому историческому воспоминанию.

На том же обширном католическом дворе, который охватывает в свои пределы эту подземную церковь, возвышается богато устроенный монастырь кармелиток и при нем обширная галерея молитвы Господней. На белых стенах галереи, на все четыре стороны света, начертаны золотыми буквами слова молитвы Господней, на тридцати двух различных языках мира. Против каждого текста особый разукрашенный алтарь, и у каждого алтаря католические монахи в коричневых капюшонах с босыми ногами, в белых и черных рясах, с круглыми выбритыми лысынями, служат тоже на различных языках молебны Спасителю теснящейся, разноплеменной толпе.

В углублении галереи помещается великолепная беломраморная гробница с художественным изваянием умирающей девы во весь человеческий рост. У ног ее корона с бурбонскими лилиями. Это заранее приготовленный памятник основательнице монастыря и галереи принцессе Латур д'Овернь, герцогине Бульонской, которая долго жила в Палестине и не жалела своих громадных средств на поддержание святых мест»<sup>30</sup>.

Из внутренней галереи можно попасть в церковь примыкающего к комплексу монастыря. Перед входом в нее справа находится саркофаг с прахом принцессы де ля Тур д'Оверн, перенесенный сюда в 1957 году (она скончалась во Флоренции в 1889 году). На верхней плите саркофага помещена мраморная статуя, изображающая княгиню на смертном одре. Памятник выполнен известным французским скульптором Жаном Огюстом Барром (Jean-Auguste Barre, 1811—1896). (Одна из его работ находится в Эрмитаже.) Принцесса позаботилась о памятнике еще при жизни, позируя скульптору. Над памятником находится урна с пеплом сердца отца принцессы Джузеппе Босси (1758—1823), известного итальянского писателя и политика.

Православные паломники, поднимаясь на Елеон, в первую очередь спешили к месту Вознесения Господня, а также в русские обители; за неимением времени католические монастыри посещали лишь некоторые из них. «Поднимаясь на Елеонскую гору, издали я видел латинский женский монастырь, — пишет иеромонах Серафим (1908 г.). — В нем, говорят, показывают место, где Спаситель научил учеников Своих молитве „Отче наш“... Место это обнесено крытым ходом, а на стенах его написана молитва на 33-х языках. Тут же невдалеке виднеется латинская церковь, построенная на месте, где свв. апостолы изложили „Символ веры“»<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 113.

<sup>30</sup> Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891, С. 76.

<sup>31</sup> Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 64.

Во время раскопок, проведенных в 1910–1911 годах во внутреннем дворе комплекса белыми отцами Jean-Louis Federlin и Leon Cre под руководством доминиканца Винсента, удалось найти пещеру и остатки разрушенной византийской церкви. Храм состоял из внутреннего двора с колоннадами и базилики (30 x 19 м, ширина нефов 4–11,4 м, расстояние между колоннами 4 м, глубина апсиды 4 м, толщина стен до 1,5 м), построенной по общему плану базилик того времени (Рождества Христова в Вифлееме, Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании). Был найден ход из пещеры в погребальный склеп IV–VII веков; возможно, это захоронения иерусалимских патриархов.

Протоиерей Александр Глаголев с группой паломников, будучи на Елеоне в 1911 году, подошел к стене, на которой надпись гласила: «Locus in quo Dominus videns civitatem flevit super illam» (Здесь, по преданию, остановился Христос, шествуя в Иерусалим на страдания, и плакал о судьбе св. Города) (Лк. XIX, 41–44). «Идя в гору, мы на короткое время зашли в католический монастырь кармелиток, имеющий галерею молитвы Господней, — пишет о. Александр. — Здесь, по преданию, Христос научил апостолов молиться (Лк. XI, 1 сл.), и по стенам галереи крупными буквами написана молитва «Отче наш» на 33-х языках, в том числе на русском и славянском языках (к сожалению, с грубыми ошибками), — во свидетельство всемирного распространения религии Христа»<sup>32</sup>. В своих паломнических записках о. Александр еще раз возвращается к этому месту поклонения, отмечая, что «из древних христианских памятников на горе Елеонской (как-то: церкви св. евангелиста Марка, св. Иоанна Богослова, св. Марии Египетской, часовни св. Пелагии Антиохийской) сохранилась донныне только церковь Апостолов, так называемая „Credo“, и церковь „Отче наш“ (Pater noster). Первая представляет длинный подземный грот с 12-ю арками; имя грота предание объясняет тем, что свв. апостолы в нем составили свой Символ веры. Церковь „Pater noster“ теперь представляет галерею, в стенах которой на мраморных досках изображен текст молитвы Господней на 33 языках, в том числе на славянском и русском»<sup>33</sup>.

Протоиерею Александру Глаголеву вторит саратовский паломник Николай Русанов (1911 г.), упомянувший про католический монастырь кармелитов и католическую капеллу с галереей вокруг того места, на котором Спаситель научил апостолов молитве Господней. «Внутри галереи, на боковых ее стенах, 33 мраморных доски, на которых золотыми буквами написана молитва Господня на 33 различных языках (в том числе и на русском, но с грубыми ошибками), — пишет Николай Русанов. — В подземелье, под двором монастыря, католический алтарь, посвященный памяти 12 апостолов. По преданию, ученики Господа, по Вознесении Его на небо, пребывали некоторое время в этой пещере и здесь составили Символ веры»<sup>34</sup>.

После начала Первой мировой войны турецкие власти реквизируют многие обитатели, где проживали насельники — подданные тех стран, которые воевали с Турцией. Как отмечалось в русской печати, «была отобрана для военных надобностей Яффо-Иерусалимская железная дорога, директор ее французский подданный г. Пави арестован и отправлен в Иерусалим под надзор местной полиции, затем опечатали отделение французского банка Credit Lyonnais, **выселили католических монахинь кармелиток из их монастыря на Елеонской горе**, заняли под постой войск французский католический храм Notre Dame de France, униатскую семинарию св. Анны, и английскую школу»<sup>35</sup>. По окончании военных действий кармелитки-

<sup>32</sup> Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 56.

<sup>33</sup> Там же. С. 120.

<sup>34</sup> Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 202.

<sup>35</sup> Юшманов В. Д. Русские в Святой Земле и Сирии во время настоящей мировой войны. Пг., 1917. С. 35.

населенцы «Pater noster» снова обрели свою обитель; под британским правлением они чувствовали себя в безопасности.

Найденная практически нетронутой после тринадцати веков забвения, «пещера апостолов» была серьезно повреждена в ходе Первой мировой войны, когда здесь находилась кухня турецко-немецких войск. По окончании унесшей миллионы жизней Первой мировой войны стали раздаваться голоса о необходимости строительства новой церкви над пещерой, и в 1920 году французским правительством церковь была заложена. Она получила название «Сакре Кёр» (Sacre Coeur, «святое сердце» — франц.) и была призвана символизировать «мир во всем мире». Строительство церкви началось в 1927 году, но через год из-за недостатка средств было прервано и больше не возобновлялось. За этот короткий период успели снести часовню, а продольные галереи стали короче более чем вдвое. (О проводившихся здесь работах напоминает большая площадка с алтарем и кафедрой (местом для предстоятеля) под открытым небом.)

По окончании Второй мировой войны здесь побывала паломница-эмигрантка Александра Гаврилова, прибывшая в Палестину из соседнего Египта. К этому времени текст молитвы «Отче наш» (по ее счету) был высечен на 46 языках. «На Елеонской горе мы посетили католический женский монастырь кармелиток (молчальниц), где находится пещера, в которой Господь научил Своих апостолов молитве „Отче наш“; храм над этой пещерой недостроен; в глубине ее погребальные пещеры позднейшего времени, — пишет русская паломница. — Наверху в галереях храма и на стенах „Отче наш“ на 46 языках на мраморных плитах (по-русски и по-церковнославянски с ошибками). Недалеко длинная пещера с колоннами, где апостолы составили первый Символ веры, вылившийся, в будущем, на Никейском Вселенском Соборе, в тот Символ веры, который мы читаем теперь»<sup>36</sup>.

Возможно, паломница Александра немного ошиблась в устном счете, поскольку паломники, посетившие эту обитель, упоминают о 42 языках молитвы «Отче наш». Так, епископ Серафим (США), побывавший здесь в 1952 году, пишет: «На Елеоне была дана человечеству величайшая из молитв — Молитва Господня. На том месте, где она была дана и которое находится в пяти минутах ходьбы от нашего Елеонского монастыря, католики построили свой женский монастырь кажется, кармелиток, и в особом длинном коридоре на больших мраморных досках изобразили „Отче наш“ на 42-х различных языках. Русский, церковнославянский, сербский тексты, увы, изобилуют множеством грубых грамматических ошибок»<sup>37</sup>.

В 1961 году в Париже был издан путеводитель по Святой Земле, предназначенный для русскоязычных паломников-эмигрантов. Вот как он «вел» богомольцев к монастырю «Отче наш»: «Минуя русский монастырь и „Стопочку“, по асфальтовой дороге придем к открытой калитке железных ворот в высокой стене кармелитского монастыря. В обширном дворе, прямо против ворот, увидим спуск, как бы в подвальное помещение в большом фундаменте: это теперь подземный храм в бывшей пещере или цистерне, считающейся местом, где Господь даровал ученикам — и всему миру — молитву „ОТЧЕ НАШ“; тут же происходила и беседа Спасителя о конце мира. В этой пещере (или пустой цистерне) был найден в древности плоский камень, на котором была высечена молитва „Отче Наш“ на арамейском, т. е. употреблявшимся при Спасителе, языке. Этот камень был положен под престолом основанного здесь храма. Камень был утрачен при разрушении, и взамен его теперь положен другой под современным католическим престолом в пещерном храме с такой же надписью. Наверху католики начали постройку большого собо-

<sup>36</sup> Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945–1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 101.

<sup>37</sup> Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 100.

ра, по образцу „Елеона“. Малый дворик монастыря кармелиток, налево от пещеры, окружен галереей с колоннами, на стенах которой на мраморных досках написано „ОТЧЕ НАШ“ на 42-х языках»<sup>38</sup>.

В конце концов в 1972 году недопостроенная церковь была освящена в том виде, каком она находится и поныне. (В монастыре к решению о сносе прежней часовни отнеслись крайне отрицательно — в том, что строительство было приостановлено, они видят знак Всевышнего.) Вокруг новой церкви были выставлены находки, сделанные археологами при раскопках начала XX века — детали византийской церкви, в частности мозаика. В пещеру, находящуюся теперь под недостроенной церковью, ведут два входа. Над ними можно различить надписи на латыни, взятые из дневника паломницы Эгерии (IV в.). Над северным входом: *spelunca in qua docebat Dominus apostolos in monte Oliueti*. Над южным: «*Spelunca in qua solebat Dominus docere discipulos*». В переводе эти слова означают примерно одно и то же: «Пещера, в которой Господь учил своих учеников» (во первом варианте — апостолов на Масличной горе).

В настоящее время монастырь и прилегающий к нему участок находятся в совместном владении ордена кармелиток, белых отцов и Франции: язык общения в нем — французский, над входом развевается флаг Франции. Орден кармелиток известен своей закрытостью, и входа в монастырь нет. Туристам разрешается посетить только мемориальный комплекс и заглянуть в церковь монастыря, открытую в определённые часы.

...В российской истории бывали не только беженцы и высланные, но и ссыльные. Одним из них был В. К. Кюхельбекер (1797—1846), отправленный в Сибирь после подавления восстания декабристов. В своем дневнике под 13 января 1832 года Кюхля сделал такую запись: «Сегодня, вчера и третьего дня старался я переложить „Отче наш“ и живо при том чувствовал, что переложения (*paraphrases*) обыкновенно ослабляют подлинник: это вино, разведенное водою. Но все-таки вот мое переложение, хотя и в полной мере чувствую слабость его:

Отец наш, Ты, Который в небесах,  
Который исполняешь все Собою  
И правишь всем, везде, во всех веках  
Премудрой, всемогущею рукою!

Вселенную призвал Ты в бытие.  
Во всей вселенной с трепетом приятно  
Да будет имя дивное Твое  
И всем странам, и всем народам свято.

Нет Твоему владычеству конца:  
Ты ж души взял в престол Своей державы —  
Да будут храмом Своего творца,  
Да преисполнятся Господней славы!

И как на небе выше всех миров  
Творят Твою божественную волю,  
Как в послушанье светлый сонм духов  
Благословенную находит долю, —

<sup>38</sup> Святая Земля. Париж, 1961. С. 70—71.

Так на земле, Всевышний, да творим  
Без ропота, без вздоха и медленья  
Отцом же данные сынам своим  
Твои святые, кроткие веленья!

Наш хлеб насущный в день сей нам пошли,  
Даянье благостной Твоей щедроты,  
О том же, что скрывается вдали,  
Отбросим безотрадные заботы!

Оставь, о Боже, наши долги нам!..  
Увы! когда присудишь воздаянье  
По нашим помышленьям и делам,  
Какое нас очистит оправданье?

Адамли чада суета и ложь  
Ослушник смертный с самого начала.  
Тот счет Ты, милосердый, уничтожь,  
В который грех наш кара записала,

И в нас вдохни смиренный, тихий дух  
И гнев свой победы, и мы в то время  
И к нашим должникам преклоним слух  
И снимем с их рамен взысканий бремя.

Но мы дотолѣ тѣмѣ обречены,  
Дотолѣ не для нас Твоя пощада,  
Доколѣ, злобы яростной полны,  
Питаем в сердце лютый пламень ада.

Так укрепи же нас и сил и благ  
Даруй, да победим желанье мести,  
Да будет нами наш должник, наш враг  
Прощен без лицемерия и лести.

Во тѣмѣ стезею скользкою идем —  
Спаси от искушенья нас, Хранитель!  
И будь светилом нашим и вождем  
Из дому тлена в вечную обитель.

И от лукавого избави нас,  
И от всего строптивного и злого,  
И да почием каждый день и час  
Под сенью Твоего щита святого.

О Боже! Ты единый нам покров!  
Ты Царь вовеки, власть Твоя и сила,  
Твоя же слава до конца веков  
И от начала их не заходила!»<sup>39</sup>

<sup>39</sup> В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука. 1979. (Серия «Литературные памятники»). С. 84–85.

# Contents

## Prose and Poetry

**Alexander Kushner.** Poems • 3

**Elena Kryukova.** Eurasia. Extract from the novel • 7

**Vera Zubareva.** Shadow of the City, or a Poem about Our Time • 114

**Eric Shmitke.** When I Turned Away (Angela and Angelo). Story • 118

**Lilia Gazizova.** Poems • 127

## Publicistic Writings

**Alexander Zhdanov.** Forgive Me, Brother • 131

## Criticism and Essays

**Naum Sindalovsky.** Money in the History of Russia and in St. Petersburg City Folklore • 155

## From the Archive

**Semyon Laskin.** „I Have Yet to Describe This All, but My First Feeling is the Sense of Shock and Happiness!“ *Vasily Kaluzhnin and His Legacy in the Diaries of 1985–1991* • 179

## Petersburg Bookman

**Searches and Findings.** *Vladimir Chisnikov.* „...I Am under the Supervision of the Secret Police“ (*Leo Tolstoy and the Special Services*). **Art of Reading.** *Valery Skoblo.* Torment et al. **Territory of Memory.** *Yevgeny Berkovich.* Uneducatedness, or the Unbearable Ease of Ignorance • 194

## Pilgrim

**Archimandrite Augustine (Nikitin).** Shrines of the Mount of Olives (by Notes of Russian Pilgrims). Part 9 • 236

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 22.08.2017. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 165  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28